This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 465 931

Berkeley
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Berkeley
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

8(С-алтыков)
Д33

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ и библіографическимъ очеркомъ,

написаннымъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ второй.

(1864—1875 гг.)

Во второй выпускъ вошли статьи:

Д. И. Писарева, [illegible], Н. К. Михайловскаго, В. П. Буренина, барона Н. А. Корфа, [illegible], [illegible], О. Миллера и др.; статьи изъ „Русскаго слова", „Искры", „Спб. Вѣдомостей", „Вѣстника Европы", „Недѣли", „Новаго Времени", „Русскаго міра", „Биржевыхъ Вѣдомостей", „Одесскаго Вѣстника", „Сына Отечества", „Искры", „Отечественныхъ Записокъ", „Гражданина", „Голоса" и т. д.

Цѣна 1 р.

Институт ... журналистики
им. Правды
XLVII
БИБЛИОТЕКА

МОСКВА.
Изданіе А. С. Панафидиной.
Покровка, [illegible]
[illegible]

Изданія А. С. Панафидиной.

Москва, Покровка, Колпачный пер., соб. домъ.

П. Смирновскій. История русской литературы девятнадцатаго вѣка. *Выпускъ I.* Карамзинъ и до-Александровскую эпоху. Ц. 1 р. 25 к. 1899 г.

Тоже, *выпускъ II.* Карамзинъ въ Александровскую эпоху. Ц. 1 р. 25 к. 1899 г.

Тоже, *выпускъ III.* Либералы и консерваторы Александровской эпохи. Ц. 1 р. 25 к. 1900 г.

Тоже, *выпускъ IV.* Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи. I. Подражатели Карамзина. II. Дмитріевъ. III. В. Л. Пушкинъ. IV. А. Измайловъ. V. Нарѣжный. Ц. 1 р. 1901 г.

Тоже, *выпускъ V.* VI. И. А. Крыловъ. VII. Графъ Ѳ. В. Растопчинъ. VIII. «Русскій Вѣстникъ» и его издатель С. Н. Глинка. IX. Мысли и чувства, выраженныя въ другихъ журналахъ Александровской эпохи. Ц. 1 р. 1902 г.

Тоже, *выпускъ VI.* X. Князь И. М. Долгорукій и краткій очеркъ журналовъ, «служившихъ женщинамъ». XI. Сатира кн. Горчакова, Милонова, Нахимова, Воейкова. XII. Трагедіи Озерова и краткій очеркъ другихъ трагедій Александровской эпохи. XIII. Князь А. А. Шаховской. Ц. 1 р. 1903 г.

Тоже, *выпускъ VII.* XIV. Комедіи Загоскина. XV. Обработка водевиля Хмельницкимъ и Писаревымъ. XVI. А. С. Грибоѣдовъ (начало статьи о немъ, а окончаніе въ следующемъ выпускѣ). Ц. 80 к. 1903 г.

Тоже, *выпускъ VIII.* XVII. А. С. Грибоѣдовъ (окончаніе). Комедія: «Горе отъ ума». Ц. 80 к. 1904 г.

Его же. Пособіе при изученіи исторіи русской словесности. Курсъ старшихъ классовъ мужскихъ и женскихъ гимназій. *Часть I.* Древній и средній періоды. Изданіе 10-е. Цѣна въ переплетѣ 1 р. 40 к. 1904 г.

Тоже, *часть II.* Новый періодъ, отдѣлъ I (отъ Ломоносова до Карамзина). Цѣна въ переплетѣ 1 р. 15 к. 1899 г.

Тоже, *часть III.* Новый періодъ, отдѣлъ II (отъ Карамзина до Пушкина). Цѣна въ переплетѣ 1 р. 30 к. 1899 г.

Тоже, часть IV [illegible] Новый періодъ, отдѣлъ III (отъ Пушкина до новѣйшихъ временъ). Цѣна въ переплетѣ 1 р. 1899 г.

Жуковскій, В. А. Сочиненія, [illegible] въ одномъ томѣ, подъ редакціей П. Н. Смирновскаго, съ рисунками въ текстѣ художника А. [illegible], съ [illegible] М. А. [illegible], съ портретомъ и біографіей, сост. А. [illegible] и [illegible] М. 1902 г. Ц. 1 р. 50 к., въ [illegible] переплетѣ 2 р. М. Н. Пр. отъ 18 [illegible] 1904 г., за № 1916, допущено въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

8 [Салтыков]
Kriticheskaia literatura
А33
А32
Проверка 1934 г.
ВТ: [DENISIUK]

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ

написаннымъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ второй.

(1864—1875 гг.)

Московск. Инст. Журналистики
Коммунистический институт журналистики им. Правды
7571
БИБЛИОТЕКА
Центральные Курсы Газетные
№ 13534
при ЦК ВКП (б)

Во второй выпускъ вошли статьи:

Д. И. Писарева, А. М. Скабичевскаго, Н. К. Михайловскаго, В. П. Буренина, барона Н. А. Корфа, Герцо-Виноградскаго, В. Г. Авсѣенко, О. Миллера и др.; статьи изъ „Русскаго слова", „Эпохи", „Спб. Вѣдомостей", „Вѣстника Европы", „Недѣли", „Новаго Времени", „Русскаго міра", „Биржевыхъ Вѣдомостей", „Одесскаго Вѣстника", „Сына Отечества", „Искры", „Отечественныхъ Записокъ", „Гражданина", „Новостей" и т. д.

Цѣна 1 р.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1905.

7168-3227

БИБЛИОТЕКА
Высшей Партийной школы
при ЦК ВКП(б)
№ В17111

ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Т-во СКОРОПЕЧ. А. Г. ЛЕВЕНСОНЪ
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.
1905.

PG3361
S3Z756
1905
v.2
MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ

второго выпуска.

Стр.

Цвѣты невиннаго юмора. *Сатиры въ прозѣ.—Невинные разсказы.* **Д. И. Писаревъ.** *(„Русское Слово“, 1864 г., № 2)* 1

Господинъ Щедринъ, или расколъ въ нигилистахъ *(„Эпоха“, 1864 г., № 5)* 24

Новый Нарциссъ. **Бар. Н. А. Корфъ.** *(„Спб. Вѣдомости“, 1868 г., № 111).* 43

Два разсказа. *Дикій помѣщикъ.—Добрая душа.* **В. П. Буренинъ.** *(„Спб. Вѣдомости“, 1868 г. № 45)* 49

Признаки времени и Письма о провинціи. *(„Вѣстникъ Европы“, 1869 г., № 4)* 51

Исторія одного города. *(„Новое Время“, 1870 г., № 71)* 61

Исторія одного города. *(„Недѣля“, 1871 г., № 12)* 64

Ташкентцы приготовительнаго класса. **В. Буренинъ.** *(„Спб. Вѣдомости“, 1871 г., № 274)* 68

Историческая сатира. **А. Б—овъ.** *(„Вѣстникъ Европы“, 1871 г., № 4)* . . 72

Щедринъ, побиваемый собственными друзьями. *(„Русскій Міръ“, 1871 г., №№ 109 и 110)* 100

Ташкентцы приготовительнаго класса. **П—й.** *(„Новое Время“, 1872 г., № 38).* 112

Ташкентцы приготовительнаго класса. **В. Буренинъ.** *(„Спб. Вѣдомости“, 1872 г., № 22)* 116

Г. М. М., осмѣивающій г. Салтыкова. **В. Буренинъ.** *(„Спб. Вѣдомости“, 1872 г., № 170)* 119

Ташкентцы приготовительнаго класса. *(„Сіяніе“, 1872 г., № 7)* 128

Благонамѣренныя рѣчи. **Ч. П. Чебышевъ-Дмитріевъ.** *(„Биржевыя Вѣдомости“, 1873 г., № 53)* 130

Взглядъ на дѣятельность Щедрина. **С. Г.-В. (Герцо-Виноградскій.)** *(„Одесскій Вѣстникъ, 1873 г., № 80)* 143

Благонамѣренныя рѣчи. **А. С.** *(„Новое Время“, 1873 г., № 37)* 152

Присяжно-періодическая сатира Щедрина. **Z. (В. Буренинъ).** *(„Спб. Вѣдомости“, 1873 г., № 115)* 155

Благонамѣренныя рѣчи. **Z. (В. Буренинъ).** *(„Спб. Вѣдомости“, 1873 г., № 41)* 157

Новая сатира г. Салтыкова и нѣчто вообще о его послѣднихъ сатирахъ. **Z. (В. Буренинъ).** *(„Спб. Вѣдомости“, 1873 г., № 82)* 164

Благонамѣренныя рѣчи. **Z. (В. Буренинъ).** *(„Спб. Вѣдомости“, 1873 г., № 303)* 170

Свѣжая струя въ русской литературѣ *Господа Ташкентцы.—Дневникъ провинціала въ Петербургѣ. („Недѣля“ 1873 г., №№ 6 и 7)* . . 173

Помпадуръ борьбы. *(„Сынъ Отечества“, 1873 г. № 232)* 197

Два очерка. *Къ читателю.—Въ больницѣ для умалишенныхъ, („Сынъ Отечества“, 1873 г., № 87)* 200

Опять я въ дорогѣ. *Благонамѣренныя рѣчи. („Сынъ Отечества“, 1873 г., № 254)* 202

Стр.

Щедринъ и его критика. (*„Искра“, 1873 г., №№ 12—13*) 207
Легкая сатира г. Салтыкова. Подражаніе безцеремонной манерѣ глумленія г. Салтыкова. Z. (З. Буренинъ). (*„Спб. Вѣдомости“, 1873 г., № 331*) 221
Литературныя особенности Щедрина. (*„Одесскій Вѣстникъ“, 1873 г., № 246*). 231
Опять Щедринскіе помпадуры. А. О. (В. Г. Авсѣенко) (*„Русскій Міръ“, 1873 г., № 95*) 235
Благонамѣренныя рѣчи. (*„Сынъ Отечества“, 1873 г., № 33*) 239
Критикамъ Щедрина. (*„Искра“, 1873 г., № 31*) 243
Благонамѣренныя рѣчи. Н. К. Михайловскій. (*„Отечественныя Записки“, 1873 г., № 3*) 246
Щедринъ. О. Миллеръ. *Публичныя лекціи.* Лекція I-я: *Губернскіе очерки.—Сатиры въ прозѣ.—Невинные разсказы* 252
Лекція II-я: *Признаки времени.—Письма о провинціи.—Дневникъ провинціала.—Ташкентцы* 264
Благонамѣренныя рѣчи. П. Павловъ. (*„Гражданинъ“, 1874 г., № 52*) . . 277
Зижditель. П. Павловъ. (*„Гражданинъ“, 1874 г., № 19*) 290
Письма о текущей литературѣ. Чебышевъ-Дмитріевъ. (*„Биржевыя Вѣдомости“, 1874 г., № 118*) 293
Благонамѣренныя рѣчи. А. М. Скабичевскій. (*„Спб. Вѣдомости“, 1875 г., № 307*) 299
Благонамѣренныя рѣчи. М. В. (*„Новости“, 1875 г., № 87*) 308
Благонамѣренныя рѣчи. (*„Сынъ Отечества“, 1873 г., №№ 106 и 302*) . 312
Сонъ въ лѣтнюю ночь. А. М. Скабичевскій. (*Биржевыя Вѣдомости“, 1875 г., № 237*) 316
Помпадуры Щедрина. (*Литературный сборникъ „Разсвѣтъ“*) 320

ОГЛАВЛЕНІЕ

примѣчаній о журналахъ и авторахъ, статьи которыхъ помѣщены во второмъ выпускѣ.

Д. И. Писаревъ 1
Журналъ „Эпоха“ 24
Н. А. Корфъ 43
В. П. Буренинъ 49
Журналъ „Вѣстникъ Европы“ 51
Газета „Новое Время“ 61
„ „Недѣля“ 64
„ „Русскій Міръ“ 100
„ „Биржевыя Вѣдомости“ 130
„ „Одесскій Вѣстникъ“ 143
Журналъ „Искра“ 207
В. Г. Авсѣенко 235
Н. К. Михайловскій 246

Стр.

О. Ѳ. Миллеръ 252
Газета „Гражданинъ“ 277
А. М. Скабичевскій 299

ОГЛАВЛЕНІЕ

статей второго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ И ПИСЬМА О ПРОВИНЦІИ.

Новый Нарцисъ. Статьи:
Н. А. Корфа 43
„Вѣстника Европы“ 55
Герцо-Виноградскаго 148

Легковѣрные. Статьи:
„Вѣстника Европы“ 56

Хищники. Статьи:
„Вѣстника Европы“ 57

Дневникъ провинціала въ Петербургѣ. Статьи:
В. Буренина 119
„Недѣли“ 183
„Сына Отечества“ 201

Благонамѣренныя рѣчи. Статьи:
Чебышева-Дмитріева 130
Герцо-Виноградскаго 150
„Новаго Времени“ 152
В. Буренина (*„Къ читателю“*) 155
В. Буренина 157
В. Буренина (*„По части женскаго вопроса“*) 164
В. Буренина 170
„Сына Отечества“ 200
„Сына Отечества“ 202
Герцо-Виноградскаго 231
„Сына Отечества“ 239
Н. Михайловскаго 246

Исторія одного города. Статьи:
„Новаго Времени“ 61
„Недѣли“ 64
„Вѣстника Европы“ 72
„Искры“ 210

Ташкентцы приготовительнаго класса. Статьи:
В. Буренина 68
„Русскаго Міра“ 100
„Новаго Времени“ 112
В. Буренина 116
„Сѣянія“ 128

Губернскіе очерки. Статьи:
Герцо-Виноградскаго 145
„Искры“ 208
О. Миллера 252

Сатиры въ прозѣ. Статьи:
Герцо-Виноградскаго („*Литераторы-обыватели*“) 147
Д. И. Писарева 1
О. Миллера 252

Невинные разсказы. Статьи:
Д. И. Писарева 1
О. Миллера 252

Господа Ташкентцы. Статьи:
Герцо-Виноградскаго 150
„Недѣли“ 173
„Искры“ 218

Для дѣтей *(1. Дикій помѣщикъ. 2. Добрая душа).* Статьи:
В. Буренина 49

Онъ!! *(Картинка провинціальныхъ нравовъ).* Статьи:
Герцо-Виноградскаго 145
В. Буренина 166
В. Авсѣенко 236

Помпадуръ борьбы. Статьи:
„Сына Отечества“ 197

Мнѣнія знатныхъ иностранцевъ о помпадурахъ. Статьи:
В. Буренина 221

Между дѣломъ. Статьи:
В. Буренина 223

Сонъ въ лѣтнюю ночь. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 316

[redacted] ЖУРНАЛИСТИКИ
им. Правды

БИБЛИОТЕКА

Цвѣты невиннаго юмора.

1) Сатиры въ прозѣ. 2) Невинные разсказы. Н. Щедрина [1]).

I.

*) Да! Щедринъ, вождь нашей обличительной литературы, съ полной справедливостью можетъ быть названъ чистѣйшимъ представителемъ чистаго искусства въ его новѣйшемъ

---

[1]) „Русское Слово", 1864 г., № 2.

*) Предлагаемая здѣсь статья Д. И. Писарева надѣлала, въ свое время, много шуму. Сатира Щедрина не церемонилась съ выводимыми типами и явленіями, поражая мѣткимъ словомъ, безподобнымъ сарказмомъ, изъ ряда вонъ выходящимъ остроуміемъ и тонкимъ анализомъ. Всѣ эти качества очень цѣнныя для однихъ, были главною причиной ненависти другихъ. Отсюда понятно, что статья Писарева, самаго талантливаго изъ критиковъ того времени, была на-руку всѣмъ недоброжелателямъ сатирика, такъ ловко подмигивающаго, прищелкивающаго и поплевывающаго во всѣ стороны не ища „своихъ", не заискивая у чужихъ. Но обладая щедринскимъ остроуміемъ и его блестящими діалектическими способностями, Писаревъ, тѣмъ не менѣе, недаромъ слылъ за хорошаго стилиста, съ блестящимъ, чуткимъ критическимъ талантомъ, а потому его статья, выставляющая Щедрина балагуромъ, пишущимъ для возбужденія безобиднаго смѣха, переполняющимъ свои произведенія нарочито-смѣхотворными положеніями и „диковинными" матеріаломъ, окрылила надежды и усердіе враговъ нашего сатирика. Заскрипѣли перья, полились потоки чернилъ на все претерпѣвающую бумагу, и, такимъ образомъ, съ легкой руки Писарева появилась цѣлая литература, выливающая на Щедрина потоки ругани и злорѣчія.

Въ этой своей статьѣ Писаревъ ставитъ на видъ Щедрину отсутствіе въ его разсказахъ идейности, той опредѣленной мысли, которая должна помочь обществу выйти изъ того хаоса отношеній, какой существуетъ, изъ тѣхъ неестественныхъ и нелѣпыхъ условій существованія, которыя переживаетъ наше общество. Словомъ, Писаревъ укорялъ Щедрина въ томъ, что́ было главною и единственною задачей литературной дѣятельности нашего сатирика и что́ онъ подтвердилъ всей своей жизнью, такъ тѣсно связанною съ литературной работой. Увлекающаяся натура Писарева, сдѣлавши ошибку въ оцѣнкѣ дарованія Щедрина, толкнула его на путь крайняго мнѣнія, рѣзкаго, безповоротнаго порицанія, нетерпимости и пристрастія. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что смерть, такъ рано похитившая у русской литературы эту крупную силу, помѣшала Писареву внести поправки въ свой первоначальный смертный приговоръ нашему сатирику.

Прим. Н. Денисюка.

видоизмѣненіи. Щедринъ не подчиняется въ своей дѣятельности ни силѣ любимой идеи, ни голосу взволнованнаго чувства; принимаясь за перо, онъ также не предлагаетъ себѣ вопроса о томъ, куда хватитъ его обличительная стрѣлка—въ своихъ или въ чужихъ, „въ титулярныхъ совѣтниковъ или нигилистовъ“ [1]). Онъ пишетъ разсказы, обличаетъ неправду и смѣшитъ читателя единственно потому, что умѣетъ писать легко и игриво, обладаетъ огромнымъ запасомъ диковинныхъ матеріаловъ и очень любитъ потѣшиться надъ этими диковинками вмѣстѣ съ добродушнымъ читателемъ. Вслѣдствіе этихъ свойствъ автора, его произведенія въ высшей степени безвредны, для чтенія пріятны и съ гигіенической точки зрѣнія даже полезны, потому что смѣхъ помогаетъ пищеваренію, тѣмъ болѣе, что къ смѣху Щедрина, заразительно дѣйствующему на читателя, вовсе не примѣшиваются тѣ грустныя и серіозныя ноты, которыя слышатся постоянно въ смѣхѣ Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя и, вообще, всѣхъ не дѣйствительно статскихъ, а дѣйствительно замѣчательныхъ юмористовъ. Щедринъ всегда смѣется отъ чистаго сердца и смѣется не столько надъ тѣмъ, что́ онъ видитъ въ жизни, сколько надъ тѣмъ, какъ онъ самъ разсказываетъ и описываетъ событія и положенія; измѣните слегка манеру изложенія, отбросьте шалости языка и конструкціи—и вы увидите, что юмористическій букетъ окончательно выдохнется и ослабѣетъ. Чтобы разсмѣшить читателя, Щедринъ не только пускаетъ въ ходъ грамматическіе и синтаксическіе salto-mortale, но даже умышленно искажаетъ жизненную и бытовую правду своихъ разсказовъ: главное дѣло—ракету пустить и смѣхъ произвести; эта цѣль оправдываетъ всѣ средства, узаконяетъ собой всякія натяжки и, разумѣется, достигается, потому что все остальное безъ малѣйшаго колебанія приносится ей въ жертву.

Эта особенность въ литературной дѣятельности Щедрина объясняетъ, въ значительной степени, постоянный успѣхъ его произведеній. Когда мы были расположены ворковать по-голубиному, тогда мы упивались Фетомъ; когда мы пожe-

---

[1]) Сія послѣдняя острота, побивающая разомъ и титулярныхъ совѣтниковъ и нигилистовъ, украшаетъ собой страницы „Современника“ (см. „Наша общественная жизнь“), 1864 г., январь.

лали смѣяться, тогда мы стали обожать Щедрина; смѣхъ, во всякомъ случаѣ, представляетъ собой болѣе нормальное отправленіе человѣческаго организма, чѣмъ воркованіе, и потому переходъ отъ Фета къ Щедрину обозначаетъ собой нѣкоторый прогрессъ въ нашемъ умственномъ развитіи. Но безпредметный и безцѣльный смѣхъ Щедрина самъ-по-себѣ приноситъ нашему общественному сознанію и нашему человѣческому совершенствованію такъ же мало пользы, какъ безпредметное и безцѣльное воркованіе Фета. Мы легко можемъ заснуть на этомъ смѣхѣ и, продолжая смѣяться, воображать себѣ, что мы дѣлаемъ дѣло, идемъ за вѣкомъ и обновляемъ нашимъ невиннымъ смѣхомъ старыя бытовыя формы. Смѣхъ Щедрина убаюкиваетъ и располагаетъ ко сну, потому что, возбуждая собой этотъ серебристый смѣхъ, все тяжелое безобразіе нашей жизни производитъ на насъ легкое и отрадное впечатлѣніе. Мы смѣемся и теряемъ силу негодовать; личность веселаго разсказчика и неистощимаго балагура заслоняетъ отъ насъ темную и трагическую сторону живыхъ явленій; мы смѣемся и склоняемъ голову на подушку и тихо засыпаемъ съ дѣтскою улыбкой на губахъ. Вотъ тутъ мы и можемъ измѣрить громадное разстояніе, отдѣляющее людей, дѣйствительно чувствующихъ, отъ тѣхъ людей, которые служатъ съ безукоризненнымъ усердіемъ чистому искусству. Сравните, напримѣръ, Писемскаго съ Щедринымъ. Щедринъ—писатель, пріятный во всѣхъ отношеніяхъ; онъ любитъ стоять въ первомъ ряду прогрессистовъ—сегодня съ „Русскимъ Вѣстникомъ“, завтра съ „Современникомъ“, послѣзавтра еще съ кѣмъ-нибудь, но непремѣнно въ первомъ ряду; для того, чтобы удерживать за собой это лестное положеніе, онъ осторожно производитъ въ своихъ убѣжденіяхъ разныя маленькія передвиженія, приводящія, незамѣтнымъ образомъ, къ полному повороту налѣво кругомъ.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Щедринъ своимъ отрицаніемъ сооружаетъ фигуру идеальнаго чиновника Надимова; но, по свойственной ему осторожности, авторъ „Губернскихъ очерковъ“ не произнесъ въ этомъ направленіи послѣдняго слова; это слово, какъ извѣстно, было произнесено графомъ Соллогубомъ, котораго наши добрые соотечественники сначала на рукахъ носили, а потомъ, разумѣется, осмѣяли. Когда великосвѣтскій литераторъ, такимъ образомъ, опросто-

волосился, когда идеальный чиновникъ былъ доведенъ до послѣднихъ границъ картонности чувствительныхъ писателей, подобныхъ Львову *), тогда Щедринъ, счастливо выбравшійся изъ этого кораблекрушенія, тотчасъ началъ растирать въ порошокъ фигуру Надимова, и, притомъ, растирать ее тѣмъ же самымъ отрицаніемъ, которымъ онъ ее соорудилъ. Изъ тона Каткова онъ перешелъ къ тону Добролюбова**). Держась постоянно хорошаго общества, то-есть общества прогрессистовъ, Щедринъ постоянно велъ себя „чинно, благопристойно и вѣжливо", соблюдая „чистоту и опрятность въ одеждѣ", то-есть онъ никогда не огорчалъ своихъ товарищей по прогрессу какой-нибудь рѣзкою выходкой, хотя случалось нерѣдко, что онъ не попадалъ въ тактъ людей, къ образу мыслей которыхъ онъ пристраивался съ боку. Формулярный списокъ Щедрина, какъ литератора, совершенно чистъ; литературная служба его безпорочна; служилъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ", служитъ теперь въ „Современникѣ"; удовлетворялъ прежде однимъ требованіямъ, теперь такъ же хорошо и отчетливо удовлетворяетъ другимъ; ни тогда ни теперь онъ не произвелъ такого скандала, который бы изумилъ читателей и привелъ въ негодованіе лучшихъ представителей нашего общественнаго сознанія. Писемскаго, напротивъ того, нельзя назвать даже просто пріятнымъ писателемъ; сходится онъ съ людьми самыхъ сомнительныхъ убѣжденій и ведетъ себя часто совершенно „безчинно, неблагопристойно и невѣжливо"—скандалы производитъ на каждомъ шагу, и упреки въ обскурантизмѣ сыплются на него со всѣхъ сторонъ; онъ неразвитъ и необразованъ, и вполнѣ заслуживаетъ эти упреки своею грубой безтактностью. Но вотъ что любопытно замѣтить: Щедринъ, какъ дѣйствительно статскій прогрессистъ, долженъ, очевидно, осуждать нашу родимую безалаберщину гораздо строже и сознательнѣе, чѣмъ Писемскій, котораго образъ мыслей загроможденъ предразсудками, противорѣчіями и разлагающимися остатками котошихинской старины. Между тѣмъ, на повѣрку

*) П. Ю. Львовъ извѣстенъ, какъ сочинитель произведеній съ сантиментальнымъ содержаніемъ („Роза и Любимъ", сельская повѣсть, 1790 г.; „Россійская Памела, или Исторія Маріи, добродѣтельной поселянки", 1794 г., и мн. др. въ томъ же родѣ). *Прим. Н. Д.*

**) Въ области эстетики Катковъ, въ противоположность Добролюбову, стоялъ за „чистое" искусство. *Прим. Н. Д.*

выходитъ, что произведенія Писемскаго каждому непредубѣжденному читателю внушаютъ гораздо болѣе осмысленной ненависти и серіознаго отвращенія къ безобразію нашей жизни, чѣмъ сатиры и разсказы Щедрина. Романы и повѣсти непріятнаго обскуранта Писемскаго дѣйствуютъ на общественное сознаніе сильнѣе и живительнѣе, чѣмъ сатиры и разсказы пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ и прогрессивнаго Щедрина. Когда Писемскій начинаетъ разсуждать, тогда, хоть, святыхъ вонъ неси, но когда онъ даетъ сырые матеріалы, тогда читателю приходится задумываться надъ нимъ очень глубоко. Щедринъ, напротивъ того, очень отчетливо и благообразно разсуждаетъ по-Добролюбову, очень мило смѣшитъ читателя до упаду своею простодушной веселостью; но вы можете прочитать отъ доски до доски всѣ его сатиры и разсказы, и вы ни надъ чѣмъ не задумаетесь, и впечатлѣніе останется точно такое, какъ будто бы вы побывали въ Михайловскомъ театрѣ и посмотрѣли извѣстный водевиль: „L'Amour? qu'est-ce que c'est qu'ça?“

Зная беззаботные нравы нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ и принимая въ расчетъ невинность щедринскаго юмора и заразительную веселость его добродушнаго смѣха, мы съ читателемъ въ одну минуту сообразимъ, почему Щедринъ, съ перваго появленія своего на литературномъ поприщѣ, вошелъ во вкусъ нашей читающей публики и, преимущественно, тѣхъ самыхъ классовъ общества, которые сатирой его преслѣдуются съ неумолимымъ постоянствомъ. Конечно, провинціальные чиновники съ самаго начала, было, переконфузились, полагая, что сатира служитъ предвѣстницей грома; но такъ какъ громъ не грянулъ, то догадливые провинціалы скоро успокоились, возлюбили веселаго Щедрина всѣмъ сердцемъ и продолжаютъ любить его вплоть до настоящаго времени. Оно и естественно. Въ томъ обществѣ, въ которомъ „Сынъ Отечества“ имѣетъ десятки тысячъ читателей, Щедринъ неизбѣжно долженъ считать десятки тысячъ поклонниковъ. Легкая наука „Сына Отечества“, легкій смѣхъ Щедрина и легкая мечтательность Фета связаны между собой тѣсными узами умственнаго родства. Всѣ эти писатели пишутъ для процесса писанія, а публика всѣхъ ихъ читаетъ для процесса чтенія. Изъ этого происходитъ удовольствіе взаимное, безгрѣшное и пренепорочное.

II.

Но читатель мнѣ не вѣритъ; читатель убѣжденъ, что я преувеличиваю. Я, съ своей стороны, совершенно одобряю недовѣріе читателя, потому что терпѣть не могу, чтобы мнѣ вѣрили на слово. Я тотчасъ выдвину впередъ доказательства; я выберу изъ сочиненій Щедрина нѣсколько смѣхотворныхъ пассажей, и мы съ читателемъ посмотримъ, въ чемъ заключается ихъ юмористическая соль. Предупреждаю, что выписокъ будетъ много, потому что коли доказывать, такъ ужъ доказывать неотразимо. Вотъ, напримѣръ, Щедринъ разсказываетъ, что одинъ губернаторъ имѣлъ привычку повторять по цѣлымъ днямъ какое-нибудь слово; вздумаетъ говорить: *закона нѣтъ*, такъ и пойдетъ на цѣлый день: „нѣтъ закона“. До такой степени зарапортуется, что даже когда докладываютъ, что кушанье подано, онъ все-таки кричитъ: „нѣтъ закона!..“

— Ахъ, Nicolas, какой ты разсѣянный!—замѣтитъ, бывало, губернаторша.

— Ахъ, матушка, — возразитъ губернаторъ, и съ этой минуты, вмѣсто „нѣтъ закона“ начинаетъ пилить: „ахъ, матушка!“

Надо сознаться, что съ непривычки это крайне затрудняетъ сношенія съ нашимъ начальникомъ края, а незнакомыхъ съ его обычаями повергаетъ даже въ крайнее изумленіе. Я помню, одинъ эстляндскій баронъ, пріѣхавшій изъ-за двѣсти верстъ жаловаться, что у него изъ грунтоваго сарая двѣ вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальникъ губерніи, вмѣсто всякой резолюціи, сказалъ ему: „ахъ, матушка!“, и чуть ли даже не хотѣлъ довести объ этомъ до свѣдѣнія высшаго начальства.

— На что это похоже,—сказывалъ онъ мнѣ:—у него ищутъ правосудія, а онъ: „ахъ, матушка!“.

Не правда ли, читатель, что эта замысловатая выдумка сатирика, по своему остроумію и по своей безобидности, не уступитъ лучшимъ карикатурамъ „Сына Отечества“? Это мѣсто находится въ книжкѣ: „Сатиры въ прозѣ“, на страницѣ 286—287; исторія о губернаторскихъ поговоркахъ этимъ еще не оканчивается, но слѣдить за ея продолженіемъ я считаю дѣломъ роскоши. Перейдемъ къ другимъ забавамъ.

Говорится, напримѣръ, о провинціальныхъ сплетняхъ, и сатирикъ, объятый веселымъ волненіемъ, восклицаетъ: „Какое дѣло кабаньей женѣ, что поросенковъ братъ третьягодня съ свиньиной племянницей черезъ плетень нюхался? Анъ дѣло, потому что кабанья жена до изступленія чувствъ этимъ взволнована; потому что кабанья жена дала себѣ слово неустанно искоренять поросячью безнравственность и выво-

дить на свѣжую воду тайные поросячьи амуры".—A la bonne heure, вотъ это сатира! Какова возвышенная смѣлость рѣчи! А главное, какое остроуміе и какова неистощимая веселость въ самомъ разгарѣ душевнаго волненія! Что Ювеналъ! Ему и не грезились такіе обороты. „Свиньи—говоритъ—вы, провинціалы!" но говоритъ не просто, а съ тонкими намеками, указывая на поросячью „безнравственность" и „поросячьи амуры".

Мягко, а между тѣмъ язвительно!—Одинъ изъ героевъ Щедрина, Пьеръ Уколкинъ, цвѣтъ и надежда Глупова, говоритъ, ради остроты: „Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ", и потомъ спрашиваетъ насчетъ своей выдумки: „Joli?". Но до „тайныхъ поросячьихъ амуровъ" самъ Пьеръ Уколкинъ никогда не возвысится; зато Щедринъ постоянно мигаетъ своему читателю и, подобно Пьеру Уколкину, постоянно спрашиваетъ насчетъ своихъ остротъ: „Joli?". Вопросы и миганья не выражены въ печати, но они живо чувствуются въ архитектурѣ самыхъ остротъ. Поросячье мѣсто смотри на страницѣ 372.—Разсказывается эпизодъ изъ политической исторіи Глупова:

„Вотъ и созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: скажите, дескать, мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ засѣла? Но глуповцы кланялись и потѣли; самый, что-называется, горланъ ихній хотѣлъ, было, сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмѣлился, а только взопрѣлъ пуще прочихъ.—Скажите, что жъ вы желали бы?—настаивала Минерва и даже топнула ножкой отъ нетерпѣнія. Но глуповцы продолжали кланяться и потѣть. Тогда, Богъ-вѣсть откуда, раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: „Лихо бы теперь соснуть было!". Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмѣялись тѣмъ нутрянымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачокъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ и не тревожили глуповцевъ вопросами". (Стр. 407.)

Это забавное мѣсто заключаетъ въ себѣ философію исторіи, популярно изложенную Щедринымъ для поросячьихъ братцевъ и для свиньиныхъ племянницъ. Изъ этого мѣста мы можемъ извлечь кое-какія поучительныя размышленія: во-первыхъ, мы усматриваемъ, что вся мудрость заключалась въ головѣ Минервы, а что глуповцы всегда умѣли только кланяться, потѣть и смѣяться нутрянымъ смѣхомъ, который, вѣроятно, очень значительно отличается отъ смѣха Щедрина; во-вторыхъ, мы видимъ, что Минерва отличалась безконечной благостью и отъ души готова была даровать глуповцамъ рѣшительно все, чего бы они ни попросили; этого мы до сихъ поръ не знали, но теперь будемъ знать и твердо бу-

демъ помнить, что глуповцы сами во всемъ виноваты, что, впрочемъ, говоритъ уже намъ Гончаровъ, создавшій Обломова и выдумавшій обломовщину, какъ болѣзнь, и Штольца, какъ лѣкарство; а въ-третьихъ, мы замѣчаемъ, что повѣствовать о губернаторскихъ поговоркахъ и разоблачать тайные поросячьи амуры легче и безопаснѣе, чѣмъ пускаться на утлой ладьѣ сатирическаго ума въ неизвѣстное и непонятное море историческихъ и политическихъ соображеній; ну, а, въ-четвертыхъ и въ-послѣднихъ,—мы убѣждаемся въ томъ, что Добролюбовъ не всегда вывозитъ, и что Щедринъ, предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, разсуждаетъ о высокихъ матеріяхъ не столько благоразумно и основательно, сколько развязно, игриво и простодушно. Но такъ какъ поросенковы братья и свиньины племянницы хохочутъ надъ потѣющими глуповцами, то цѣль великаго сатирика, очевидно, достигнута. „Joli?“—спрашиваетъ онъ и мигаетъ.

Описываются глуповскія губернскія власти:

„Въ то счастливое время, когда я процвѣталъ въ Глуповѣ, губернаторъ нашъ былъ плѣшивый, вице-губернаторъ плѣшивый, прокуроръ плѣшивый. У управляющаго палатой государственныхъ имуществъ, хотя, и были цѣлы волосы, но такая была страшная физіономія, что съ перваго и даже послѣдняго взгляда онъ казался плѣшивымъ. Соберется, бывало, губернскій синклитъ этотъ, да учнетъ о судьбахъ глуповскихъ толковать—даже мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ, таково оно тошно!“ (Стр. 410.)

Здѣсь сатирикъ нашъ, очевидно, находится въ своей истинной сферѣ; здѣсь онъ опять состязается въ остроуміи и невинности съ „Сыномъ Отечества“ и опять одерживаетъ блистательную побѣду надъ своимъ опаснѣйшимъ конкурентомъ. Всѣ плѣшивые—ахъ забавникъ! А управляющій палатой кажется плѣшивымъ—каково?—и *учнетъ* толковать, *мухи умрутъ*, и *таково оно тошно!* Ну можно ли въ двухъ строкахъ собрать столько аттической соли: вѣдь, явно посягаетъ человѣкъ на жизнь своихъ глуповскихъ читателей; вѣдь, уморить со смѣху хочетъ! Просто приходится пощады просить. А фантазія какова: „Мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ“. Этого и Державинъ бы не выдумалъ, а ужъ на что, кажется, былъ проказникъ. Оно, положимъ, непонятно: какъ это мухи умрутъ? Оно, положимъ, и смысла нѣтъ; но развѣ Державинъ могъ бы писать, если бы отъ писателя всегда требовался смыслъ? Да и что такое смыслъ? Лукавый врагъ пріятныхъ и величественныхъ иллюзій. Прочь здравый смыслъ, и да здравствуютъ иллюзіи, начиная отъ державинскихъ и

кончая щедринскими! „Умъ молчитъ, а сердцу ясно". Ну, значитъ, милые глуповцы, понимающіе сердцемъ стихи Державина, будутъ также сердцемъ хохотать надъ сатирами Щедрина, потому что уму и здравому смыслу нечего дѣлать ни въ томъ ни въ другомъ случаѣ. Читателя изумляетъ, почему это я, вдругъ, Державина потревожилъ; а, вотъ, видите ли: юмористическія фантазіи Щедрина насчетъ мухъ напомнили мнѣ другія фантазіи тождественнаго свойства, менѣе забавныя, но еще болѣе нелѣпыя; ну, и тутъ, конечно, представился мнѣ самый торжественный изъ нашихъ одопѣвцевъ, а такъ какъ я очень люблю и уважаю Державина, то я не утерпѣлъ, чтобы не приласкать его, мимоходомъ, при семъ удобномъ случаѣ. Къ тому же Щедринъ, какъ новѣйшій жрецъ чистаго искусства, болѣе или менѣе приводитъ мнѣ на память всѣхъ своихъ товарищей и предшественниковъ на поприщѣ этого великаго служенія.

Изображается сцена, характеризующая коренные обычаи Глупова:

„Въ это хорошее, старое время, когда собирались гдѣ-либо „хорошіе" люди, не въ рѣдкость было услышать слѣдующаго рода разговоръ:

— А ты зачѣмъ на меня, подлецъ, такъ смотришь?—говорилъ одинъ „хорошій" человѣкъ другому.

— Помилуйте...—отвѣчалъ другой „хорошій", нравомъ посмирнѣе.

— Я тебя спрашиваю не „помилуйте", а зачѣмъ ты на меня смотришь?—настаивалъ первый „хорошій" человѣкъ.

— Да, помилуйте-съ...

... И бацъ въ рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо въ лахань (такъ въ просторѣчьи назывались лица „хорошихъ" людей!),—вмѣшивался случившійся тутъ третій „хорошій" человѣкъ.

И выходило здѣсь нѣчто въ родѣ свѣтопреставленія, во время котораго глазамъ сражающихся, и вдругъ и поочередно, представлялись всевозможныя свѣтила небесныя..." (Стр. 418.)

Вы смѣетесь, читатель, и я тоже смѣюсь, потому что нельзя не смѣяться. Ужъ очень большой артистъ Щедринъ въ своемъ дѣлѣ! Ужъ такъ онъ умѣетъ слова подбирать; вѣдь, сцена-то сама-по-себѣ вовсе не смѣшная, а глупая, безобразная и отвратительная; а, между тѣмъ, впечатлѣніе остается у васъ самое легкое и пріятное, потому что вы видите передъ собой только смѣшныя слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затѣяхъ Щедрина и совершенно забываете глуповскіе нравы. Я знаю, что эстетическіе критики называютъ это просвѣтляющимъ и примиряющимъ

дѣйствіемъ искусства, но я въ этомъ просвѣтленіи и примиреніи не вижу ничего, кромѣ одуряющаго. Разсказъ долженъ производить на насъ то же впечатлѣніе, какое производитъ живое явленіе; если же жизнь тяжела и безобразна, а разсказъ заставляетъ насъ смѣяться пріятнѣйшимъ и добродушнымъ смѣхомъ, то это значитъ, что литература превращается въ щекотаніе пятокъ и перестаетъ быть серіознымъ общественнымъ дѣломъ. Есть язвы народной жизни, надъ которыми мыслящій человѣкъ можетъ смѣяться только желчнымъ саркастическимъ смѣхомъ; кто въ подобныхъ случаяхъ смѣется ради пищеваренія, тотъ сбиваетъ съ толку общественное сознаніе, тотъ усыпляетъ общественное негодованіе, тотъ ругается надъ священной личностью человѣка и, стоя въ первыхъ рядахъ прогрессистовъ, юродствуетъ хуже всякаго обскуранта. Но зато выходитъ joli и даже très joli.

Гегемоніевъ преподаетъ наставленіе Потанчикову:

„А я тебѣ скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиковъ и Овчинниковъ тутъ только на прикладъ даны, въ существѣ же вещества становой есть, ни мало ни много, невещественныхъ отношеній вещественное изображеніе... шутка!“ („Невинные разсказы“, стр. 81.)

Ну, объ этомъ распространяться нечего; это, очевидно, „съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ“; шутка эта даже не отличается самостоятельностью—она заимствована изъ „Обыкновенной исторіи“ Гончарова, гдѣ Александръ Адуевъ говоритъ о „вещественныхъ знакахъ невещественныхъ отношеній“,—тамъ это выраженіе умѣстно а здѣсь поставлено ни къ селу ни къ городу; конечно, Щедринъ можетъ сказать, что онъ не заимствовалъ и что геніальные умы, идя самостоятельными путями, часто встрѣчаются между собой на одномъ и томъ же открытіи, но это возраженіе мало поможетъ нашему балагуру, потому что открытіе все-таки приписывается, обыкновенно, тому, кто первый его обнародовалъ; стало-быть, въ этомъ случаѣ честь изобрѣтенія останется неотъемлемой принадлежностью Гончарова. А, вѣдь, много есть добродушныхъ и довѣрчивыхъ читателей, которые, зная Щедрина, какъ весьма передового прогрессиста, будутъ искать въ его шуткахъ какого-нибудь высшаго и таинственнаго смысла; они даже не повѣрятъ заглавію книжки: „Невинные разсказы“,—скажутъ: „Знаемъ мы тебя, какой ты невинный“, и все-таки будутъ искать, и,

разумѣется, каждый найдетъ все, что захочетъ найти. Въ безсмыслицѣ всегда можно увидать какой-угодно смыслъ, именно потому, что нѣтъ въ ней своего собственнаго, яснаго и опредѣленнаго смысла. И когда каждый найдетъ все, что захочетъ найти, то, конечно, слава Щедрина, какъ передового прогрессиста, соединяющаго глубокомысліе съ остроуміемъ, упрочится и распространится пуще прежняго. Тутъ весь секретъ тактики состоитъ въ томъ, чтобы говорить неясно и игриво, не договаривая до конца и давая чувствовать, что и радъ бы, да нельзя, потому что не время, потому что не поймутъ. Это была всегдашняя тактика всѣхъ дипломатовъ, но такъ какъ наша читающая публика до сихъ поръ еще особенно довѣрчива, то морочить ее и дразнить ея ребяческое любопытство гіероглифическими шутками несравненно легче, чѣмъ водить за носъ ту европейскую публику, передъ которою Талейранъ и Меттернихъ умѣли прикидываться міровыми геніями. Для этого не надо обладать даже той дозой дешеваго ума, которою обладали Меттернихъ и Талейранъ; для этого достаточно усвоить себѣ извѣстнаго рода сноровку и жаргонъ. Какъ простодушна и довѣрчива наша публика, это можно видѣть на самомъ Щедринѣ; нашъ сатирикъ ухитрился самого себя обморочить жаргономъ и сноровкой своего собственнаго изобрѣтенія,—онъ не шутя принимаетъ себя за глубокомысленнаго прогрессиста, соединяющаго кротость голубя съ мудростью змія; въ своемъ заглавіи: „Невинные разсказы“ онъ думалъ затаить глубокую и горькую иронію; онъ думалъ, что невинность будетъ только внѣшнимъ лакомъ, сообщающимъ его разсказамъ необходимое благообразіе; но соскоблите этотъ лакъ и подъ нимъ вы опять увидите невинность; скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и вездѣ одно и то же, невинность да невинность, можетъ-быть, угнетенная, но угнетенная, чисто, по недоразумѣнію, угнетенная потому, что угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки. А то и угнетать было бы нечего.

Во всѣхъ сочиненіяхъ Щедрина, безъ исключенія, нѣтъ ни одной идеи, которая бы въ наше время не была извѣстна и переизвѣстна каждому пятнадцатилѣтнему гимназисту и кадету; но, такъ какъ эта идея показывается изъ-подъ полы, съ таинственными предосторожностями и лукавыми мигаліями, то публика и хватаетъ ее, какъ самую новѣйшую

диковинку и какъ вѣрнѣйшій талисманъ противъ всякаго умственнаго недуга. Конечно, публика разочаровалась бы, увидавши, что ей всучили мѣдную копеечку вмѣсто червонца, но ей не даютъ всмотрѣться въ дѣло; ее смѣшатъ до упаду, и она остается совершенно довольною, закрывая книгу въ полной увѣренности, что она и либерализмомъ побаловалась и душу свою натѣшила. Ну, значитъ, сдѣлала дѣло, и спать ложись. Тактика хорошая и плоды приноситъ обильные. Публикѣ весело, а Щедрину и подавно.

Приведу еще три примѣра; въ нихъ обнаружится до послѣдней степени ясности глубокая невинность и несложность тѣхъ пружинъ, которыми Щедринъ надрываетъ животики почтеннѣйшей публикѣ. Его сивушество князь Полугаровъ (смѣйтесь же, добрые люди!), всѣхъ кабаковъ, выставокъ и штофныхъ лавочекъ всерадостный обладатель и повелитель, говоритъ рѣчь:

„Отъ опредѣленія обращусь къ самому дѣлу, т.-е. къ откупамъ. Тутъ, господа, ужъ не то, что „плевъ сто рублевъ“, тутъ пахнетъ милліонами, а запахъ милліоновъ—сильный, острый, всѣмъ любезный, совсѣмъ не то, что запахъ теорій; чѣмъ замѣнить эти милліоны? Какой новой затыкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость?“.

Что можетъ сказать читатель, прочитавши это удивительное мѣсто? Можетъ сказать совершенно справедливо: „Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?“ Эта фраза будетъ заимствована читателемъ у самого Щедрина, и нашъ неистощимый сатирикъ погибаетъ, такимъ образомъ, подъ ударами своего собственнаго остроумія. Замѣтьте еще, что исторія о князѣ Полугаровѣ, растянутая на нѣсколько страницъ, предлагается публикѣ въ то время, когда откупа уже не существуетъ; замѣтьте, что, по разсказамъ самого Щедрина, шалимовскій гимназистъ, процвѣтающій въ городѣ Глуповѣ, уже отвертывается съ презрѣніемъ отъ администратора, желающаго поддержать откупную систему; сообразите-ка эти обстоятельства и поставьте себѣ тогда вопросъ: не есть ли смѣхъ Щедрина безплодное проявленіе чистаго искусства, подобное лирическимъ воздыханіямъ Фета, Крестовскаго и Майкова? Посмотримъ, какъ-то вы на этотъ вопросъ отвѣтите. Положимъ, Щедринъ можетъ возразить, что онъ писалъ тогда, когда откупа еще существовали, и что въ 1863 году выходятъ только въ свѣтъ отдѣльною книжкой тѣ сатирическіе разсказы, которые

печатались прежде въ журналѣ и имѣли нѣкогда животрепещущій интересъ современности. Но это возраженіе ни къ чему не ведетъ, потому что тутъ возникаетъ тотчасъ новый вопросъ: съ какой же стати вторично угощать публику объѣдками? Она, наша матушка, разумѣется, все съѣстъ, да еще второго изданія попроситъ, но не мѣшаетъ нашему брату, писателю, и честь знать, особенно, когда писатель стоитъ въ первомъ ряду прогрессистовъ. Тутъ недурно было бы и самому писателю относиться къ себѣ критически и до нѣкоторой степени оберегать публику отъ ея собственной довѣрчивости и неразборчивости. Воззрѣнія на публику, какъ на дойную корову, надо предоставить въ нераздѣльную собственность юродствующему лагерю обскурантовъ. Идеи наши только тогда будутъ дѣйствительно сильны, когда отношенія наши къ обществу будутъ строго безкорыстны и до послѣдней степени деликатны. Кто думаетъ и поступаетъ въ этомъ случаѣ иначе, тотъ не прогрессистъ, а эксплуататоръ прогрессивной идеи, паразитъ и откупщикъ умственнаго міра. Если же Щедринъ погрѣшилъ здѣсь по необдуманности, то онъ можетъ принести покаяніе и позаботиться объ исправленіи.

Въ слѣдующихъ двухъ примѣрахъ невинность смѣхотворныхъ пружинъ доходитъ до такого великаго совершенства, что она должна, даже, возбуждать умиленіе читателя.

Ходитъ по комнатѣ Кондратій Тихонычъ, „и ходитъ, и ходитъ по своимъ сараямъ, ходитъ до того, что и полъ-то, словно, жалуется и стонетъ подъ ногами его: да сядь же ты, ради Христа!“ Читатель смѣется, а чему тутъ смѣяться?

Чиновникъ играетъ въ ералашъ противъ своего начальника; вслѣдствіе этого обстоятельства, онъ вовсе не радуется своимъ хорошимъ картамъ, которыя заставляютъ его волей-неволей обыгрывать и огорчать великаго патрона. Положеніе, дѣйствительно, характеристическое и комизма въ немъ много; но Щедринъ здѣсь, какъ и вездѣ, вызываетъ смѣхъ читателя не самымъ положеніемъ, а неожиданно брошенною эксцентричностью.

„Поэтому, онъ всячески старался оправдаться; разбирая карты, пожималъ плечами, какъ бы говоря: вѣдь, лѣзетъ же такое дурацкое счастье! Дѣлая ходы, не клалъ карту на столъ, а какъ-то презрительно швырялъ ее, какъ бы говоря: вотъ и еще сукинъ сынъ тузъ!“.

Еще бы читатель не расхохотался; но ясно, что онъ будетъ

смѣяться надъ „сукинымъ сыномъ тузомъ“, а не надъ мелочными слабостями начальника и подчиненнаго. Смѣхъ будетъ безгрѣшный.

Щедринъ, самъ того не замѣчая, въ одной изъ глуповскихъ сценъ превосходно охарактеризовалъ типическія особенности своего собственнаго юмора. Играютъ глуповцы въ карты:

— Греческій человѣкъ Трефандосъ!—восклицаетъ онъ (пѣхотный командиръ), выходя съ трефъ. Мы всѣ хохочемъ, хотя Трефандосъ этотъ является на сцену аккуратно каждый разъ, какъ мы садимся играть въ карты, а это случается едва ли не всякій вечеръ.

— Фики!—продолжаетъ командиръ, выходя съ пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострѣлъ! — говоритъ генералъ Голубчиковъ, покатываясь со смѣху:—вѣдь, этакъ я всю игру съ тобой перепутаю.

Не кажется ли вамъ, любезный читатель, послѣ всего, что вы прочитали выше, что Щедринъ говоритъ вамъ: „Трефандосъ“ и „фики“, а вы, подобно генералу Голубчикову, отмахиваетесь руками и, покатываясь со смѣху, кричите безсильнымъ голосомъ: „Ой, да перестань же, пострѣлъ! Всю игру перепутаю...“

Но неумолимый острякъ не перестаетъ, и вы, дѣйствительно, путаете игру, то-есть сбиваетесь съ толку и принимаете глуповскаго балагура за русскаго сатирика. Конечно, „тайные поросячьи амуры“, „новая затыкаемость старой поглощаемости“ и, особенно, „сукинъ сынъ“ не чета „греческому человѣку Трефандосу“. Остроты Щедрина смѣлѣе, неожиданнѣе и замысловатѣе шутокъ пѣхотнаго командира, но зато и смѣется надъ остротами Щедрина не одинъ глуповскій генералъ Голубчиковъ, а вся наша читающая публика, и, въ томъ числѣ, даже наша умная, свѣжая и дѣятельная молодежь. А, ужъ, это дѣло пора бы и бросить. Развращать умъ нашей молодежи „нутрянымъ смѣхомъ Иванушки-дурачка“ такъ же предосудительно, какъ щекотать ея нервы звучными безсмыслицами лирической поэзіи. Первое опаснѣе послѣдняго: надъ лириками молодежь уже смѣется, а сатирикамъ она еще довѣряетъ, особенно, тѣмъ изъ сатириковъ, которымъ удалось прикрыться почтенною фирмой замѣчательнаго журнала, который еще долго будетъ представляться высокою силой его прошлаго дѣятеля. Какъ эти патентованные сатирики пользуются выгодами своего положенія, какъ они эксплуатируютъ довѣріе публики вообще и молодежи въ особенности—это мы съ читателемъ уже отчасти видѣли и увидимъ еще впереди.

III.

Щедрину приходится иногда изображать трагическія происшествія: у него въ разсказахъ встрѣчаются два сумасшествія и одно самоубійство. Но Щедринъ твердо убѣжденъ въ томъ, что глуповскаго чиновника всегда слѣдуетъ обличать и осмѣивать; поэтому, онъ не разсказываетъ о помѣшательствѣ Зубатова и Голубчикова, а язвительно обличаетъ того и другого въ этомъ непрогрессивномъ поступкѣ. Трагическія происшествія передаются, такимъ образомъ, читателю весело и игриво, а читатель, разумѣется, принимаетъ ихъ съ благодарностью, какъ новую юмористическую интермедію. Что касается до самоубійства, то тутъ дѣло совсѣмъ другое; такъ какъ дѣйствующими лицами являются въ этомъ случаѣ два крѣпостныхъ мальчика, то Щедринъ, желая разыграть самымъ блистательнымъ образомъ роль гуманнаго прогрессиста, натягиваетъ трагическія струны своего повѣствовательнаго таланта такъ туго, что онѣ обрываются до конца разсказа; видя, что эпическая сила измѣняетъ ему и что изъ нея уже не выжмешь больше никакого раздирательнаго эффекта, Щедринъ смѣло кидается въ лирическое юродство и буквально начинаетъ голосить и выкликать надъ несчастными ребятами, которымъ и безъ того тошно на свѣтѣ жить. Дѣло доходитъ до того, что юмористъ нашъ обращается съ воззваніемъ сначала къ жестокой помѣщицѣ, Катеринѣ Аѳанасьевнѣ, а потомъ къ нашей планетѣ. Не вѣрите—такъ читайте:

„Катерина Аѳанасьевна! Если бы вы могли подозрѣвать, что дѣлается въ этомъ оврагѣ, покуда вы безмятежно почиваете съ налѣпленными на носу и на щекахъ пластырями, вы съ ужасомъ вскочили бы съ постели, вы выбѣжали бы безъ кофты на улицу и огласили бы ее неслыханными, раздирающими душу воплями“.

„Земля-мать! Если бы ты знала, какое страшное дѣло совершается въ этомъ оврагѣ, ты застонала бы, ты всколыхалась бы всѣми твоими морями, ты заговорила бы всѣми твоими ручьями, ты зашумѣла бы всѣми твоими горами!“ („Невинные разсказы“, стр. 168—169.)

Ахъ, мои батюшки! Страсти какія! Не жирно ли будетъ, если земля-мать станетъ производить всѣ предписанныя ей эволюціи по поводу каждаго страшнаго дѣла, совершающагося въ оврагѣ. Вѣдь, ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своемъ вѣку всякіе виды; не осталось на ней ни одного квадратнаго аршина, на которомъ ея возлюбленный

сынъ не совершилъ бы надъ собой или надъ другими какой нибудь невообразимой гадости; такъ, ужъ, гдѣ ей, старухѣ, возмущаться такимъ дѣломъ, которое даже въ слабомъ человѣкѣ, въ гуманномъ русскомъ прогрессистѣ, въ самомъ Щедринѣ не можетъ возбудить ни одной искры неподдѣльнаго чувства. Вѣдь, не выражается же, въ самомъ дѣлѣ, истинное чувство въ этомъ завываніи, въ которомъ такъ мало смысла и такъ много риторства. Вѣдь, это все поддѣлка съ начала до конца; вѣдь, это плаксивая гримаса; это слезы, извлеченныя изъ глазъ посредствомъ нюханія хрѣна; это какая-то плохо устроенная мистификація, которая была бы возмутительна, если бы она не была такъ плоско смѣшна. „И кого ты своими благоглупостями удивить хочешь?“ въ раздумьѣ повторяетъ читатель и потомъ усмѣхается, пожимая плечами, но на этотъ разъ усмѣхается, конечно, не шуткамъ сатирика, а тому печально-комическому положенію, въ которое попалъ самъ сатирикъ. Но допустимъ невозможное предположеніе: положимъ, что Щедринъ былъ потрясенъ дѣйствительно сильнымъ приливомъ чувства въ ту минуту, когда онъ создавалъ свое воззваніе къ землѣ и къ Катеринѣ Аѳанасьевнѣ,—тогда тѣмъ хуже для него; въ такомъ случаѣ онъ несетъ заслуженное наказаніе за хроническую невинность своего безплоднаго смѣха; это значитъ, что человѣкъ можетъ превратить себя въ вертлявую куклу; это значитъ, что вся нервная система человѣка можетъ быть безвозвратно исковеркана постояннымъ и одностороннимъ употребленіемъ умственныхъ способностей на мелкое и пустое увеселеніе публики; когда приходится выразить истинное чувство, тогда истасканные нервы отказываются служить, и подъ перомъ писателя не оказывается ни одного образа, ни одного выраженія, соотвѣтствующаго этой непривычной потребности. И выходитъ, вслѣдствіе этого, такая неестественная кислятина, что читатель не знаетъ, что ему дѣлать: жалѣть ли бѣднаго художника, продавшаго свой душевный жаръ въ мелочную лавочку, смѣяться ли надъ его тщетными усиліями или, просто, отвернуться и плюнуть отъ негодованія.

Но это еще не все. Желая во весь духъ ударить кулакомъ по лирическимъ струнамъ, Щедринъ не только ритор-ствуетъ, но даже совершаетъ надъ самимъ собой нѣчто въ родѣ литературнаго самоубійства; онъ умышленно иска-

жаетъ въ своемъ воззваніи къ Катеринѣ Аѳанасьевнѣ тотъ характеръ, который онъ самъ очертилъ довольно тщательно на предыдущихъ страницахъ. Если бы Катерина Аѳанасьевна зимой выбѣжала изъ дома „безъ кофты“, не боясь простуды, и стала бы оглашать улицы города „неслыханными воплями“, не боясь скандала и всѣхъ его непріятныхъ послѣдствій, тогда это значило бы, что она—женщина взбалмошная, вспыльчивая, но, при всемъ томъ, способная почувствовать себя виноватою, способная, подъ вліяніемъ сильнаго потрясенія, притти въ себя и отбросить въ сторону систему своего хозяйственнаго терроризма. Между тѣмъ, предыдущія страницы говорятъ намъ совсѣмъ другое: изъ нихъ мы видимъ, что Катерина Аѳанасьевна совершаетъ свои жестокости очень хладнокровно и съ значительной примѣсью рабовладѣльческаго остроумія; мы видимъ, что строй нравственныхъ понятій, вытекающихъ изъ крѣпостного права, ограждаетъ ее самымъ надежнымъ и непроницаемымъ оплотомъ противъ всякихъ непослѣдовательныхъ припадковъ состраданія и человѣколюбія. Мы узнаемъ, кромѣ того, что Катерина Аѳанасьевна—стрѣленая ворона: ей уже не въ первый разъ приходится переживать, что люди, по ея милости, рѣшаются на самоубійство. Сестра одного изъ мальчиковъ утопилась, вслѣдствіе жестокаго обращенія, а стоицизмъ помѣщицы не поколебался; помѣщица увѣрила себя и другихъ, что „поганка Ольгушка“ утопилась „для того, чтобы скрыть свой стыдъ“, то-есть беременность. Потомъ, когда тѣло не было найдено и когда исправникъ укрѣпилъ естественный стоицизмъ помѣщицы своею дѣловой опытностью, тогда Катерина Аѳанасьевна смѣло стала отрицать самый фактъ самоубійства и подала объявленіе о побѣгѣ „дѣвки Ольги Никандровой“, которая не только бѣжала сама, но, усугубляя свою вину воровствомъ, „унесла съ собой данное ей помѣщикомъ пестрядиное платье, въ которое и была въ тотъ день одѣта“. Возьмите въ расчетъ, что наша бойкая помѣщица—женщина необразованная и суевѣрная, и тогда вы поймете, какую силу характера обнаружила Катерина Аѳанасьевна, взводя поклепъ въ побѣгѣ и въ воровствѣ на такую покойницу, которую она, Катерина Аѳанасьевна, почти собственноручно спровадила на тотъ свѣтъ. Правда, „поганка Ольгушка“ явилась своей барынѣ во снѣ, и барыня выскочила изъ спальни какъ полоумная; но, во-первыхъ, это видѣла только

Газетные
№ 3834

ключница Матрена, а, во-вторыхъ, что же изъ этого слѣдуетъ? Помѣщица набивала свой желудокъ особенно плотно, потому что больше и дѣлать нечего было,—а извѣстно, что переполненный желудокъ награждаетъ человѣка разнообразными и эксцентрическими сновидѣніями; это и случилось съ Катериной Аѳанасьевной: привидѣлась ей „поганка Ольгушка“, но могъ привидѣться и чортъ съ рогами; тутъ не было бы ничего удивительнаго, и оба сновидѣнія заставили бы ее выскочить изъ спальни съ одинаковой стремительностью. Гораздо характернѣе то обстоятельство, что на глазахъ Катерины Аѳанасьевны росъ маленькій братъ утопившейся дѣвушки и что барынѣ не только не было тяжело смотрѣть на этого ребенка, который долженъ былъ ежеминутно напоминать ей совершившееся преступленіе, но что, напротивъ того, барыня имѣла даже храбрость мучить этого мальчика наравнѣ съ другими домочадцами, и ежедневными мученіями постоянно толкать его къ тому оврагу, въ которомъ должно было произойти новое самоубійство. И вдругъ, эта практическая женщина станетъ бѣгать по улицамъ, въ одной рубашкѣ, и раздирать уши городскихъ обывателей неслыханными воплями. И отчего? Оттого, что мальчишки, которыхъ она, вѣроятно, иначе и не называла, какъ „мерзавцами“ и „паршивыми“, вздумали полоснуть себя ножомъ по горлу. Да ей-то какое дѣло? Она постарается схоронить концы въ воду; она подаритъ, кому слѣдуетъ, сколько будетъ необходимо и потомъ попрежнему будетъ наѣдаться до отвала и, въ случаѣ переполненія желудка, будетъ видѣть во снѣ не одну Ольгу, а цѣлую компанію знакомыхъ мертвецовъ. Велика важность—нечего сказать! Ѳедору Бергу или неизвѣстному поэту, воспѣвавшему въ „Отечественныхъ Запискахъ“ „Слезы кукушки“, позволительно не знать этихъ особенностей человѣческаго организма, а со стороны Щедрина такое незнаніе не только неприлично, но и невѣроятно. Всякій здравомыслящій читатель хорошо понимаетъ, что это игнорированіе такъ же искусственно, какъ и самое чувство, породившее лирическое обращеніе къ землѣ и къ помѣщицѣ. Надъ подобной искусственностью всегда слѣдуетъ смѣяться, и, чѣмъ дороже вамъ тотъ предметъ, по поводу котораго она пускается въ ходъ, тѣмъ громче и рѣзче долженъ быть вашъ карающій смѣхъ, потому что искусственность унижаетъ и опошляетъ все то, къ чему она прикасается.

Но и это еще не все. У читателя давно уже вертится на языкѣ вопросъ: „Да развѣ есть теперь крѣпостные мальчики?“— Нѣтъ, нѣту.—„Такъ какъ же это они себя убивать могутъ?“— Да они убиваютъ себя не теперь, а прежде, давно, во время о́но.—„А если прежде, во время *о́но*, то съ какой же стати повѣствуется объ этомъ событіи теперь, во время *сіе*?“—Не знаю. Должно-быть, Щедринъ позавидовалъ литературной славѣ нашего Вальтеръ-Скотта, графа А. Толстого, описавшаго съ такой наглядностью всѣ кушанья, подававшіяся на столъ Ивана Грознаго? Или онъ хотѣлъ состязаться съ нашимъ Шекспиромъ, Островскимъ, изобразившимъ съ такимъ счастливымъ успѣхомъ Козьму Минина и всѣ его видѣнія? Или онъ боялся, что вновь возстановится крѣпостное право, и пожелалъ противодѣйствовать такому пассажу кроткими мѣрами литературнаго увѣщанія? Или же онъ постарался поразить своимъ перомъ прошедшее, чтобы сдѣлать пріятный и любезный сюрпризъ настоящему? Послѣднее предположеніе кажется мнѣ всего болѣе правдоподобнымъ, потому что всякому жрецу чистаго искусства, должно-быть, чрезвычайно лестно соединить въ своей особѣ блестящую репутацію русскаго Аристофана съ полезными достоинствами современнаго Державина, который, какъ извѣстно, говорилъ истину съ улыбкой самаго обезоруживающаго и обворожительнаго свойства.

Я знаю, что Щедринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, до поры до времени, пользуются сочувствіемъ молодежи, но съ которою у нихъ нѣтъ ничего общаго; мнѣ кажется, что сочувствіе это не обдумано и не провѣрено критическимъ анализомъ: молодежь смѣется, читая Щедрина; молодежь привыкла встрѣчать имя этого писателя на страницахъ лучшаго изъ нашихъ журналовъ и молодежь поддается веселымъ впечатлѣніямъ, потому что ей не приходитъ въ голову отнестись къ этимъ впечатлѣніямъ съ недовѣріемъ и вопросительнымъ знакомъ. Но мнѣ кажется, что вліяніе Щедрина на молодежь можетъ быть только вредно, и на этомъ основаніи я стараюсь разрушить пьедестальчикъ этого маленькаго кумира и произвожу эту отрицательную работу съ особеннымъ усердіемъ, именно потому, что тутъ дѣло идетъ о симпатіяхъ молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатіи, и если онѣ, дѣйствительно, приносятъ молодымъ людямъ только вредъ, то уничтоженіе ихъ и, слѣдовательно,

попытка въ отрицательномъ родѣ будетъ полезнѣе для нашего поколѣнія, чѣмъ самая горячая похвала Базарову и Лопухову и самая ѣдкая полемика противъ Каткова. Такимъ образомъ, разсмотрѣвши отношенія журналистики къ молодежи, я показалъ на этомъ примѣрѣ, какимъ образомъ дѣльное отрицаніе приноситъ обществу гораздо больше пользы, чѣмъ справедливая похвала, воздаваемая существующимъ фактамъ. Щедринъ поступаетъ какъ-разъ наоборотъ.

IV.

Если мы, съ высоты птичьяго полета, бросимъ общій взглядъ на разсказы Щедрина, то намъ придется изумляться бѣдности, мелочности и однообразію ихъ основныхъ мотивовъ. Все вниманіе сатирика направлено на вчерашній день и на переходъ къ нынѣшнему дню; хотя этотъ переходъ совершился очень недавно, но онъ, очевидно, составляетъ для насъ прошедшее, совершенно законченное и имѣющее чисто-историческій интересъ,—а исторію эту писать еще слишкомъ рано, да и совѣмъ это не щедринское дѣло. Конечно, крѣпостное право такъ глубоко отравило всѣ отправленія нашей народной жизни, что тяжелая старина долго еще будетъ давать себя чувствовать въ разныхъ воспоминательныхъ ощущеніяхъ весьма непріятнаго свойства; конечно, и чиновничество долго еще будетъ жить старинными преданіями классической школы, перекроенными и перекрашенными сообразно съ требованіями новѣйшей моды; все это такъ, но всѣ эти отпрыски срубленныхъ деревьевъ надо изучать, именно, въ ихъ теперешнихъ видоизмѣненіяхъ; и чтобы изучать ихъ, нѣтъ никакой необходимости восходить ни къ тѣмъ вѣкамъ, когда деревья стояли на корню, ни къ тѣмъ минутамъ, когда деревья стали трещать подъ топоромъ. Прошедшее—само-по-себѣ, переходъ—самъ-по-себѣ, а настоящее тоже само-по-себѣ. Въ исторіи всѣ эти моменты, разумѣется, связаны между собой и объясняютъ другъ-друга, какъ необходимое сцѣпленіе причинъ и слѣдствій, но опять-таки никому въ голову не приходитъ требовать и ожидать отъ Щедрина исторіи, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мнѣ за охота и за интересъ смѣяться надъ тѣмъ, что не только осмѣяно, но даже уничтожено законодательнымъ распоряженіемъ прави-

тельства. „Довлѣетъ дневи злоба его“ и „пускай мертвецы сами хоронятъ своихъ мертвецовъ“.

Но Щедринъ игнорируетъ это простое требованіе здраваго смысла, и потому почти всѣ дѣйствующія лица его разсказовъ смотрятъ мертвецами, выкопанными изъ могилъ, нарочно для того, чтобы повеселить читателя. Ретрограды, перепуганные зловѣщими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаніями, и, кромѣ того, глуповцы, плюющіе другъ-другу въ лахань, выпивающіе „по-маленькой“ и каждый вечеръ потѣшающіеся „Трефандосами“—вотъ и все содержаніе сатирическихъ разсказовъ. Глуповъ, блаженствующій въ своемъ нетронутомъ спокойствіи, и Глуповъ, только-что взбудораженный слухами о преобразованіяхъ—вотъ и все; а, вѣдь, кажется пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую копну плохой ржи, да и молотить устала.

Щедринъ взялъ изъ Добролюбовскаго „Свистка“ манеру относиться недовѣрчиво къ нашему офиціальному прогрессу; естественный, живой и глубоко-сознательный скептицизмъ Добролюбова превратился у его подражателя въ пустой знакъ, въ кокарду, которую онъ пришпиливаетъ къ своимъ разсказамъ для того, чтобы сообщить имъ колоритъ безукоризненной прогрессивности. Если бы Щедринъ писалъ не разсказы, а научныя или критическія статьи, то эта форменная безукоризненность очень скоро надоѣла бы всѣмъ читателямъ, и Щедринъ не былъ бы метеоромъ, а занялъ бы ту скромную роль, которую занимаетъ, напримѣръ, нашъ почтенный и возлюбленный сотрудникъ, В. П. Поповъ. Тогда онъ поневолѣ былъ бы полезенъ, потому что ему уже нельзя было бы ограничивать свою дѣятельность производствомъ безконечныхъ варіацій на весьма извѣстныя темы. Ему пришлось бы, за неимѣніемъ своихъ оригинальныхъ идей, популяризовать чужія идеи, еще неизвѣстныя русской публикѣ, переводить, извлекать, компилировать, давать не мудрствованія, а дѣйствительные факты. Ему пришлось бы поболѣе читать, а это принесло бы ему немалую пользу, потому что тогда бы онъ не сталъ намъ разсказывать миѳы о Минервѣ и постарался бы поосновательнѣе обдумать вопросъ, отчего эти глуповцы спятъ такимъ глубокимъ сномъ и показываютъ другъ-другу „всевозможныя свѣтила небесныя“. Теперь онъ, повидимому, убѣжденъ въ томъ, что рыться въ глуповскомъ

навозѣ полезно, что *молодое поколѣніе* ради своего умственнаго совершенствованія *должно* внимательно вглядываться въ каждую частичку этого вещества, каждую изъ нихъ должно *осмѣивать* и спасительнымъ смѣхомъ своимъ должно ограждать себя отъ опошленія и отъ возвращенія къ глуповской старинѣ. Если бы Щедринъ не былъ блестящимъ беллетристомъ и если бы, вслѣдствіе этого, онъ былъ принужденъ побольше читать и размышлять, тогда онъ не питалъ бы вышеозначеннаго убѣжденія и понималъ бы нѣкоторыя вещи, которыхъ онъ теперь не понимаетъ и которыя, поэтому, я постараюсь ему объяснить.

Смѣяться надъ безобразіемъ глуповца все равно, что смѣяться надъ уродствомъ калѣки, или надъ дикостью дикаря, или надъ неопытностью ребенка; всѣ эти смѣхи не даютъ рѣшительно ничего ни тому, кто смѣется, ни тому, кого осмѣиваютъ. Смѣяться полезно только надъ идеей, потому что, въ этомъ случаѣ, смѣхъ есть, самъ-по себѣ, новая идея, отрицающая старую и становящаяся на ея мѣстѣ. Осмѣивать идею—значитъ доводить ее до абсурда и показывать, такимъ образомъ, ея несостоятельность, но показывать такъ живо и такъ ясно, чтобъ аргументація не утомляла читающую массу, чтобъ эта аргументація иногда сосредоточивалась вся въ одномъ эпитетѣ, въ одномъ намекѣ, въ одной веселой шуткѣ; такой смѣхъ, дѣйствительно, способенъ выворачивать на изнанку цѣлыя тысячелѣтнія міросозерцанія: стоитъ назвать только два имени: Вольтеръ и Гейне. Не всякій—Вольтеръ и Гейне, но всякій человѣкъ, обладающій свѣтлымъ умомъ и сатирическимъ талантомъ, можетъ и долженъ пристраивать свой смѣхъ туда, гдѣ онъ имѣетъ какой-нибудь смыслъ. А если онъ не умѣетъ этого сдѣлать, то, вѣдь, его никто и не принуждаетъ смѣяться публично. Пусть смѣется надъ глуповскими „Трефандосами“ съ добрыми пріятелями въ тиши своего уютнаго кабинета. Что же касается до огражденія молодежи отъ возвращенія къ старинѣ, то и тутъ смѣхъ Щедрина равняется нулю. Насъ ограждаетъ отъ пошлости не смѣхъ надъ пошлостью, а то внутреннее содержаніе, которое даетъ намъ чтеніе и размышленіе. Чтобы человѣкъ не ѣлъ испорченной пищи, надо дать ему свѣжую пищу; а если вы ему не дадите свѣжей, онъ будетъ ѣсть испорченную, потому что не умирать же ему съ голоду изъ любви къ свѣжести. У насъ есть теперь это

содержаніе, и есть основаніе думать, что оно у насъ съ каждымъ годомъ будетъ увеличиваться; это содержаніе заключается въ изученіи природы и въ изученіи человѣка, какъ послѣдняго звена длинной цѣпи органическихъ существъ.

Наша русская цивилизація находится въ особенно благопріятномъ положеніи для того, чтобы принять въ себя эти обновляющія начала; ей благопріятствуетъ въ этомъ отношеніи именно то обстоятельство, что она находится еще въ колыбели или даже въ утробѣ матери; у ней нѣтъ укоренившихся преданій школы, нѣтъ въ каждомъ городкѣ легіона филистеровъ; нѣтъ фантастической рутины средневѣковой науки; передъ нами лежитъ вся европейская наука: переводи, читай и учись! Не будемъ же мы, въ самомъ дѣлѣ, такими дураками, чтобы брать у другихъ то, что они выкидываютъ за негодностью? Нѣтъ, не будемъ. Это мы доказываемъ каждый день, потому что постоянно переводимъ книги по естественнымъ наукамъ и выбираемъ все, что поновѣе и получше.

Естествознаніе составляетъ въ настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекаетъ молодежь отъ этого дѣла, тотъ вредитъ общественному развитію. И потому еще разъ скажу Щедрину: пусть читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣньѣ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ. А Глуповъ давно пора бросить.

Д. И. Писаревъ.

Господинъ Щедринъ, или расколъ въ нигилистахъ [1]).

*) У насъ, въ литературномъ и преимущественно въ журнальномъ мірѣ, случаются цѣлыя катастрофы, даже почти романы. Вотъ, напримѣръ, недавно, очень недавно, случилась странная кутерьма. „Русское Слово“, органъ неумѣренныхъ нигилистовъ, напалъ на „Современникъ“, органъ умѣренныхъ нигилистовъ. Съ горечью попрекнуло „Русское Слово“ „Современникъ“. Изъ этихъ попрековъ усматривается, что „Современникъ“ теперь уже не современникъ, а ретроградъ, потому что позволилъ г. Щедрину, своему сотруднику, писать о мальчишкахъ, о какихъ-то „вислоухихъ“, о ничего не понимающихъ и все портящихъ, о какомъ-то „Засиживаньи“ и, наконецъ, о ужасъ! чуть ли не объ эстетикѣ. Ясное дѣло, что „Современникъ“—ретроградъ. „И это въ томъ органѣ, гдѣ писали Бѣлинскій и Добролюбовъ!“ Ужасъ! ужасъ! такъ-что „Современникъ“, говорятъ, даже и струсилъ, до того струсилъ, что запретилъ, будто бы, г. Щедрину вести дальнѣйшую полемику съ „Русскимъ Словомъ“ и, такъ-сказать, посягнулъ на свободу „пера“. Все это не болѣе какъ слухи, но эти слухи тѣмъ болѣе усилились, что въ апрѣльской книгѣ „Современника“ г. Щедринъ, очевидно, стушовывается. Наконецъ, пошли слухи еще болѣе потрясающіе: стали гово-

---

[1]) „Эпоха“, 1864 г., 5 кн.

*) „Эпоху“ издавалъ Достоевскій. Этотъ журналъ замѣнилъ „Время“, издававшееся тоже Достоевскимъ съ 1861 г. по 1863 г. Направленіе этихъ журн. опредѣляется сотрудничествомъ такихъ лицъ, какъ Страховъ, Ап. Григорьевъ, Аверкіевъ и т. д. Это былъ не то славянофильскій, не то западническій органъ, проповѣдывавшій какую-то *„почву“*, сбивчивую и неопредѣленную для самихъ проповѣдниковъ. „Мы оторвались отъ своей почвы“, „намъ слѣдуетъ искать своей почвы“, вотъ тотъ обычный припѣвъ, который раздавался на страницахъ „Эпохи“ и „Времени“. Журналъ шелъ плохо и, благодаря ему, Достоевскій надѣлалъ долговъ.

Прим. Н. Денисюка.

рить, что г. Щедринъ разрубленъ пополамъ г. Зайцевымъ *) на двѣ особыя половинки... Потомъ пронесся еще одинъ потрясающій слухъ: что въ обѣихъ половинкахъ г. Щедрина пробудилось чувство литературнаго достоинства; что онъ не хочетъ стѣснять и продавать редакціи свое право имѣть и выражать свои убѣжденія; что онъ оставляетъ редакцію; что онъ, будто бы, разссорился съ „Современникомъ"; что онъ соединяется съ какимъ-то постороннимъ сатирикомъ и ѣдетъ въ Москву издавать тамъ свой собственный сатирическій органъ, что остановка только за тѣмъ, гдѣ достать направленіе, а какъ только достанутъ они направленіе, то тотчасъ же и уѣдутъ изъ Петербурга въ Москву. И вдругъ, о диво! вышелъ майскій № „Современника", и г. Щедринъ опять тамъ—правда, унылый, немного встревоженный, немного не по себѣ, и ужъ объ „Русскомъ Словѣ" ни полслова, нини-ни; но зато все-таки г. Щедринъ въ „Современникѣ". Подписи нѣтъ, но въ нѣкоторыхъ статейкахъ *Греческій человѣкъ Трефандосъ* выглядываетъ изъ-за каждой строки, каждая мысль пахнетъ *фиками*,—какъ же не г. Щедринъ? Итакъ, что же все это? Что же означали всѣ эти слухи? Выходитъ теперь, что или „Современникъ" рѣшается быть ретроградомъ, продолжая удерживать у себя г. Щедрина, или г. Щедринъ раскаялся и далъ редакціи слово быть послушнымъ и больше не баловаться. Одно изъ двухъ непремѣнно было. Дѣйствительно, въ послѣднее время г. Щедринъ (и Богъ знаетъ съ чего) вздумалъ выражать въ „Современникѣ" такія убѣжденія, которыя прямо и буквально противорѣчатъ самымъ основнымъ убѣжденіямъ послѣднихъ годовъ „Современника", и немудрено, что „Русское Слово" даже стыдитъ г. Щедринымъ „Современникъ". Мало того,— „Русское Слово" теперь утверждаетъ, что г. Щедринъ выражаетъ вовсе не убѣжденія, а испускаетъ „какую-то желтую жидкость". Слѣдственно, если г. Щедринъ все еще въ „Современникѣ", то онъ непремѣнно просилъ пардону, иначе какъ же бы могъ онъ остаться. Вѣдь, не можетъ же быть, чтобы „Современникъ", дѣйствительно, захотѣлъ противорѣчить всему тому, о чемъ проповѣдывалъ въ послѣдніе годы,

*) Варѳ. Александр. Зайцевъ — одинъ изъ ярыхъ представителей общественно-литературнаго движенія 60-хъ годовъ, единомышленникъ и товарищъ Писарева по журналу „Русское Слово". *Прим. Н. Д.*

и—по ихъ понятіямъ—„сретроградничать“? Или, можетъ-быть, просто-на-просто, „Современникъ“, утративъ всѣхъ своихъ главныхъ сотрудниковъ, самъ теперь не вѣдаетъ, что́ творитъ? И это вѣроятно. Во всякомъ случаѣ, все это очень интересно. Чтобы разрѣшить какъ-нибудь этотъ „вопросъ“, надо бы, по-настоящему, бросить серіозный взглядъ на весь ансамбль этой повѣсти и, изъ любви къ русской литературѣ, прослѣдить все сначала. Но, признаемся, несмотря на всю нашу привязанность къ русской литературѣ, мы бы никакъ не рѣшились на такой скучный подвигъ, какъ вдругъ въ нашъ „портфель редакціи“ поступила одна рукопись,—романъ, въ которомъ, какъ нарочно, изображено нѣчто аналогическое... Эти „современные“ романы ужасно распространяются. Поступившая рукопись—произведеніе одного начинающаго пера, очевидно, имѣющее иносказательный смыслъ. Страшимся сказать, но думаемъ, что молодой романистъ въ своемъ произведеніи имѣлъ въ виду едва ли не „Современникъ“ — журналъ, въ который, повидимому, перешли всѣ *Трефандосы* и *фики* г. Щедрина изъ *Губернскихъ Очерковъ*. Вотъ нѣсколько главъ изъ этого новаго „Опыта о новыхъ хлыщахъ“.

Отрывокъ изъ романа „Щедродаровъ“.

I.

Щедродаровъ вступаетъ въ журналъ „Своевременный“, въ качествѣ соредактора.

...Итакъ, Щедродарова [1]) взяли и сдѣлали соредакторомъ „Своевременнаго“. Произошло это назадъ тому года полтора. Щедродаровъ еще гулялъ на волѣ и безпечно наслаждался жизнью, но въ „Своевременномъ“ произошли безпорядки. Старые, капитальные сотрудники исчезли: Правдолюбовъ [2]) скончался; остальные не оказались въ наличности. Редакція и ближайшіе сотрудники тотчасъ же собрались для разсужденій. Можетъ-быть, даже они усѣлись при этомъ въ кружокъ на стульяхъ, но, во избѣжаніе личностей, не будемъ упоминать о такихъ пустякахъ.

[1]) Щедринъ.

[2]) Добролюбовъ.

— Наше дѣло плохо,—началъ одинъ изъ редакторовъ.—Вы знаете, господа, что Правдолюбовъ скончался, что другіе... [1])

— Еще бы не знать,—отвѣчали хоромъ.

— Къ дѣлу! Мы остались одни. Этого мало. Къ тому же мало изъ насъ литераторовъ. На первый случай, разумѣется, мы станемъ зады твердить...

— Зады твердить! Зады твердить!—раздалось опять хоромъ.

— Но задовъ хватитъ не надолго. Жизнь идетъ. Являются новые вопросы, новые факты. Объ нихъ нужно будетъ говорить и намъ; а безъ прежнихъ главныхъ сотрудниковъ мы можемъ дать маху. Что дѣлать?

— Во-первыхъ, напечатать романъ „Что дѣлать!“,—отвѣчали сотрудники.

— Это само собой, но далѣе?

— А далѣе я придумалъ очень хорошую вещь,—рѣшилъ одинъ изъ компаніи.—Когда насъ кто-нибудь припретъ къ стѣнѣ, и, вообще, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда потребуется дать мнѣніе точное и положительное, мы тотчасъ же объявимъ, что все объяснится, „когда наступятъ новыя экономическія отношенія“; затѣмъ нѣсколько точекъ, и дѣло въ шляпѣ. Этого хватитъ года на полтора даже на два.

— Гм... Милая идейка, тѣмъ болѣе, что ее можно употреблять рѣшительно во всякомъ случаѣ. Я васъ спрашиваю: что не зависитъ отъ экономическихъ отношеній? Такимъ образомъ, самая банальная идея приметъ видъ какъ-будто настоящей идеи. И даже, чѣмъ чаще ее повторять, тѣмъ больше она въ глазахъ неучей получитъ значенія и тѣмъ самымъ избавитъ насъ отъ обязанности дѣлать дѣло. Но мнѣ кажется, что и этого мало...

— Мало, мало!..

— Видите ли, господа. Въ нашемъ журнальномъ дѣлѣ кто сидитъ и молчитъ, не огрызается и самъ не нападаетъ, тотъ всегда кажется большинству подписчиковъ и несиленъ и неуменъ, хотя бы онъ пресовѣстливо занимался дѣломъ и понималъ дѣло лучше, чѣмъ всякій другой. Кто же нападаетъ первый, лаетъ и кусается; кто нагло и нахально не отвѣчаетъ на самые точные запросы, а прямо плюетъ на нихъ, свиститъ, карикатуритъ и бросается самъ всѣхъ ругать, хотя бы и безъ разбора, тотъ въ глазахъ

[1]) Намекъ на ссылку въ Сибирь Чернышевскаго.

рутины и большинства всегда кажется сильнымъ и себѣ-на-умѣ. Такъ поступимъ и мы, тѣмъ болѣе, что мы очень часто такъ поступали и прежде. И потому намъ теперь надо—шавку, шавку лающую и кусающуюся. Надѣюсь, вы понимаете, господа, что я употребляю слово *шавка* въ самомъ благороднѣйшемъ, въ самомъ высшемъ литературномъ значеніи. Да и чѣмъ шавка хуже какихъ бы то ни было звѣрей или птицъ? Важна тутъ, собственно, не шавка, а шавочныя свойства ея. Мы только цыкнемъ: „усь-усь!"—и пріобрѣтенная нами шавка должна бросать все, срываться съ мѣста, летѣть, впиваться, въ кого ей укажутъ, и теребить до тѣхъ поръ, пока ей не крикнутъ: „ісі!" Разумѣется, чѣмъ меньше будетъ у нашей шавки идей,—тѣмъ лучше. Зато, у ней должна быть игра, перо, злость, безпримѣрное тщеславіе и... и... говоря литературнымъ языкомъ,—невинность, чтобъ она ни о чемъ не догадывалась. Мнѣ кажется, что г. Щедродаровъ, извѣстный нашъ юмористъ и сатирикъ, если бъ его пригласить въ составъ редакціи, могъ бы въ этомъ духѣ успѣшно служить намъ постояннымъ сотрудникомъ...

— Такъ, такъ!—закричали всѣ; но всталъ оппонентъ.

— Я согласенъ,—сказалъ онъ,—что у Щедродарова своихъ идей нѣтъ, и что это довольно значительное преимущество. Согласенъ тоже, что онъ тщеславенъ. Но, кромѣ этихъ двухъ его преимуществъ, что въ немъ еще? Вѣдь, у него только *Трефандосы* да *фики*. Только этимъ и пробавляется!

— Правда,—возразили оппоненту,—но у него игра, у него словечки, онъ вертлявъ, у него совершенно безпредметная и безпричинная злость, злость для злости—нѣчто въ родѣ искусства для искусства. Злость, въ которой онъ и самъ ничего не понимаетъ. А это-то всего драгоцѣннѣе... Стоитъ только направить эту злость, и онъ будетъ кусать все, что ему ни укажутъ, потому что ему только бы кусать. Прочтите, г. оппонентъ, о немъ статью г. Скрибова [1]), которая явится черезъ полтора года въ журналѣ „Заграничное Слово". Тамъ довольно удачно его оцѣняютъ, какъ юмориста, и укажутъ на *Трефандосовъ* и *фики*. Но эти-то недостатки мы и употребимъ въ свою пользу. Трефандосы—пошлость, это извѣстно, но зато они всѣмъ по-плечу. Это рутинно, но рутинный успѣхъ хоть и коротокъ, хоть скоро проходитъ, но зато

[1]) Писаревъ.

скоро распространяется, а Щедродаровъ намъ всего-то на два, на три года и нуженъ. Наконецъ, если бъ Щедродаровъ былъ поумнѣе, что жъ бы мы съ нимъ тогда стали дѣлать? Онъ сталъ бы разсуждать и не слушаться. А главное и конецъ концовъ, у него, сколько я вижу по его сочиненіямъ, гражданскаго чувства ни капли. Ему, кромѣ себя, все равно, а, слѣдовательно,—только польстить его тщеславіе, и онъ на все будетъ согласенъ...

— Польстить, но не очень,—раздался одинъ голосъ.— Строгость не мѣшаетъ.

— О, конечно, строгость, и даже усиленная. Но онъ уже тѣмъ однимъ плѣненъ будетъ, что станетъ членомъ редакціи. Итакъ, рѣшено или нѣтъ?

— Позвольте, непредвидѣнный случай! А что если онъ, наконецъ, поймете, и въ немъ возбудится чувство литературнаго достоинства?

— Гм... Ну, это мы еще посмотримъ...

— И, наконецъ, какъ вы скажете ему: „Ты шавка и, слѣдовательно, лай!“ Мнѣ кажется, это даже нелитературно.

— О, это вздоръ, на все есть свои словечки. Можно, напримѣръ, не говорить: „Лайте!“, а можно сказать: „Издавайте звуки“, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Не безпокойтесь, поймете, тѣмъ болѣе что ему самому только того и надо... Итакъ, рѣшено или нѣтъ?

— Рѣшено, рѣшено!

И вотъ, такимъ-то образомъ и поступилъ Щедродаровъ въ редакцію „Своевременнаго“.

II.

Условія.

Принятъ былъ Щедродаровъ на тяжкихъ условіяхъ, но такъ какъ онъ былъ ужасно радъ, то и не замѣтилъ ихъ, бѣдняжка! Даже едва прослушалъ, врядъ ли понялъ. Явился онъ въ редакцію, охорашиваясь, и ему тотчасъ же, въ общемъ собраніи, были предложены всѣ эти пункты. Вотъ изъ нихъ нѣкоторые:

Пунктъ первый. Молодое перо! Знайте, что вы пришли сюда—издавать звуки. Городъ „Пуповъ“ [1]) пора бросить. Всѣ

[1]) Глуповъ.

эти *Трефандосы*—вздоръ. Вы, конечно, можете наполнять ими и теперь нашъ отдѣлъ беллетристики, но тѣмъ не менѣе вы должны стремиться къ другому, высшему идеалу, а именно: популяризировать естественныя науки, излагая ихъ въ видѣ повѣстей и разсказовъ. Это высшая цѣль для всякаго художника и поэта. Но это со временемъ, а покамѣстъ только издавайте звуки. Замѣтьте, я не говорю вамъ: „Лайте", потому что это выраженіе не литературное, а говорю: „Издавайте звуки". Надѣюсь, вы понимаете, что оно значитъ?

— Еще бы-съ,—отвѣчалъ Щедродаровъ и пріосанился. Членъ редакціи обвелъ все собраніе внушающимъ взглядомъ: „Говорилъ, вѣдь, что поймете!"

Пунктъ второй. Молодое перо! Отселѣ вы должны усвоить себѣ нашу тактику и слѣдовать ей безусловно: вы должны почитать, приказывать и защищать всѣхъ тѣхъ, которые заявляютъ себя прогрессистами. Даже если бъ они того и не стоили, даже если бъ они были изъ второго класса гимназіи, даже если бъ они на дѣлѣ просто безобразничали; но если только они заявили уже себя передъ публикой хотя бы только четырьмя прогрессивными строчками или два года сряду пробавлялись какими-нибудь двумя, хоть такими, напримѣръ, стишонками:

Вѣкъ и Вѣкъ и Левъ Камбекъ,
Левъ Камбекъ и Вѣкъ и Вѣкъ [1]),

то знайте, что они для васъ священны. И если бъ даже они изъ мѣры вонъ забезобразничались или заврались—все равно, вы должны, если ужъ нельзя ихъ хвалить, то просто молчать о нихъ и отнюдь не издавать на нихъ звуковъ. Если кто-нибудь изъ нихъ напишетъ въ стихахъ или прозѣ о „Гражданской слезѣ" и заявитъ объ этомъ публично, то такой уже долженъ быть для васъ, во всякомъ случаѣ, неприкосновененъ. И хотя бы такой передъ вами явился даже...

— Даже въ пьяномъ видѣ,—перебилъ Щедродаровъ съ юморомъ, такъ и ожидая, что вотъ всѣ покатятся со смѣху, какъ отъ *фиковъ*, и тотчасъ же похвалятъ его за веселость. Но онъ разсчитывалъ безъ хозяина. Это былъ народъ угрюмый, котораго не проймешь юмористикой. Прерванный ораторъ нахмурился и внятно, раздѣльно и строго произнесъ:

---

[1]) Вѣкъ—журналъ, Л. Камбекъ—журналистъ того времени.

— Да-же въ пья-номъ ви-дѣ-съ.

Щедродаровъ струсилъ.

Пунктъ третій. Молодое перо! Вамъ предстоитъ участвовать въ отдѣлѣ критики; итакъ, внушите себѣ за правило, что яблоко натуральное лучше яблока нарисованнаго, тѣмъ болѣе что яблоко натуральное можно съѣсть, а яблоко нарисованное нельзя съѣсть. Слѣдственно, искусство—вздоръ, роскошь и можетъ служить только для забавы дѣтей. Эта, громадная въ простотѣ своей, „новая идея“ должна замѣнить вамъ отселѣ всѣ курсы эстетики и сразу поставить васъ на надлежащую точку при оцѣнкѣ всѣхъ, такъ-называемыхъ „художественныхъ произведеній“. Поняли?

Но Щедродаровъ до того подобрѣлъ отъ радости, а, съ другой стороны, до того началъ трусить, что не посмѣлъ ничего сказать противъ, даже, того, что, во-1-хъ, яблоко натуральное и яблоко нарисованное—два совершенно разнородные предмета, которые никоимъ образомъ нельзя сравнивать; а, во-2-хъ, что, положимъ, яблоко натуральное ѣдятъ, но яблоко нарисованное для того именно и нарисовано, чтобы на него *смотрѣть*, а не ѣсть. Что нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, всего съѣсть, что ни есть на свѣтѣ, и нельзя же ограничить полезность предметовъ и произведеній одною съѣдобностью. Но Щедродаровъ смолчалъ по причинамъ, вышеизложеннымъ.

Пунктъ четвертый. Молодое перо! Отселѣ вы должны себѣ взять за правило, что сапоги, во всякомъ случаѣ, лучше Пушкина, потому что безъ Пушкина очень можно обойтись а безъ сапоговъ никакъ нельзя обойтись, а, слѣдственно, Пушкинъ—роскошь и вздоръ. Поняли?

Но Щедродаровъ опять смолчалъ. Онъ не рѣшился даже справиться: какъ смотрѣть на Пушкина, напримѣръ, хоть тѣмъ, у которыхъ уже есть сапоги?

— Равномѣрно вздоръ и Гомеръ, и Александръ Дюма, и всѣ прочіе, потому что у Гомера бездна предразсудковъ, есть привидѣнія, и онъ вѣритъ въ чудеса и боговъ, а, слѣдственно можетъ заразить этими предразсудками юношество, такъ-что просвѣщенный Курочкинъ [1]), уничтожающій предразсудки, несравненно и во всякомъ случаѣ выше непросвѣщеннаго Гомера. Островскаго можно печатать единственно потому, что онъ обличилъ московскихъ купцовъ; другого же достоин-

[1]) Извѣстный поэтъ и переводчикъ Беранже.

ства въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго; развѣ то, что онъ *имя*, а потому и можно еще напечатать „Минина“, но единственно въ подписные мѣсяцы.

— Вздоръ и роскошь даже самъ Шекспиръ, потому что у этого даже вѣдьмы являются, а вѣдьмы—уже послѣдняя степень ретроградства и особенно вредны для русскаго юношества, которое и безъ Шекспира заражается вѣдьмами еще отъ нянекъ. Но замѣтьте себѣ, молодое перо! О Шекспирѣ можно и погодить, а, слѣдственно, и не издавать звуковъ, единственно потому, что (и чортъ знаетъ зачѣмъ!) вздумалось похвалить его Бюхнеру въ „Stoff und Kraft“ [1]), а такъ какъ надобно стоять за всѣхъ прогрессистовъ, а тѣмъ паче за Бюхнера, то Шекспира можно и пощадить, конечно, до времени.

— Но все это такъ ничтожно,—прибавилъ ораторъ,—что я не дѣлаю объ этомъ особаго пункта, а причисляю прямо къ четвертому, т.-е. къ пункту о сапогахъ и о Пушкинѣ.

Пунктъ пятый. Молодое перо! Вамъ укажутъ пять „умныхъ книжекъ“, которыя вы непремѣнно должны прочесть, чтобы намъ уподобиться. Этакъ черезъ полгода вы непремѣнно должны будете сдать экзаменъ въ прочитанномъ, въ присутствіи всѣхъ членовъ редакціи и главнѣйшихъ сотрудниковъ.

Пунктъ шестой. Молодое перо! Вамъ надо проникнуться капитальнѣйшею мыслью нашего направленія, а именно: для счастія всего человѣчества, равно какъ и отдѣльно для каждаго человѣка, прежде всего и важнѣе всего должно быть—брюхо, иначе—животъ. Что вы смѣетесь, милостивый государь?

Щедродаровъ тотчасъ же завилялъ и объявилъ, что онъ вовсе не смѣялся.

— Я вспомнилъ-съ только про „пупъ земли“, въ который такъ безсмысленно вѣритъ народъ, зараженный пагубными предразсудками-съ,—пробормоталъ онъ въ надеждѣ разсмѣшить и, такимъ образомъ, перемѣнить гнѣвъ на милость. Но опять не удалось.

— „Пупъ земли!“ Милостивый государь!—возвысилъ го-

[1]) Людвикъ Бюхнеръ—знаменитый естествоиспытатель и писатель. Сочиненіе (*Kraft und Stoff*), гдѣ онъ проповѣдуетъ матеріализмъ, вызвало горячую литературную борьбу, перешедшую и въ Россію благодаря, главнымъ образомъ, Писареву. *Прим. Н. Д.*

лось ораторъ,—и вы смѣете ставить вашъ безсмысленный „пупъ земли“ рядомъ съ величайшею экономической идеей нашего времени, рядомъ съ послѣднимъ словомъ реальныхъ и соціальныхъ наукъ! Знайте же, что брюхо—это все, а все прочее, почти безъ исключенія,—роскошь и даже безполезная роскошь! Къ чему политика, къ чему національности, къ чему безсмысленныя почвы, къ чему искусства, къ чему даже наука—если не сыто брюхо? Набейте животъ, и все остальное найдется само собою, а если и не найдется, такъ опять-таки все равно, потому что все остальное—роскошь и безполезность. Муравьи, ничтожные муравьи, соединясь для самосохраненія, то-есть для брюха, къ стыду людей умѣли изобрѣсти муравейникъ, т.-е. самый высочайшій идеалъ соціальнаго устройства, который только можно представить себѣ. Напротивъ,—что сдѣлали люди? Девять десятыхъ людей на всемъ земномъ шарѣ постоянно ходятъ несытые! Отчего это? Оттого что люди глупы, не умѣютъ разглядѣть, въ чемъ ихъ настоящая выгода, бросаются за погремушками, за какими-то искусствами, за безполезнымъ, коснѣютъ въ предразсудкахъ, живутъ сами по себѣ, наобумъ, по своей волѣ, а не по умнымъ книжкамъ, и, такимъ образомъ, бѣдны, разъединены и не умѣютъ ничего предпринять. Но достигните только того, чтобъ всѣ были сыты, т.-е. перваго шага, и человѣчество схватитъ луну за рога, если ужъ такъ очень понадобится. Понимаете?

Щедродаровъ хотѣлъ, было, возразить, что, конечно, было бы очень полезно сначала обезпечить себѣ брюхо, а потомъ уже до всего дойти; но что съ этакой идеей можно, пожалуй, тысячу лѣтъ простоять на одной точкѣ желаній и гнѣва, не достигнувъ ни малѣйшаго практическаго результата, а, напротивъ, просмотрѣвъ жизнь и все перепортивъ. Хотѣлъ онъ тоже прибавить, что, можетъ-быть, это вовсе не такъ легко, какъ кажется, и что, можетъ-быть, схватить луну за рога гораздо легче, чѣмъ предварительнымъ и преднамѣреннымъ параличомъ всѣхъ остальныхъ способностей человѣка достигнуть повсемѣстно сытаго брюха; но Щедродаровъ былъ уже такъ утомленъ и испуганъ, а, сверхъ того, онъ былъ такъ мало устроенъ для подобныхъ отвѣтовъ, что смиренно молчалъ, въ надеждѣ, что тотъ скоро кончитъ.

— И потому,—продолжалъ ораторъ,—если, на случай, при-

дется вамъ писать, напримѣръ, политическую статью, положимъ, хоть о славянскомъ вопросѣ, то вы прямо напишите, что „День“ [1]) порётъ вздоръ; что стоны славянъ и желаніе ихъ освободиться отъ австрійцевъ и турокъ, тоже вздоръ; что такія желанія—роскошь и даже непозволительная; что славянамъ совершенно должно быть все равно: сами ль они по себѣ, аль подъ австрійцами и подъ турками, потому именно, что прежде всего имъ надо думать о брюхѣ, а потомъ развѣ уже прогнать и турокъ, но не иначе, какъ въ видѣ роскоши. Понимаете?

Равномѣрно, если человѣкъ скажетъ вамъ: „Я хочу мыслить; я мучусь неразрѣшенными вѣковѣчными вопросами; я хочу любить; я тоскую по тому, во что вѣрить; я ищу нравственнаго идеала; я люблю искусство, или что-нибудь въ этомъ родѣ“,—отвѣчайте ему немедленно, рѣшительно и смѣло, что все это вздоръ, метафизика, что все это роскошь, дѣтскія грезы, ненужности; что прежде всего надо—брюхо; и что, наконецъ, если ужъ очень у этого человѣка зачешется, то порекомендуйте ему взять ножницы и обстричь себѣ зачесавшееся мѣсто. Танцовать хочу—ноги стриги; рисовать хочу—руки стриги. Тоскую, мечтать хочу—голову прочь. Брюхо, брюхо и одно брюхо,—вотъ, милостивый государь, великое убѣжденіе! Понимаете ли, молодое перо?

Молодое перо хотѣло, было, замѣтить, что если обстричь все остальное, такъ, вѣдь, оставшееся одно брюхо будетъ, пожалуй, и мертвое. Но онъ этого не замѣтилъ, потому что не могъ замѣтить, а не могъ потому, что голова его вовсе не такъ была устроена, чтобъ объ этомъ думать. И потому онъ только хлопалъ глазами и ужасно скучалъ.

— Я по лицу вашему вижу, что вы не совсѣмъ меня поняли,—замѣтилъ ораторъ.—Вы еще вѣтрены; прочтете пять умныхъ книжекъ, сдадите экзаменъ и тогда—посмотримъ.

— У меня еще нѣтъ своихъ мыслей,—смиренно поддакнулъ Щедродаровъ.

— Знаемъ. Но у васъ игра, у васъ перо; и если пять умныхъ книжекъ вамъ пойдутъ впрокъ, то вы будете издавать хорошіе звуки. Мы на васъ надѣемся. А городъ

---

[1]) Еженедѣльная славянофильская газета, редактировавшаяся И. С. Аксаковымъ. *Прим. Н. Д.*

„Пуповъ“ надо непремѣнно бросить. *Трефандосы* и *фики* — вздоръ-съ...

Щедродарова покоробило: вѣдь, и онъ былъ самолюбивъ.

— У меня не одни *Трефандосы* и *фики*, — проговорилъ онъ съ скромною сдержанностью.—У меня въ одномъ мѣстѣ есть, что „стряпчій городничему животъ укусилъ“.

— Какъ? Неужели? гдѣ же это?—спросилъ съ пріятнымъ удивленіемъ ораторъ.

— Въ такой-то и такой-то повѣсти,—отвѣтилъ Щедродаровъ, повеселѣвъ и охорашиваясь, какъ живчикъ.

— Ну... это, конечно, что-нибудь; но, вѣдь, это еще далеко не все.

— Неужели-съ? а, вѣдь, я думалъ, что ужъ и все,— искренно отвѣчалъ Щедродаровъ, ужасно и немедленно подобрѣвъ отъ похвалы.

— То-то и есть, молодой человѣкъ,—напутствовалъ его ораторъ внушительно.—Идите же; возьмите съ собой выданныя вамъ умныя книжки и—съ Богомъ, издавайте звуки. Такъ, стряпчій городничему... Какъ это у васъ тамъ: животъ укусилъ?

— Животъ-съ.

— Мнѣ именно нравится, что животъ. Напоминаетъ нашу теорію. Разница въ томъ, что мы хотимъ не укусить животъ, а насытить. Конечно, и у васъ проведена въ этомъ новая идея, но это еще не все... Итакъ, съ Богомъ! Я вижу, вы устали... Идите и издавайте звуки.

III.

Бунтъ Щедродарова.

Щедродаровъ издавалъ звуки почти слишкомъ годъ. И на кого онъ не издавалъ звуковъ! Въ невинномъ усердіи своемъ онъ доходилъ до того, что бросался на людей безъ причины, ни за что, а такъ, чтобъ исполнить долгъ юмористики. Иногда его хвалили и гладили по головкѣ. Въ „Своевременномъ“ чувствовали, что онъ можетъ приносить своего рода плодъ: рутинные читатели, которые готовы смѣяться даже сто разъ сряду повторяемымъ *фикамъ* (а таковыхъ огромное число), были удовлетворены. Чего же болѣе? Къ тому же Щедродаровъ, между дѣйствительно

талантливыми вещами, могъ писать иногда по цѣлымъ листамъ юмористики, въ которыхъ ни редакція, ни читатели, ни самъ онъ не понимали ни шиша, но въ которыхъ какъ-будто намекалось на что-то такое таинственное, умное и себѣ-на-умѣ, однимъ словомъ, въ духѣ редакціи, такъ-что простодушный читатель бывалъ очарованъ и говорилъ про-себя: „Вотъ оно что!“ Это правда, что у него не было ни малѣйшаго гражданскаго чувства и потому онъ безъ зазору лаялъ, глумился и срамилъ самыхъ честнѣйшихъ и толковыхъ людей, на ряду съ паскуднѣйшими: была бы только юмористика. Въ сущности, это былъ поклонникъ искусства для искусства, юмористики для юмористики. Былъ бы только *трефандосъ*, а къ какому онъ относится—все равно.

Но проходило время, онъ читалъ, и невольно идеи стали заходить въ неозабоченную до сихъ поръ вопросами его голову. Прочитывая по обязанности то, надъ чѣмъ ему предписано было смѣяться, онъ невольно просвѣщался, и невольно новый свѣтъ началъ озарять его. Правда, не надолго; но мало-по-малу начало въ немъ пробуждаться что-то въ родѣ сознанія. Не скажу, чтобы появлялись въ немъ признаки гражданскаго чувства: легкомысліе и оскорбленное постоянно тщеславіе сдѣлали то, что на завтра же онъ, по обязанности, „издавалъ звукъ“ на то самое, съ чѣмъ сегодня мысленно былъ согласенъ. Вообще, въ немъ началось безпокойство. Ему захотѣлось что-то сказать, что-то выразить.—Куда и во что онъ ни кидался! Самыя разнородныя, самыя противорѣчащія мнѣнія и даже теоріи сходили съ его пера, и если бъ публика не принимала всего этого сплошь за „юмористику“, то была бы иногда очень удивлена. Что же касается до редакціи, то она на него надѣялась и подъ конецъ не очень ввязывалась въ издаваніе звуковъ. Она слышала „звуки“ и была покойна. Когда же Щедродаровъ ужъ такъ путался, что самъ терялъ свою голову, то выбѣгалъ передъ публикой и откалывалъ штучку. Публика смѣялась, ему это льстило, и, какъ натура художественная, мигомъ успокоивался. Но счастіе недолговѣчно. Не столько новыя идеи, которыя отрывками забрели въ его голову, сколько зависть къ фельетонисту Кроличкову [1]) въ „Заграничномъ Словѣ“ возбудили его тщеславіе. Тогда-то

[1]) Зайцевъ.

онъ и махнулъ въ „Своевременномъ“ знаменитыя свои статьи о мальчишкахъ и о засиживателяхъ новыхъ идей, что́ прямо противорѣчило второму пункту условій, по которымъ онъ былъ принятъ въ „Своевременномъ“.

Съ яростью возстали Скрибовъ и Кроличковъ и побѣдоносно уличили „Своевременнаго“ въ ретроградствѣ; поднялись трусъ и суматоха въ редакціи „Своевременнаго“. Редакторы сбѣжались и смотрѣли такъ, какъ-будто въ домѣ горитъ. Тотчасъ же потребовали Щедродарова. Но тотъ уже приготовился. Онъ вошелъ независимо; на челѣ его блистала эмансипація; онъ всталъ въ дверяхъ, опершись о косякъ рукою, а глаза скосилъ въ окно, какъ-будто совершенно не его дѣло и смотрѣть не стоитъ. Въ ужасѣ переглянулись между собою редакторы.

IV.

Трагедія въ стаканѣ воды.

— Что вы сдѣлали! что вы сдѣлали, несчастный!—накинулись на него хоромъ редакція и сотрудники.

— Что я сдѣлалъ? Ничего я не сдѣлалъ,—отвѣчалъ Щедродаровъ. „Не испугаешь, дескать, теперь“.

— Какъ ничего! Мы за вами въ послѣднее время не смотрѣли, а вы что тутъ напороли?

— Ничего не напоролъ. Значитъ, у меня теперь свои мысли явились, вотъ и все.

— Но, несчастный, у васъ нѣтъ мыслей, у васъ никогда не было своихъ мыслей. Мы васъ и брали съ тѣмъ, чтобы у васъ не было никакихъ своихъ мыслей, а чтобъ вы только издавали звуки, а вы...

— А вотъ теперь у меня и явились и свои мысли. Que biantre! У „Дня“ свои мысли, даже „Голосъ“ увѣряетъ, что у него свои собственныя мысли, почему же у меня не можетъ быть своихъ мыслей?

— Но, несчастный, это уже другой вопросъ—почему? И откуда, откуда у васъ теперь могли завестись свои мысли? Вы взяли ихъ изъ „Времени“! Смотрите, смотрите, читайте: вотъ „Заграничное Слово“. Тутъ выписана тирада, изъ „Времени“ 62-го года, противъ мальчишекъ. Слушайте:

„Но мы ненавидимъ пустыхъ, безмозглыхъ крикуновъ, позорящихъ все, до чего они ни дотронутся, марающихъ иную чистую, честную идею уже однимъ тѣмъ, что они въ ней участвуютъ; свистуновъ, свистящихъ изъ хлѣба и только для того, чтобы свистать, выѣзжающихъ верхомъ на чужой, украденной фразѣ, какъ верхомъ на палочкѣ, и подхлестывающихъ себя маленькимъ кнутикомъ рутиннаго либерализма".

— Слышали? Знайте же, несчастный, что „Заграничное Слово" прямо говоритъ, что вы это взяли изъ „Времени", что у васъ разительное сходство во всемъ, даже въ выраженіяхъ. Слушайте: вотъ ваша юмористика по тому же поводу:

„Но, безъ сомнѣнія, всего болѣе способствуютъ заблужденію публики нѣкоторые вислоухіе и юродствующіе, которые съ ухарскою развязностью прикомандировываютъ себя къ дѣлу, дѣлаемому молодымъ поколѣніемъ... Однимъ своимъ участіемъ они дѣлаютъ неузнаваемымъ всякое дѣло, до котораго прикасаются, подобно тому какъ мухи лѣтомъ въ одну минуту засиживаютъ какую-угодно вещь, хотя бы самую драгоцѣнную... Нѣтъ мысли, которой наши вислоухіе не обезславили бы, нѣтъ дѣла, котораго они не засидѣли бы".

— Какъ же не изъ „Времени"? даже выраженія сходныя!

— Ну, что жъ что изъ „Времени", —отвѣчалъ въ свою очередь пикированный Щедродаровъ.—Я, дѣйствительно, признаюсь, что я эту мысль заимствовалъ изъ „Времени", такъ же какъ и много другихъ, потому что это хорошій журналъ, и вы напрасно заставляете меня издавать на него звуки. Но я не кралъ у „Времени", я только сошелся съ нимъ мыслями. Что жъ, и я могу сходиться мыслями... У меня и выраженія другія. У меня тутъ есть: „Засидѣли идею, какъ мухи". Это прекрасное словечко, и жаль, что вы его не понимаете!

— Но, несчастный! вѣдь, хорошо бы оно было тогда, когда бъ вы его за насъ употребили, а, вѣдь, вы употребляете его противъ насъ; противъ насъ! слышите ли?

— Да, вѣдь, я о мальчишкахъ писалъ, а не противъ васъ.

— О мальчишкахъ! да, вѣдь, это все равно, что на самихъ себя поднять руки! Чему же васъ учили тогда при пріемѣ въ редакцію? Не понимаетъ! не понимаетъ! И къ тому жъ у

„Времени“ много подписчиковъ, а онъ-то его и поддерживаетъ!

— Да что вы на меня, въ самомъ дѣлѣ!—вскричалъ Щедродаровъ, уже совсѣмъ разсердившись.—И что вы все про „Время“ да про „Время“! Повторяю вамъ, это хорошій журналъ, и я много изъ него почерпнулъ! Вы меня заставляли смѣяться надъ ними, имъ языкъ выставлять! По вашей милости я, напримѣръ, смѣялся и надъ „Днемъ“. Въ „Днѣ“ люди серіозные, тамъ наука, тамъ многолѣтнее, преемственное и честное изслѣдованіе. Они пользы хотятъ. Ихъ никто ни въ чемъ негражданственномъ упрекнуть не можетъ. Ихъ идея все больше и больше въ ходу; она признана даже старинными и отъявленными ихъ врагами. Съ ней можно не соглашаться, но къ „Дню“ нельзя относиться безъ уваженія. А, между тѣмъ, я, по вашей милости, туда показывалъ шиши да кукиши, ставилъ рядомъ чуть не съ Аскоченскимъ! Вотъ что значитъ звуки-то издавать!

— Да кто жъ вамъ велѣлъ такъ ревностно дѣйствовать? Сами себя, значитъ, тѣшили.

— И что вы напали такъ на меня за мальчишекъ? Да помилуйте, они все засидѣли, все перепортили. „Время“ тогда только о плутахъ говорило и справедливо: вѣдь, либерализмомъ и прогрессизмомъ они все равно что торговали у насъ въ послѣднее время. Я же о вислоухихъ упомянулъ. Изъ этихъ хоть есть честные, да все перепортили. Мы бы могли имѣть положительные результаты; гдѣ они? Мы все прогуляли съ вашей системой и съ вислоухими! И что такое „гражданская слеза“? Да, вѣдь, они только пишутъ, что льютъ ее, а мнѣ давай настоящую. Да хоть и настоящую—они и ту засидѣли и ту засидѣть изловчились. Вѣдь, этакъ все можно, наконецъ, опошлить и засидѣть такъ, что свѣжему человѣку претить начнетъ *).—Вѣдь, мы своихъ же отъ себя отбиваемъ.

— Гражданская слеза! Да, вѣдь, это—фраза, казенная фраза! Я уважаю того, который дѣйствительно льетъ ее, но моду на гражданскія слезы не стану уважать потому только,

*) Намъ кажется, что молодой романистъ, доставившій намъ „Щедродарова“, не умѣетъ изображать характеровъ. Щедродаровъ изъ 1-й главы не можетъ такъ говорить, какъ онъ теперь говоритъ, это уже нехудожественно. Впрочемъ, это романъ сатирическій, романъ-карикатура, и *въ своемъ родѣ* все это вѣрно. *Ред.*

что тутъ написано словечко „гражданскія“. Да, вѣдь, послѣ этого явятся когда-нибудь штатскія слезы, партикулярныя слезы, слезы комиссаріатскія, слезы общества заготовленія сухихъ продуктовъ—такъ все это и уважай? Моргенъ-фри, je tantipathe!..

— Что за тонъ! Что у него за тонъ! Боже мой, что онъ говоритъ!—прокричали въ ужасѣ сотрудники.

— Чего тонъ? никакого нѣтъ тону! а вонъ тамъ у васъ въ „Своевременномъ“ напечатано:

Позади безцвѣтная
Дней былыхъ равнина,
***Спятъ въ ней* безотвѣтныя**
Слезы гражданина...

— Такъ, вѣдь, это насмѣхъ написано! Ну, какъ могутъ слезы спать въ равнинѣ? А вы благоговѣете!

Но тутъ ужъ и членъ редакціи пришелъ въ ярость.

— Какъ, милостивый государь! И вы смѣете! Да, вѣдь, это слезы гражданина! И какое вамъ дѣло, что онѣ спятъ въ равнинѣ? Ну, пусть себѣ спятъ, пусть что угодно дѣлаютъ, но зато это слезы не простыя, а гражданина; смотрите, видите, написано: „гражданина“. Наши убѣжденія...

— Не вѣрю я теперь вашимъ убѣжденіямъ.

— Наши убѣжденія—брюхо, милостивый государь! наши убѣжденія о брюхѣ! брюхо, брюхо—слышите вы?

— Наплевать мнѣ на ваше брюхо, довольно наслушался! не вѣрю я теперь вашему брюху! Насытить брюхо цѣною предварительнаго паралича всѣхъ членовъ и всѣхъ способностей организма—нелѣпость! А вы, напротивъ, въ своемъ фанатизмѣ къ брюху дошли до того, что въ свою очередь, всѣ члены и всѣ способности организма, кромѣ брюха, считаете нелѣпостью. Такъ поступили вы съ искусствомъ, съ нравственнымъ идеаломъ, съ историческимъ ходомъ вещей, со всею жизнью. Гдѣ же практическій смыслъ? Вы противъ жизни идете. Не мы должны предписывать законы жизни, а изучать жизнь и изъ самой жизни брать себѣ законы. Вы теоретики!

— Да это цѣликомъ изъ „Времени“. Онъ его наизусть выдолбилъ!

— Что жъ, я, дѣйствительно, многія мѣста изъ „Времени“ наизусть заучилъ. Хоть я и издавалъ звуки по

поводу „Времени“, но я много обязанъ „Времени“. Я не понимаю, какъ можно стоять на воздухѣ, не чувствуя подъ собой почвы. Англичанинъ, нѣмецъ, французъ, каждый особо, тѣмъ и сильны, что стоятъ, каждый, на своей собственной почвѣ, и что прежде всего они англичане, французы и нѣмцы, а не отвлеченные общечеловѣки. Прежде чѣмъ что-нибудь сдѣлать, нужно самимъ чѣмъ-нибудь сдѣлаться, воплотиться, самимъ собою стать. Тогда только вы и можете сказать свое слово, представить свою собственную форму міровоззрѣнія. А вы отвлеченные, вы тѣни, вы—ничего. Изъ ничего ничего и не будетъ. Вы чужія идеи. Вы—сонъ. Вы не на почвѣ стоите, а на воздухѣ. Изъ-подъ васъ просвѣчиваетъ...

— Такъ и чешетъ, такъ и чешетъ!

— Ну да, такъ и чешетъ! Я вотъ и самъ разъ десять написалъ: „Когда настанутъ новыя экономическія отношенія“, да что въ томъ толку? Самому смѣшно становилось. Когда они настанутъ, какъ настанутъ? Съ неба что ль упадутъ? Это фраза! На этой фразѣ можно тысячу лѣтъ просидѣть, а дѣла ровно никакого не будетъ...

— Онъ вольнодумецъ!—закричали всѣ, окружая Щедродарова.—Какъ вы смѣете!

— Нѣтъ-съ, я только перепеченный нигилистъ и хотѣлъ дѣйствительно быть полезнымъ. Я хотѣлъ, чтобъ и у меня были свои мысли, а вы и не замѣчали моихъ усилій. Я, вонъ, въ февралѣ мѣсяцѣ нарочно въ деревню ѣздилъ за своими мыслями (прочтите мой талантливый февральскій фельетонъ въ „Своевременномъ)“. Я тамъ увидѣлъ мужика и очень удивился, что онъ бѣденъ. Я и прежде видалъ мужика, но я никогда объ немъ не задумывался. Конечно, читатели невиноваты, что я это только въ первый разъ увидалъ; но я былъ такъ удивленъ, что принялъ это за новую идею. Мало того, я сдѣлалъ „новое экономическое отношеніе“...

— Вы, *вы* сдѣлали „новое экономическое отношеніе“!—закричали всѣ въ изумленіи.

— Да-съ, я, я самъ, *moi-même*! Потому что я тоже могу имѣть свои мысли. Я вывелъ, что если вы въ Москвѣ нанимаете извозчика, то не торгуйтесь съ мужикомъ, потому что онъ бѣденъ, и не давайте пятиалтыннаго, если онъ спроситъ двугривенный. Напротивъ, дайте ему четвертакъ, если онъ проситъ двугривенный... И это, конечно, новое экономическое отношеніе и, конечно, стоитъ всякаго вашего...

Но тутъ раздался такой гомерическій хохотъ, что Щедродаровъ совсѣмъ сбился съ толку. Онъ и безъ того былъ взволнованъ всей этой сценой. Нѣкоторое время онъ въ изумленіи оглядывалъ хохочущихъ сотрудниковъ, но потомъ вдругъ закрылъ глаза руками и зарыдалъ, какъ маленькое дитя...

Вотъ нѣсколько главъ. Далѣе не хотимъ печатать. Мы полагаемъ, что это не художественное произведеніе, что это— романъ-карикатура. Всякая карикатура, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ преувеличеніе смѣшной стороны дѣла; но въ то же время заключаетъ въ себѣ и нѣкоторое справедливое основаніе. Опять-таки „страшимся сказать, но намъ дѣйствительно кажется, что нашъ романистъ имѣлъ въ виду чуть ли не „Современникъ". Есть нѣкоторое сходство, напримѣръ, хоть въ „главѣ объ условіяхъ". Разумѣется, они, можетъ-быть, не такъ нелѣпо происходили, какъ здѣсь описано, но— на все есть свои словечки и формы... Что же касается до главы о суматохѣ въ редакціи, до трагедіи „въ стаканѣ воды", какъ обозначено у романиста, то, право, не знаемъ, есть ли тутъ вѣрное основаніе. Въ справедливости всѣхъ этихъ слуховъ (подавшихъ мысль роману) мы (повторяемъ это еще разъ) основываемся, единственно, на томъ полномъ убѣжденіи нашемъ, что г. Щедринъ въ послѣднее время сильно противорѣчитъ въ своихъ послѣднихъ статьяхъ духу и направленію „Современника". А если такъ, то, конечно, основаніе слухамъ значительное. Одно изъ двухъ: или „Современникъ" мѣняетъ свои убѣжденія, или г. Щедринъ далъ слово раскаяться. Но что объ этомъ! Нечего плакать заранѣе. Природа устраиваетъ все къ лучшему.

„Новый Нарциссъ“ [1]).

*) Съ большимъ удовольствіемъ прочли мы въ первой книгѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1868 г. разсказъ г. Щедрина: „Новый Нарциссъ, или влюбленный въ себя“ [2]). О томъ, что занимало насъ въ этомъ литературномъ произведеніи, мы скажемъ послѣ, а теперь спѣшимъ подѣлиться съ читателемъ тѣмъ весьма непріятнымъ чувствомъ, которое мы испытали по случаю извѣстія, напечатаннаго въ № 80-мъ „Спб. Вѣд.“ за 1868 годъ. Редакція заявляетъ, что ею получено нѣсколько писемъ изъ южныхъ губерній, въ которыхъ ее увѣдомляютъ, что сатирическій разсказъ г. Щедрина произвелъ на общество самое непріятное, тяжелое впечатлѣніе; что есть среда, въ которой „Нарциссъ“ произвелъ фуроръ неописанный, оживляя затаенныя надежды; что въ какомъ-то уѣздномъ городѣ исправникъ хотѣлъ-было устроить обѣдъ въ честь „обратившагося на путь истинный г. Ще-

---

[1]) „Спб. Вѣд.“, 1868 г., № 111.

*) Эта статья принадлежитъ извѣстному общественному дѣятелю и писателю Ник. Алекс. Корфу. Авторъ ея выступаетъ въ защиту земства и произведенія Щедрина: „Новый Нарциссъ“. Корфъ хорошо знакомъ съ дѣятельностью земства, такъ какъ онъ самъ былъ выдающійся земскій дѣятель. Это послѣднее обстоятельство придаетъ большее значеніе помѣщаемой здѣсь статьѣ. Реакціонные, крѣпостническіе элементы встрѣтили молодыя земскія учрежденія крайне недружелюбно, такъ какъ эти возникшія въ освобожденную эпоху учрежденія вносили въ русскую жизнь новое начало—общественное самоуправленіе, тогда какъ дворянство требовало и при новомъ общественномъ строѣ Россіи только лишь для себя исключительнаго, господствующаго положенія. Не понявши намѣреній Щедрина, эта партія ухватилась за новое произведеніе Щедрина съ особенною радостью и надеждами. Все это еще лишній разъ показываетъ то огромное вліяніе на умы, которымъ пользовались произведенія Щедрина. *Прим. Н. Денисюка.*

[2]) Нарциссомъ назывался въ Древней Греціи миѳическій юноша необыкновенной красоты, влюбившійся въ себя послѣ того, какъ увидѣлъ свое отраженіе въ водѣ.

дрина", но послѣ пріостановилъ эту демонстрацію. Словомъ, сущность извѣстія, сообщеннаго „Спб. Вѣдомостями", состоитъ въ томъ, что по поводу „Нарцисса" негодуютъ люди, преданные земскому дѣлу, и ликуютъ антагонисты его!

Заглянемъ же еще разъ въ этотъ разсказъ г. Щедрина, чтобы дать себѣ отчетъ въ томъ, что можетъ заставить обижаться однихъ и радоваться другихъ. Начнемъ съ радующихся. Партія „Вѣсти" *) открыто заявляетъ себя противникомъ земскаго дѣла и теперь, по словамъ южныхъ корреспондентовъ, рукоплещетъ разсказу г. Щедрина, если только это справедливо, что она обнаруживаетъ нѣкоторое чутье, стараясь рукоплесканіями показать, будто упреки автора относятся не къ ней, но къ ея противникамъ. Авторъ говоритъ о томъ, что земскіе дѣятели начали съ того, что положили другъ-другу жалованье. Партія „Вѣсти" кричитъ: „А что, не мы ли говорили о пользѣ безвозмездной службы!"—Вы говорили объ этомъ, это правда; но вы взяли жалованья гораздо больше, чѣмъ противники ваши или, если жалованье не брали, то безвозмездно предавались интригамъ и не занимались дѣломъ; значитъ—pas trop de zèle (заимствуемъ эти изреченія у газеты „Вѣсть"), не спѣшите въ объятія г. Щедрина: какъ бы онъ отъ васъ не отвернулся! Авторъ сатирическаго разсказа смѣется надъ тѣмъ, что первая экономическая операція земскихъ учрежденій состояла въ томъ, чтобы сходить въ карманъ ближняго, т.-е. увеличить налоги, а такая метода дѣйствія была давно извѣстна бюрократамъ [1]). Партія „Вѣсти" ликуетъ: „А что, не мы ли говорили, что земскія учрежденія разорятъ Россію?..— Потише, господа, вы говорили объ этомъ, это правда; но что вы дѣлали? Вы не хотѣли дать ни одного гроша на общую надобность и нисколько не щадили плательщиковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ проектируемыхъ нововведеній на общій счетъ выгоды доставались, преимущественно, только меньшей части общества и вамъ самимъ. Значитъ, если только авторъ правъ, утверждая, будто бы земскія учрежденія въ первые дни своего суще-

*) „Вѣсть"—газета, издававшаяся въ Петерб. съ 1863 по 1870 г. Газета эта являлась органомъ реакціонной части дворянства, обойденнаго, якобы, реформами 60-хъ годовъ. Особенно энергично „Вѣсть" возставала противъ земской и судебной реформы. *Примѣч. Н. Д.*

[1]) Само собою разумѣется, что сказанное г. Щедринымъ о жалованьѣ и налогахъ только и можетъ быть сказано для краснаго словца. *Б. К.*

ствованія относились небрежно къ интересамъ плательщиковъ, то отъ упрека этого и вы не свободны. Наконецъ, авторъ сатирическаго разсказа подсмѣивается надъ тѣмъ что, по его мнѣнію, земскіе дѣятели заразились страстью къ пререканіямъ... Если бъ авторъ писалъ не литературный очеркъ, а серіозную статью, то онъ, вѣрно бы, выяснилъ, что весь либерализмъ партіи „Вѣсти“ и заключается въ стремленіи наступить на ногу тому, кто ей не кланяется: не мало видѣли мы такихъ поклонниковъ „Вѣсти“, которые изъ-за личной непріязни и личныхъ ссоръ выставляли себя либералами и—о ужасъ!—иногда дурачили искренно-либеральныхъ людей. Наконецъ, если говорить напрямикъ о предвзятой враждѣ къ администраціи, то на страницахъ газеты „Вѣсти“ можно найти слѣдовъ ея несравненно болѣе, чѣмъ противниковъ этого изданія. Выходитъ на повѣрку, что Щедринъ не пощадилъ партіи „Вѣсти“. Но довольно; если партія „Вѣсти“ не узнаётъ себя въ „Нарциссѣ“ г. Щедрина, то не авторъ виноватъ въ этомъ. Чему же она радуется? Чему она рукоплещетъ? Обращаемся къ тѣмъ изъ противниковъ „Вѣсти“, которые оскорбились разсказомъ г. Щедрина. Что ихъ оскорбило, что произвело на нихъ тяжелое впечатлѣніе? Они говорятъ, что честныя стремленія земства осмѣяны въ литературѣ. Но не пора ли перестать намъ относиться такимъ образомъ къ литературнымъ произведеніямъ? Пора перестать намъ требовать того, чтобы каждый романистъ былъ публицистомъ, и чтобы каждый романъ затрогивалъ не одну сторону дѣла, но охватывалъ его со всѣхъ сторонъ. Неужели у самого читателя не хватитъ здраваго смысла на то, чтобы дополнить картину г. Щедрина; неужели сама публика не сумѣетъ положить тѣ краски, которыя на этотъ разъ опущены романистомъ; неужели и сегодня еще мы будемъ называть Гоголя клеветникомъ Россіи за то, что онъ описывалъ одни безобразія? Правда, въ разсказѣ г. Щедрина нѣтъ ни одного толковаго земскаго дѣятеля; но развѣ трудно найти ихъ въ дѣйствительности? Или авторъ виновенъ передъ друзьями земскаго дѣла въ томъ, что никого не хвалилъ и избралъ героями своего разсказа только такихъ молодцовъ, которые ничего не заслуживаютъ, кромѣ насмѣшки? Не такъ понимаемъ мы отношеніе читающаго міра къ искусству и не такъ понимаемъ мы литературную терпимость въ обществѣ и свободу

слова, какъ тѣ, которые оскорблены „Нарциссомъ“. Намъ кажется, что странно, со стороны публики, ставить извѣстныя рамки литературному произведенію; еще болѣе странною представляется намъ такая преданность дѣлу, которая оскорбляется всякимъ словомъ, подчасъ сказаннымъ только для краснаго словца, сказаннымъ о тѣхъ безобразіяхъ, которыя въ этомъ дѣлѣ встрѣчаются. Или неправда, можетъ-быть, что у насъ много людей, которые потому только слывутъ свободолюбцами, что даютъ свободу своему языку, который мелетъ безъ оглядки? Или неправъ г. Щедринъ, подсмѣиваясь надъ тѣми противниками бюрократіи, которые сами заражены ея замашками; развѣ мало ихъ у насъ? Или неправъ г. Щедринъ, указывая, что часто въ провинціи до такой степени мало распространены истинныя знанія, что прослыть, въ глазахъ публики, „спеціалистомъ“ по извѣстной наукѣ ничего не значитъ? Или ошибается авторъ, указывая на крайне неопредѣленныя резолюціи земскихъ собраній въ родѣ той, которою постановлено: „Принять немедленно мѣры къ искорененію пьянства!“

Развѣ не очень часто мы совершенно восхищены тѣмъ, что „вопросъ поставленъ“, и не заинтересованы тѣмъ, чтобы вопросъ получилъ практическое, исполнимое рѣшеніе? Развѣ не бывали случаи, что земскіе дѣятели—либералы—безъ оглядки устанавливали налоги, чтобы послѣ, когда выйдетъ туманъ изъ головы, отрекаться отъ своихъ резолюцій? Если справедливо, что партія „Вѣсти“ много поломала стульевъ, чтобъ объяснить, что ей не хочется „платить денегъ на народныя школы,“ то неужели не правда и то, что такъ-называемыми либералами сказано не меньше фразъ въ пользу народнаго образованія: этотъ несчастный вопросъ „ставили, ставили и ставили“; оставляли этотъ вопросъ „открытымъ“; „разрабатывали“ его въ комиссіяхъ, и нерѣдко конечнымъ результатомъ обширныхъ трудовъ являлось только слово о томъ, что „народное образованіе крайне необходимо“. Неужели противникамъ „Вѣсти“, друзьямъ земства, неизвѣстны такіе случаи?.. Если же карикатура только преувеличиваетъ такія слабости, которыя дѣйствительно существуютъ, и притомъ написана талантливо, то нельзя не полюбоваться ею съ пользою для дѣла и съ удовольствіемъ. Правда, земскому дѣятелю представляется крайне страннымъ, что авторъ карикатуры считаетъ „вопросъ о рукомойникахъ“ и „вопросъ о

нижнемъ бѣльѣ“ въ больницѣ, „вопросъ о томъ, что становой приставъ беретъ тройку лошадей вмѣсто пары“—вопросами нестоящими выѣденнаго яйца. Правда и то, что земскаго дѣятеля поражаетъ въ „Нарциссѣ“, что защиту земствомъ законности авторъ карикатуры не объясняетъ себѣ ни чѣмъ инымъ, кромѣ страсти къ прекаліямъ, наслѣдованной земствомъ отъ бюрократіи. Но вступать въ диспутъ съ авторомъ романическаго разсказа—значило бы стѣснять его талантъ. Мы не въ правѣ спросить романиста, почему онъ не нарисовалъ болѣе полной картины; мы не въ правѣ упрекать его за недосказанное, за односторонность начертанныхъ имъ обликовъ; на то его воля, а не наша—избрать тотъ или иной сюжетъ для фантастической картины; анализировать ее—дѣло литературной критики. Никогда не пускались мы въ беллетристику и потому не намъ давать совѣты г. Щедрину; но мы надѣемся, по крайней мѣрѣ, на то, что онъ терпѣливо выслушаетъ отъ насъ мысль, которая пришла намъ въ голову по прочтеніи его разсказа: авторъ заключаетъ свою карикатуру на земскихъ дѣятелей повѣствованіемъ о томъ, что по выходѣ гласныхъ изъ залы, съ хоръ въ залу вошли крысы. „Онѣ степенно ползутъ одна за другой и скучиваются посерединѣ. Поднимается писк. Повидимому, онѣ подражаютъ. Сторожъ, свидѣтель этого противоестественнаго сходбища, убѣгаетъ въ смятеніи“. Намъ кажется, что фантастическій разсказъ былъ бы ближе къ истинѣ, если бы сторожъ, скрестивъ могучія руки и главу опустивъ на грудь, сказалъ: „Не буду взыскателенъ къ нимъ; не онѣ виновны, я же воспиталъ ихъ“. Впрочемъ, просимъ извиненія у автора и у читателей за предложенное дополненіе къ фантастическому разсказу г. Щедрина; если бъ авторъ и отбросилъ предложенное нами изреченіе, какъ никуда негодное, то это бы насъ не опечалило. Насъ огорчило бы за земское дѣло только то, если бъ почитатели его, подражая бюрократамъ и партіи „Вѣсти“, въ нападкахъ на уродливыя стороны учрежденія или общественнаго строя, видѣли оскорбленіе самаго дѣла и, подобно противникамъ своимъ, кричали: „Мы оскорблены, мы обижены!“ Не тотъ оскорбляетъ насъ, кто указываетъ на наши язвы, какъ бы онъ ни преувеличивалъ ихъ омерзительности и опасности, но тотъ, кто льститъ намъ, и закрываетъ намъ глаза на самихъ себя. По нашему мнѣнію, слѣдуетъ сказать искреннее спасибо г. Щедрину за насмѣшку надъ тѣмъ, что есть смѣшного въ поступкахъ

и пріемахъ людей, едва встающихъ на ноги послѣ вѣкового сна. Порицать слабыя стороны нашего зарождающагося самоуправленія не значитъ работать для „Вѣсти“; это значитъ, напротивъ, укрѣплять это самоуправленіе, т.-е. подкапывать въ самомъ корнѣ все то, предъ чѣмъ благоговѣетъ только партія „Вѣсти“. Неужели исторія произнесетъ приговоръ о трехлѣтней дѣятельности русскаго земства не на основаніи документовъ, но только со словъ г. Щедрина въ „Нарциссѣ“? Конечно, нѣтъ! Но въ числѣ историческихъ источниковъ имѣютъ мѣсто и такія чисто-литературныя произведенія, которыя воспроизводятъ только одну сторону дѣятельности извѣстнаго учрежденія. И „Нарциссъ“ г. Щедрина долженъ быть прочитанъ будущимъ историкомъ земства; а сличеніе его съ подлинными документами поможетъ исторической критикѣ открыть въ немъ односторонность и преувеличенія. Можно спорить съ авторомъ, но пора бы хоть земскимъ дѣятелямъ отстать отъ привычки оскорбляться за корпорацію, если описываются тѣ пошляки, которые есть во всякой корпораціи и которыхъ не можетъ не быть много тамъ, гдѣ очень долгое время нельзя было учиться, мыслить, говорить и дѣйствовать. Пусть земскіе дѣятели не забываютъ, что настоящее время ставитъ ихъ въ возможность полѣчиться отъ своихъ недостатковъ и пусть каждый изъ насъ заглянетъ въ самого себя, читая „Нарциссъ“ г. Щедрина. Отъ этого будетъ больше пользы, чѣмъ если бы земскимъ дѣятелямъ вздумалось воскрешать отживающее начало: „Обидѣли, обидѣли, обидѣли!“

Баронъ Корфъ.

Два разсказа.

1) Дикій помѣщикъ. 2) Добрая душа [1]).

*) По части беллетристики въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ записокъ“ помѣщены два разсказа г. Щедрина: „Дикій помѣщикъ“ и „Добрая душа“. Талантливый юмористъ въ остроумной формѣ разсказовъ „для дѣтей“ печатаетъ, съ прошлой книжки, рядъ коротенькихъ очерковъ, изъ которыхъ одни проникнуты злой, направленной и мотивированной сатирой, а другіе исполнены теплаго чувства. Я, признаюсь, отдаю предпочтеніе первымъ и, по моему мнѣнію, разсказы о двухъ генералахъ, попавшихъ на необитаемый островъ, и о дикомъ помѣщикѣ, принадлежатъ къ числу остроумнѣйшихъ вещей г. Салтыкова. Такъ какъ я заговорилъ о г. Салтыковѣ, то здѣсь будетъ кстати упомянуть о выходѣ отдѣльною книжкой послѣднихъ сатирическихъ и юмористическихъ произведеній этого талантливѣйшаго изъ нашихъ современныхъ юмористовъ. Въ книжкѣ собраны, подъ общимъ заглавіемъ: „Признаки времени“— „Завѣщаніе моимъ дѣтямъ“, „Новый Нарциссъ“ (два остро-

---

[1]) „Спб. Вѣд.“ 1868 г., № 45. (См. выпускъ I-й, стр. 74.)

*) Эта статья принадлежитъ перу Викт. Петров. Буренина, небезызвѣстнаго поэта и журналиста. Начавъ свою литературную дѣятельность, какъ юмористическій поэтъ въ „Искрѣ“ 1862 г. (Шáбашъ на Лысой горѣ, или Журналистика въ 1862 г.), Буренинъ сталъ работать во многихъ журналахъ и какъ поэтъ и какъ переводчикъ. Съ 1865 г. Буренинъ работаетъ, преимущественно, какъ журналистъ: онъ становится постояннымъ сотрудникомъ „Спб. Вѣдомостей“, гдѣ ведетъ отдѣлъ литературной критики, помѣщая еженедѣльно свои фельетоны, подписанные буквою Z. Съ 1876 г. онъ становится членомъ редакціи въ „Новомъ Времени“, и съ тѣхъ поръ публика еженедѣльно читаетъ его „Критическіе очерки“. В. П. Буренину нельзя отказать въ художественномъ чутьѣ и, несмотря на крайности, въ которыя онъ впадалъ зачастую какъ критикъ, на рѣзкость тона, а зачастую и на грубую, бездоказательную брань, многія его статьи представляютъ литературную цѣнность. Въ нихъ читатель зачастую встрѣтитъ и трезвый умъ, и вѣрный взглядъ, и руководящее начало. *Прим. Н. Денисюка.*

умныхъ и наиболѣе глубокихъ сатирическихъ очерка), „Легковѣсные“, „Сеничкинъ ядъ“, „Нашъ savoir vivre“ и проч.; къ нимъ присоединены семь „Писемъ о провинціи“, которыя печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“ прошлаго года, подъ псевдонимомъ Гурина, и въ свое время возбудили вниманіе и толки публики.

Просматривая въ общей связи собранные теперь въ отдѣльномъ изданіи сатирическіе и юмористическіе очерки и статьи г. Салтыкова, можно замѣтить въ нихъ—кромѣ несомнѣнно большого художественнаго таланта и остроумія—одно достойное похвалы качество—современность ихъ, пріуроченность, такъ-сказать, къ движенію нашей общественной жизни. Кажется, можно безошибочно сказать, что изъ всѣхъ нашихъ крупнѣйшихъ беллетристическихъ талантовъ, начавшихъ литературную свою дѣятельность въ сороковыхъ годахъ, г. Салтыковъ наиболѣе другихъ обнаруживаетъ стремленіе итти въ уровень съ потребностями и задачами времени, и не отвращается отъ нихъ ради поклоненія исключительнымъ художественнымъ цѣлямъ, какъ дѣлаютъ это иные изъ его литературныхъ сверстниковъ. Самая сущность художественнаго дарованія г. Салтыкова заставляетъ его держаться на почвѣ тѣхъ жизненныхъ явленій, которыя „довлѣютъ злобѣ дневи“, заставляетъ преслѣдовать ихъ своимъ наблюденіемъ и возсоздавать ихъ отрицательныя стороны въ мѣткихъ сатирическихъ характеристикахъ и образахъ. Это качество таланта поддерживается также его несомнѣнно широкимъ развитіемъ и образованіемъ и достаточною глубиной мышленія. Во многихъ очеркахъ „Признаковъ времени“ и „Писемъ о провинціи“, несмотря на ихъ легкую и, повидимому, фельетонную форму, внимательный читатель найдетъ, для характеристики нашей общественной жизни и для поучительныхъ выводовъ и заключеній о ней, гораздо больше матеріала, чѣмъ въ тѣхъ quasi-романахъ и quasi-современныхъ комедіяхъ, которыми угощаютъ публику нѣкоторые изъ „старыхъ мастеровъ“ школы, именовавшей себя въ оны дни натуральною.

Z (В. Буренинъ).

„Признаки времени“ и „Письма о провинціи“.

М. Салтыкова (Щедрина). Спб. 1869 г. [1]).

*) Имя г. Щедрина принадлежитъ къ именамъ настолько талантливымъ современной русской литературы, что, безъ сомнѣнія, займетъ въ исторіи ея видное мѣсто. Начавъ свою

---

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1869 г., 4 кн.

*) Впервые „Вѣстникъ Европы“ былъ основанъ Карамзинымъ въ 1802 г. и окончилъ свое существованіе въ 1803 г. Это и былъ тотъ „Вѣстникъ Европы“, который такъ мѣтко и зло преслѣдовалъ Пушкина въ своихъ эпиграммахъ. Въ 1830 г. редакторъ заявилъ, что журналъ умираетъ „смертью обыкновенною, по чину естества неизбѣжною для всѣхъ органическихъ созданій“. И дѣйствительно, послѣ такого естественно-научнаго отпѣванія журналъ подвергся „неизбѣжной смерти“.

Въ 1866 г., подъ этимъ же именемъ, былъ основанъ журналъ профес. всеобщей исторіи М. М. Стасюлевичемъ; имъ же онъ ведется и по сей день. Тонъ журнала всегда оставался въ высшей степени корректнымъ, выдержаннымъ, далекимъ отъ крайнихъ увлеченій. Несмотря на эти внѣшнія качества журналъ всегда былъ въ рядахъ прогрессистовъ, за что и подвергался „предостереженіямъ“. Мотивированы эти предостереженія тѣмъ, что во-первыхъ, „въ статьѣ „Политическій процессъ 1869—71 г.“ высказывается мысль, что участіе молодыхъ людей въ тайномъ обществѣ съ преступными цѣлями, послужившее поводомъ къ возбужденію политическаго процесса, было будто бы вызвано стѣснительными со стороны правительства мѣрами“; во-вторыхъ, „въ статьѣ „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ 20—50 годовъ“ (Пыпинъ), высказывается мысль о томъ, что осужденное въ 1849 г. общество (петрашевцы, обвиненные въ „гнусномъ либерализмѣ“ и приговоренные къ смертной казни, замѣненной каторгой) съ преступными цѣлями возникло будто бы вслѣдствіе мѣръ самого правительства“. Наконецъ, въ 1889 г. журналу указывалось, что „въ статьѣ В. Соловьева „Очерки изъ исторіи русск. самосознанія“ раздражительною критикою, направленною противъ русской церкви и государства, внушаются ложныя о нихъ представленія и колеблется уваженіе къ основамъ ихъ“.

Составъ сотрудниковъ „Вѣстника Европы“ всегда изобиловалъ именами крупныхъ русскихъ ученыхъ, литераторовъ и поэтовъ. Здѣсь работали и Пыпинъ, и Тургеневъ, и А. Толстой, и Жемчужниковъ, и К. Арсеньевъ, и Н. Карѣевъ, и М. Ковалевскій, и Кони, и Петрушевскій, и Н. Корфъ, и М. Погодинъ, и Я. Полонскій, и Гончаровъ, и Островскій и мн. др. Наконецъ, здѣсь помѣщалъ свои послѣднія произведенія и самъ Щедринъ.

Прим. Н. Денисюка.

дѣятельность „Губернскими очерками“, онъ породилъ цѣлую обличительную литературу, на поприще которой вышло, вслѣдъ за нимъ, многое множество писателей бездарныхъ и нѣсколько талантливыхъ. Одно время журналы только и питали свой беллетристическій отдѣлъ что этою литературой; читатели бросались на нее съ жадностью, находя въ ней источникъ для благороднаго негодованія и для содержанія себя на высотѣ современныхъ требованій; но такъ какъ современныя требованія росли, а обличительная литература оставалась на точкѣ отправленія, выработавшись въ своего рода искусство, съ особыми формами, пріемами, красками, съ извѣстными восклицаніями и умолчаніями, то въ читателяхъ замѣтно стало являться къ ней равнодушіе; все безталанное тотчасъ исчезло, талантливое, но не умѣвшее хорошенько оглядѣться вокругъ и найти точки опоры въ болѣе широкихъ воззрѣніяхъ, чѣмъ тѣ, которыя требовались для бичеванія исправниковъ и становыхъ, тоже умолкло или пріискало для своихъ питаній болѣе подходящіе сюжеты. Если репутація г. Щедрина не только не упала во время этого крушенія обличительной литературы, но еще окрѣпла, значитъ, въ его талантѣ была дѣйствительная сила, способная не на одно воспроизведеніе отживающихъ формъ жизни и на преданіе ихъ позору; сила эта заключалась въ воспріимчивости къ новымъ идеямъ и требованіямъ, въ бойкомъ, нѣсколько грубомъ юморѣ и въ извѣстной долѣ художественности.

Можно быть почти увѣреннымъ, что сравненіе г. Щедрина съ Кантемиромъ многіе найдутъ слишкомъ смѣлымъ, и смѣлымъ—совершенно несправедливо, но въ пользу г. Щедрина—на томъ единственномъ основаніи, что г. Щедринъ не успѣлъ еще обратиться въ классика; но намъ это сравненіе кажется весьма естественнымъ и даже необходимымъ для указанія того мѣста, которое должно принадлежать г. Щедрину въ исторіи русской литературы. Въ характерѣ дѣятельности того и другого писателя и въ ихъ положеніи относительно современниковъ много общаго, какъ много общаго между нашею эпохой и тою, которая порождена была реформами Петра. Мы не думаемъ проводить пространной параллели, а только намѣтимъ главнѣйшія черты сходства и несходства. Общественныя силы, какъ тогда, такъ и теперь, дѣлились на два лагеря, весьма отличныхъ другъ отъ друга и другъ съ другомъ боровшихся то явно, то тайно: лагерь сочув-

ствующихъ реформамъ и вліяніямъ новой жизни и лагерь противниковъ ихъ; каждый лагерь, конечно, состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ, отличавшихся другъ отъ друга не столько родовыми, сколько видовыми признаками. Типическое воспроизведеніе этихъ двухъ сторонъ общества съ ихъ видоизмѣненіями составляло задачу Кантемира, бѣднаго поэтическимъ талантомъ, но богатаго образованіемъ и извѣстными твердыми, хотя и нѣсколько узкими даже для того времени идеалами; ту же задачу взялъ на себя и г. Щедринъ, богатый юморомъ и довольно бѣдный сколько-нибудь опредѣленными идеалами. Перечитывая г. Щедрина, трудно составить себѣ точное понятіе о его философіи, о его положительныхъ стремленіяхъ, о той обработанной и непоколебимой почвѣ, на которой, казалось бы, слѣдовало стоять беллетристу-изслѣдователю, какимъ онъ является въ первыхъ своихъ произведеніяхъ, и юмористу-сатирику, какимъ онъ является въ послѣднихъ. Оба, Кантемиръ и Щедринъ, карателя „глуповцевъ“, оба—произведенія своей эпохи: но одинъ приступаетъ къ своимъ глуповцамъ съ яснымъ міровоззрѣніемъ, съ готовыми формами для мысли и образовъ, даже съ опредѣленною дозой одушевленія и негодованія; другой обладаетъ одушевленіемъ, завостреннымъ бойкимъ юморомъ, а потому болѣе сильнымъ, но безъ установившагося, глубоко продуманнаго политическаго или соціальнаго ученія. Направляя стрѣлы своего остроумія и юмора преимущественно на бюрократію, онъ почти такъ же безъ почвы, какъ и она; сознавая ея положеніе, онъ проникается къ ней тѣмъ большею злостью, что чувствуетъ самъ въ себѣ ту же безпочвенность. Кантемиръ вѣрно и здравомысленно судитъ своихъ современниковъ, стрѣляя изъ своей крѣпостцы неторопливо, усердно и долго прицѣливаясь, тщательно взвѣшивая каждый зарядъ пороха и словно боясь, что лишній золотникъ поведетъ къ разрыву орудія; онъ чувствуетъ подъ собою твердую землю и дѣйствуетъ, какъ исправный артиллеристъ, увѣренный въ своихъ познаніяхъ, но не совсѣмъ увѣренный въ своемъ талантѣ; у г. Щедрина больше таланта, больше вдохновенія, но онъ дѣйствуетъ подъ впечатлѣніемъ минуты, извѣстныхъ обстоятельствъ, даже личнаго раздраженія и увлеченія и не жалѣетъ пороха для своихъ глуповцевъ, особенно, если убѣжденъ, что стрѣльба совершенно безопасна для самого артиллериста. Увлекаясь и раздражаясь,

онъ иногда стрѣляетъ по пустому пространству, иногда принимаетъ за грознаго непріятеля невинныхъ овецъ, какъ принялъ ихъ за такового недавно одинъ изъ нашихъ генераловъ, „что-то покорившихъ“, иногда преслѣдуетъ бѣгущихъ непріятелей съ неудержимой злобой и хохотомъ, не проникаясь ни малѣйшею жалостью къ побѣжденнымъ; но чаще выстрѣлы его дѣйствительны и, мѣтко попадая въ одну и ту же толпу, производятъ въ ней уронъ и нѣкоторое смятеніе. Холостые заряды, однако, оправдываются смягчающими обстоятельствами: артиллеристъ—не полный хозяинъ своей батареи и принужденъ иногда, скрѣпя сердце, наводить орудія вовсе не въ ту сторону, гдѣ стоитъ дѣйствительный непріятель. Онъ и махнулъ бы по немъ, махнулъ бы вѣрно и мѣтко, да заслоняетъ его нѣчто въ родѣ того облака, которое заслоняло іудеевъ отъ фараона. Все сказанное нами легко было бы подтвердить цитатами изъ книги, заглавіе которой выписано и которая заключаетъ въ себѣ послѣднія произведенія сатирика. Книгу эту можно считать квинтъ-эссенціей щедринскаго юмора и сатиры; авторъ повторилъ въ ней себя самого, переложилъ прежніе образы въ разсужденія, кое-что объяснилъ глубже, кое-что добавилъ, примѣняясь къ росту общества. Съ этою книгой въ рукахъ можно приступить къ г. Щедрину, какъ съ гидомъ, уразумѣть его враговъ и даже опредѣлить, конечно, отчасти только, его міровоззрѣніе.

Въ самомъ началѣ „Признаковъ времени“ и „Писемъ о провинціи“ есть фраза бабушки Татьяны Юрьевны, обращенная къ внуку Николашенькѣ: „Попомни ты, свѣтъ, рѣчь мою великую: не молви ты слова, языка твоего напередъ не прикусивши“; въ другомъ мѣстѣ той же книги есть другая фраза, произносимая г. Щедринымъ отъ своего лица: „Бываютъ положенія, къ которымъ нельзя относиться по произволу, такъ или иначе, но въ виду которыхъ дѣлается обязательнымъ именно то, а не иное отношеніе“. Эти прекрасныя правила можно было бы посовѣтовать всѣмъ нашимъ сатирикамъ особенно твердо памятовать; г. Щедрина мы тѣмъ менѣе можемъ исключить, что онъ вовсе не привыкъ обуздывать своего юмора. Юморъ—одно изъ самыхъ капризныхъ свойствъ писателя; онъ можетъ быть глубокъ и мелокъ, мѣтокъ и поверхностенъ; достоинства его настолько цѣнны, симпатичны и живучи, насколько широко и живуче разви-

тіе самого писателя; великія способности художественныя могутъ подсказать часто то, что́ не даетъ никакое развитіе, но сравнительно небольшія художественныя способности требуютъ осмотрительности и вдумчивости. Въ жизни бездна комическаго: почти всякое явленіе можно разсматривать съ этой стороны, но „можно“ не значитъ „должно“. Въ книгѣ г. Щедрина есть одинъ разсказъ, который всего больше заставляетъ вспомнить слова Татьяны Юрьевны: „Не молви, ты, слова, языка твоего не прикусивши“. Разсказъ этотъ— „Новый Нарциссъ, или влюбленный въ себя“, возбудившій при самомъ своемъ появленіи неблагопріятные для автора толки. Нашлись люди, которые позволили себѣ прямо упрекнуть автора въ кажденіи бюрократіи. Упрекъ этотъ, очевидно, нелѣпъ въ отношеніи къ писателю, положившему лучшія силы свои отнюдь не въ курильницу съ ладаномъ; но упрекъ былъ заслуженъ, потому что авторъ направилъ свой юморъ на такое явленіе, которое показало признаки разложенія и нѣкоторую несостоятельность не вслѣдствіе внутренняго своего безсилія и лжи, а вслѣдствіе такихъ же обстоятельствъ, которыя ставятъ, напримѣръ, современнаго сатирика въ положеніе довольно комическое и безпомощное. „Сѣятели и дѣятели“, какъ зло обозвалъ г. Щедринъ земскихъ людей, имѣли такое же право глубоко и основательно оскорбиться, какое имѣлъ бы современный сатирикъ, если бъ сказали ему, что онъ вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, и говоритъ тоже о своего рода „попахъ, мостахъ и о наидешевѣйшемъ способѣ изготовленія нижняго бѣлья“. При помощи юмора не совсѣмъ трудно сатиру самого г. Щедрина свести именно къ такимъ остроумнымъ предметамъ, хотя такое отношеніе къ дѣятельности даровитаго писателя заслужило бы со стороны безпристрастнаго мыслителя строгій, но справедливый приговоръ. Все дѣло вовсе не въ томъ, что сатирикъ хотѣлъ будто бы кому-то курить, а въ томъ, что юморъ его на этотъ разъ былъ направленъ не въ ту сторону, въ какую слѣдовало его направить, и притомъ направленъ въ такое время, когда было вовсе не до смѣху. Никакого умысла у г. Щедрина не было и даже не могло быть потому, что онъ человѣкъ искренній и честный; честность и искренность—тѣ качества, которыя замѣняютъ ему отчасти не совсѣмъ опредѣленную политическую и соціальную почву и съ которыхъ онъ никогда не сбивается;

встрѣчающаяся иногда поверхностность и неглубина его юмора легко объясняется отчасти незначительною долей другихъ качествъ, на которыя мы указали и которыя совершенно необходимы для того, чтобы никогда не сходить съ извѣстной высоты, отчасти обстоятельствами внѣшними, совершенно не зависящими отъ автора. Оставляя эти послѣднія въ сторонѣ, мы укажемъ еще на одинъ признакъ, характеризирующій первыя.

Въ настоящей книгѣ г. Щедринъ то и дѣло изъ области образовъ переходитъ на почву размышленій; пока онъ рисуетъ, съ свойственнымъ ему юморомъ, признаки какого-нибудь существующаго явленія, вы чувствуете его силу; но иногда ему кажется этого мало, и онъ уходитъ въ глубь явленія, стараясь отыскать и объяснить породившія его причины: тутъ онъ и скрывается въ непроницаемой тьмѣ, уразумѣть которую можно только развѣ при помощи особеннаго словаря и особенныхъ примѣчаній столь же длинныхъ, какъ и самое разсужденіе. То же самое приходится сказать и о нѣкоторыхъ картинахъ дѣйствительности, напр., объ очеркѣ „Легковѣсные“, въ которомъ самое лучшее—заглавіе. Происходитъ ли это, въ первомъ случаѣ, оттого, что причины явленія ускользаютъ отъ самого сатирика, способнаго схватывать ярко только результаты, а во второмъ—отъ привычки къ умолчаніямъ, намекамъ и аллегоріямъ,—разбирать не станемъ: для насъ, въ настоящемъ случаѣ, важенъ фактъ, который отрицать невозможно, и фактъ такого рода, что онъ черезъ десять лѣтъ сдѣлаетъ чтеніе нѣкоторыхъ очерковъ и разсужденій г. Щедрина столь же затруднительнымъ, какъ чтеніе гіероглифовъ или, по меньшей мѣрѣ, сочиненій нашихъ мистиковъ и масоновъ. Трудно ожидать, чтобы нашлись особые спеціалисты, которые взяли бы на себя трудъ объяснить намеки и аллегорію, но если бъ не нашлись они, потомство едва ли что-нибудь потеряетъ. Значеніе г. Щедрина вовсе не въ этомъ туманѣ и въ претензіяхъ на глубину: не всѣ же въ состояніи спускаться и выходить изъ нея невредимыми и цѣлыми. Значеніе г. Щедрина—въ искренности, въ ясныхъ, образныхъ фигурахъ и юморѣ. При этомъ, однако, нельзя не замѣтить, что, несмотря на продолжительную дѣятельность нашего писателя, онъ не далъ намъ ни одного яркаго, законченнаго образа, который былъ бы настолько значащъ, что

представлялъ бы собою цѣлую страницу изъ современной исторіи, и настолько цѣленъ, что обратился бы въ нарицательное имя. Образы, творимые г. Щедринымъ, обыкновенно, какъ-то скоро блекнутъ и не засѣдаютъ въ головѣ на всю жизнь. Мы опять не станемъ разбирать, отчего это происходитъ—отъ недостатка ли художественныхъ силъ, или оттого, что самая среда, изъ которой, преимущественно, черпаетъ свой матеріалъ писатель, слишкомъ машинообразна и слишкомъ безцвѣтна, или оттого, наконецъ, что писатель, набрасывая свои очерки, постоянно старается выводить новыя лица, которыя, въ сущности, отличаются отъ прежнихъ только видовыми, а не родовыми признаками. Впрочемъ, послѣднее замѣчаніе говоритъ въ пользу того, что г. Щедринъ не достаточно обладаетъ способностью къ концепціи характеровъ.

Мы должны поставить г. Щедрину на видъ еще одинъ недостатокъ его очерковъ—ихъ растянутость, многорѣчивость, которая положительно мѣшаетъ цѣльному впечатлѣнію. Укажемъ для примѣра на статью „Хищники“; это едва ли не лучше всего, что есть въ настоящей книгѣ, и даже одинъ этотъ очеркъ, по глубинѣ и вѣрности мысли, стоитъ всѣхъ „Признаковъ времени“, взятыхъ вмѣстѣ. Подъ именемъ хищничества сатирикъ разумѣетъ одно изъ наслѣдій крѣпостного права, выражающееся въ произволѣ однихъ надъ другими, въ преклоненіи передъ грубою силою. Это, по его словамъ, „стихія, которая движетъ нами, передъ которою мы пресмыкаемся и раболѣпствуемъ, которую мы во всякую минуту готовы обожествить... Это единственная сила, притягивающая къ себѣ современнаго человѣка, одно единственное понятіе, насчетъ котораго не существуетъ разногласія... Хищничество не внимаетъ и не убѣждается, но раздражается и наступаетъ... хищничество идетъ дальше какого-нибудь презрѣннаго Картуша: оно грабитъ, разоряетъ и уязвляетъ, и въ то же время находитъ справедливымъ, чтобы въ уязвляемомъ судьбой играло сердце. Оно любитъ видѣть лица довольныя, и если факты не соотвѣтствуютъ его ожиданіямъ, то укоряетъ въ неблагодарности и нераскаянности.—„Представьте себѣ, вѣдь, еще вздумалъ упираться, гадина!“ говорилъ однажды нѣкоторый молодой хищникъ, разсказывая мнѣ исторію одной расправы съ какою-то очень ничтожною и безызвѣстною козявкой: „мы

его, знаете ли, за волосы,—такъ, нѣтъ! корячиться вздумалъ... клопъ постельный...“ Я взглянулъ хищнику въ лицо: оно пылало такимъ искреннимъ негодованіемъ, что мнѣ сдѣлалось жутко.—„И онъ васъ очень больно укусилъ... этотъ клопъ?“ спросилъ я не безъ волненія.—„Кто укусилъ? кого укусилъ? кто вамъ говоритъ, что укусилъ?“ напустился онъ на меня: „развѣ эта мерзость кусаетъ? ее нужно истреблять... потому... потому...“ Онъ не могъ докончить, потому что негодованіе сковывало его мысль, сдавливало горло и задерживало тамъ приличныя случаю выраженія“. Очеркъ этотъ написанъ съ страстнымъ одушевленіемъ, и всякая строка его понятна безъ всякихъ объясненій; но авторъ нашелъ нужнымъ руководить читателя и даже предостеречь его, чтобъ онъ не примѣнялъ написаннаго къ той или другой общественной сферѣ, къ тому или другому общественному классу. Предосторожность, по нашему мнѣнію, совершенно напрасная и только ослабившая разными вводными подробностями и повтореніями цѣлостность очерка.

То же самое должны мы сказать и о „Письмахъ о провинціи“, которыхъ семь, но которыя легко могли бы умѣститься въ три. Превосходныя характеристики нѣсколько разжижены и тутъ лишнимъ многословіемъ и даже повтореніемъ давнымъ-давно сказаннаго самимъ г. Щедринымъ нисколько не хуже, если не лучше, чѣмъ теперь. Главный интересъ этихъ писемъ сосредоточенъ на анализѣ трехъ группъ провинціаловъ, которыя г. Щедринъ называетъ „исторіографами“, „піонерами“ и „складными душами“. Впослѣдствіи онъ прибавляетъ еще четвертую группу, подъ именемъ „ненавистниковъ“, но въ сущности это тѣ же исторіографы, показанные только исключительно по отношенію къ одному факту, именно къ 19 февраля 1861 года. Раздѣленіе провинціаловъ на эти группы произошло вслѣдствіе наплыва лицъ судебнаго вѣдомства, „піонеровъ“, которые отличаются дѣловитостью, скромностью и независимостью убѣжденій, качествами, прежде не встрѣчавшимися, по крайней мѣрѣ, въ такой законченности, въ провинціи. „Исторіографы“—это тѣ, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными исторіографами Россіи и зиждителями ея судебъ, и вдругъ это ихъ мнимое право оспаривается. Исторіографы, не обладающіе ни образованіемъ, ни начитанностью, никакими видными качествами, поднимаются, именно, во имя сво-

его ничтожества и зависти и начинаютъ дѣйствовать, „отчасти лганьемъ, отчасти клеветою". „Піонеры" — постепеновцы, то-есть люди, вѣрующіе, и совершенно раціонально, въ преуспѣяніе отечества путемъ постепенныхъ реформъ, и такихъ-то людей „исторіографы" обвиняютъ въ нигилизмѣ, коммунизмѣ, въ стремленіи произвести революцію даже внѣшними формами, гуманнымъ обхожденіемъ, скромнымъ образомъ жизни, отсутствіемъ стремленія „бить подсудимыхъ по скуламъ и сгибать ихъ въ бараній рогъ". Но главное страшилище ихъ, представляемое піонерами, это—законность, „тотъ многоглавый минотавръ, съ которымъ сей новый Тезей искони ведетъ неустанную борьбу и ведетъ далеко не безуспѣшно"... Ненавистникъ, какъ мы уже сказали,—только видоизмѣненіе исторіографа, жалкое, почти помѣшанное отъ злобы существо на великую крестьянскую реформу. „Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19-му февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ для него числомъ... Ненавистники не вздыхаютъ по угламъ, не скрежещутъ зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свѣтѣ дня на всѣхъ діалектахъ изрыгаютъ хулу и, не опасаясь ни отпора ни возраженій, сулятъ окончить въ самомъ ближайшемъ времени съ тѣмъ, что они называютъ „гнусною закваской нигилизма и демагогіи" и подъ чѣмъ слѣдуетъ разумѣть отнюдь не демагогію и нигилизмъ, до которыхъ ненавистникамъ нѣтъ никакого дѣла, а преобразованія послѣдняго времени. Это явленіе замѣчается, какъ извѣстно, и въ столицѣ,—на него обращала вниманіе вся журналистика, но г. Щедринъ охарактеризовалъ его такими крупными, такими безподобными чертами, что послѣ него сказать нечего. Резюмируя всѣ толки о пьянствѣ, исходящіе отъ исторіографовъ, г. Щедринъ говоритъ: „Представьте себѣ страну, которой жители поголовно пьяны, въ которой господа съ утра до ночи пьютъ мадеру, а рабочій и прочій „подлый" народъ—сивуху: какое будущее можетъ ожидать такую страну? Представьте себѣ: въ этой странѣ есть правосудіе, но оно отправляется въ пьяномъ видѣ; есть армія, но она защищаетъ отечество въ пьяномъ видѣ; есть администрація, но она распоряжается въ пьяномъ видѣ; есть, наконецъ, администрируемые, но они повинуются въ пьяномъ видѣ... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, какъ

плоская и невѣроятная шутка, что это нелѣпо-волшебное представленіе, въ которомъ неожиданности и сверхъестественности превращеній дозволено замѣнить здравый смыслъ,— да, это такъ, это, дѣйствительно, наглая и смѣха достойная шутка; но таковъ именно фонъ той картины, которую всласть рисуютъ передъ нами губернскіе исторіографы".

„Письма о провинціи" имѣютъ еще одно достоинство по отношенію къ характеристикѣ самого писателя. Мы сказали вначалѣ, что невозможно уловить у г. Щедрина опредѣленнаго міровоззрѣнія: только-что успѣешь подумать, что онъ вотъ что, какъ черезъ нѣсколько страницъ приходишь къ убѣжденію, что ошибся. Въ „Письмахъ о провинціи", подписанныхъ въ „Отечественныхъ Запискахъ", гдѣ они первоначально были напечатаны, псевдонимомъ „Гуринъ", напротивъ, воззрѣнія г. Щедрина являются въ довольно опредѣленномъ видѣ: тутъ онъ просто защитникъ реформъ, ихъ сущности и широкаго примѣненія къ жизни, и во имя одного этого принципа онъ бьетъ исторіографовъ, ненавистниковъ и складныя души (подъ этимъ терминомъ онъ разумѣетъ людей безъ убѣжденія, перебѣгающихъ отъ піонеровъ къ исторіографамъ, и наоборотъ, и кончающихъ тѣмъ, что оба лагеря ихъ отвергаютъ). Намъ кажется, что тутъ-то именно и скрывается настоящій, искренній Щедринъ. Если же въ другихъ произведеніяхъ онъ является съ физіономіей менѣе опредѣленною, то это происходитъ отъ большого запаса юмора, который не сдерживается вслѣдствіе честнаго чувства противъ реакціонныхъ замашекъ и бьетъ иногда, не достаточно разбирая кого. Но неопредѣленность все-таки существуетъ и все-таки мѣшаетъ сатирѣ быть совершенно ясною; легкій скептицизмъ, не совсѣмъ удобный въ наше всеизмѣряющее и взвѣшивающее время, старается замаскироваться въ нѣчто такое, что будто бы весьма далеко идетъ, дальше, чѣмъ всѣ другіе, и не замѣчаетъ, что производитъ карикатуру и шаржъ, даже фельетонъ, дѣйствіе которыхъ скоропреходящее, какъ веселость послѣ хорошаго обѣда.

„Исторія одного города“, г. Щедрина“ [1]).

„Отечественныя Записки“, 1870 г., № 1.

*) Еще недавно намъ гдѣ-то случилось читать негодованіе противъ сатиры Щедрина, негодованіе, якобы, за то, что сатирикъ весьма высокомѣрно смотритъ на окружающее общество, что въ каждомъ его словѣ проглядываетъ какой-то начальническій тонъ. Такое негодованіе, пожалуй, и можно было бы признать справедливымъ, если бы только весь долгъ сатирика заключался въ томъ, чтобы подмѣтить слабыя общественныя стороны и сколь возможно ярче, осязательнѣе изобразить ихъ. Къ несчастію, многіе именно такъ, кажется, и смотрятъ на сатиру, а потому сдѣлаться сатирикомъ у насъ, вообще, нетрудно. Стоитъ только обладать нѣкотораго рода наблюдательностью да имѣть небольшую склонность къ юмору (хоть и плоскому—это пустяки), чтобы, ничего не боясь и не страшась, съ успѣхомъ выступить на поприще обличителя. Подъ этимъ воззрѣніемъ, сатириковъ у насъ расплодилось видимо-невидимо. Одни изъ нихъ, по временамъ, смѣются очень мѣтко; другіе, наоборотъ, болѣе грубо и, зачастую, даже сильно невпопадъ, но какъ бы то ни было, а всѣ они, однакоже, смѣются. Нечего говорить о томъ, что осмысленный, разумный смѣхъ—вещь весьма полезная, исцѣлительная; но потрудитесь прислушаться къ смѣху нашихъ сатириковъ, вникните въ него поглубже, разберите его—и для васъ какъ Божій день сдѣлается ясно, что сквозь ихъ шутки и остроту проглядываетъ не

---

[1]) „Новое Время“, 1870 г., № 71.

*)„Новое Время“ никогда не представляло строго выдержаннаго по программѣ органа. На страницахъ этой газеты находили мѣсто статьи самыхъ разнообразныхъ направленій. Однако, постоянному составу сотрудниковъ, работавшихъ въ ней, нельзя отказать въ талантливости. *Прим. Н. Денисюка.*

смѣхъ разумнаго, благороднаго негодованія, а простое желанія безъ разбору надо всѣмъ и вся смѣяться. Покажите вы нашимъ сатирикамъ палецъ—они и надъ этимъ сію же минуту начнутъ смѣяться и острить. А кому не встрѣчалось видѣть такія натуры, которыя смѣются безпрестанно, и кто не испытывалъ, порой, возбуждаемаго, невольнаго чувства смѣха, глядя на эти вѣчно потѣшающіяся физіономіи? Всякій, кто только испытывалъ и хорошо знаетъ подобное возбуждающее чувство, тотъ, конечно, согласится, что именно такого рода смѣхъ производятъ въ читателѣ и наши сатирики. Вы смѣетесь здѣсь не надъ положеніемъ дѣйствующихъ лицъ, а надъ чисто-внѣшнимъ отношеніемъ самого писателя къ этому положенію. Такой смѣхъ, при всей его искренности, не можетъ быть продолжительнымъ: онъ скоро прискучаетъ, дѣлается приторнымъ и даже отвратительнымъ. Вы сквозь этотъ смѣхъ, пожалуй, и можете усмотрѣть въ писателѣ большую наблюдательность и даже, по временамъ, довольно мѣткій, язвительный юморъ,—но при всемъ томъ чувствуется, что въ сатирѣ чего-то недостаетъ. А недостаетъ въ ней немногаго, но зато самаго главнаго, существеннаго, безъ чего она утрачиваетъ всякое значенія и съ почетной высоты нисходитъ до простого каламбура. Большинство не только изъ нашихъ, но и вообще изъ сатириковъ ловко умѣютъ подсмѣяться, подшутить, но немногіе изъ нихъ настолько могутъ возвыситься надъ окружающею средой, чтобы вполнѣ явиться нравственными бичами общества. А только въ этомъ послѣднемъ случаѣ, по нашему мнѣнію, сатира и можетъ имѣть свое высокое значеніе. Здѣсь она вызываетъ уже не веселый смѣхъ, а презрительную улыбку, негодованіе и злобу. Представителемъ такого рода сатиры у насъ является Щедринъ. Стоитъ прочитать любую его сатиру, чтобъ убѣдиться, что писатель стоитъ неизмѣримо выше окружающей среды. Отсюда уже должно быть понятно и то гордое отношеніе, въ какомъ находится онъ къ изображаемой имъ сферѣ, но спрашивается, можно ли такое отношеніе назвать высокомѣрнымъ, есть ли здѣсь что-нибудь похожее на надменный, начальническій тонъ. Конечно, нѣтъ; высокомѣріе не укладывается и не совмѣщается никоимъ образомъ съ чувствомъ состраданія и любви къ ближнему; но потрудитесь пробѣжать хотя послѣдніе три очерка изъ „Исторіи одного города“, помѣщенные въ первой половинѣ

„Отечественныхъ Записокъ“ за нынѣшній годъ, и вы увидите, какимъ глубокимъ чувствомъ соболѣзнованія пропитаны сатиры Щедрина. Вы поймете, какое тяжелое, грустное, подавляющее чувство скрывается за его, на первый взглядъ, пожалуй, даже холоднымъ смѣхомъ. Нѣкоторые изъ моихъ собратій-рецензентовъ не признаютъ за Щедринымъ ни малѣйшаго чувства и даже укоряютъ его въ безсердечности; но нужно быть самому крайне безчувственнымъ, чтобъ отказать въ этомъ качествѣ нашему лучшему сатирику. Каждый, кто только со вниманіемъ читалъ его сатиры, согласится, что онѣ далеко не въ такой степени возбуждаютъ смѣхъ, въ какой щемятъ сердце и стѣсняютъ дыханіе, а это ли не лучшее доказательство того, что писатель не совсѣмъ индиферентно относится къ изображаемому имъ міру.

„Исторія одного города“.

По подлиннымъ документамъ составилъ М. Е. Салтыковъ (Щедринъ). Спб. 1870 [1]).

*) Аллегорическая сатира была во всѣ времена очень удобной формой для писателя, желавшаго сказать обществу истины, которыя неудобно бы было высказать прямо.

---

[1]) „Недѣля“, 1871 г. № 12.

*) „Недѣля“—еженедѣльная газета, основана, въ мартѣ 1866 г., номинально—генер. Мундтомъ, на самомъ дѣлѣ—П. А. Валуевымъ, авторомъ романа „Лоринъ“ и бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ (1861—68 г.). Успѣха газета не имѣла и совсѣмъ, было, прекратила существованіе, но когда перешла къ книгопродавцу Генкелю, а фактическое завѣдываніе принялъ на себя д-ръ Конради, а съ янв. 1869 г. извѣстная писательница и переводчица Евг. Ив. Конради, газета оживилась, результатомъ чего и была пріостановка изданія на 6 мѣсяцевъ за „проведеніе идей и сужденій, совершенно несовмѣстимыхъ съ основными началами нашего государственнаго и общественнаго порядка“. Послѣ этого газета становится собственностью Е. И. Конради, извѣстнаго журналиста П. А. Гайдебурова и Ю. И. Росселя. Газета продолжала вестись въ томъ же духѣ, за что и получила снова 3 предостереженіе (1871), и пріостановлена на 6 мѣсяцевъ. Въ 1873 г. снова газетѣ дѣлается официальное указаніе на тенденцію къ „апологіи такъ-называемаго нигилистическаго реализма“, а также „сочувственное отношеніе по распространенію ложныхъ и вредныхъ понятій, извращающее общественную нравственность“. Въ 1874 г. Е. И. Конради выходитъ изъ числа соиздателей. Въ 1876 г. Гайдебуровъ утвержденъ редакторомъ-издателемъ, но это не избавляетъ газету отъ административныхъ каръ. Въ 1875 г. газета пріостанавливается на 3 мѣсяца. Въ 1876 г. газетѣ ставятъ на видъ статью „Чрезвычайныя мѣры“, въ 1877 г.—„Геройская смерть Данилова“, въ 1878 г.—„Дѣло Вѣры Засуличъ“; въ 1879 г. за статью „Въ чемъ выходъ“ пріостанавливаютъ на 3 мѣсяца. Въ 1884 г. указываютъ на „вредное направленіе, выразившееся въ восторженной апологіи французской революціи 1789 г.“. Въ 1893 г. П. А. Гайдебуровъ умираетъ, и газета переходитъ въ руки сына его В. П. Гайдебурова. Въ періодъ напечатанія приводимой у насъ статьи направленіе газеты опредѣлялось дѣятельнымъ сотрудничествомъ такихъ писателей какъ Н. В. Шелгуновъ, а также мотивировкой тѣхъ административныхъ каръ, которымъ подвергалась газета. *Прим. Н. Денисюка.*

Этими сатирами отмѣчены всѣ переходныя эпохи; ими общество подводитъ итогъ прошедшаго, готовясь къ рѣшительному шагу впередъ. Эти сатиры были знаменемъ XVIII вѣка во Франціи и въ Англіи. Кромѣ вышеупомянутаго важнаго удобства, аллегорическая сатира представляетъ и другое, не менѣе важное. Истина, высказанная какъ отвлеченное разсужденіе, далеко не можетъ произвести такое сильное впечатлѣніе на умы, какъ истина, воплощенная въ яркія и рѣзкія формы вымысла. Вотъ почему всѣ учители общества такъ охотно употребляли эту форму. Такъ дѣлалъ Монтескьё въ своихъ „Персидскихъ письмахъ", Вольтеръ—въ своихъ разсказахъ, Свифтъ—въ своемъ „Путешествіи Гулливера". Примѣру ихъ послѣдовалъ и г. Салтыковъ, и съ ѣдкимъ, безпощаднымъ юморомъ въ своей „Исторіи одного города" описываетъ бѣдствія родного намъ города Глупова. Сквозь бичующій строй его сатиры прогоняются передъ читателемъ начерченные размашистыми и рѣзкими штрихами типическіе образы прошлаго: и расточающій Бородавкинъ, готовящій скоровоспалительные матеріалы для сожженія всего города; и Негодяевъ, принадлежавшій къ школѣ „птенцовъ", которымъ рѣшительно все равно, что ни насаждать, хотя бы и ненавистную имъ конституцію, если бы начальство того потребовало; и французъ Дю-Шаріо, начинавшій объясненіемъ глуповцамъ правъ человѣка и кончившій объясненіемъ правъ Бурбоновъ; и Беневоленскій, обвиненный въ измѣнническихъ сношеніяхъ съ Наполеономъ и возбудившій общую ненависть своими законами, которые, регламентируя то сбивчиво, то до наивности ясно каждый шагъ глуповцевъ въ послѣдней статьѣ, разрѣшаютъ имъ поступать „въ остальномъ по произволенію", и другіе. Авторъ, несмотря на безпощадную ѣдкость своего юмора, умѣлъ сохранить объективный и правдивый тонъ лѣтописца, отчего сатира мѣстами производитъ потрясающее впечатлѣніе. „Исторія одного города" приводитъ къ самымъ безотраднымъ выводамъ. Ее могъ написать только человѣкъ, безнадежно отчаявшійся въ возможности для города Глупова перестать быть Глуповомъ. Ни одного намека на лучшую будущность для глуповцевъ не даетъ лѣтопись ихъ города; ни малѣйшаго задатка самостоятельности, ни малѣйшаго проблеска человѣческаго развитія не видно въ его глуповцахъ. Они какъ были народомъ

головотяповъ, такъ прозваннымъ за привычку тяпать обо все головами, такъ, кажется, и останутся имъ навсегда. Эта безотрадность выводовъ, къ которымъ приводитъ сатира его, не упрекъ автору. Сатира не достигла бы своей цѣли, если бъ не производила его. Люди, читавшіе Свифтово „Путешествіе Гулливера“ въ то время, когда оно вышло въ свѣтъ, могли вынести изъ его сатиры одну безотрадную увѣренность неминуемаго и близкаго разложенія Англіи. Но Англія жива и до сихъ поръ и хотя и неспѣшными шагами, однако, идетъ впередъ во главѣ другихъ государствъ Европы. Но если бы Свифтъ не былъ такъ всецѣло поглощенъ язвами своего времени, онъ не могъ бы бросить ей въ лицо безпощадную до цинизма и чудовищную до отвращенія картину этихъ язвъ, которая заставила ее содрогнуться. Разумѣется, что не можетъ быть и рѣчи о сравненіи „Исторіи одного города“ съ „Путешествіемъ Гулливера“, по силѣ и значенію, но и та и другая книга составляютъ въ жизни народовъ, создавшихъ ихъ, явленіе совершенно аналогичное. Если есть въ глуповцахъ силы измѣнить свое глуповское міросозерцаніе и перерасти гнетущую безобразную форму глуповскихъ порядковъ, то показывать зачатки этого перерастанія не можетъ быть задачею сатиры.

Въ заключеніе нашего отзыва приведемъ замѣтку о произведеніи г. Салтыкова, появившуюся въ двухнедѣльной англійской газетѣ „The Academy“ (1 марта 1871 г.) и представляющую тѣмъ бо́льшій интересъ для русскихъ читателей, что она принадлежитъ перу нашего отечественнаго романиста, г. Тургенева. Въ замѣткѣ этой г. Тургеневъ сравниваетъ сатиру Салтыкова съ Ювеналовой; его горькій и рѣзкій смѣхъ, переходящій часто въ оскорбительный, и безпощадная сатира, граничащая иногда съ карикатурой, напоминаютъ сатиры великаго римскаго поэта. Кромѣ сходства съ Ювеналомъ, г. Тургеневъ находитъ въ г. Салтыковѣ сходство съ Свифтомъ. Сатира Салтыкова, по опредѣленію его, также серіозно и мрачно реальна; потрясающая реальность ея доходитъ до прозаичности, даже въ самыхъ дикихъ увлеченіяхъ фантазіей, и отличается здравымъ смысломъ, чтобы не сказать умѣренностью, несмотря на чудовищность и даже карикатурность формы. „Я видѣлъ, говоритъ г. Тургеневъ, какъ публика хохотала до судорогъ, слушая чтеніе нѣкоторыхъ разсказовъ Щедрина. Было даже что-то страш-

ное въ этомъ смѣхѣ, потому что публика, смѣясь, чувствовала себя подъ ударами его бича. Тургеневъ еще находитъ, совершенно справедливо, что „Исторія одного города“ принадлежитъ къ числу произведеній, отмѣчающихъ духъ своего времени и на которыя будущій историкъ Россіи долженъ будетъ обратить вниманіе, чтобы понять, какъ отразилось въ русскомъ обществѣ все пережитое имъ въ продолженіе цѣлаго столѣтія. Въ заключеніе онъ совѣтуетъ перевести на англійскій языкъ только нѣкоторые очерки градоначальниковъ, потому что все произведеніе освѣщено такимъ сильнымъ національнымъ колоритомъ, который не можетъ быть сохраненъ переводомъ, и съ утратой котораго многія мѣста очерковъ потеряютъ весь свой смыслъ; тѣмъ болѣе, что авторъ иногда удивляетъ читателя самыми неожиданными и необъяснимыми полетами фантазіи, въ родѣ градоначальника, у котораго головой былъ страсбургскій пирогъ, съѣденный, по ошибкѣ, предводителемъ дворянства—гастрономомъ и любителемъ трюфелей; впрочемъ, эти полеты, необъяснимые сущностью сатиры, объясняются невозможностью высказывать подчасъ истину наголо, — жаль только, что иногда туманъ оказывается непроницаемымъ и для не слишкомъ проницательнаго читателя.

„Ташкентцы приготовительнаго класса“, г. Щедрина [1]).

„Отечественныя Записки“, 1871 г., сентябрь.

*) Въ сентябрьской книжкѣ „Записокъ“ удаченъ очеркъ г. Щедрина: „Ташкентцы приготовительнаго класса“. Талантливый сатирикъ выступаетъ въ этомъ очеркѣ со всѣмъ блескомъ своего оригинальнаго юмора, и—что въ его произведеніяхъ оказывается болѣе рѣдкимъ—даетъ необыкновенно художественно очерченныя живыя фигуры. Лица матери юнаго ташкентца, ея великолѣпнаго сынка и „сельскаго дворянина“ Мангушева—въ своемъ родѣ превосходные типы. Съ какимъ свѣжимъ юморомъ обрисована эта чудесная свѣтская маменька въ разные періоды ея милой жизни. Когда она вышла замужъ за ротмистра Персіанова, она „поселилась въ храмѣ утѣхъ полновластной хозяйкой“. Ея жизнь была непрерывнымъ рядомъ „баловъ, parties de plaisirs, выѣздовъ, пріемовъ, въ которыхъ принимали участіе представители всѣхъ возможныхъ родовъ оружія и дипломаты всѣхъ вѣдомствъ. „C'était un rêve“ [2]), какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращеніи съ бала, начиналось, собственно, семейное счастье и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за свой туалетъ, предшествующій визитамъ или пріему“. Потомъ у ней умеръ мужъ, и въ продолженіе четырехъ лѣтъ она хранила вѣрность его памяти и избѣгала всѣхъ искушеній, которымъ не было числа. Только одинъ отецъ Антоній, ея духовникъ, зналъ „всѣ перипетіи этой борьбы слабой жен-

---

[1]) „Спб. Вѣдом.“, 71 г., № 274. (См. вып. I-й, стран. 74).

*) Статья эта принадлежитъ перу В. Буренина. (См. стран. 49.)

[2]) Это былъ сонъ.

щины съ цѣлымъ корпусомъ кавалерійскихъ офицеровъ"; онъ и сравнивалъ ее съ египетскими пустынножителями, и для пріобрѣтенія бо́льшей крѣпости въ брани совѣтовалъ соблюдать посты. Но даже и съ этой стороны интересная вдова не могла считать себя совершенно безопасною, потому что отецъ Антоній выслушивалъ ее „смущенный и очи опустя, какъ передъ матерью невинное дитя"; „она такъ и ожидала, что онъ нѣтъ-нѣтъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой гвардейскій корнетъ". Родные не были поражены ея твердостью и только одинъ дядя надѣялся, что когда-нибудь „cela viendra". И, дѣйствительно, послѣ четырехъ лѣтъ она вдругъ укатила за границу, оставивъ своего ребенка теткѣ, и предалась разнымъ пріятнымъ развлеченіямъ съ энергіей, свойственной россіянкамъ. За границей „la belle princesse Persianoff" сдѣлалась предметомъ газетныхъ фельетоновъ и устныхъ скандалёзныхъ хроникъ. Называли двухъ-трехъ литераторовъ, одного министра (de l'Empire), одного сенатора и даже одного акробата (неизбѣжное чтеніе романа „L'homme qui rit" [1]) и т. д. Въ то время, какъ изящная маменька жуировала въ чужихъ краяхъ, закладывая свои владѣнія ради амуровъ съ сотрудниками „Figaro" и „Charivari", ея милый сынокъ, котораго съ дней младенчества всѣ именовали „куколкой", получалъ воспитаніе въ одномъ „высшемъ учебномъ заведеніи". Воспитаніе было превосходное. „По части священной исторіи онъ зналъ, что „царь Давидъ на лирѣ, играетъ во псалтырѣ", и что у законоучителя ихъ „лимонная борода". По части всеобщей исторіи онъ былъ твердо убѣжденъ, что Римъ палъ жертвою своевольной черни. По части этнографіи и статистики ему не безызвѣстно было, что человѣчество раздѣляется на двѣ отдѣльныя породы: chevaliers и manants, [2]) изъ которыхъ первые храбры, великодушны, преданы и вѣрны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда даннаго слова не выполняютъ. Онъ зналъ также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмиренію посредствомъ экзекуцій".

Подготовившись столь основательно, юный ташкентецъ

---

[1]) Романъ В. Гюго—„Человѣкъ, который смѣется".

[2]) Дворянъ и мужиковъ.

сформировывается въ истинно-прелестнаго шалопая. Авторъ съ удивительнымъ устроуміемъ разоблачаетъ всю ташкентскую его душу въ бесѣдахъ съ очаровательною маменькой. Не могу воздержаться, чтобы не привести читателямъ одинъ небольшой отрывокъ изъ этихъ прелестныхъ бесѣдъ. Любезный сынокъ открываетъ свою profession de foi матери: „Я консерваторъ; я человѣкъ порядка. En outre, je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe—voici mon programme à moi [1]). Что касается до нигилистовъ, то я думаю о нихъ такъ: это люди самые пустые и даже—passez moi le mot—негодяи"... „Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народъ! Они требуютъ милліонъ четыреста тысячъ головъ! Je vous demande, si c'est pratique" [2]). Съ минуту и мать и сынъ оба молчатъ, подавленные. „Они говорятъ, что наука — вздоръ... La science! что искусство—напрасная потеря времени... Les arts! Что всякій сапожникъ во-сто разъ полезнѣе Пушкина... Pouschkine! Новая минута молчанія.

— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! [3]) Они не признаютъ религіи, церкви... notre sainte église orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste! [4])

Ольга Сергѣевна не можетъ больше владѣть собой и бросается къ Nicolas:

— Nicolas! Я вижу! я все вижу! tu es un noble et saint enfant! [5]) Но скажи, ты зналъ? ты зналъ кого-нибудь изъ этихъ странныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.

— Maman! я видѣлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il était mal peigné, pas du tout lavé... [6]) и отъ него пахло!

— Horreur!

Читатели согласятся, что это крайне ѣдко и мѣтко. Кстати, нельзя не замѣтить, что г. Щедрину его сатирическія намѣренія гораздо болѣе удаются, когда онъ беретъ для нихъ форму живыхъ образовъ, а не форму отвлеченныхъ разсу-

---

[1]) Сверхъ того, я легитимистъ! Порядокъ, отечество, и наша святая православная религія—вотъ моя программа.

[2]) Я васъ спрашиваю, практично ли это.

[3]) Они живутъ, какъ собаки съ своими самками.

[4]) Наша святая православная церковь! И вы спрашиваете меня, нигилистъ ли я!

[5]) Ты благородное и святое дитя.

[6]) Онъ былъ дурно причесанъ, совсѣмъ не умытъ.

жденій, къ которой онъ иногда склоненъ. Правда, сатирическія разсужденія даровитаго автора бываютъ часто очень ядовиты и злы; но, во всякомъ случаѣ, они уступаютъ тѣмъ его очеркамъ, гдѣ онъ покидаетъ почву сатирика-резонера и отдается на волю стремленій своего художественнаго инстинкта. Г. Щедринъ—какъ это ни странно можетъ показаться съ перваго раза—по сущности своего таланта чистый художникъ. И только тамъ, гдѣ онъ является чистымъ художникомъ, гдѣ онъ имѣетъ дѣло съ жизненными типами, гдѣ онъ говоритъ „образами“,—только тамъ онъ предстаетъ сильнымъ сатирикомъ, безошибочно бьющимъ въ самую суть отрицательныхъ явленій жизни.

Z (В. Буренинъ).

Историческая сатира [1]).

„Исторія одного города". По подлиннымъ документамъ издалъ М. Е. Салтыковъ (Щедринъ). Спб., 1870 г.

Повидимому, нѣтъ ничего легче, какъ дать себѣ отчетъ о произведеніи писателя, талантъ котораго окрѣпъ и вполнѣ опредѣлился, и имя пользуется извѣстностью наравнѣ съ лучшими именами нашей литературы. Но послѣднее произведеніе г. Салтыкова въ читателѣ внимательномъ порождаетъ нѣкоторыя недоумѣнія, разрѣшить которыя не совсѣмъ легко. „Исторія одного города", по замыслу, есть нѣчто новое, есть попытка на новомъ поприщѣ, на которое г. Салтыковъ еще не выходилъ: онъ пробуетъ свои силы, если можно такъ выразиться, въ исторической сатирѣ, то-есть ищетъ для себя образовъ въ прошломъ, не особенно далекомъ, что не лишаетъ его произведеніе нѣкотораго современнаго значенія, потому что, несмотря на несомнѣнный прогрессъ въ нашей жизни, и болѣе отдаленное прошлое въ нѣкоторыхъ чертахъ сохраняетъ еще для насъ интересъ современности: достаточно указать на сочиненіе Флетчера *) „О Государствѣ Русскомъ", явившееся въ XVI-мъ столѣтіи; оно такъ глубоко указало на причины нашихъ недуговъ, что нѣкоторыя страницы его смѣло могутъ быть вставлены въ современную публицистическую статью, и ни одному читателю не придетъ въ голову, что это не мысли современнаго автора, а голосъ просвѣщеннаго, дальновиднаго политика-англичанина, умершаго двѣсти шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Г. Салтыковъ беретъ своихъ героевъ изъ вто-

---

[1]) „Вѣстн. Европы", 1871 г., 4 кн. (См. стран. 51.)

*) Джильсъ Флетчеръ написалъ правдивую и интересную книгу о Россіи „On the Russian Common Wealth". Флетчеръ ознакомился съ Россіею въ бытность свою у насъ, въ качествѣ посла, въ 1588 г. Книга, однако, была сожжена въ Лондонѣ, дабы не нарушить добрыхъ отношеній съ Россіей.

Прим. Н. Д.

рой половины прошлаго вѣка и первой четверти настоящаго; естественно, что въ этомъ предѣлѣ онъ могъ выбрать весьма рельефныхъ героевъ, которыми, вообще, такъ богатъ былъ XVIII-й вѣкъ; если бъ какому-нибудь изъ нашихъ теперешнихъ талантливыхъ поэтовъ пришла охота *перевести* сатиры Кантемира звучными ямбами, то можно поручиться, что онѣ возбудили бы живой интересъ, потому что содержаніе ихъ далеко не вымерло; но современный сатирикъ, который рѣшился бы добросовѣстно изучить эпоху, непосредственно слѣдовавшую за Кантемиромъ, во всѣхъ ея подробностяхъ, и изобразить ее въ яркихъ картинахъ, былъ бы, конечно, въ положеніи гораздо лучшемъ, чѣмъ „переводчикъ“ Кантемира; сообразивъ все это, г. Салтыковъ, конечно, принялъ во вниманіе и бо́льшую свободу творчества, предоставляемую условіями нашей печати для писателей, уходящихъ, такъ-сказать, въ глубь вѣковъ. Таковы были выгоды положенія сатирика.

Если бы онъ приступилъ къ своему предмету прямо, никакихъ недоумѣній, о которыхъ мы упомянули, могло бы и не существовать; но ему захотѣлось почему-то усложнить свою задачу и выразить въ предисловіи тѣ цѣли, которыя имѣлъ онъ въ виду. Одна изъ нихъ—историческая сатира, какъ мы уже сказали, заключенная, однако, въ довольно узкія рамки, ибо авторъ желаетъ только „уловить физіономію города (Глупова) и услѣдить, какъ въ его исторіи отражались разнообразныя перемѣны, одновременно происходившія въ высшихъ сферахъ“. Другая цѣль, какъ то можно судить по нѣкоторымъ прозрачнымъ намекамъ того же предисловія,—сатира на методъ исторіографіи, котораго придерживаются гг. Шубинскій, Мельниковъ и др. *): имена эти

*) Типичнымъ представителемъ этой группы „исторіографовъ“ является Павелъ Иван. Мельниковъ (Андрей Печерскій). У него дѣятельность ученаго шла рука объ руку съ доносомъ и подсказываніемъ администраціи репрессивныхъ мѣръ въ отношеніи тѣхъ общественныхъ группъ, міросозерцаніе которыхъ расходилось съ міросозерцаніемъ самого „изслѣдователя“. Такъ, наприм., занятія исторіей возбудили въ немъ особый интересъ къ расколу. Книжными свѣдѣніями по этому вопросу онъ не довольствовался, а собиралъ на мѣстахъ, „лежа у мужика на полатяхъ“, преданія, и знакомился съ бытомъ и религіозными вѣрованіями раскольниковъ. Результатомъ изученія быта людей, добродушно удовлетворявшихъ ученую любознательность историка, было требованіе со стороны послѣдняго примѣненія полицейско-административныхъ мѣръ въ отношеніи раскольниковъ.

г. Салтыковъ приводитъ. Повидимому, съ этою цѣлью онъ рекомендуетъ себя только издателемъ „Глуповскаго Лѣтописца“, заключающагося въ большой связкѣ тетрадей, найденной имъ въ глуповскомъ городскомъ архивѣ. „Лѣтописецъ“ веденъ четырьмя архиваріусами съ 1731-го года по 1825-й г., и содержаніе его „почти исключительно исчерпывается біографіями градоначальниковъ, въ теченіе почти цѣлаго столѣтія владѣвшихъ судьбами города Глупова, и описаніемъ замѣчательныхъ ихъ дѣйствій, какъ-то: скорой ѣзды на почтовыхъ, энергическаго взысканія недоимокъ, походовъ противъ обывателей, устройства и разстройства мостовыхъ, обложенія данями откупщиковъ“ и т. п. Для большей ясности своей цѣли авторъ прибавляетъ, что онъ „только исправилъ тяжелый и устарѣлый слогъ „Лѣтописца“ и имѣлъ надлежащій надзоръ за орѳографіей, нимало не касаясь самаго содержанія лѣтописи. Съ первой минуты до послѣдней издателя не покидалъ грозный образъ Михаила Петровича Погодина [1]), и это уже одно можетъ служить ручательствомъ, съ какимъ почтительнымъ трепетомъ онъ относился къ своей задачѣ“.

Прочитавъ одно предисловіе и не приступая еще къ самой книгѣ, можно подумать, что это — просто шутка, смѣхъ для смѣха, потому что странно было бы писать цѣлую книгу съ той, между прочимъ, цѣлью, чтобъ осмѣять разныхъ невинныхъ компиляторовъ, которые, въ концѣ-концовъ, все-таки приносятъ свою долю пользы. Но познакомившись съ содержаніемъ цѣлой книги, по временамъ видишь, что г. Салтыковъ какъ-будто и въ самомъ дѣлѣ не упускаетъ изъ виду пародіи, и, вслѣдствіе того, становится трудно отдѣлять тѣ взгляды, которые сатирикъ можетъ считать своими, въ качествѣ бытописателя, отъ взглядовъ мнимыхъ его архиваріусовъ. Правда, тонъ пародіи нигдѣ не

Мельниковъ предложилъ нижегородскому губернатору весьма, по его мнѣнію, радикальное средство противъ религіозныхъ заблужденій—отдача раскольниковъ въ рекруты безъ очереди. Этой оригинальной мыслью губернаторъ тотчасъ же и воспользовался, изложивъ ее во всеподданѣйшемъ докладѣ. Мельникову же принадлежатъ и другіе проекты искорененія раскола путемъ насилія и расправы. Мельниковъ получилъ, въ концѣ-концовъ, то, къ чему онъ, видимо, стремился—онъ сдѣлалъ быстро служебную карьеру.

Прим. Н. Д.

[1]) Мих. Петр. Погодинъ, профессоръ русской исторіи и представитель такъ-называемой „славянской идеи“.

выдержанъ, „грозный образъ М. П. Погодина“ нимало не преслѣдуетъ сатирика, и онъ является самимъ собой, со своею манерой, со своимъ давно извѣстнымъ юморомъ, со своимъ остроуміемъ, со всѣми своими достоинствами и недостатками. Вообще, въ „изложеніи“, въ художественныхъ пріемахъ нѣтъ и запаху какихъ-нибудь архиваріусовъ, но въ „воззрѣніи“ на нѣкоторыя историческія явленія и на главнѣйшій факторъ ихъ—народъ—слышатся иногда архиваріусы, преисполненные бюрократическаго достоинства и чиновничьяго міросозерцанія. Такъ и думаешь, что это пародія, и ждешь подтвержденія своей догадкѣ, но сатирикъ спѣшитъ васъ разочаровать и повергнуть въ новое недоумѣніе. Написавъ половину книги, онъ замѣтилъ, что архиваріусы ужъ слишкомъ выступаютъ впередъ и заслоняютъ собою просвѣщенныя понятія и дальновидную историографическую зрѣлость невыдуманнаго автора, а потому онъ счелъ нужнымъ оговориться; но вы ошибаетесь, если подумаете, что онъ, въ качествѣ историка-сатирика, чувствующаго себя стоящимъ неизмѣримо выше гг. Шубинскихъ и компаніи, подвергнетъ критикѣ мнимаго „Лѣтописца“, укажетъ ему надлежащія границы и, осудивъ его узкую мѣрку, которою онъ мѣритъ событія, воспользуется этимъ, чтобы высказать свой собственный, просвѣщенный и современный взглядъ; совсѣмъ напротивъ: сатирикъ беретъ подъ свою защиту архиваріусовъ (стр. 155—157) и съ свойственнымъ ему остроуміемъ доказываетъ, что сама правда говоритъ устами ихъ, какъ ни грустна начертанная ими картина, и что глуповцы иными и не были и быть не могли, въ силу историческихъ обстоятельствъ, какъ такими, какими изобразили имъ архиваріусы, особенно, если принять во вниманіе, что „Лѣтописецъ преимущественно ведетъ рѣчь о такъ-называемой черни“; но нѣсколько страницъ далѣе мы видимъ, что архиваріусъ ничуть не лучше трактуетъ и объ интеллигенціи... Стало-быть, это не пародія; стало-быть, сатирикъ готовъ подписаться подъ взглядами архиваріусовъ, или онъ опять шутитъ, беззаботно смѣется и надъ архиваріусами, и надъ читателемъ, и надъ господами Шубинскими? Читаете дальше, и передъ вами возникаетъ новый вопросъ: не захотѣлъ ли г. Салтыковъ насмѣяться и надъ самимъ собою? Подобное самоотверженіе рѣдко посѣщаетъ авторовъ, но все-таки бываетъ...

Вотъ тѣ недоумѣнія, которыя порождаетъ въ насъ книга г. Салтыкова; явились ли они въ ней, вслѣдствіе неудачнаго литературнаго пріема и двойственности цѣли или неясности для самого сатирика причинъ историческихъ явленій? Такъ какъ эти недоумѣнія преслѣдуютъ читателя черезъ всю книгу, то это мѣшаетъ ея цѣльности, ея впечатлѣнію на читателя, путаетъ его относительно воззрѣній автора на событія и лица и смѣшиваетъ его личность съ изобрѣтенными имъ архиваріусами. Путаницѣ этой способствуетъ поверхностное знакомство автора съ исторіей XVIII-го вѣка и, вообще, съ исторіей русскаго народа. Для того, чтобъ изобразить эту исторію хотя бы въ узкой рамкѣ одного города Глупова, для того, чтобы глубоко-вѣрно и мѣтко представить отношеніе глуповцевъ къ власти, и, наоборотъ, для того, чтобы понять характеръ народа въ связи съ его исторіей, надобно или обладать геніальнымъ талантомъ, который многое отгадываетъ чутьемъ, или, имѣя талантъ далеко не великій, долго и прилежно сидѣть надъ писаніями, положимъ, тѣхъ же архиваріусовъ. Иначе, безъ изученія, можно впасть въ ту же грубую ошибку, въ какую впадали нѣкоторые иностранцы, посѣщавшіе Русь въ XVI-мъ вѣкѣ и говорившіе, что „русскимъ народомъ можно управлять, только запустивъ въ ихъ кровь по локоть руки“. Г. Салтыковъ, конечно, не говоритъ ничего подобнаго и ничего подобнаго и въ намѣреніи имѣть не можетъ, но его глуповцы такъ глупы, такъ легкомысленны, такъ идіотичны и ничтожны, что самый глупый и ничтожный начальникъ ихъ является существомъ высшимъ, равнаго которому изъ среды себя глуповцы не могли бы представить. Въ читателѣ естественно рождается мысль, что глуповцы должны благодарить Бога и за такихъ начальниковъ... Хотѣлъ ли это сказать г. Салтыковъ, или это вышло противъ его воли, или все это онъ шутитъ, все беззаботно хохочетъ, желая во что бы то ни стало потѣшить просвѣщенныхъ соотечественниковъ и насчетъ начальства и насчетъ его подчиненныхъ, такъ, чтобы не было обидно ни тѣмъ ни другимъ?.. Вопросъ любопытный для характеристики нашего сатирика, но рѣшеніе его затруднительно.

Мы уже сказали, что невозможно ясно разграничить мнѣнія сатирика отъ мнѣній архиваріусовъ, и если взяться за этотъ трудъ, то онъ уже потому окажется безплоднымъ,

что иногда рѣчи, вложенныя сатирикомъ въ уста архиваріусовъ, отличаются и мѣткимъ остроуміемъ и даже глубиною, тогда какъ мнѣнія, принадлежащія, повидимому, самому сатирику, не отличаются ни тѣмъ ни другимъ. Прочтите, напр., слѣдующее, принадлежащее архиваріусу, сравненіе исторіи Глупова съ исторіей Рима: „Въ Римѣ сіяло нечестіе, а у насъ—благочестіе; Римъ заражало буйство, а насъ — кротость; въ Римѣ бушевала подлая чернь, а у насъ—начальники". Очевидно, что тутъ даровитый сатирикъ сидитъ въ архиваріусѣ, тогда какъ въ другихъ—архиваріусъ влѣзаетъ, неизвѣстно зачѣмъ, въ сатирика. Наконецъ, есть и такія мѣста, гдѣ нѣтъ ни сатирика, ни архиваріуса, ни историка, а есть просто человѣкъ, старающійся васъ позабавить во что бы то ни стало и являющійся передъ вами безъ всякой руководящей идеи. Что дѣлать критикѣ при этой путаницѣ? Писать ли комментаріи къ „Исторіи одного города", прозрѣвать ли въ ней то, чего нѣтъ, отдѣлять ли личность сатирика отъ личности архиваріуса, или принять, что передъ вами цѣльное лицо автора, въ которомъ всѣ эти противорѣчія слились въ силу какихъ-либо исключительныхъ законовъ гармоніи?

Мы избираемъ средній путь и прежде всего прослѣдимъ въ „Исторіи одного города" дѣйствія градоначальниковъ и подданныхъ, и посмотримъ, кто кого лучше. Насъ не задержитъ это долго, потому что отъ подобнаго разбора избавляетъ насъ предисловіе, гдѣ въ сжатыхъ, остроумныхъ выраженіяхъ резюмируется большая часть книги и главнѣйшая ея сущность. Читатели не забыли, что „Лѣтописецъ" почти исключительно исчерпывается біографіями градоначальниковъ; эти чиновники были таковы: „Градоначальники временъ Бирона отличаются безразсудствомъ, градоначальники временъ Потемкина—распорядительностью, а градоначальники временъ Разумовскаго—неизвѣстнымъ происхожденіемъ и рыцарскою отвагою (?). Всѣ они сѣкутъ обывателей, но первые сѣкутъ абсолютно, вторые объясняютъ причины своей распорядительности требованіями цивилизаціи, третьи желаютъ, чтобы обыватели во всемъ положились на ихъ отвагу. Такое разнообразіе мѣропріятій, конечно, не могло не воздѣйствовать и на самый внутренній складъ обывательской жизни: въ первомъ случаѣ обыватели трепетали безсознательно; во второмъ—трепетали съ сознаніемъ собствен-

ной пользы; въ третьемъ—возвышались до трепета, исполненнаго довѣрія. Даже энергическая ѣзда на почтовыхъ и та неизбѣжно должна была оказывать извѣстную долю вліянія, укрѣпляя обывательскій духъ примѣрами лошадиной бодрости и нестомчивости". Итакъ, главныя, если не единственныя занятія градоначальниковъ—сѣченіе и взысканіе недоимокъ; традиція эта унаслѣдована ими отъ самыхъ древнѣйшихъ временъ, со времени призванія глуповцами къ себѣ князей, что сатирикъ разсказываетъ въ особомъ очеркѣ „О корени происхожденія глуповцевъ", очеркѣ слабомъ, неостроумномъ, не возбуждающемъ даже улыбки, хотя авторъ, очевидно, разсчитываетъ на читательскій смѣхъ, наполняя свое сказаніе якобы смѣшными словами, въ родѣ „моржеѣды, лукоѣды, гущеѣды, вертячіе бобы, лягушечники, губошлепы, кособрюхіе, рукосуи" и проч.—такъ именуются независимыя племена, жившія въ сосѣдствѣ съ глуповцами или „головотяпами", какъ они первоначально назывались; назывались же они такъ потому, что „имѣли привычку *тяпать* головами обо все, что́ бы ни встрѣтилось на пути. Стѣна попадается — объ стѣну тяпаютъ; Богу молиться начнутъ—объ полъ тяпаютъ". Это „тяпанье" уже достаточно говоритъ о душевныхъ, прирожденныхъ качествахъ головотяповъ, развившихся въ нихъ независимо отъ князей, а, такъ сказать, на общинной волѣ, на вѣчахъ; неизвѣстно, почему идутъ глуповцы искать себѣ князя глупаго, но нечаянно наталкиваются на умнаго, который переименовалъ ихъ въ глуповцевъ и, при первомъ бунтѣ, который они устраиваютъ, выведенные изъ терпѣнія притѣсненіями намѣстника, является къ нимъ собственною персоной и кричитъ: „Запорю!". „Съ этимъ словомъ,—замѣчаетъ сатирикъ,—начались историческія времена".

Такимъ образомъ, первое и послѣднее слово въ исторіи Глупова—сѣченье, предпринимаемое, въ особенности, для сбора недоимокъ. Градоначальники съ этою цѣлью устраиваютъ цѣлые походы:—одинъ изъ нихъ такъ поусердствовалъ, что „спалилъ тридцать три деревни и, съ помощью сихъ мѣръ, взыскалъ недоимокъ два рубля съ полтиною"; другой „сталъ сѣчь неплательщика, думая преслѣдовать въ этомъ случаѣ лишь воспитательную цѣль, и совершенно неожиданно открылъ, что въ стѣнѣ у сѣкомаго зарытъ кладъ. Реальность этого факта подтверждается тѣмъ, что съ тѣхъ

поръ сѣченіе было признано лучшимъ способомъ для взысканія недоимокъ". Все это и остроумно и мѣтко бьетъ.

Что касается субъективныхъ особенностей градоначальниковъ, то въ этомъ отношеніи мы находимъ мало разнообразія: всѣ они болѣе или менѣе похожи другъ на друга; главное отличіе ихъ заключается въ томъ, что одни буйны, другіе—кротки; одни отличаются необыкновенною энергіей даже въ подавленіи мнимыхъ бунтовъ, другіе, напротивъ, предоставляютъ глуповцамъ болѣе или менѣе самоуправленія. Подробную характеристику градоначальниковъ историкъ-сатирикъ начинаетъ съ 1762-го г., когда въ Глуповъ былъ присланъ на градоначальство Дементій Варламовичъ Брудастый, который выразилъ свою программу слѣдующими словами: „натискъ и притомъ быстрота, снисходительность и притомъ строгость"; при немъ „хватали и ловили, сѣкли и пороли, описывали и продавали" до тѣхъ поръ, пока не оказалось, что у градоначальника, вмѣсто головы, былъ органчикъ, сдѣланный Винтергальтеромъ и выговаривавшій два слова: „разорю" и „не потерплю". Этихъ двухъ словъ оказалось достаточно для управленія глуповцами, народомъ, въ сердцахъ которыхъ всѣ градоначальники, „какъ бурные, такъ и кроткіе, оставили по себѣ благодарную память". Къ несчастію, мѣстный механикъ не могъ исправить органчика, когда онъ испортился, и Брудастый принужденъ былъ отправить голову для исправленія въ Петербургъ; при доставкѣ ея обратно въ Глуповъ, ямщикъ услыхавъ, что голова отчетливо произнесла „разорю", выбросилъ ее въ ужасѣ на дорогу, и съ этого времени началось въ Глуповѣ безначаліе и явились самозванки: Ираида Лукинишна Палеологова, Клемантинка, Амалька, Дунька и Матренка. Всѣ эти самозванки овладѣли властью и истребляли другъ-друга, такъ-что осталась, наконецъ, одна Дунька-толстопятая, которая, вмѣстѣ съ Матренкой, дѣлала дѣла поистинѣ удивительныя: „Онѣ выходили на улицу и кулаками сшибали головы проходящимъ; ходили въ *одиночку* на кабаки и разбивали ихъ, ловили молодыхъ парней и прятали ихъ въ подполья, ѣли младенцевъ, а у женщинъ вырѣзали груди и тоже ѣли. Распустивши волоса по вѣтру, въ одномъ утреннемъ неглиже онѣ бѣгали по городскимъ улицамъ, словно изступленныя, плевались, кусались и произносили неподобныя слова". Картина поистинѣ нелѣпая, лишенная не только

остроумія, не только реальной, но и фантастической правды. Но она дѣлается еще нелѣпѣе, безобразнѣе и безсмысленнѣе по тѣмъ послѣдствіямъ, которыя произвела: глуповцы обезумѣли отъ ужаса и стали истреблять другъ-друга, потомъ утопили Матренку-ноздрю, но съ Дунькой рѣшительно совладать не могли. „Былъ, по возмущеніи, день шестый", острить сатирикъ: „глуповцы вдругъ воспрянули духомъ и совершили скромный и безпримѣрный подвигъ собственнаго спасенія. Перебивши и перетопивши цѣлую уйму народа, они основательно заключили, что теперь въ Глуповѣ крамольнаго грѣха не осталось ни на эстолько. Уцѣлѣли только благонамѣренные". Это глуповцы называли „очищеніемъ", послѣ чего объявили противъ Дуньки всеобщее ополченіе, но покорить ее все-таки не могли: побѣдили ее клопы, заѣвшіе ее на-смерть. Прочитавши весь этотъ вздоръ, наполненный похожденіями неестественныхъ бабъ и дѣвокъ, картинами въ родѣ вышеприведенной, словами въ родѣ „паскуда", невольно спрашиваешь себя: что это такое, для чего это написано—для забавы и смѣха, разсчитанныхъ на читателей снисходительныхъ къ здравому смыслу, къ художественной правдѣ и неразборчивыхъ на юморъ, или, въ самомъ дѣлѣ, сатирикъ-историкъ полагалъ, что все это имѣетъ реальное отношеніе къ тому, что́ совершалось въ „высшихъ сферахъ" и что́ отражалось въ Глуповѣ, какъ въ маломъ зеркалѣ? Напрасно, однако, станемъ мы искать въ исторіи XVIII-го вѣка что-нибудь подобное, и если г. Салтыковъ видитъ въ этой исторіи нѣчто подходящее, то онъ долженъ все-таки согласиться, что онъ написалъ уродливѣйшую карикатуру, и что въ ряду словесныхъ произведеній карикатура занимаетъ низшее мѣсто, чѣмъ сатира, и что даже карикатура имѣетъ свои предѣлы, за которыми она дѣлается просто вздоромъ.

Одинъ изъ слѣдующихъ очерковъ—„Голодный городъ"—несравненно лучше: тутъ не мало мѣткихъ замѣчаній о безпомощности жителей противъ буйства начальниковъ и о той удивительной поспѣшности, съ какою являются военныя команды усмирять совершенно смирныхъ обывателей, кажущихся, однако, начальническому глазу бунтующими, и чѣмъ кривѣе этотъ глазъ, чѣмъ ограниченнѣе разсудокъ и чѣмъ больше склонности къ самодурству у подобныхъ начальниковъ, тѣмъ чаще эти мнимые бунты и тѣмъ болѣе возовъ

розогъ истребляется на мужицкую спину. Но этому очерку, какъ и послѣдующему („Соломенный городъ"), гдѣ есть картина пожара, написанная рукою настоящаго художника-мастера, положительно вредятъ бабы и дѣвки, которыхъ напускаетъ въ свои произведенія г. Салтыковъ въ излишнемъ количествѣ, безъ нужды, и занимается ими слишкомъ прилежно, мы готовы даже сказать: съ любовью, поистинѣ необъяснимою. Герой этихъ очерковъ, градоначальникъ Ѳердыщенко, заводитъ себѣ помпадуршу [1]), въ лицѣ посадской жены Алены, потомъ какой-то общественной бабы Домахи, изъ-за которыхъ глуповцы начинаютъ враждовать съ градоначальникомъ, по причинамъ не совсѣмъ яснымъ и даже, можно сказать, фантастическимъ, что́, однако, навлекаетъ на нихъ не мало бѣдъ, ибо, какъ уже сказано, Ѳердыщенко постоянно прибѣгалъ къ помощи военной команды, которая упадала какъ снѣгъ на голову бѣднымъ глуповцамъ даже тогда, когда они ожидали отъ высшаго начальства благодарности за свое благонравіе и долготерпѣніе. Ѳердыщенкѣ посвященъ еще третій очеркъ, гдѣ описывается его „фантастическое" путешествіе кругомъ города Глупова; по нашему мнѣнію, очеркъ этотъ одинъ изъ слабыхъ, ровно ничего не говорящихъ; между тѣмъ, какъ въ „высшихъ сферахъ" происходило дѣйствительно сказочное путешествіе въ Крымъ, обставленное такими декораціями, которыхъ ни одинъ декораторъ ни прежде того ни послѣ произвесть не былъ въ состояніи, ибо для этого затрачены были милліоны, путешествіе это могло бы представить прекрасный матеріалъ для сатирическаго изображенія, тѣмъ болѣе умѣстнаго, что всѣ описатели его восхищались имъ, и оно перешло въ преданіе, какъ очаровательная сказка, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно дышало невообразимою нескладицей *). Другой фантазіи того времени—завоеванія Византіи—г. Салтыковъ тоже

[1]) Слово „помпадурша" не есть изобрѣтеніе г. Салтыкова, а употребляется у насъ издавна, еще со второй половины XVIII-го вѣка. Такъ, мы находимъ въ „Запискахъ" дядьки великаго князя Павла Петровича, извѣстнаго С. А. Порошина, подъ 29 октября 1765-го г., слѣдующую строку „Помпадурша наша очень хорошо вчера была одѣта". Помпадурша эта—тогдашняя красавица Вѣра Николаевна Чоглокова, въ которую влюбленъ былъ одиннадцатилѣтній великій князь. *Прим. Ред.*

*) Здѣсь, конечно, идетъ рѣчь о знаменитомъ Потемкинѣ и его полновластномъ управленіи югомъ Россіи, и искусственныхъ, декоративныхъ пріемахъ при поѣздкѣ Екатерины на югъ. *Прим. Н. Д.*

коснулся и довольно остроумно („Войны за просвѣщеніе“), хотя, по правдѣ сказать, сюжетъ этотъ достаточно исчерпанъ. Была другая фантазія, болѣе дикая и нелѣпая, взлелѣянная всесильнымъ Платономъ Зубовымъ послѣ 1793-го года; фантазія эта сохранилась въ собственноручныхъ наброскахъ знаменитаго временщика: разграничивъ Европу, онъ присоединялъ къ Россіи все пространство до устьевъ Эльбы на сѣверѣ и до Тріеста на югѣ и назначалъ нѣсколько россійскихъ столицъ, въ которыхъ государи должны были жить по нѣскольку мѣсяцевъ въ году; эти столицы были: Петербургъ, Москва, Ярославль, Астрахань, Берлинъ, Гамбургъ, Вѣна и еще что-то; извращенная фантазія и невѣжество всесильныхъ россіянъ того времени не останавливались ни передъ чѣмъ, подкрѣпляемыя бѣглыми маркизами и другими представителями стараго режима, устремившимися въ Россію, какъ въ землю обѣтованную.

Мы почти исчерпали все то, что́ нашелъ г. Салтыковъ для своей сатиры во второй половинѣ прошлаго вѣка, и читатели не могутъ не видѣть, что замѣчено имъ крайне мало, если не предположить, что городъ Глуповъ ужъ такой несчастный, что въ немъ не отражалась и сотая доля того, что́ происходило въ „высшихъ сферахъ“. Въ самомъ дѣлѣ, мы вовсе не видимъ главнѣйшихъ явленій екатерининскаго времени. Гдѣ тѣ ничтожности, которыя попадали на „высоту честей“ по щучьему велѣнью; гдѣ эти баре-философы, эти вольтерьянцы и энциклопедисты, которымъ все это не мѣшало изнурять народъ, обкрадывать казну, развращаться до мозга костей и развращать другихъ, подкапываться другъ подъ друга и рабски ползать и дрожать передъ мальчишками, внезапно надѣвавшими генералъ-адъютантскій мундиръ? По нашему мнѣнію, это ползанье высшихъ поучительнѣе дрожанія темной массы передъ возами розогъ. Гдѣ тотъ наглый развратъ, замѣнившій слово „любить“ словомъ „махаться“ (см. „Живописецъ“ Новикова) [1]), сдѣлавшій изъ женщинъ циническихъ амазонокъ, и смѣшавшій полы; гдѣ этотъ сенатъ, не имѣющій у себя географической карты Россіи и не знающій суммы доходовъ и расходовъ; гдѣ многоглаголивый „Наказъ“, списанный съ Монтескьё и др., явившійся такимъ блестящимъ фейерверкомъ и лопнувшій

[1]) „Живописецъ“—журналъ, издававш. извѣстн. писателемъ Новиковымъ.

въ пространствѣ, какъ неудавшаяся ракета, не оставляющая послѣ себя искристаго хвоста, но на минуту смутившая и встревожившая обывателей и градоначальниковъ; гдѣ тотъ страшный Пугачъ, тотъ зловѣщій воронъ, который заставилъ трепетать какъ „высшія сферы", такъ и градоначальниковъ, которые забыли всѣ мѣропріятія относительно подчиненныхъ и заботились только объ одномъ мѣропріятіи—спасти собственную свою персону, для чего вымаливали иногда прощенія у бабъ и мужиковъ и валялись въ ногахъ у самозваныхъ „енараловъ", познавая всю тщету своего градоначальничества; гдѣ эти выскочки, чудеснымъ образомъ вылетавшіе въ люди, съ гордостью носившіе свой позоръ и даже возбуждавшіе къ себѣ зависть въ другихъ; гдѣ эти лейбъ-кампанцы, игравшіе роль преторіанцевъ, возмущавшіе и бунтовавшіе (см. описаніе ихъ бунтовъ у Манштейна) *); гдѣ такіе градоначальники, какъ Прозоровскій, допрашивавшій масоновъ, и о которомъ Лопухинъ**) оставилъ намъ драгоцѣнныя страницы, блещущія юморомъ тѣмъ болѣе яркимъ, что онъ выливался въ допросахъ градоначальника искренно и наивно; гдѣ чудеснѣйшій прототипъ всѣхъ тайныхъ дѣлъ мастеровъ, начиная съ грубѣйшихъ и кончая изящнѣйшими,—Шешковскій, „помаленьку кнутобойничавшій" и совершавшій экзекуціи иногда надъ важными дамами съ патріархальною простотой: пришелъ, взялъ и высѣкъ,—пришелъ съ своими архангелами прямо въ спальню, взялъ даму съ ложа и тутъ же, въ присутствіи оторопѣвшаго мужа, отсчиталъ положенное количество, по приказанію свѣтлѣйшаго князя Григорія Александровича? Что за время было чудесное! Чтобъ арестовать Новикова, посылаютъ чуть не цѣлый полкъ, и для чего? Для того, конечно, чтобы показать „авторитетъ власти", чтобы какимъ-нибудь образомъ беззащитный журналистъ не нанесъ ущерба ея достоинству, тогда какъ одинъ квартальный весьма удобно могъ совершить этотъ немудреный подвигъ.

---

*) Христоф. Манштейнъ былъ на русской службѣ съ 1736 по 1743 гг., генералъ и адъютантъ Миниха; арестовалъ Бирона. Оскорбившись подозрѣніемъ въ измѣнѣ, перешелъ въ прусскую службу. Онъ написалъ по-франц. „Записки историч., политич. и военныя о Россіи съ 1727 по 1744 гг." Переведены на русск. языкъ въ 1810 г. *Прим. Н. Д.*

**) Ив. Влад. Лопухинъ—литераторъ, принимавшій участіе въ литературныхъ и филантроп. предпріятіяхъ Новикова. *Н. Д.*

А когда, дѣйствительно, приходилось показать „авторитетъ власти“, когда государство, созданное могучею волей великаго Петра, когда зачатки просвѣщенія, имъ насажденнаго съ такимъ трудомъ, были угрожаемы со стороны поднявшейся казачины, подъ предводительствомъ бѣглаго каторжника, marquis de Pugatcheff, какъ называла его Екатерина въ письмахъ къ Вольтеру, когда эта серіозная опасность встала подъ ореоломъ императора Петра III,—„авторитетъ власти“ вдругъ палъ, вдругъ оказался до того безсиленъ, до того презрѣненъ, что намъ, читающимъ теперь исторію того времени, могло бы показаться это невѣроятнымъ, если бъ и на нашихъ глазахъ не совершались такія же чудеса, т.-е. показываніе „авторитета власти“ надъ безсильными, никому неопасными „вольнодумцами“, и паденіе въ грязь, когда этотъ „авторитетъ“ сталкивается съ сильнымъ врагомъ (просимъ припомнить поучительную исторію Наполеона III, великаго полководца въ кампаніяхъ противъ мнимыхъ заговорщиковъ). И ничѣмъ подобнымъ г. Салтыковъ не воспользовался, ничѣмъ подобнымъ не вдохновился, не взялъ изо всего этого ни одной черты, ни одного типа. Намъ могутъ возразить, что мы напрасно вопрошаемъ г. Салтыкова о томъ, чего онъ не сдѣлалъ, вмѣсто того, чтобъ ограничиться разборомъ того, что онъ сдѣлалъ. Но въ этомъ случаѣ мы въ правѣ вопросить даровитаго сатирика, ибо онъ взялся за сатиру историческую и какъ бы вступалъ въ конкуренцію съ тѣмъ, что сдѣлано для этого тогдашними литераторами. Разумѣемъ сатирическіе журналы Новикова, нѣкоторыя строфы Державина, „Вадима“ Княжнина, „Недоросля“ и мелкія сатирическія статьи Фонвизина, какъ, напр., его „Придворную грамматику“, которая, по остроумію и смѣлости, едва ли не выше „Мыслей о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ“, которыя заставляетъ г. Салтыковъ сочинять одного изъ своихъ градоначальниковъ, Бородавкина („Мысли“ эти, впрочемъ, блещутъ остроуміемъ); къ этому слѣдуетъ прибавить другіе сатирическіе журналы, напр.: „Почту Духовъ“ и книгу Радищева*), въ которой недостатокъ таланта и слога выкупается

*) „Путешествіе изъ Петерб. въ Москву“, въ которомъ авторъ указываетъ на нестроеніе, администрат. произволъ, безсудіе, рабское состояніе народа и т. д. *Прим. Н. Д.*

яркимъ сатирическимъ содержаніемъ, а мѣстами—и одушевленіемъ. Какъ вы хотите, чтобы, читая сатиру на вторую половину прошлаго вѣка, мы забыли то, что сдѣлали для нея тогдашніе писатели? Какъ вы хотите, чтобы мы не указывали сатирику тѣхъ фактовъ, которые просятся въ сатиру и которые такъ удобны для нея и такъ живучи? Если онъ говоритъ о прошломъ, если онъ рисуетъ жизнь, сдѣлавшуюся достояніемъ исторіи, мы въ правѣ указывать на то, чего онъ не сдѣлалъ. Правда, есть у него кое-какіе намеки, но такіе отдаленные и такіе путаные, что необходимъ весьма подробный комментарій къ нимъ, который никѣмъ не можетъ быть составленъ, какъ самимъ авторомъ, ибо отгадать его намеки не въ силахъ человѣческихъ. Хотѣлъ онъ, напр., изобразить переходъ отъ либерализма къ реакціи, и въ результатѣ вышло только глумленіе надъ глуповцами.

Бѣдные эти глуповцы! Читатели видѣли отчасти, какъ третируетъ ихъ сатирикъ, какою благодарностью пылаютъ ихъ сердца, по его увѣренію, даже къ буйнымъ начальникамъ; но мы не показали еще всего. „Глуповцы—народъ изнѣженный и до крайности набалованный“ (должно-быть, сѣченьемъ); глуповецъ руководится „не разумомъ, а движеніями благодарнаго сердца“; Глуповъ—городъ „безпечный, добродушно-веселый“. „Ежели посудинѣ велятъ кланяться, разсуждаетъ глуповецъ,—такъ и ей, матушкѣ, поклонись“, и при этомъ, замѣчаетъ сатирикъ. „ихъ волнуетъ только одно сомнѣніе, какъ бы казнѣ не было убытка, если станутъ они кланяться посудинѣ“. „Ежели насъ теперича всѣхъ въ кучу сложить, разсуждаетъ опять глуповецъ, и съ четырехъ концовъ запалить—мы и тогда противнаго слова не вымолвимъ. Намъ терпѣть можно, потому, мы знаемъ, что у насъ есть начальство“. Спрашиваемъ всякаго безпристрастнаго человѣка—не идіотскія ли это мнѣнія, и гдѣ, въ какой трущобѣ, подобныя мнѣнія можно услышать? Гдѣ этотъ городъ Глуповъ, населенный такими идіотами? Или онъ не зналъ борьбы съ притѣсненіемъ; или онъ не бѣгалъ отъ злоупотребленій власти; или онъ не возставалъ противъ нея съ страшною местью при Разинѣ, при Пугачевѣ; или онъ не умѣлъ хитро и ловко провести ее, какъ провели ее раскольники? Должно-быть, Глуповъ гдѣ-нибудь съ краю....

Но положимъ, что Глуповъ пассивно, а иногда даже съ „благодарнымъ сердцемъ“ переносилъ весь гнетъ, которымъ

угнетали его „буйные“ градоначальники; положимъ, что глуповцы дѣйствительно способны были кланяться посудинѣ и ни единаго слова не промолвить, если бъ ихъ сложили всѣхъ въ кучу и запалили со всѣхъ четырехъ концовъ. Страхъ—великое дѣло: онъ отнимаетъ разумъ даже у разумныхъ и парализуетъ энергію сильныхъ; чтобы составить себѣ опредѣленное понятіе о человѣкѣ, надо посмотрѣть, какъ живетъ онъ при обстоятельствахъ благопріятныхъ, въ счастіи и довольствѣ. Оказывается, что такое наблюденіе можно произвесть и надъ глуповцами, ибо и у нихъ были кроткіе градоначальники, между которыми нельзя не упомянуть, безъ особенной благодарности, о нѣкоемъ Прыщѣ, имѣвшемъ вмѣсто обыкновенной, фаршированную голову, что̀ и было потомъ открыто, и голова его съѣдена съ большимъ аппетитомъ предводителемъ дворянства. Но прежде, чѣмъ это случилось, глуповцы успѣли насладиться покоемъ, ибо фаршированная голова оказалась несравненно пригоднѣе для развитія самоуправленія у глуповцевъ: Прыщъ позволилъ имъ жить, какъ они хотятъ, и даже громогласно объявилъ, что въ невмѣшательствѣ въ обывательскія дѣла и заключается вся сущность администраціи. Конечно, впослѣдствіи, при крутыхъ обстоятельствахъ, которыя опять настали, глуповцы часто повторяли: „Ахъ, если бъ всѣ градоначальники были съ фаршированными головами!“ Безъ сомнѣнія, они заблуждались, потому что и такъ бываетъ часто, что именно градоначальники съ головами, во всѣхъ отношеніяхъ похожими на фаршированныя, болѣе всего и мѣшаютъ самоуправленію; но при Прыщѣ было наоборотъ, и глуповцы сильно стали поправляться. Послѣдующіе начальники, хотя и не отличались благодушіемъ фаршированнаго, но были люди веселые, незлые, любящіе наслажденія, и иногда похвалявшіеся и либерализмомъ. И что жъ? Глуповцы „изнемогли“ подъ бременемъ своего счастія и забылись. Избалованные пятью послѣдовательными градоначальниками, доведенные почти до ожесточенія грубою лестью квартальныхъ, они возмечтали, что счастье принадлежитъ имъ „по праву“, и „стали бросать хлѣбъ подъ столъ и креститься неистовымъ обычаемъ“, а когда тогдашніе обличители начали гремѣть противъ этого, глуповцы говорили: „Хлѣбъ пущай свиньи ѣдятъ, а мы свиней съѣдимъ—тотъ же хлѣбъ будетъ“. Засимъ, неизвѣстно для чего, а только по свойственной имъ глупости, они стали

строить башню до небесъ и не выстроили ея только за недостаткомъ архитекторовъ, но зато они наверстали на другихъ безумствахъ: „забыли истиннаго Бога и прилѣпились къ идоламъ"; вытащили изъ архива старыхъ боговъ, Перуна и Волоса, и, собравъ сходку, порѣшили на ней: знатнымъ обоего пола особамъ покланяться Перуну, а смердамъ—приносить жертвы Волосу. Глядя на все это изъ окна своего дома, тогдашній градоначальникъ Дю-Шаріо кричалъ: „Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes ces moujiks de Gloupoff". Развращеніе нравовъ шло crescendo, началась всеобщая гульба, и глуповцы „мнили, что во время этой гульбы хлѣбъ вырастетъ самъ собой и потому перестали воздѣлывать поля".

Кажется, этого было бы довольно: ужъ достаточно униженъ бѣдный глуповецъ, достаточно низведенъ до безсмысленныхъ скотовъ. Нѣтъ, нашъ сатирикъ такъ высоко паритъ, что глуповцы кажутся ему презрѣннѣе мухъ, которыя только и дѣла дѣлаютъ, что гадятъ и любовью занимаются. И дѣйствительно, стали они ни на что непохожи съ водвореніемъ у нихъ градоначальника Эраста Андреевича Грустилова, когда ко всей прежней распущенности прибавилась еще заграничная зараза. „Вліяніе кратковременной стоянки (глуповцевъ) въ Парижѣ оказывалось повсюду... Явились люди женоподобные, у которыхъ были на умѣ только милыя непристойности. Для этихъ непристойностей существовалъ особый языкъ. Любовное свиданіе мужчины съ женщиной именовалось „ѣздою на островъ любви". Представители глуповской интеллигенціи сдѣлались равнодушны ко всему, что происходило внѣ замкнутой сферы *ѣзды на островъ любви*. Жить было легко, потому что представители интеллигенціи „чувствовали себя счастливыми и довольными и не хотѣли препятствовать счастью и довольству другихъ"; „эта легкость въ особенности приходилась понутру такъ-называемымъ смердамъ... Смерды наполняли свои желудки жирной кашею до крайнихъ предѣловъ", предались многобожію, стали поклоняться Волосу и Ярилѣ, „но въ то же время намотали себѣ на усъ, что если долгое время не будетъ дождя или будутъ дожди слишкомъ продолжительные, то они могутъ своихъ излюбленныхъ боговъ высѣчь, обмазать нечистотами и сорвать на нихъ свою досаду. И хотя очевидно, что матеріализмъ, столь грубый, не могъ продолжительное время питать общество, но въ качествѣ

новинки онъ нравился и даже опьянялъ. Общество, во всѣхъ разнообразныхъ слояхъ своихъ, начиная *отъ магнатовъ интеллигенціи до самаго послѣдняго смерда*, предавалось ему съ упоеніемъ". Развращенные постоянною гульбой смерды „до того понадѣялись на свое счастье, что, не вспахавъ земли, зря разбросали зерно по цѣлинѣ. И такъ, шельма, родитъ!—говорили они въ чаду гордыни". Сатирикъ опредѣляетъ даже время этого удивительнаго происшествія—1815—1816 гг.

Мы не славянофилы; мы никогда не говорили и никогда не скажемъ, что въ русскомъ народѣ—а глуповцы составляютъ часть его—есть какія-то особенныя качества, способныя обновить „гнилой Западъ", но мы уважаемъ этотъ народъ и видимъ въ немъ всѣ задатки для развитія; благодаря этому народу, создалось государство; благодаря ему, явилась интеллигенція, литература, искусство и разныя другія удобства жизни; самъ питаясь Богъ знаетъ чѣмъ, онъ питаетъ всѣхъ, не исключая сатириковъ, даже самыхъ возвышенныхъ и непреклонныхъ, которые говорятъ, что, какъ скоро дана была этому народу возможность „наполнять свои желудки жирною кашей до крайнихъ предѣловъ", какъ скоро не стали „препятствовать его счастію и довольству", онъ немедленно началъ производить невообразимыя безумства, загулялъ и бросилъ даже хлѣбъ сѣять... Не правда ли, какой презрѣнный народъ и какъ достоинъ онъ всего того, что́ призывали на него ревнители его нравственности! Какъ ниже онъ всѣхъ его начальниковъ, не только такихъ, какъ Прыщъ, который, вмѣстѣ съ фаршированною головой, обладалъ и благоразуміемъ, но и всѣхъ тѣхъ, съ которыми мы познакомились. Они гнали и притѣсняли народъ, они дѣлали много глупостей и жестокостей, но ни одинъ изъ нихъ не доходилъ до того безумства, какимъ ознаменовали себя въ счастливые годы глуповцы, подлые и гнусные въ несчастіи и разгульно-идіотичные въ счастіи. Сатирикъ говоритъ намъ, что „мы безъ труда поймемъ" все это, если припомнимъ, что у глуповцевъ „назади стоялъ Бородавкинъ, а впереди виднѣлся Угрюмъ-Бурчеевъ". Дѣйствительно, мы поймемъ это, только не съ той стороны, на которую указываетъ сатирикъ: для такихъ безсмысленныхъ идіотовъ, еще въ началѣ своей исторіи, на волѣ, обнаружившихъ только способность „тяпать головою",

начальники, въ родѣ Бородавкина, шли какъ нельзя лучше. Они другъ друга стоятъ. Независимо отъ этого, т.-е. допуская справедливость указанія г. Салтыкова, замѣтимъ, что, вѣдь, народъ, эти смерды, живетъ изо-дня-въ-день, живетъ настоящимъ моментомъ, не имѣя ни времени ни средствъ на то, чтобы провидѣть будущее и прилежно анализировать прошедшее. Власть, безспорно, дѣйствуетъ на нравственность народа такъ или иначе, въ положительную или отрицательную сторону, и въ этомъ случаѣ глуповцы не могли быть исключеніемъ; но ни исторія ни настоящее вовсе не говорятъ намъ ничего похожаго на тѣ картины, которыя нарисовалъ г. Салтыковъ. Напротивъ, народъ, при всей своей невѣжественности, постоянно выбивался изъ-подъ тяжкой опеки, не говоря уже о томъ, что всякое облегченіе всегда принималось „смердами", какъ милость Божія, и они не только не бросали свиньямъ хлѣбъ, не только не разбрасывали зерна по цѣлинѣ, но, обыкновенно, лучше вспахивали земли, хотя та же исторія не представляетъ намъ ни одного момента, когда бы народъ до отвалу наѣдался жирной кашей: онъ всегда былъ и есть впро́голодь, и поклоняться Ярилѣ и Волосу могли только тѣ, кто не обливался по́томъ на скудныхъ нивахъ. Выставляя въ такомъ видѣ народъ, не отдѣляя его отъ слоя его эксплуататоровъ, г. Салтыковъ приноситъ такія жертвы, на какія способны развѣ архиваріусы. Въ самомъ дѣлѣ,—градоначальники безумны, народъ еще безумнѣе; градоначальники развратны, народъ еще развратнѣе; градоначальники вислоухи, народъ еще болѣе вислоухъ. Гдѣ, какой сатирикъ приносилъ подобное жертвоприношеніе? Дѣлали ли это Рабле и Свифтъ въ своихъ безсмертныхъ произведеніяхъ, дѣлалъ ли это Гоголь? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ, и оно понятно: если отвергать народъ, отвергать его здравый смыслъ и даже простую его житейскую сообразительность, то что же признавать послѣ этого?..

Мы вовсе не хотимъ сказать, что народу надо кланяться и кадить ему. Мы не хотимъ также сказать, чтобы какіенибудь глуповцы были застрахованы отъ бича сатиры; но на все есть тактъ, всему есть предѣлы, и искусство выработало вѣрное средство для отношеній сатиры къ угнетаемымъ и падшимъ, и этимъ средствомъ г. Салтыковъ обладаетъ въ достаткѣ. Средство это—юморъ; но юморъ не значитъ ни смѣхъ для смѣха, ни карикатура для кари-

катуры; юморъ—и не „капризное свойство писателей", какъ опредѣлилъ его не совсѣмъ давно одинъ критикъ, потому что отъ каприза должны спасать писателя разумъ и развитіе, и потому что капризъ есть баловство или патологическое состояніе нервовъ. „Видимый міру смѣхъ сквозь незримыя слезы"—это опредѣленіе юмора, сдѣланное Гоголемъ, въ высшей степени вѣрное и многообъемлющее, налагаетъ на писателя извѣстныя обязанности, далекія отъ каприза и смѣха ради смѣха; хотя Гетѣ сказалъ, что юморъ—одна изъ безграничныхъ формъ искусства, хотя, по его мнѣнію, „der Humor zerstört zuletzt alle Kunst", но это относится болѣе къ внѣшней формѣ его, чѣмъ къ внутреннему содержанію; внутреннее же это содержаніе стремится къ тому же, къ чему наука, въ ея широкомъ значеніи: юморъ стремится освободить общество отъ предубѣжденій, отъ унаслѣдованныхъ традицій, отъ неравенства; для него нѣтъ ничего малаго, но нѣтъ также ничего и великаго. Онъ развѣнчалъ великое, чтобы возвысить малое; отринулъ поклоненіе избранникамъ судьбы, чтобы показать живучесть идей въ толпѣ, въ ординарномъ, загнанномъ, ничтожномъ, что древнее искусство приносило въ жертву богамъ и героямъ. Аристократія красоты и изящества, добродѣтель, таланты, мудрость, сила и богатство—вотъ надъ чѣмъ трудилось прежнее искусство, на что обращало оно всѣ свои помыслы и средства. Оно развило вкусъ къ изящному, уваженіе къ добродѣтели, мудрости, къ нравственной силѣ,—заслуги безспорно великія,—но толпа для него почти не существовала, потому что она представляла будто бы смѣшеніе элементовъ незначащихъ и обыденныхъ, гдѣ самую добродѣтель трудно отличить отъ порока. Юморъ указалъ, что и въ толпѣ живетъ мысль, что и въ ней есть чувство, есть задатки на величіе и нравственную силу. Христіанство сказало: „Придите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ", и эти слова сдѣлались лозунгомъ юмора. Такимъ образомъ, онъ стремился признать въ человѣкѣ, кто бы онъ ни былъ и какъ бы высоко или низко ни стоялъ онъ—человѣка, т.-е. существо, надѣленное не одними пороками, не однѣми добродѣтелями. Не жертвуя малымъ великому, онъ великое низводилъ до малаго и малое возвышалъ до великаго. Къ сожалѣнію, современные юмористы, въ своемъ усердіи увеселять публику во что бы то ни стало,

даже въ ущербъ собственной репутаціи, забываютъ это или этого не знаютъ, руководствуясь, исключительно, побужденіями собственной природы, не провѣренными и не сдерживаемыми разумомъ.

По тому, что мы сказали о юморѣ, легко понять его отличіе отъ сатиры. Юморъ прощаетъ грѣшникамъ и даетъ имъ возможность поднять голову, сатирикъ—бичуетъ ихъ. Онъ открываетъ всѣ раны, гдѣ бы ихъ ни замѣтилъ; онъ громитъ проклятіями и осужденіями, не указывая никакихъ средствъ для спасенія и исцѣленія. Но громитъ онъ во имя высшей идеи о человѣческомъ достоинствѣ, которую, однако, не высказываетъ; она только чувствуется за его отрицаніемъ, между тѣмъ какъ юмористъ ея не скрываетъ; по самой сущности юмора, его идея, форма и сущность нераздѣльны; но если въ сатирѣ и не высказывается прямо руководящая идея, то объ ней всегда можно составить себѣ понятіе по отрицательнымъ образамъ сатиры. Чѣмъ больше сатира обращаетъ вниманіе на ничтожныя мелочи, тѣмъ мельче и идея, воодушевляющая сатирика. Это такъ ясно, что распространяться объ этомъ—значитъ напрасно терять слова. Однимъ словомъ, сатирическое произведеніе всегда дастъ масштабъ для опредѣленія нравственной высоты той идеи, которою вдохновляется сатирикъ. Изъ всего сказаннаго, повидимому, слѣдуетъ, что сатирикъ и юмористъ противоположны другъ-другу: юмористъ копается въ мелочахъ жизни съ смѣющимся лицомъ и охотно останавливается въ вертепахъ порока, чтобъ и тутъ отыскать человѣческія черты, тогда какъ сатирикъ имѣетъ право отвернуться отъ этого и послать туда проклятія. Все это такъ только въ теоріи, но въ дѣйствительности, по закону противоположностей, они постоянно соприкасаются, и юморъ съ такою же неуловимою быстротой переходитъ въ сатиру, какъ сатира въ юморъ: они ежеминутно смѣняютъ другъ-друга, такъ-что критикѣ очень трудно иногда отличить юморъ отъ сатиры и сатиру отъ юмора. Это легко объясняется какъ самыми многообразными свойствами человѣческаго духа, такъ и сложностью явленій дѣйствительности. Юмористу, при всемъ его стараніи, при высочайшемъ проникновеніи руководящею имъ гуманною идеей, не удается иногда освѣтить этою послѣднею безобразныя и наглыя явленія дѣйствительности; онъ слишкомъ часто наталкивается на безсовѣстнѣйшую

эксплуатацію, и его смѣхъ, карикатура, иронія замѣняются серіознымъ, лирическимъ настроеніемъ сатирика. Съ своей стороны, сатирикъ не можетъ, по самому свойству человѣческаго духа, совершенно устранить отъ себя великодушіе, доброту, состраданіе; онъ не можетъ, по справедливости, совершенно выдѣлять и себя самого изъ окружающей его дѣйствительности, которой онъ есть часть, и это еще болѣе смягчаетъ его, и сатира его переходитъ въ юморъ. Но и сатира и юморъ исчезаютъ и остается голая проза, безжизненное переливаніе изъ пустого въ порожнее, смѣхъ ради смѣха, какъ скоро сатирика и юмориста оставляетъ высокая идея служенія добру и истинѣ. Величайшая гармонія между юморомъ и сатирою, при художественности и зрѣлости образовъ, существуетъ у насъ только у одного Гоголя. Онъ ни разу въ своихъ произведеніяхъ не провинился, такъ сказать, противъ законовъ, которые вывела теорія о сатирѣ и юморѣ. Самыя жалкія отребья человѣчества, въ родѣ чиновника въ „Шинели", возбуждаютъ въ немъ именно такой смѣхъ, сквозь который слышатся слезы; въ „Запискахъ сумасшедшаго" юморъ нигдѣ не переходитъ свои границы и въ концѣ этого произведенія обращается въ вопль состраданія къ больному человѣчеству; мы не говоримъ уже о „Мертвыхъ Душахъ", гдѣ талантъ Гоголя развернулся во всю свою ширь.

Да не подумаютъ читатели, что мы желаемъ сравнивать Гоголя съ г. Салтыковымъ: мы хотѣли только указать на то, какъ великій писатель пользовался своимъ дарованіемъ и какой живой примѣръ, не въ отвлеченной теоріи, оставилъ онъ своимъ послѣдователямъ. Дѣло въ томъ, что г. Салтыковъ продолжаетъ традицію Гоголя и, по мѣрѣ силъ и возможности, разрабатываетъ частности той самой картины, которую такъ геніально начертилъ Гоголь. Какъ вѣрный ученикъ, г. Салтыковъ не выходитъ изъ рамки этой картины и не расширяетъ ея горизонта; этимъ, однако, мы отнюдь не хотимъ сказать, что у г. Салтыкова мало силъ—ихъ довольно для того, чтобы быть замѣтнымъ и полезнымъ ученикомъ великаго таланта, но эти силы иногда направлены фальшиво и односторонне. Изъ указанныхъ нами, въ общихъ, слабыхъ чертахъ, существенныхъ свойствъ сатиры и юмора, построенныхъ теоріей не произвольно, а на основаніи произведеній именно великихъ талантовъ, ясно, что и та и другой имѣютъ свои границы и являются выразителями руко-

водящей авторами идеи. Нравственное чувство и искусство въ современномъ его значеніи откажутся признать какое бы то ни было поэтическое достоинство за сатирою на крѣпостныхъ крестьянъ, за сатирою на негровъ, перевозимыхъ какъ товаръ на плантаціи, хотя бы авторы ихъ обнаруживали несомнѣнный талантъ: низменная, чисто-животная идея, которая легла бы въ основаніе подобныхъ произведеній, лишила бы ихъ всякаго значенія и достоинства; это былъ бы отвратительный пасквиль, отъ котораго съ презрѣніемъ отвернулось бы искусство, потому что оно служитъ прогрессу и цивилизаціи. Этимъ примѣромъ, конечно, грубымъ, мы хотимъ объяснить, почему фальшиво отношеніе г. Салтыкова къ народу (т.-е. къ его приниженнымъ и угнетеннымъ глуповцамъ) не только съ исторической точки зрѣнія, но и съ художественной. Его юморъ грѣшитъ въ этомъ случаѣ тономъ и своимъ содержаніемъ, потому что авторъ недостаточно выяснилъ себѣ свои идеалы, свою нравственную идею; его юморъ обращается въ злую, а иногда и просто въ пошлую насмѣшку надъ несчастіемъ и неразвитостью темной массы; его юморъ часто не проникнутъ высокою идеей братства и любви тамъ, гдѣ этого ожидаешь и гдѣ это необходимо, и вдругъ проникается любовнымъ элементомъ тамъ, гдѣ нуженъ элементъ противоположный; его юмористическое настроеніе не связывается достаточными нравственными путами и опрокидывается иногда зря на первый попавшійся предметъ,—лишь бы онъ представлялъ смѣшную сторону. Неужели это настоящій юморъ, неужели это служеніе искусства добру и правдѣ? Нѣтъ, это не юморъ, а самодовольный хохотъ, отъ котораго да хранитъ Богъ на будущее время такой замѣчательный талантъ.

Намъ осталось сказать о послѣднихъ двухъ очеркахъ въ книгѣ г. Салтыкова: одинъ изъ нихъ посвященъ градоначальнику Эрасту Андреевичу Грустилову, другой—Угрюмъ-Бурчееву. Эти два очерка, въ особенности послѣдній, лучшіе въ книгѣ г. Салтыкова. Въ Грустиловѣ представленъ человѣкъ, повидимому, либеральный, съ перваго знакомства какъ будто что-то обѣщающій, но, въ сущности, растлѣнный похотью и властью, суевѣрный и сантиментальный, въ худшемъ значеніи этого слова, и блещущій отсутствіемъ твердыхъ убѣжденій. Это почти флюгеръ, но флюгеръ, однако, себѣ-на-умѣ, умѣющій свои наружныя достоинства и свою

власть употреблять для удовлетворенія господствующему своему влеченію—похоти; и либерализмъ, и мягкія манеры, и сантиментальность, и суевѣріе—все это въ немъ проявляется не столько какъ основныя черты его характера, сколько какъ болѣе или менѣе искусная маска для уловленія сердецъ. Лѣнивый и безпечный, онъ поддается всякому вліянію, лишь бы оно льстило господствующей въ немъ слабости или избавляло отъ хлопотливыхъ заботъ по управленію глуповцами. Оберегайте только его личные интересы, содѣйствуйте осуществленію его вожделѣній, и онъ позволитъ вамъ дѣлать, что вамъ угодно. При случаѣ, вы можете напугать его дьяволомъ, при случаѣ—бунтомъ, при случаѣ можете обольстить прелестью либерализма и благословеніемъ потомства. У г. Салтыкова, впрочемъ, рельефною вышла только „клубничная“ сторона, анализированная съ большимъ искусствомъ и юморомъ. Но если Грустиловъ напоминаетъ намъ лучшія произведенія нашего сатирика, какъ „Ташкентцы“, „Глупый помѣщикъ“, то Угрюмъ-Бурчеевъ стоитъ едва ли не выше всего, что до сихъ поръ написалъ г. Салтыковъ. Это если не совсѣмъ цѣльный, то, во всякомъ случаѣ, рельефный образъ деспота-самодура, въ своемъ ослѣпленіи и самонадѣянности вызывающаго на бой даже силы природы. Угрюмъ-Бурчеевъ передъ рѣкою, которая вдругъ преграждаетъ свободный ходъ его дикой фантазіи,—удивительно удачная картина.

— Зачѣмъ? — спросилъ, указывая на рѣку, Угрюмъ-Бурчеевъ у сопровождающихъ его квартальныхъ.

Квартальные не поняли: но во взглядѣ градоначальника было нѣчто такое, до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться отъ объясненія, что они рѣшились отвѣчать, даже не понимая вопроса.

— Рѣка-съ... Навозъ-съ...—лепетали они, какъ попало.

— Зачѣмъ? — повторилъ онъ испуганно, и вдругъ, какъ бы боясь углубиться въ дальнѣйшіе разспросы, круто повернулъ налѣво кругомъ и пошелъ назадъ.

Судорожнымъ шагомъ возвращался онъ домой и бормоталъ себѣ подъ-носъ:

— Уйму! я ее уйму!

Далѣе идетъ картина этого униманія рѣки, въ которую валятъ цѣлые возы мусора, но она продолжала течь попрежнему, только изрѣдка останавливаясь, и бурлила, когда

масса мусора сбрасывалась въ нее. Эта картина невольно напоминаетъ другую, столь частую въ дѣйствительной жизни народовъ: останавливаются самодуры испуганно передъ потокомъ живыхъ идей и говорятъ судорожно: „Уйму я его, уйму!“ но потокъ пробиваетъ себѣ дорогу черезъ плотины, повидимому, самыя надежныя, и, годъ-отъ-году дѣлаясь все шире и шире, заливаетъ береговыя пространства и превращаетъ даже самый мусоръ въ плодоносный черноземъ. Самодуры, съ теченіемъ времени, замѣчаютъ это странное, по ихъ мнѣнію, явленіе и стараются усугубить свое усердіе; но потокъ все-таки течетъ, иногда подъ почвой пробиваетъ себѣ ложе, незримо для соглядатаевъ, и вдругъ вырывается изъ нея такимъ бурнымъ каскадомъ, что голова самодуровъ кружится, и они теряютъ всякую способность къ усмиренію непокорной стихійной силы. Возвращаемся къ Угрюмъ-Бурчееву.

Стройность этого прекраснаго очерка нарушается, однако, нѣсколькими страницами, посвященными какому-то Іонкѣ Козырю, въ исторіи котораго сатирикъ, повидимому, хотѣлъ изобразить исторію глуповскаго либерализма и, по обыкновенію, впалъ въ апокалипсическую темноту и въ ничего-невыражающую карикатуру. Мы могли бы еще сдѣлать два-три замѣчанія. Намъ, напр., не нравятся слова „идіотъ“ и „прохвостъ“, которыми обзываетъ своего героя сатирикъ; и съ нашей стороны это далеко не капризное субъективное чувство, а одно изъ тѣхъ требованій искусства, передъ которыми художникъ долженъ преклоняться, по той простой причинѣ, что подобное отношеніе къ герою—нехудожественный пріемъ; герой долженъ выходить цѣльнымъ образомъ, безъ этихъ, часто ничего неговорящихъ, при всей своей рѣзкости, эпитетовъ. Кромѣ того, въ настоящемъ случаѣ слово „идіотъ“ достаточно противорѣчитъ всей дѣятельности Угрюмъ-Бурчеева, ибо изъ нея, при всей ея дикости, нельзя все-таки вывести заключенія, что передъ нами идіотическое существо, неспособное ни къ какому размышленію. И только такая постановка лица дикаго самодура и мыслима въ серіозномъ литературномъ произведеніи, иначе, то-есть при допущеніи идіотизма у самодура, онъ теряетъ свое широкое значеніе, и черты, равно приложимыя, хотя и не въ одинаковой степени, къ ограниченнымъ и умнымъ изъ нихъ, частью исчезаютъ, являясь лишь принадлежностью одного лица, пора-

женнаго идіотизмомъ. Типъ, такимъ образомъ, сильно бы умалился въ своемъ нравственномъ значеніи. Къ счастію, сатирикъ не сдѣлалъ этой ошибки, и эпитетъ „идіота“ употребленъ имъ совершенно излишне, по привычкѣ къ крѣпкимъ словамъ: въ Угрюмъ-Бурчеевѣ много смѣтливости, хитрости, дикой наглости, способности комбинировать планы благоустройства, хотя планы и „прямолинейнаго“ содержанія. Напрасно также г. Салтыковъ придалъ ему нѣкоторыя такія черты, которыя какъ бы указываютъ на присутствіе необыкновенно сильной воли въ этой натурѣ. „Онъ спалъ на голой землѣ и только въ сильные морозы позволялъ себѣ укрыться на пожарномъ сѣновалѣ; вмѣсто подушки клалъ подъ голову камень; вставалъ съ зарею, надѣвалъ вицъ-мундиръ и тотчасъ же билъ въ барабанъ; курилъ махорку до такой степени вонючую, что даже полицейскіе солдаты и тѣ краснѣли, когда до обонянія ихъ доходилъ запахъ ея; ѣлъ лошадиное мясо и свободно пережевывалъ воловьи жилы. Въ заключеніе по три часа въ сутки маршировалъ на дворѣ градоначальническаго дома, одинъ, безъ товарищей, произнося самому себѣ командные возгласы и самъ себя подвергая дисциплинарнымъ взысканіямъ“.

Какъ карикатура на чрезмѣрную страсть къ маршированію и выправкѣ, эти выписанныя нами строки не лишены остроумія и злости, но какъ черты характеровъ, подобныхъ Угрюмъ-Бурчееву, онѣ лишены всякаго значенія. Угрюмъ-Бурчеевы никогда себя не забываютъ и работаютъ только для себя; сильной, непреклонной воли, самобичеванія въ нихъ также никогда не замѣчалось. Самъ г. Салтыковъ намекаетъ на это, въ концѣ очерка, когда народилась новая сила, и Угрюмъ-Бурчеевъ „моментально исчезъ, словно растаялъ въ воздухѣ“. Они не только исчезаютъ, когда власть отнимается отъ нихъ, но обнаруживаютъ презрѣнную трусость и готовность унижаться передъ тѣми, которыхъ вчера еще держали по два часа въ своей передней на вытяжку. Лишь наружно они готовы показать спартанскую твердость и выставить напоказъ свой протертый сюртукъ и изношенную шинель: для толпы ношеніе градоначальникомъ, этою важною особою, старой шинели является чѣмъ-то грандіознымъ и внушающимъ почтеніе къ себѣ; она готова безсмысленно повторять: „Смотрите, дѣти, этотъ человѣкъ могъ бы ежедневно надѣвать новую шинель и новый сюртукъ, но

онъ ходитъ въ старыхъ. Какое величіе!“ Она готова удивляться старому сюртуку съ такимъ же увлеченіемъ, съ какимъ удивляется, глазѣя, блеску и золоту. Она не размышляетъ о томъ, что старымъ сюртукомъ прикрыта полнѣйшая нравственная разнузданность, выказывающая себя гдѣ-нибудь въ четырехъ стѣнахъ, вдали отъ людскихъ очей. Если же толпа способна создать себѣ культъ изъ старой шинели, треугольной шляпы и сѣраго сюртука, то дѣйствительныя самобичеванія и закаленіе своей природы тяжкими лишеніями найдутъ между нею еще бо́льшее число поклонниковъ, потому что лишенія эти, въ ея глазахъ, свидѣтельствуютъ о нравственной силѣ человѣка, о преданности его своей идеѣ, хотя бы это была и дикая идея. Тутъ ужъ является фанатизмъ, способный жертвовать, во имя идеи, своей жизнью. Но еще не видано, чтобъ Угрюмъ-Бурчеевы были способны на такіе подвиги: они, какъ только достигли власти, скорѣй пожертвуютъ тысячью жизней другихъ, чтобы сохранить въ цѣлости свой указательный перстъ и продолжить свое благосостояніе, чѣмъ уронить волосъ съ головы своей.

Если эти недостатки и вредятъ цѣльности образа Угрюмъ-Бурчеева, то настолько незначительно, что не разрушаютъ впечатлѣнія, оставляемаго въ читателѣ всѣмъ очеркомъ, болѣе существенными сторонами его. Самый тонъ юмора гармонируетъ какъ нельзя лучше съ содержаніемъ, и, что всего замѣчательнѣе, глуповцы просыпаются и начинаютъ тайную борьбу съ этимъ страшилищемъ; въ концѣ-концовъ, сатирикъ сжалился надъ ними, или, лучше сказать, въ концѣ-концовъ сатирикъ приблизился къ исторіи, хотя и не совсѣмъ. Онъ все еще продолжаетъ думать, что глуповцы проснулись частью оттого, что разглядѣли идіотство своего градоначальника, частью... Но тутъ является крупное противорѣчіе: мы видѣли, что пребываніе глуповцевъ за границей породило въ нихъ женственность и развратъ до такой степени, что смерды перестали пахать и загуляли, до отвалу наѣдаясь жирной кашей, а интеллигенція стала „равнодушна ко всему, что происходило внѣ замкнутой сферы ѣзды на островъ любви“. Это было въ 1815—1816-мъ году, какъ обозначилъ нашъ авторъ, при предмѣстникѣ Угрюмъ-Бурчеева, Грустиловѣ. И вотъ, объясняя пробужденіе глуповцевъ, сатирикъ говоритъ, что тому способствовали „множество глуповцевъ“, вернувшихся изъ чужихъ краевъ, гдѣ они были для рат-

наго дѣла и ученья. Очевидно, нашъ авторъ не совсѣмъ послѣдователенъ, лучше сказать, онъ игнорируетъ исторію, когда увлекается своею страстью къ карикатурѣ и забавничанью, и вспоминаетъ о ней, когда серіозная мысль начинаетъ руководить имъ. Пусть самъ онъ сравнитъ достоинство карикатуры, хотя и производящей смѣхъ, но витающей въ области фантастично-нелѣпаго, съ достоинствомъ сатиры и юмора, одушевленныхъ реальною правдой и вѣрною руководящею идеей. Пуская свой юморъ въ безпредѣльность, не ставя ему никакихъ границъ, т.-е. никакой идеи, онъ удачно начертитъ нѣсколько картинокъ, попадетъ мѣтко въ нѣсколько, дѣйствительно, смѣшныхъ или возмущающихъ душу сторонъ нашей жизни, разсыплетъ цвѣты своего бойкаго остроумія, но не создастъ ничего цѣльнаго, ничего достойнаго своего таланта, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ бы мимоходомъ, осмѣетъ ненужнымъ смѣхомъ такія явленія, которыя писатель, одушевленный идеей служенія добру и правдѣ, никогда бы не отдалъ на потѣху смѣшливому легкомыслію.

Зато г. Салтыковъ становится другимъ человѣкомъ, когда ему удается вѣрно подмѣтить причины извѣстнаго явленія и разгадать его сущность, или когда онъ доходитъ до этого изученіемъ, или когда представляется ему матеріалъ, вполнѣ очищенный критикою: онъ способенъ тогда возвыситься до настоящаго одушевленія и рисовать типическіе очерки; тогда и архиваріусъ изъ него вылетаетъ безслѣдно, и смѣхъ его звучитъ не надорванною нотой усталаго забавника, а ѣдкимъ сарказмомъ, и карикатура является осмысленною и понятною. Укажемъ въ доказательство на нѣсколько страницъ, посвященныхъ въ очеркѣ „Поклоненіе мамонѣ и покаяніе“ изображенію состоянія народнаго просвѣщенія въ Глуповѣ, которое приняло юродивый характеръ. Начальникомъ школъ назначенъ былъ юродивый Парамонъ; товарищъ его по юродству, Яшенька, получилъ каѳедру философіи, которую нарочно для него создали въ уѣздномъ училищѣ. Вотъ какъ дѣйствовали эти два достойные мужа:

„...Парамоша съ Яшенькой дѣлали свое дѣло въ школахъ. Парамошу нельзя было узнать; онъ расчесалъ себѣ волосы, завелъ бархатную поддевку, душился, мылъ руки мыломъ добѣла и въ этомъ видѣ ходилъ по школамъ, и громилъ тѣхъ, которые надѣются на князя міра сего. Горько издѣвался онъ надъ суетными, тщеславными, высокоумными,

которые о пищѣ тѣлесной заботятся, а духовною небрегутъ, и приглашалъ всѣхъ удалиться въ пустыню. Яшенька, съ своей стороны, училъ, что сей міръ, который мы думаемъ очима своима видѣти, есть сонное нѣкое видѣніе, которое насылается на насъ врагомъ человѣчества, и что сами мы не болѣе, какъ странники, изъ лона исходящіе и въ оное же лоно входящіе. По мнѣнію его, человѣческія души, яко жито духовное, въ нѣкоей житницѣ сложены, и оттоль, въ мѣрѣ надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видѣніе въ скоромъ времени увидѣти и по маломъ времени вспять въ благожелаемую житницу благоноспѣшно возлетѣть. Существенные результаты такого ученія заключались въ слѣдующемъ: 1) что работать не слѣдуетъ; 2) тѣмъ менѣе надлежитъ провидѣть, заботиться и пещись, и 3) слѣдуетъ возлагать упованіе и созерцать—и ничего больше. Парамоша указывалъ даже, какъ нужно созерцать. „Для сего,—говорилъ онъ,—уединись въ самый удаленный уголъ комнаты, сядь, скрести руки подъ грудью и устреми взоры на пупокъ".

По обычаю, намъ слѣдуетъ сдѣлать общій выводъ изъ всего сказаннаго нами о г. Салтыковѣ. Но нужно ли это? Если бъ г. Салтыкова мы считали обыкновеннымъ фельетонистомъ, произведенія котораго живутъ не дольше листа газеты, мы ограничились бы тѣми отлично выработанными общими мѣстами объ остроуміи, мѣткости и злости, которыя, несмотря на свою ординарность, все еще продолжаютъ утѣшать авторовъ; но мы, несмотря на однообразіе произведеній г. Салтыкова, обусловленныхъ заколдованной административной сферой, считаемъ ихъ далеко не эфемерными, а талантъ его—весьма замѣчательнымъ; а кому больше дано—съ того больше и спрашивается. Вотъ наше заключеніе.

А. Б—овъ.

Г. Щедринъ, побиваемый собственными друзьями [1]).

*) Въ новомъ разсказѣ г. Щедрина, напечатанномъ въ № 11 „Отечественныхъ Записокъ“ этого года, „Ташкентцы приготовительнаго класса“ (вторая параллель), авторъ является вѣрнымъ пути, по которому онъ упорно идетъ, вопреки нападкамъ на него не только его литературныхъ противниковъ, но и его друзей, съ тѣхъ поръ какъ онъ сталъ изобрѣтать своихъ помпадуршъ, помпадуровъ, глуповцевъ и ташкентцевъ... Въ этомъ разсказѣ г. Щедрина изображена невѣроятная семья какихъ-то Хмыловыхъ. Выведены люди 40-хъ годовъ... Дѣдъ-старикъ поролъ весь вѣкъ крѣпостныхъ и сошелъ съ ума, изобрѣтя слово „рви“, которое онъ всюду и повторяетъ. Отецъ состоитъ исправникомъ и тоже безпрестанно говоритъ: „рви“, „запорю!“ и поретъ поминутно всѣхъ и каждаго... Сынъ-школьникъ тоже всѣхъ колотитъ, прозванъ за это въ училищѣ „палачомъ“ и тоже все твердитъ: „рви“. Весь сюжетъ новаго разсказа г. Щедрина, занимающаго 43 страницы компактнаго набора, заключается въ описаніи обученія „розгами и голодомъ“ Максимки Хмылова, или „палача“, и въ его пріѣздѣ на каникулы домой. Болѣе

---

[1]) „Русскій Міръ“, 1871 г., №№ 109 и 110.

*) „Русскій Міръ“ представляетъ собою органъ будирующихъ дворянъ и генераловъ. Органъ этотъ былъ не прочь ратовать за реформы, но только въ томъ случаѣ, если во главѣ управленія судьбами Россіи станетъ дворянство. Демократическій духъ реформъ Александра II былъ не понутру редакціи „Русскаго Міра“. Предлагаемая здѣсь статья является образчикомъ полемическихъ пріемовъ и общественныхъ взглядовъ этого органа и той „старо-русской“ партіи, которую поддерживалъ органъ. Изъ литературныхъ пріемовъ и развязности языка статьи можно заключить, что авторъ ея если не самъ Авсѣенко, писавшій въ „Русскомъ Мірѣ“ критическіе фельетоны, то кто-нибудь изъ его „школы“.

„Русскій Міръ“ сталъ выходить въ 1871 г., а въ 1880 г. слился съ „Бирж. Вѣстн.“ и, наконецъ, сталъ выходить подъ названіемъ „Биржев. Вѣдомостей“. *Прим. Н. Денисюка.*

въ разсказѣ нѣтъ ничего. Это нѣчто въ родѣ школьныхъ воспоминаній. Но какъ это все далеко отъ подобныхъ школьныхъ воспоминаній не только Гоголя, но даже Помяловскаго, хотя нѣкоторыми пріемами г. Щедринъ, очевидно, старался изобразить въ очеркѣ дѣтства своего барченка нѣчто похожее на „Очерки бурсы“ Помяловскаго! Гдѣ г. Щедринъ видѣлъ такія лица? Сороковые годы не XVII вѣкъ... Воспитаніе „палача“ происходитъ въ Москвѣ. Г. Щедринъ приводитъ даже имя урядника, по субботамъ сѣкущаго школьниковъ; онъ называетъ его „Кочуринъ“. Нѣсколькимъ поколѣніямъ воспитанниковъ одного московскаго учебнаго заведенія, дѣйствительно, извѣстенъ нѣкій урядникъ Кочуринъ, сѣкшій во времена оны питомцевъ этой школы. Но неужели же подъ карикатурной школой, выведенной г. Щедринымъ, слѣдуетъ подозрѣвать именно это заведеніе? Ничего подобнаго разсказанному г. Щедринымъ ни въ одной школѣ 40-хъ годовъ на Руси уже не было, особенно въ той, гдѣ былъ Кочуринъ, гдѣ учились нѣкогда Жуковскій и Лермонтовъ*), и которую въ концѣ 40-хъ годовъ закрыли за ея либерализмъ... Отецъ „палача“, исправникъ, налеталъ и сѣкъ; затѣмъ летѣлъ дальше, опять сѣкъ и опять летѣлъ дальше... И это авторъ, не краснѣя, говоритъ о 40-хъ годахъ, отъ себя. Дядя „палача“, другой помѣщикъ, тоже изображенъ кровопійцей и говоритъ ужъ совершенно не по-русски: „А ну, не трогъ, маленько поокруглится“. Внукъ дѣду въ деревнѣ говоритъ: „Убью!“—а матери замѣчаетъ: „У васъ, маменька, ума немного!“ Маменька же этому сыну о другомъ сынѣ своемъ, Ѳедорѣ, говоритъ: „Смотри, какъ бы Ѳедька-подлецъ не приревновалъ!“ Авторъ, отъ своего лица, о дѣдушкѣ героя говоритъ, что тотъ, глядя на забавы внука, „въ ребяческомъ экстазѣ, визжитъ и лаетъ...“ (!!) Глаголомъ „жрать“ у автора вездѣ, для вящшей красоты, замѣненъ глаголъ „ѣсть“. Не только у него „жрутъ эти монахи“, но и герои его, входя въ комнату, непремѣнно говорятъ: „жрать хочу“... „Жрать хочу, живо!“ говоритъ „палачъ“, входя къ меньшимъ братьямъ. „Маришка, жрать!“ говоритъ онъ же служанкѣ. Но вотъ и никѣмъ неслыханныя слова: „Да ты обалдѣлъ!“ говоритъ помѣщица своему сыну, а далѣе авторъ отъ себя выражается, что мать героя его тщетно

*) Университетскій пансіонъ. *Н. Д.*

старается „съютить“ отрывки мыслей... Открываемъ словарь г. Даля; оказывается, что „обалдѣлъ“ происходитъ отъ слова „балда—молотъ“, а слова „съютить“ нѣтъ и въ словарѣ г. Даля. Наконецъ, и еще неожиданность... Щедринъ придумалъ, за эти долгіе годы, столько смѣшныхъ фамилій, смѣшныхъ прозвищъ и смѣшныхъ словъ, что и самъ, очевидно, обезсилѣлъ. Онъ начинаетъ брать фамиліи героевъ у другихъ авторовъ. На 287 стр. новаго его разсказа является, какъ бы вы думали, кто? Ноздревъ! Не въ видѣ привившейся послѣ Гоголя клички, а такъ-таки прямо, какъ лицо, будто бы принадлежащее фантазіи самого г. Щедрина: „Статскій совѣтникъ Ноздревъ у насъ былъ; такъ тотъ пріѣхалъ и рычитъ: подайте мнѣ его, разорву!“ И все—„разорву“, и все—„рви... рви... рви“. И это печатается въ той самой книгѣ журнала, гдѣ, черезъ восемь страницъ послѣ похищенія Ноздрева, стоитъ фраза критика этого журнала, г. Скабичевскаго: „А „Мертвыя души“ Гоголя слѣдовало бы совершенно исключить изъ ряда изящныхъ произведеній...“

Г. Щедринъ, повторяемъ, очевидно, не обращаетъ никакого вниманія на мнѣнія и замѣчанія людей, принадлежащихъ къ партіи его литературныхъ противниковъ. Посмотримъ же, что о немъ высказали за послѣдніе годы его литературные друзья? Развертываемъ г. Писарева и читаемъ въ статьѣ „Цвѣты невиннаго юмора“ (стр. 173—210) слѣдующій безпощадный приговоръ: „Г. Щедринъ, самъ того не замѣчая, въ одной изъ глуповскихъ сценъ превосходно охарактеризовалъ типическія особенности своего собственнаго юмора. Играютъ глуповцы въ карты:—„Греческій человѣкъ Трефандосъ!“ восклицаетъ пѣхотный командиръ, выходя съ трефъ. Мы всѣ хохочемъ, хотя Трефандосъ этотъ является на сцену аккуратно каждый разъ, какъ мы садимся играть въ карты. „Фики!“ продолжаетъ командиръ, выходя съ пиковой масти.—„Ой, да перестань же, пострѣлъ!“ говоритъ генералъ Голубчиковъ, покатываясь со смѣху: „вѣдь, этакъ я всю игру съ тобою перепутаю“... Не кажется ли вамъ, любезный читатель (замѣчаетъ г. Писаревъ), послѣ всего, что вы прочитали выше, что г. Щедринъ говоритъ вамъ „Трефандосъ“ и „фики“, а вы, подобно Голубчикову, отмахиваясь руками и покатываясь со смѣху, кричите безсильнымъ голосомъ: „Ой, да перестань же, пострѣлъ, всю игру перепутаю!“ Но неутомимый острякъ не перестаетъ, и

вы принимаете глуповскаго балагура за русскаго сатирика; „тайные поросячьи амуры“, „новая затыкаемость старой поглощаемости“ и, особенно, „сукинъ-сынъ тузъ“ не чета „греческому человѣку Трефандосу“... Развращать умъ нашей молодежи нутрянымъ смѣхомъ Иванушки-дурачка предосудительно!“ и проч. Итакъ, самъ г. Писаревъ (послѣднее слово извѣстной, еще недавно модной критики) говоритъ, что всѣ такъ-называемыя сатиры г. Щедрина, въ сущности, не что иное, какъ „греческій человѣкъ Трефандосъ“, а смѣхъ, вызываемый г. Щедринымъ, „нутряной смѣхъ Иванушки-дурачка“. Далѣе г. Писаревъ говоритъ: „Г. Щедринъ—писатель пріятный во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ любитъ стоять въ первомъ ряду прогрессистовъ:—сегодня съ „Русскимъ Вѣстникомъ“, завтра съ „Современникомъ“, послѣзавтра еще съ кѣмъ-нибудь, но непремѣнно въ первомъ ряду. Для того онъ производитъ въ своихъ убѣжденіяхъ разныя маленькія передвиженія, къ полному повороту налѣво кругомъ... Изъ тона г. Каткова онъ перешелъ въ тонъ Добролюбова. Формулярный списокъ г. Щедрина, какъ литератора, чистъ: г. Щедринъ, дѣйствительный статскій прогрессистъ“, и проч. Еще далѣе: „Г. Щедринъ смѣется не столько надъ тѣмъ, что онъ видитъ въ жизни, сколько надъ тѣмъ, какъ онъ самъ разсказываетъ и описываетъ событія и положенія... Измѣните слегка манеру изложенія, отбросьте шалости языка и конструкціи, и вы увидите, что юмористическій букетъ окончательно выдохнется и ослабѣетъ. Г. Щедринъ не только пускаетъ въ ходъ грамматическіе и синтаксическіе salto-mortale, но даже умышленно искажаетъ жизненную правду своихъ разсказовъ: главное дѣло—ракету пустить и смѣхъ произвести“. И еще далѣе: „Г. Щедринъ, съ перваго появленія своего, вошелъ во вкусъ читающей публики и преимущественно тѣхъ самыхъ классовъ, которые сатиры его преслѣдуетъ. Провинціальные чиновники сначала, было, переконфузились; но такъ какъ громъ не грянулъ, то догадливые провинціалы скоро успокоились и полюбили веселаго г. Щедрина. Оно и естественно. Въ томъ обществѣ, въ которомъ „Сынъ Отечества“ имѣетъ десятки тысячъ читателей, г. Щедринъ неизбѣжно долженъ считать десятки тысячъ поклонниковъ“... Послѣднія слова г. Писаревымъ сказаны шесть лѣтъ назадъ. Нынѣшніе друзья г. Щедрина и того не скажутъ, ибо въ новѣйшихъ его произведеніяхъ

являются тѣ же образцы и тѣ же пріемы писательства. Въ Глуповѣ Пьеръ Уколкинъ говоритъ, ради остроты: „Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать; наше вамъ-съ“, и потомъ спрашиваетъ насчетъ своей же выдумки: „Joli?“—Въ „Исторіи одного города“ изображаются губернаторы, переломленные вѣтромъ, съ кашей въ головѣ и проч. Таковъ приговоръ надъ г. Щедринымъ критики начала 60-хъ годовъ, которой, повидимому, онъ особенно-то и усиливался угодить: „своя отъ своихъ!“—По этому приговору сатиры г. Щедрина не что иное, какъ греческій человѣкъ Трефандосъ и фики; смѣхъ его — нутряной смѣхъ Иванушки-дурачка; смѣется г. Щедринъ не столько надъ тѣмъ, что́ видѣлъ, сколько надъ тѣмъ, какъ онъ это, по его мнѣнію, смѣшно разсказываетъ; поклонники его — наше плутоватое чиновничество, которое онъ, между тѣмъ, собственно, поражать-то и собрался; и всѣ измышленные имъ трагическіе ужасы не что иное, какъ грубая, плоская и жалкая поддѣлка, съ начала до конца. Перейдя весьма спокойно изъ „Русскаго Вѣстника“ въ „Современникъ“, г. Щедринъ изъ „Современника“ такъ же спокойно перешелъ въ „Отечественныя Записки“ настоящей редакціи (Некрасовъ—Краевскій) и здѣсь прежде всего въ 1868 году отличился повѣстью противъ только-что введенныхъ тогда земскихъ учрежденій, подъ именемъ „Новый Нарциссъ“. Всѣмъ памятна изъ газетъ злая радость одного изъ исправниковъ, давшаго, по случаю этого разсказа, балъ своимъ знакомымъ и друзьямъ...

Въ одной изъ статей, написанныхъ въ 1868 г., по поводу этого невѣроятнаго пассажа въ лагерѣ сбившихся „прогрессистовъ“ (!), мы читаемъ слѣдующее: „Если и свѣжія остроты г. Щедрина не всегда были удачны и свѣжи, то эти десятилѣтнія муміи еще хуже. Вглядитесь въ нихъ: какими были эти обитатели губернскихъ пирамидъ въ описаніяхъ Крутогорска, такими же они являются и въ новомъ соусѣ. Это все то же переливаніе дюжинныхъ побранокъ изъ пустого въ порожнее; все тотъ же выдохшійся тонъ канцелярскаго ругателя изъ заштатныхъ начальниковъ отдѣленій. Вчера „глуповцы“ и „дуракова плѣшь“; сегодня „сѣятели и дѣятели“; завтра, вѣроятно, что-нибудь такое же хитрое“... Предсказанія критики сбылись: завтра явились въ цѣломъ рядѣ такихъ же, поистинѣ, скучныхъ очерковъ, Помпадурша, потомъ Помпадуръ, и этотъ Помпадуръ ока-

зался, наконецъ, до того живучимъ, что тянется даже до нашихъ дней, перемѣшиваясь лишь изрѣдка съ Ташкентцами. Критикъ названной статьи 1868 года говоритъ: „Былой Чацкій сталъ неожиданно губернскимъ Фамусовымъ. Онъ скорбитъ о томъ, что земство замышляетъ его „лекведировать“. (Что же тутъ смѣхотворнаго въ искаженномъ словѣ „лекведировать“? Поставимъ Сюлтыковъ вмѣсто Салтыковъ. Развѣ это, наконецъ, скажите, смѣшно?) Между прочимъ, по поводу усмотрѣннаго г. Щедринымъ поползновенія земскихъ дѣятелей „сходить въ карманъ ближняго“ (кто же усмотрѣлъ это до сихъ поръ, кромѣ г. Щедрина и дѣятелей газеты „Вѣсть?“) [1]) упомянутый критикъ 1868 г. говоритъ: „Положимъ, обычай иныхъ такъ выражаться о всей Россіи даже и не проступокъ, а просто „генеральская привычка“. Но и самый послѣдній уличный шутъ, послѣдній закорузлый въ кляузахъ съ ближними „повытчикъ“ не сразу рѣшится сочинить такую нехорошую клевету. Гдѣ и кто дѣйствительно замѣтилъ между представителями земства наклонность къ расхищенію ввѣренныхъ имъ общественныхъ капиталовъ?“ Дѣло было, повторяемъ, въ 1868 году; съ тѣхъ поръ даже „Вѣсть“ не нашла ничего привести въ подкрѣпленіе разсказа г. Щедрина, и „дѣйствительный статскій сатирикъ“ такъ и провалился въ лагерѣ своихъ ближнихъ, не найдя ни въ комъ изъ нихъ себѣ оправданія. Неизвѣстный критикъ 1868 года кончаетъ свой отзывъ о выходкѣ г. Щедрина противъ земства словами: „Есть вещи до того почтенныя и хорошія, что надо быть очень безтактнымъ для того, чтобы въ извѣстное время глумиться надъ ними. Послѣ одного изъ пораженій людей, боровшихся за свободу и единство Италіи, въ Лондонъ пріѣхало нѣсколько бѣглыхъ итальянскихъ патріотовъ. Они были такъ жалко одѣты, такъ неуклюжи и дики въ своихъ неумѣлыхъ словахъ и дѣйствіяхъ, что каждый шагъ ихъ вызывалъ сатиру. Но ни одно изъ англійскихъ изданій не избрало ихъ предметомъ для своихъ дешевыхъ насмѣшекъ. Русскій писатель! Не играй своимъ перомъ, будетъ ли оно у тебя старое или молодое перо!“— Черезъ три года то же сказалъ на-дняхъ г. Щедрину и „Вѣстникъ Европы“ г. Стасюлевича.

---

[1]) Смотри стран. 44.

Мы, однако, такъ не выразимся о литературномъ формулярномъ спискѣ г. Щедрина. Нѣкоторые изъ невзыскательныхъ адептовъ г. Щедрина говорятъ, что его „Исторія одного города“ собственно есть „Исторія Россійской имперіи“ и что каждый изъ разсказовъ его о губернаторахъ есть „аллегорія о томъ или другомъ правленіи XVIII или XIX вѣка“. Неожиданное открытіе! Мы съ этимъ мнѣніемъ согласиться не можемъ. И въ самомъ дѣлѣ, какая нужда русскому современному читателю въ этомъ „подпусканіи аллегорій“, притомъ написанныхъ вялымъ, какъ бы притомившимся и многорѣчивымъ языкомъ, когда объ этихъ же эпохахъ встрѣчаются откровенные и любопытные матеріалы въ „Русскомъ Архивѣ“ и въ „Русской Старинѣ“, въ „XVIII и XIX вѣкахъ“ г. Бартенева, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ „Зарѣ“, въ „Архивѣ графа Воронцова“, въ „Запискахъ“ Болотова, Храповицкаго, Добрынина, Порошина, въ новѣйшихъ томахъ „Исторіи Россіи“ Соловьева, въ прекрасныхъ трудахъ гг. Пыпина, Семевскаго, Лонгинова и Щебальскаго, въ изданіяхъ г. Пекарскаго и т. п.? И развѣ мы, говоря по совѣсти, живемъ въ такія невѣроятно-темныя времена, что для разсказа о мистицизмѣ Фотія и Крюднеръ, объ аракчеевщинѣ или о волокитныхъ похожденіяхъ придворнаго міра нужна аллегорія, когда все это открыто и документально печатается во всеобщее свѣдѣніе въ различныхъ сборникахъ и журналахъ, отводящихъ у себя мѣсто изслѣдованіямъ о близкихъ къ намъ правленіяхъ и правителяхъ?

То, что друзья г. Щедрина хвалятъ въ этомъ писателѣ, не выдерживаетъ критики, а то, что бранятъ, требуетъ нѣкоторой его защиты. Вся бѣда г. Щедрина, какъ и всей школы подобныхъ ему авторовъ, состоитъ въ томъ, что они какъ бы не знаютъ первыхъ правилъ, требуемыхъ наукой литературнаго творчества. Не ищите у послѣдователей этой школы ни художественной обработки характеровъ, ни любопытной завязки и развязки разсказа, ни, наконецъ, малѣйшаго намека на то, что̀ называется дѣйствіемъ. У нѣкоторыхъ изъ адептовъ этой школы встрѣчаются еще дагерротипически-вѣрныя картинки видѣннаго и слышаннаго этими господами, хотя и это еще не заслуга, которую бы слѣдовало особенно поощрять, за полнымъ отсутствіемъ у нихъ остального, требуемаго отъ произведеній художественной литературы. У г. Щедрина въ послѣднее время, къ сожа-

лѣнію, не встрѣчается и этого достоинства. Въ особенности, въ этомъ писателѣ претитъ его непорядочность и бьющія въ глаза претензіи, не искупаемыя долею его другихъ достоинствъ. „Исторію одного города“ нѣкоторые изъ его друзей особенно хвалятъ. Но увы! читая ее, такъ и видишь господина средней руки, входящаго въ кругъ мелкихъ чиновниковъ и обитательницъ Замоскворѣчья или петербургскихъ Песковъ, съ тономъ отъявленнаго умника и презлого остряка. Открылъ этотъ баринъ ротъ,—и всѣ въ крошечномъ кружкѣ хохочутъ; сказалъ слово,—и всѣ маленькіе смѣшливые добряки падаютъ ницъ. И что же онъ говоритъ? Съ тономъ россійскаго Лабуле и Рошфора*) сообщаетъ придуманную имъ на досугѣ остроту, которой вся ѣдкая соль состоитъ въ ругательномъ имени или въ грамматической перестановкѣ буквъ и слоговъ: „Глуповъ, Помпадурша [1]) Помпадуръ, Ташкентцы, самка-молодка, затыкаемость, благоглупость, мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ, съ пальцемъ десять съ огурцомъ пятнадцать наше вамъ-съ, joli?“ А кучка слушателей берется за бока и воетъ отъ смѣха, какъ генералъ Голубчиковъ: „Всѣ карты спуталъ, пострѣлъ“. Нѣтъ, это не то неудержимое прысканье отъ смѣха наборщиковъ, о которомъ говоритъ Пушкинъ по поводу „Вечеровъ на хуторѣ“ Гоголя. Тамъ были образы, а здѣсь, по словамъ г. Писарева, „фики“; тамъ были „Вій“, „Ночь передъ Рождествомъ“ и „Сорочинская ярмарка“; а здѣсь комариной силы аллегорія о московскомъ университетскомъ пансіонѣ или объ Аракчеевѣ, да обозваніе общественныхъ дѣятелей „расхитителями“... А въ „Губернскихъ очеркахъ“, между тѣмъ, этотъ писатель подавалъ немалыя надежды. Тамъ, какъ это всѣ замѣтили, была свѣжесть дарованія, было совѣстливое и старательное вдумыванье въ предметъ, хорошій и бойкій языкъ, менѣе претензій быть россійскимъ Лабуле и гражданиномъ Рошфоромъ, а кое-гдѣ даже замѣчательно-художественная обрисовка характеровъ (типъ Порфирія Петровича, цѣлый и прекрасный раскольничій разсказъ „Матушка Мавра Кузьмовна“ и др.), забота объ

*) Лабуле и Рошфоръ—извѣстные франц. публицисты и очень остроумные памфлетисты. *Н. Д.*

[1]) Ниже приводится доказательство, что даже это слово изобрѣтено не г. Щедринымъ и что оно было въ употребленіи у русскихъ сатириковъ чуть не сто лѣтъ назадъ. *Ред.*

интересѣ предмета и даже о выборѣ фабулы разсказа. „Губернскими очерками“ г. Щедринъ, наконецъ, внесъ небезполезный элементъ въ умственную жизнь тѣхъ дней, элементъ смѣлаго и дѣльнаго отношенія къ средѣ, которую мало до него знали, хотя онъ и невиноватъ, что потомъ гг. Соллогубъ и Львовъ въ этой же средѣ искали единственнаго спасенія Россіи, что достаточно объяснено въ мастерскомъ очеркѣ покойнаго Н. Ф. Павлова. Съ тѣхъ поръ началось мельчаніе таланта г. Щедрина. Онъ отрекся отъ старыхъ художественныхъ преданій и бросился въ новый лагерь. Онъ сталъ писать якобы глубокомысленныя „Письма изъ провинціи“ да подпускать аллегоріи на земство, которое въ эту пору, что ни день, ослаблялось разными измышленіями бюрократовъ, а въ особенности публицистами „Вѣсти“. И дошелъ г. Щедринъ до геркулесовыхъ столповъ, дошелъ до того, что его теперь не отличишь ни отъ Бажина, ни отъ Минаева, ни отъ Омулевскаго и Кущевскаго *). И что же вышло? Поставили ему друзья его памятникъ? Ничуть не бывало. Критика 1871 года отозвалась о г. Щедринѣ еще безпощаднѣе и откровеннѣе критики 1861 и 1866 годовъ. Въ апрѣльской книгѣ „Вѣстника Европы“ [1]), за текущій 1871 годъ, напечатана большая статья, подъ именемъ „Историческая сатира“. Статья посвящена „Исторіи одного города“, г. Щедрина (М. Е. Салтыкова). Авторъ этой статьи говоритъ: „Послѣднее произведеніе г. Салтыкова въ читателѣ внимательномъ порождаетъ нѣкоторыя недоумѣнія, разрѣшить которыя не совсѣмъ легко“. И далѣе: „Тонъ пародій его нигдѣ не выдержанъ, и онъ, г. Щедринъ, является (въ этомъ произведеніи) самимъ собой, со своею манерой, со своимъ давно-извѣстнымъ юморомъ, со своимъ остроуміемъ, со всѣми своими достоинствами и недостатками“. „Недоумѣнія преслѣдуютъ читателя черезъ всю книгу; это мѣшаетъ

*) Бажинъ—не безызвѣстный беллетристъ, не столько отличавшійся художественнымъ дарованіемъ, сколько тенденціозностью, сочинительствомъ и склонностью къ гражданскимъ мотивамъ во вкусѣ Писарева; Минаевъ—юмористическій поэтъ, также со склонностью къ осмѣянію явленій современной общественной жизни; таковы же, приблизительно, поэтъ Омулевскій (Ѳедоровъ) и подававшій надежды сначала беллетристъ Кущевскій.

Прим. Н. Д.

[1]) См. стран. 72.

цѣльности ея впечатлѣнія на читателя и путаетъ его относительно воззрѣній автора на событія и лица. Путаницѣ этой способствуетъ поверхностное знакомство автора съ исторіей XVIII вѣка и вообще съ исторіей русскаго народа".

Этотъ же критикъ говоритъ: „Его глуповцы такъ глупы, такъ легкомысленны, такъ идіотичны и ничтожны, что самый глупый и ничтожный начальникъ ихъ является существомъ высшимъ". И далѣе, по поводу разсказа о градоначальникѣ Брудастомъ и о какой-то Дунькѣ, критикъ „Вѣстника Европы" выражается о г. Щедринѣ такъ: „Прочитавши весь этотъ вздоръ, наполненный похожденіями невѣжественныхъ бабъ и дѣвокъ и словами въ родѣ „паскуда", невольно спрашиваешь себя: что это такое? для чего написано?—для забавы и смѣха, разсчитанныхъ на читателей снисходительныхъ къ здравому смыслу, къ художественной правдѣ и неразборчивыхъ на юморъ, или въ самомъ дѣлѣ сатирикъ-историкъ полагалъ, что все это имѣетъ реальное отношеніе къ тому, что совершалось въ „высшихъ сферахъ"? „Напрасно, однако, станемъ мы искать въ исторіи XVIII вѣка что-нибудь подобное, и г. Салтыковъ долженъ согласиться, что онъ написалъ *уродливѣйшую карикатуру*, что въ ряду словесныхъ произведеній карикатура занимаетъ низшее мѣсто, чѣмъ сатира, и что даже карикатура имѣетъ свои предѣлы, за которыми она дѣлается просто вздоромъ". Итакъ, по мнѣнію „Вѣстника Европы" 1871 года, послѣднее произведеніе г. Щедрина есть „уродливѣйшая карикатура" и „просто вздоръ". Но если нѣмецъ „изобрѣлъ обезьяну", скажетъ читатель, то г. Щедринъ выдумалъ, по крайней мѣрѣ, *Помпадуршу*? Ничуть не бывало. Критикъ „Вѣстника Европы" прибавляетъ подъ строкой (со ссылкой на „Русскій Вѣстникъ", августъ 1866 г.) слѣдующее: „Слово „Помпадурша" *не есть изобрѣтеніе г. Салтыкова*, а употребляется у насъ издавна, еще со второй половины XVIII вѣка. Такъ, мы находимъ въ „Запискахъ" дядьки великаго князя Павла Петровича, извѣстнаго С. А. Порошина, подъ 29 октября 1765 г., слѣдующую строку: „*Помпадурша* наша очень хорошо вчера была одѣта". Помпадурша эта—тогдашняя красавица В. Н. Чоглокова". („Вѣстникъ Европы", № 4, 1871 г., на стр. 725). Отнявши такъ безпощадно у г. Салтыкова-Щедрина дорогую для его читателей честь изобрѣтенія „Помпадурши", критикъ „Вѣстника Европы", такимъ образомъ,

безъ всякаго сожалѣнія оставилъ его на томъ, на чемъ столько лѣтъ назадъ оставилъ его критикъ г. Писаревъ, а именно—на изобрѣтеніи однихъ „фикъ“ и „греческаго человѣка Трефандоса“... Но это бы еще ничего и указанная нами статья такъ не уязвила бы г. Щедрина, какъ, по всей вѣроятности, язвило его другое обвиненіе, подобное высказанному г. Писаревымъ, а именно—обвиненіе въ недостаткѣ у г. Щедрина того, чѣмъ, повидимому, этотъ авторъ особенно-то и стремился въ эти 15 лѣтъ щеголять: *въ недостаткѣ* „гражданственныхъ доблестей“. Вотъ какъ заключилъ критикъ „Вѣстника Европы“ свое мнѣніе о шаткости якобы двусмысленнаго либерализма г. Щедрина и якобы предосудительныхъ политическихъ убѣжденіяхъ этого писателя: „Нравственное чувство и искусство, въ современномъ его значеніи, откажутся признать какое бы ни было поэтическое достоинство за сатирой на крѣпостныхъ крестьянъ, за сатирой на негровъ, перевезенныхъ, какъ товаръ, на плантаціи, хотя бы авторы ихъ обнаруживали несомнѣнный талантъ. Низменная и чисто-животная идея, которая легла бы въ основаніе подобныхъ произведеній, лишила бы ихъ всякаго значенія и достоинства. Это былъ бы *отвратительный пасквиль*, отъ котораго съ презрѣніемъ отвернулось бы искусство, потому что оно служитъ прогрессу и цивилизаціи. Этимъ примѣромъ, конечно, грубымъ, мы хотимъ объяснить, почему *фальшиво* отношеніе г. Салтыкова къ народу, т.-е. къ приниженнымъ и угнетеннымъ глуповцамъ, не только съ исторической точки зрѣнія, но и съ художественной“. И, наконецъ, тотъ же критикъ говоритъ: „Въ самомъ дѣлѣ: градоначальники (Щедрина) безумны, народъ еще безумнѣе; градоначальники развратны, народъ еще развратнѣе; градоначальники вислоухи, народъ еще болѣе вислоухъ. Гдѣ и какой сатирикъ приносилъ подобное жертвоприношеніе? Дѣлали ли это Рабле и Свифтъ [1]), въ своихъ безсмертныхъ произведеніяхъ; дѣлалъ ли это Гоголь? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ: если отвергать его здравый смыслъ и даже простую его житейскую сообразительность, то что же признавать послѣ этого?“—

---

[1]) Въ одномъ изъ англійскихъ журналовъ нѣкоторый русскій писатель недавно сравнилъ г. Щедрина съ Свифтомъ (см. стран. 66), въ то самое время, какъ русскому читателю изъ того же лагеря рекомендовалась и „трезвая правда“ Рѣшетникова. *Ред.*

„Гдѣ этотъ городъ Глуповъ, населенный такими идіотами?“ И „*не идіотскія ли это мнѣнія*?“—спрашиваетъ г. Щедрина, въ заключеніе, критикъ „Вѣстника Европы“ (стр. 729). Не правда ли, какъ это все далеко отъ „Губернскихъ очерковъ“ и „Матушки Мавры Кузьмовны“?—спросимъ мы читателей.

„Ташкентцы приготовительнаго класса“ [1]).

Капитальною вещью въ первой книжкѣ „Отечествен. Запис.“ слѣдуетъ признать новый сатирическій очеркъ г. Щедрина, въ которомъ онъ чрезвычайно остроумно, мѣтко и зло подводитъ подъ рубрику „Ташкентцевъ“ недавно народившіеся у насъ типы—усерднаго прокурора и краснобая-*адвоката*. Своимъ талантливымъ очеркомъ авторъ прогнѣвилъ уже тѣхъ проницательныхъ критиковъ, которые желали бы обуздать сатирическія поползновенія литературы, стѣснивъ ея рамки только одними отжившими явленіями, заклейменными издавна общимъ позоромъ. По мнѣнію этихъ господъ, сатирикъ можетъ, наприм., разить, сколько его душѣ угодно, крѣпостное право, откупа, чиновничьи кражи; но онъ обязанъ учтиво расшаркиваться передъ всѣмъ, что, такъ или иначе, прикосновенно къ реформамъ нашего времени. Г. Щедринъ наслушался уже довольно упрековъ за одинъ изъ своихъ прежнихъ очерковъ, гдѣ онъ отнесся безъ должнаго раболѣпія къ благамъ, вкушаемымъ Россіею отъ земскихъ учрежденій; теперь ему приходится терпѣть отъ недомыслія людей, видящихъ въ нашей адвокатурѣ послѣднее слово соціальнаго прогресса. Къ счастью, г. Щедринъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ робкихъ несамостоятельныхъ писателей, которыхъ можно озадачить и сбить съ дороги подобными патетическими возглашеніями. Лично намъ кажется, что рѣдко кому-нибудь, даже и самому г. Щедрину, удавалось такъ впору и съ такимъ тактомъ подхватить и осмѣять крупное явленіе нашей жизни. „Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ, и всегда готоваго исполнителя—типъ еще нарастающій, будущій... но онъ будетъ. Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же Ми-

[1]) „Новое Время“, 1872 г., № 38. (См. стран. 30.)

трофанъ, готовый и просвѣщаться и просвѣщать, и сражаться и быть сражаемымъ. Въ послѣднее время онъ нѣсколько замутился, благодаря новизнѣ нѣкоторыхъ положеній и неумѣнію съ желательною скоростью освоиться съ ними; но несомнѣнно, что онъ воспрянетъ, что онъ вновь сдѣлается чистымъ какъ стекло, и овладѣетъ браздами. Миша (герой, еще не окончившій курсъ въ заведеніи для „государственныхъ младенцевъ") уже ведетъ себя такъ, какъ-будто онъ заправскій прокуроръ: строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и сыплются: „по уложенію о наказаніяхъ", „по смыслу такого-то рѣшенія кассаціоннаго департамента", „на основаніи правилъ о судопроизводствѣ", „въ сводѣ законовъ гражданскихъ, статья такая-то, раздѣлъ такой-то, изображено" и т. д. Даже въ дружеской бесѣдѣ съ товарищами онъ все какъ-будто обвиняетъ и убѣждаетъ кого-то сослать въ каторгу.

— Тебя, братъ, за такія дѣла, по статьѣ такой-то, слѣдовало бы, по малой мѣрѣ, въ исправительный домъ на три года запрятать!—говоритъ онъ.—Да моли еще Бога, что смягчающія обстоятельства натянуть можно.

Въ другомъ мѣстѣ г. Щедринъ говоритъ:

„И что за карьера предстояла имъ (т.-е. прокурорамъ и адвокатамъ)! Съ одной стороны, лестная обязанность защищать общество отъ поползновеній преступной воли, обязанность, сопровождаемая прекраснѣйшимъ содержаніемъ и надеждами на блестящее будущее, въ случаѣ оправданія начальственнаго довѣрія. Съ другой—лестная обязанность защищать невиннаго, защищать попранное право собственности,—обязанность, сопровождаемая необыкновенными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ Деверіей, Шнейдершей, съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана.—„Ты что получаешь за такое-то дѣло?"—Да что! всего пять тысячъ! не стоило рукъ марать!—„А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Наработаю тысячъ двѣститься и—на боковую!"

Рѣчи прокурора и адвоката такъ искусно воспроизведены сатирикомъ, что при чтеніи ихъ такъ и кажется, что сидишь гдѣ-нибудь въ окружномъ судѣ или судебной палатѣ и слушаешь знаменитостей адвокатуры и прокурорскаго надзора.

Что же, господа пуристы, литература должна молчать при видѣ такихъ яркихъ, только-что народившихся типовъ; должна

дать имъ время окрѣпнуть и застыть въ своемъ неподвижномъ величіи? Никто не отрицаетъ, что между нашими адвокатами есть нѣсколько (впрочемъ, нельзя сказать, чтобъ особенно много) людей съ твердыми убѣжденіями и честно-опредѣлившимися симпатіями, людей, принесшихъ пользу общественному развитію; но зато какая масса, какой непомѣрно-длинный и все возрастающій хвостъ тянется за ними въ видѣ различныхъ, взятыхъ съ борку да съ сосенки субъектовъ, которымъ, по выраженію Щедрина, „рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго простеца, мѣшаетъ спать", которыхъ взоръ „дальше рубля ничего не видитъ: ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго". Адвокатскій прогрессъ, вообще, невеликъ по своей внутренней цѣнности, но на Западѣ краснобайство адвоката сдерживается, по крайней мѣрѣ, болѣе высокимъ строемъ общественной жизни, болѣе развитымъ нравственнымъ сознаніемъ, наконецъ, политической связью адвоката съ той или другой партіей, у которой есть своя дисциплина, свои строго-очерченныя традиціи и понятія: у насъ же это поле просторно и запнуться тутъ рѣшительно нѣ на чемъ! Знай да получай „куши" по пяти и по десяти тысячъ!.. Мы помнимъ еще время (при началѣ введенія судебныхъ уставовъ), когда наши практическіе юристы говорили въ печати, что адвокату постыдно браться за *всякое* дѣло только потому, что за него дорого заплатятъ; что обязанность защиты нисколько не освобождаетъ человѣка отъ обязанности слѣдовать своимъ убѣжденіямъ и рѣшать сообразно имъ: прилично ли, позволительно ли выгораживать изъ-подъ отвѣтственности такую-то личность? Но эти романтическія грезы, какъ видно, давно разлетѣлись уже предъ обаяніемъ „кушей", получаемыхъ за краснорѣчіе, и многимъ памятны случаи, когда одинъ и тотъ же виртуозъ-адвокатъ сегодня, напр., защищалъ „рыцаря обличительной литературы", а завтра тянулъ его подъ дѣйствія такой-то и такой-то статьи свода законовъ. „У насъ, въ провинціи,— говоритъ одинъ адвокатъ въ очеркѣ Щедрина,—деликатесы-то бросить надо: какая сторона больше даетъ—ту и защищай!" Но и столицы, кажется, въ этомъ случаѣ скоро догонятъ,— если ужъ не догнали,—провинцію.

Г. Щедринъ вѣрно подмѣтилъ и тотъ фактъ, что помыслы объ адвокатской „наживѣ" волнуютъ теперь юныя сердца

еще на школьныхъ скамьяхъ; дни и минуты считаются: когда-то можно будетъ, наконецъ, выступить на это заманчивое поприще, усѣянное, въ воображеніи птенцовъ, если не розами, то кредитными рублями? Такъ-называемыя „утопіи“ не прокладываютъ себѣ дороги въ наши современныя учебныя заведенія; онѣ смѣнились практическими вожделѣніями весьма опредѣленнаго характера. Этотъ фактъ заслуживаетъ вниманія. Онъ подтверждается, съ другой стороны, наблюденіями такихъ разсудительныхъ и опытныхъ педагоговъ, какимъ мы считаемъ, напримѣръ, г. Бѣлова [1]).

П—й.

[1]) Ив. Дмитр. Бѣловъ—извѣстный педагогъ и инспекторъ павловск. учит. семинаріи. Написалъ много сочиненій по вопросамъ педагогики.

„Ташкентцы приготовительнаго класса“ [1]).

Въ новомъ очеркѣ „Ташкентцевъ приготовительнаго класса“ г. Щедринъ задѣваетъ своею мѣткою сатирой больныя стороны нашей адвокатуры и прокуратуры. Извѣстно, что у насъ теперь адвокаты въ модѣ, и адвокатура считается самымъ чудеснѣйшимъ занятіемъ въ мірѣ, ибо и цивическимъ стремленіямъ она удовлетворяетъ, да и матеріальныя блага даетъ въ изобиліи и съ изумительною легкостью. Соединеніе двухъ такихъ выгодныхъ условій влечетъ къ этому занятію сердца какъ прогрессивныхъ юношей, такъ равно и мужей, искушенныхъ опытомъ и имѣющихъ о прогрессѣ такое мнѣніе, что его можно и по́-боку, безъ всякаго ущерба, даже съ пользой для благосостоянія человѣчества. Впрочемъ, какъ мужи, искушенные опытомъ, такъ и большинство прогрессивныхъ юношей обольщаются въ адвокатской карьерѣ больше возможностью легкаго стяжанія кушей, чѣмъ цивическимъ служеніемъ на пользу общества. По крайней мѣрѣ, въ нашей юной адвокатурѣ сторона матеріальная начинаетъ выясняться все сильнѣе и сильнѣе и перевѣшивать сторону идеальную. Въ адвокатскомъ сословіи немного можно насчитать людей, у которыхъ на первомъ планѣ „высокія“ цѣли защиты; но зато такихъ, которые задаются исключительно низменными цѣлями, даже черезчуръ довольно. Вѣроятно, съ теченіемъ времени стяжательное направленіе возымѣетъ такую силу въ нашей адвокатурѣ, что сдѣлается еще болѣе господствующимъ. А когда это совершится, тогда защитники вдовъ и сиротъ съ высокаго пьедестала сойдутъ въ ту же тину, въ которой разгуливаютъ въ данное время иныя „фракціи“ россійской общественной дѣятельности. Конечно, это предсказаніе гадательное; но, по прежнимъ примѣрамъ,

---

[1]) „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1872 г., № 22. (См. выпускъ I-й, стран. 74.) Статья эта принадлежитъ перу В. Буренина. (См. стран. 30.)

есть много основаній думать, что оно сбудется въ точности. И „фракція“ гг. адвокатовъ, по-моему, не должна даже особенно обижаться подобнымъ предсказаніемъ, потому что не она первая, не она послѣдняя пойдетъ по той дорогѣ, по которой силою вещей направляется данная среда. Истинная причина такого явленія заключается въ томъ... Впрочемъ, „чтобы не раздразнить гусей“, отложимъ наши объясненія до другого времени.

Во всякомъ случаѣ, возсіяютъ ли представители россійской адвокатуры въ грядущемъ ярче солнца, или же совершенно утратятъ свой блескъ, но такъ какъ въ ихъ средѣ обнаруживаются и теперь нѣкоторыя, довольно явственныя пятна, то сатирѣ слѣдовало обратить на нихъ вниманіе. Г. Щедринъ и дѣлаетъ это въ своемъ очеркѣ. Авторъ, преимущественно, устремляетъ сатирическій бичъ на алчное стремленіе къ наживанію денегъ, къ бездушной эксплуатаціи кліентовъ и, затѣмъ, на легкомысленное и пустое фразерство—черты не всѣхъ, конечно, но довольно многихъ нашихъ „защитниковъ вдовъ и сиротъ“.

„Съ тѣхъ поръ,—говоритъ авторъ,—какъ народилась судебная реформа, появилось, вмѣстѣ съ нею, множество жадныхъ карьеристовъ, для которыхъ стяжаніе баснословныхъ кушей сдѣлалось задачею и цѣлью жизни:

„Карьера!“—это слово спирало въ зобу дыханіе. Прежде карьера была вещь относительно трудная, достижимая только для нѣкоторыхъ, „особливою знатностью отличающихся людей“. Худородный человѣкъ долженъ былъ употребить неимовѣрныя усилія, чтобы добраться до пирога. Сколько нужно было съѣсть грязи! сколько перецѣловать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ поясницѣ, наболѣвшей и словно помертвѣвшей подъ гнетомъ ожиданій въ пріемныхъ, переднихъ и канцеляріяхъ! Алчущій пирога, предварительно допущенія къ нему, долженъ былъ проглотить шпагу, съѣсть раскаленный желѣзный орѣхъ, запить стаканомъ дегтя и т. д. Теперь,—пирогъ стоялъ, ничѣмъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и всѣхъ приглашалъ насладиться. „Вси пріидите! вси насладитесь! Всякій да ястъ!“ И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ, кто пришелъ въ девятомъ часу!“

По всей вѣроятности, найдутся люди, которые вознегодуютъ на г. Щедрина за то, что онъ устремляетъ

свою сатиру на представителей учрежденія, еще не окрѣпшаго. У насъ привыкли къ тому, чтобы сатира появлялась уже тогда, когда отъ зла, поражаемаго ею, осталось только одно имя, когда это зло уже состарѣлось и одряхлѣло; но, покуда оно находится въ младенческомъ возрастѣ, сатирѣ не дозволяютъ его касаться на томъ основаніи, что дѣло еще можетъ поправиться и пойти по доброй стезѣ. Но при такомъ сужденіи забываютъ одно: кто же и долженъ его исправлять и наводить на добрый путь, какъ не сатира? Если дать волю плотоядному направленію отечественныхъ карьеристовъ адвокатуры развиваться сколько угодно и при этомъ мирволить подобному направленію, то оно, конечно, такъ окрѣпнетъ и разовьется, что впослѣдствіи съ нимъ никакая сатира не справится. Вотъ почему, мнѣ кажется, сатира г. Щедрина, преслѣдующая печальныя стороны нашей юной адвокатуры, вполнѣ умѣстна въ данное время и можетъ имѣть очень серіозное значеніе.

Z (В. Буренинъ).

Г. М. М., осмѣивающій г. Салтыкова [1]).

Шутливый и непочтительный нѣкто г. М. М.*), фельетонистъ, пишетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“: „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ“. Въ первыхъ фельетонахъ М. М. именно ощущалось присутствіе нѣкотораго дѣла, и потому я счелъ долгомъ рекомендовать ихъ вниманію публики, и раза два, кажется, выражался о нихъ съ похвалой. Похвалы мои были тѣмъ болѣе искренны и тѣмъ болѣе мнѣ пріятны, что я замѣтилъ въ моемъ собратѣ и юморъ, и остроуміе, и сатирическій блескъ, не уступающій ни въ чемъ таковымъ же качествамъ перваго сатирика и юмориста нашихъ печальныхъ дней, г. Салтыкова. Фельетоны г. М. М., вообще, оказывались до такой степени написанными въ духѣ и манерѣ нашего даровитаго сатирика, что возбуждали невольную догадку: ужъ не авторъ ли „Губернскихъ очерковъ“, покинувъ глубокую „серіозную“ сатиру, подвизается на поприщѣ легкаго фельетоннаго писанія? Догадка эта могла быть очень правдоподобною, покуда фельетонистъ „Отеч. Записокъ“ изображалъ петербургскихъ концессіонеровъ, нравы посѣтителей Буффъ, волненія, стремленія и надежды нѣкоторыхъ консервативныхъ кружковъ, усердствующихъ объ учрежденіи на Руси спасительнаго прогресса съ небходимыми знаками препинанія, замедляющими его ходъ и т. д. Но съ появленіемъ майской книжки „Отеч. Записокъ“, гдѣ г. М. М. внезапно появился съ легкомысленною юмористической статейкой, осмѣивающею трудное положеніе современной журналистики, правдоподобіе помянутой догадки значительно поколебалось. Г. Салтыковъ—несмотря на его легкое и безучастное отношеніе ко многимъ весьма и весьма

---

[1]) „Спб. Вѣд“, 1872 г., № 170. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

*) Подъ этими иниціалами Щедринъ писалъ въ журналѣ свой „Дневникъ провинціала“. *Н. Д.*

серіознымъ принципамъ и явленіямъ, обнаруживающееся не разъ и въ прежнихъ сатирахъ—г. Салтыковъ едва ли могъ быть авторомъ фельетона съ подобною странной и, такъ-сказать, рабскою идейкой. Невѣроятность догадки подтверждалась еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ майскомъ фельетонѣ совершенно исчезли слѣды удачнаго воспроизведенія хорошихъ качествъ юмористической манеры г. Салтыкова. На мѣсто этой манеры фельетонъ заключалъ въ себѣ явную и злую пародію на отрицательныя качества нашего сатирика: онъ переполненъ туманными юмористическими аллегоріями и тонкими „намеками на то, чего не вѣдаетъ никто“. Онъ щеголялъ тѣмъ канцелярскимъ остроуміемъ, тѣми сатирическими „фиками“ и „трефандосами“, которые были столь зло осмѣяны покойнымъ Писаревымъ въ его извѣстной статьѣ о г. Щедринѣ. Подобная пародія въ конецъ опровергла догадку о томъ, что фельетоны „Отечеств. Записокъ“ принадлежатъ перу г. Салтыкова: не могъ же г. Салтыковъ смѣяться самъ надъ собою, не могъ же онъ злостно пародировать собственные „фики“ и „трефандосы“! Продолженіе майскаго фельетона, появившееся въ іюньской книжкѣ „Отеч. Записокъ“, убѣдило меня, что г. М. М. вовсе не г. Салтыковъ, а какой-нибудь изъ второстепенныхъ ненепочтительныхъ Хамовъ престарѣлаго Ноя отечественной журналистики, въ безшабашной игривости задавшійся цѣлью разоблачить и обнажить неприличныя мѣста сатиры г. Салтыкова, которая, въ послѣднее время, отожествилась съ сатирою „Отеч. Записокъ“. Нѣтъ, г. Салтыковъ не можетъ такъ писать; г. Салтыковъ не можетъ столь легкомысленно относиться къ печальному положенію журналистики. Нѣтъ — прочь всякія неумѣстныя догадки!—это не онъ писалъ, а если и онъ, то въ нѣкоторомъ помраченіи, каковое всегда ниспосылается свыше на даровитыхъ писателей, когда они примутся служить несправедливому дѣлу, когда они рискнутъ позабыть о нѣкоторыхъ основныхъ правилахъ, обязательныхъ для каждаго смертнаго, претендующаго на порядочность. Судите сами, читатель, можетъ ли быть признанъ за г. Салтыкова г. М. М., который... Впрочемъ, позвольте мнѣ маленькое отступленіе—именно о г. Салтыковѣ.

Въ концѣ отступленія я объясню причину, по которой мнѣ необходимо было сдѣлать его. Г. Салтыковъ, какъ читателямъ извѣстно, очень крупный талантъ. Отъ него заро-

дилась на Руси такъ-называемая „обличительная литература“: онъ былъ ея первымъ и лучшимъ представителемъ. Но, кромѣ значенія „отца обличительной литературы“, г. Салтыковъ имѣетъ и болѣе прочное значеніе: онъ художникъ, хотя и неравный, по объему художественнаго дарованія, такимъ писателямъ, какъ гг. Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ, но, во всякомъ случаѣ, близкій къ нимъ. По моему мнѣнію, вся сила его произведеній все-таки въ художествѣ, а не въ чемъ-либо иномъ. Покуда онъ имѣетъ дѣло съ живымъ отрицательнымъ явленіемъ или типомъ, подмѣченнымъ имъ въ дѣйствительности, онъ реаленъ и глубокъ, онъ ясенъ и правдивъ, его сатирическое міросозерцаніе правильно, его негодованіе или смѣхъ прямо бьютъ въ ту цѣль, куда они направляются. Но какъ скоро г. Салтыковъ выходитъ изъ роли сатирика-художника, какъ скоро онъ посягаетъ на сатиру, истекающую не изъ непосредственныхъ жизненныхъ впечатлѣній, а основанную на смутныхъ теоретическихъ воззрѣніяхъ, какъ скоро онъ желаетъ изъ художника превратиться въ мыслителя-юмориста,—онъ становится поверхностнымъ, фальшивымъ, неопредѣленнымъ; стрѣлы его негодованія и смѣха попадаютъ совсѣмъ не туда, куда онъ мѣтитъ, такъ-что, по пословицѣ, онъ, вмѣсто вороны, нерѣдко подстрѣливаетъ корову. Качества мыслителя, вообще, настолько чужды г. Салтыкову, насколько присущи ему качества художника. Вотъ отчего, въ большинствѣ тѣхъ его произведеній, гдѣ онъ занимается не выставленіемъ живыхъ отрицательныхъ типовъ, а, такъ-сказать, сатирическими разсужденіями, у него почти постоянно является какой-то наборъ фразъ и словъ, иногда очень смѣшныхъ и забавныхъ, иногда темныхъ и скучныхъ, но всегда такихъ, за которыми, въ концѣ-концовъ, не отыщешь не только правильной сатирической мысли, но даже и простой логической послѣдовательности. Въ такихъ-то именно сатирахъ съ разсужденіемъ и изобилуютъ, преимущественно, знаменитые „фики“ и „трефандосы“, играющіе роль необходимыхъ орнаментовъ для прикрытія и украшенія внутренней пустоты и фальши намѣреній и цѣлей сатирика. Все это давно извѣстно не только критикѣ, но даже и публикѣ. Всего этого только не разумѣетъ до сихъ поръ самъ г. Салтыковъ, весьма часто покидающій въ своихъ произведеніяхъ вѣрный путь художественной сатиры, по которому онъ всегда ходитъ прямо и

твердо, и бросающійся на ложную дорогу сатиры публицистической, — дорогу, по которой нашъ авторъ бродитъ наугадъ, постоянно спотыкаясь и иногда ушибаясь очень больно. Я даже думаю, что г. Салтыковъ получаетъ свою силу и свое значеніе, именно, въ подобнаго рода сатирѣ. Такія заблужденія насчетъ своего истиннаго призванія весьма свойственны дарованіямъ и встрѣчаются у писателей всѣхъ вѣковъ и народовъ. Это краткое отступленіе о сущности таланта г. Салтыкова сдѣлано мною для того, чтобы полемисты „Отечественныхъ Записокъ“ не обвиняли меня въ мнимыхъ противорѣчіяхъ о нашемъ авторѣ и не завопили, что я то хвалю его, то осуждаю. Полемисты „Отечественныхъ Записокъ“ привыкли, какъ видно, къ такого рода критической послѣдовательности, которая захватываетъ огуломъ, не разбирая, различныя стороны писателя: коли писатель, молъ, хорошъ, значитъ, онъ хорошъ во всемъ и всегда. Я такой огульной послѣдовательности, откровенно признаюсь, не имѣю и не желаю имѣть. Я предпочитаю прямыя противорѣчія, если мнѣ приходится оцѣнивать въ писателѣ его сильныя и слабыя стороны, его хорошія и дурныя произведенія; въ простотѣ души я думаю, что подобныя противорѣчія не только не предосудительны для всякаго здравомыслящаго критика, но даже обязательны. Если философскіе умы, въ родѣ г. Михайловскаго, не могутъ понять обязательности подобныхъ противорѣчій и изъявляютъ удивленіе, отчего я, положимъ, одобряю г. Михайловскаго за статью о Бисмаркѣ и смѣюсь надъ его же статьей „Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха“, то, право, кажется, это удивленіе свидѣтельствуетъ больше о слабости философскихъ умовъ, чѣмъ о моей склонности къ противорѣчіямъ. Теперь, послѣ вышеприведеннаго отступленія, надѣюсь, философскіе умы не набросятся на меня за разнорѣчивое мнѣніе о г. Салтыковѣ. Покуда г. Салтыковъ остается художникомъ—я его другъ и готовъ хвалить его талантъ и его произведенія съ искреннимъ чувствомъ удивленія къ блеску этого таланта. Но какъ скоро г. Салтыковъ предстаетъ передо мной мнимымъ сатирикомъ-мыслителемъ—я его врагъ и готовъ разоблачать ложь и пустоту его сатирическихъ претензій съ искреннимъ удивленіемъ къ пошлости „фикъ“ и „трефандосовъ“, употребляемыхъ имъ для замаскированія вздора, который онъ выдаетъ за глубину мысли. Къ моему

удивленію, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ я нахожу врага и разоблачителя слабой стороны г. Салтыкова, такого разоблачителя, который производитъ разоблаченіе гораздо неумолимѣе и рѣзче, чѣмъ бы это, напримѣръ, было сдѣлано мною. Этотъ разоблачитель—г. М. М. Повторяю: послѣдніе два фельетона г. М. М. не что иное, какъ злая пародія на ложную сатирико-публицистическую манеру нашего даровитаго автора. Тутъ, въ этихъ фельетонахъ, какъ въ зеркалѣ, отражены всѣ ошибки и спотыканія г. Салтыкова, когда онъ хочетъ провести теоретическій взглядъ на какое-либо отрицательное явленіе. Посмотримъ, хоть слегка, хоть мимоходомъ, какъ этотъ злой г. М. М. отдѣлываетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ одного изъ наиболѣе видныхъ и полезныхъ сотрудниковъ этого журнала; мало того,—одного изъ столповъ трехъ-столпной редакціи органа молчальниковъ. Начнемъ съ идеи этихъ двухъ фельетоновъ, составляющихъ одну цѣлую статейку. Обыкновенно, въ фальшивыхъ, публицистическаго характера сатирахъ г. Салтыкова общая идея произведенія является искаженною, а сатира выходитъ предосудительною и вредною. Г. М. М. ловко подмѣтилъ этотъ, свойственный г. Салтыкову, недостатокъ, и въ своей пародіи выставилъ его, разумѣется, усиленно обезображеннымъ. Идея статейки, по намѣренію автора, слѣдующая: осмѣяніе печальнаго положенія современной либеральной журналистики. Многіе, конечно, найдутъ, что эта идея несвоевременна, что сатирикъ либеральнаго органа могъ бы воздержаться отъ смѣха надъ подобнымъ явленіемъ, принявъ въ расчетъ различныя обстоятельства. Я не нахожу этого, читатель, и несогласенъ съ этимъ. По-моему, сатирѣ надлежитъ всякое отрицательное явленіе жизни, если оно дѣйствительно существуетъ; чѣмъ раньше коснется сатирикъ даннаго явленія, тѣмъ лучше: онъ поразитъ его своимъ смѣхомъ въ самомъ корнѣ, въ самомъ началѣ. Вотъ почему я не нахожу ничего предосудительнаго въ намѣреніи сатирика осмѣять либеральную журналистику нашихъ дней. Но вопросъ вотъ въ чемъ: что долженъ былъ онъ сдѣлать для такого осмѣянія? Онъ долженъ былъ, прежде всего, выяснить себѣ главную, существенную причину отрицательнаго явленія, подвергающагося его осмѣянію, и затѣмъ устремлять свои сатирическіе удары, отправляясь отъ этого пункта. Г. М. М., имѣя въ виду не настоящую умную сатиру, а пародію на недомысленную

публицистическую сатиру, въ духѣ г. Салтыкова, нарочно ставитъ дѣло такимъ образомъ, что какъ-будто бы авторомъ не сознается истинная причина даннаго положенія журналистики. Онъ ищетъ эту причину не въ ничтожествѣ и оскудѣніи общественныхъ интересовъ, которыми живетъ журналистика, а выставляетъ дѣло такъ, будто вся суть происходитъ отъ ничтожества и самодовольства дѣятелей либеральной печати; онъ старается доказать, что они нимало не страдаютъ отъ своего положенія, что имъ, въ качествѣ журнальныхъ дѣятелей, столь же пріятно подвизаться въ душной общественной атмосферѣ, какъ рыбамъ пріятно и свободно плавать въ водѣ. Выходитъ, стало-быть, что сатирикъ-писатель смѣется самъ надъ собою, бьетъ по ланитамъ самого себя, увлекаясь безсознательнымъ зубоскальствомъ, происходящимъ отъ непониманія причинъ осмѣиваемаго явленія. Разумѣется, такой пріемъ пародіи г. М. М. нѣсколько грубоватъ: г. Салтыковъ въ своихъ неудачныхъ „разсуждающихъ“ сатирахъ едва ли впадалъ въ такіе пошлые промахи, едва ли когда столь явно служилъ однѣмъ цѣлямъ, имѣя въ виду другія. Это такъ; но тутъ, однако же, нѣтъ ошибки со стороны г. М. М. Пародія должна воспроизводить въ болѣе рѣзкихъ, въ усиленныхъ чертахъ недостатки писателя, которые она желаетъ выставить. Это—первое правило всякой пародіи. Выставивъ, такимъ образомъ, главный недостатокъ публицистическихъ сатиръ г. Салтыкова—фальшь и несообразность ихъ общей идеи, г. М. М. не менѣе удачно осмѣиваетъ и частные недостатки, начиная съ претензіи на глубокомысленныя тирады и кончая пошлостью чистоканцелярскихъ „фикъ“ и „трефандосовъ“.

Особенно хорошо и безжалостно выставлена г. М. М. та сумбурность и неопредѣленность сатирическихъ олицетвореній, которыми, обыкновенно, гремитъ г. Салтыковъ въ своихъ неудачныхъ произведеніяхъ. Во второй половинѣ статьи (въ іюньскомъ фельетонѣ „Отечественныхъ Записокъ“) эта сумбурность выяснена особенно ярко. Передъ читателями проходятъ какіе-то Менандры, Болиголовы, Неуважай-Корыты, Нескладины и т. под. лица, говорящія якобы юмористическій, а въ сущности пустой и тупой вздоръ. Авторъ старается дать понять, что эти лица недаромъ выведены: что они что-то такое сатирическое собой выражаютъ, что они кого-то такое изображаютъ; но читатель не понимаетъ

намековъ автора „на то, чего не вѣдаетъ никто“, и въ простотѣ души думаетъ про-себя: „Господи Боже мой, это что такое? Къ чему, это, авторъ выставляетъ этихъ Болиголовъ, Неуважай-Корытъ и т. д.? Къ чему онъ приводитъ изобильные ихъ діалоги, исполненные щедринскихъ „фикъ“ и „трефандосовъ“?Къ чему вся эта сатирическая фантасмагорія, до того смутная, тяжелая и безалаберная, что кажется, будто она написана авторомъ, объѣвшимся белены?“ И читатель правъ въ своемъ мнѣніи: дѣйствительно, все это кажется потѣшнымъ, понятнымъ и, вмѣстѣ, злымъ только самому автору; для остальныхъ же смертныхъ это не больше, какъ только пошлый и невинный сумбуръ, скрашенный обычными щедринскими „фиками“. А „фики“ и „трефандосы“ спародированы г-мъ М. М. блистательно: болѣе крупныхъ „фикъ“ и „трефандосовъ“ не преподнесетъ публикѣ самъ г. Салтыковъ. Возьмемъ, напримѣръ, нижеслѣдующую „фику“. Авторъ изображаетъ какое-то литературное собраніе, можетъ-быть, редакцію „Отечественныхъ Записокъ“: „Въ тотъ моментъ, какъ я вошелъ, Менандръ разсказывалъ собравшейся около него кучкѣ о своемъ путешествіи по Италіи.—Представьте себѣ,—говорилъ онъ:—небо тамъ синее, море синее, по морю корабли плывутъ, а надъ кораблями рѣютъ какія-то неизвѣстныя птицы... но буквально неизвѣстныя, à la lettre!—Позвольте! не объ этихъ ли птицахъ писалъ Страбонъ? пустилъ кто-то догадку.—Нѣтъ, это не тѣ. Кювье же хотя и догадывался, что это простыя вороны, однако, Гумбольдтъ разбилъ его доводы впрахъ... Но, что всего удивительнѣе—въ Италіи и вообще на югѣ нѣтъ совсѣмъ сумерекъ! Идете по улицѣ—свѣтло; и вдругъ—темно!—И апельсины на воздухѣ растутъ? полюбопытствовалъ нѣкто.—Еще бы. Я самъ видѣлъ дерево, буквально обремененное плодами. Ну, все равно, что у насъ яблоки или, вѣрнѣе, даже не яблоки,—рябина.—Въ эту минуту хозяинъ замѣтилъ мое присутствіе.—А! Старый другъ! Господа! мой бывшій товарищъ по университету! написалъ когда-то повѣсть, на которую обратилъ вниманіе Бѣлинскій!—рекомендовалъ онъ меня и, въ свою очередь, представилъ мнѣ присутствующихъ:—Иванъ Николаичъ Неуважай-Корыто, авторъ „Изслѣдованія о Чурилкѣ“; Семенъ Петровичъ Нескладинъ, авторъ брошюры: „Новые суды и легкомысленное отношеніе къ нимъ публики“; Петръ Сергѣичъ Болиголова, авторъ диссертаціи: „Русская пѣсня:

Чижикъ! чижикъ! гдѣ ты былъ?—передъ судомъ критики!"; Вячеславъ Семенычъ Размазовъ, авторъ статьи: „Куда несетъ нашъ крестьянинъ свои сбереженія?"...—Но тутъ со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во всѣ стороны, я до того замотался, что принялъ послѣднюю рекомендацію за вопросъ, обращенный ко мнѣ, и потому совершенно невпопадъ отвѣчалъ:—Да въ казначейство, я полагаю..." Не правда ли, читатель: это наидобродушнѣйшая провинціальная „фика", достойная какого-нибудь отставного вице-губернатора или предсѣдателя казенной палаты? Не правда ли, какой злой человѣкъ этотъ г. М. М., этотъ непочтительный Хамъ, разоблачающій неприличныя мѣста сатиры „Отечественныхъ Записокъ", олицетворяемой г. Щедринымъ? Позвольте за этою превосходною „фикой" привести не менѣе блистательную, вполнѣ щедринскую „трефандосу": „Въ другой группѣ ораторствовалъ Болиголова, маленькій юркенькій человѣчекъ, который съ трудомъ могъ устоять на мѣстѣ и судорожно подергивался всѣмъ своимъ корпусомъ. Голосъ у него былъ тоненькій, дѣтскій.—Ужели же, наконецъ, и „Чижикъ, чижикъ! гдѣ ты былъ"?!..—изумлялись окружающіе пѣнкоснимателя.—Подлогъ-съ!—Позвольте-съ?! Но какимъ же образомъ вы объясните стихъ: „На Фонтанкѣ воду пилъ?" Фонтанка, вѣдь, это, наконецъ... Наконецъ, я вамъ долженъ сказать, что нашъ почтеннѣйшій Иванъ Семенычъ живетъ на Фонтанкѣ!—И пьетъ оттуда воду! сострилъ кто-то.—Подлогъ! подлогъ! и подлогъ-съ! Въ мавританскомъ подлинникѣ именно сказано: „На Гвадалквивирѣ воду пилъ". Всю Европу, батюшка, изъѣздилъ чтобы убѣдиться въ этомъ! Чортъ побери!" Это такъ мило спародировано, что не уважай и не люби я г. Щедрина, какъ сатирическаго художника, я, право, готовъ бы былъ сказать: этотъ М. М.—юмористъ одного калибра съ нашимъ сатирикомъ; его остроуміе по всей провинціальной игривости даже порой какъ-будто выше остроумія г. Салтыкова.

Указывая на достоинства пародіи г. М. М., я долженъ указать и на ея недостатки. Мѣстами игривый Хамъ „Отеч. Записокъ" уже слишкомъ поусердствовалъ въ осмѣяніи слабости г. Салтыкова. Напримѣръ, г. М. М. напрасно употребляетъ крѣпостническія выраженія, въ родѣ того, что разные литераторы не имѣютъ ничего „за душой". Г. Салтыковъ не можетъ такъ выражаться: онъ очень хорошо

знаетъ, что это неприлично, что сейчасъ могутъ послѣдовать къ нему вопросы: А позвольте спросить, что такое вы имѣете за душой? Капиталы? Чины? Быть-можетъ, казенныя пенсіи? Сатирику крѣпостническихъ понятій по штату имѣть не полагается: г. Салтыковъ слишкомъ хорошо это знаетъ, и никогда не увлечется до такой степени, чтобы проболтаться въ этомъ родѣ. Г. М. М., очевидно, тутъ пересолилъ свою пародію. Пересолилъ онъ еще вотъ гдѣ: онъ заставляетъ говорить автора фельетона, что Бѣлинскій отозвался объ одной его юношеской повѣсти, что эта повѣсть — „бредъ куриной души“. Сколько я помню, г. М. М. желаетъ тутъ спародировать отзывъ Бѣлинскаго о юношескомъ произведеніи г. Салтыкова „Противорѣчіе“, про которое покойный критикъ сказалъ, что это „идіотская глупость“ (смотри письмо Бѣлинскаго къ Боткину, напечатанное въ „Спб. Вѣдом.“). По-моему, такого уязвленія г-ну М. М. не слѣдовало дѣлать; г. Салтыковъ доказалъ многими хорошими послѣдующими произведеніями, что онъ большой талантъ; зачѣмъ же злобно напоминать ему о грѣхахъ юности? Пародія вовсе не требовала такихъ намековъ.

Z (В. Буренинъ).

„Ташкентцы приготовительнаго класса“ [1]).

Въ 1 книжкѣ „Отеч. Зап.“, наполненной вообще легкимъ чтеніемъ, заложена „третья параллель“ превосходныхъ очерковъ Н. Щедрина: *Ташкентцы приготовительнаго класса.* Настоящій глубоко-сатирическій очеркъ посвященъ описанію воспитанія и нарожденія защитниковъ вдовъ и сиротъ и защитниковъ общества отъ поползновеній преступной воли. Послѣднихъ нашъ замѣчательный сатирикъ касается только слегка, но зато съ какою любовью онъ рисуетъ подвиги ловчаковъ-ташкентцевъ, взявшихъ на себя обязанность защищать невинность,—лестную обязанность, сопровождаемую необыкновенными кушами, пѣніемъ, танцами, увеселительными прогулками съ деверіями, шнейдершами, съ цѣлымъ персоналомъ любого кафе-шантана. Спеціалисты по части убійствъ, спеціалисты по части личныхъ оскорбленій и купеческихъ самодурствъ, спеціалисты по части скопчества, бракоразводныхъ дѣлъ... Пальты, сапоги, саквояжи, сюртуки, пинжаки, ситцы, люстрины... пожалуйте, господинъ! Къ намъ пожалуйте!—„Жрать!“ Вотъ магическое слово, заставляющее большинство адвокатовъ защищать и сороку и ворону, лишь бы добиться до яснаго сокола, въ видѣ кучи денегъ, и затѣмъ лечь на боковую. Лишь бы поскорѣе мнѣ дорваться до отечественнаго пирога, а послѣ меня хоть потопъ... Дальше рубля взоръ ихъ ничего не видитъ: ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось на одномъ словѣ „жрать!“

Адвокатура у насъ существовала уже при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, и даже въ законахъ того времени имѣются кой-какія статьи, свидѣтельствующія объ организаціи этого сословія. Нравственный уровень этихъ ходатаевъ былъ, конечно, невѣроятно низокъ, а ихъ общественное положеніе равнялось тому, которое занимаетъ у насъ сейчасъ прислуга.

---

[1]) „Сѣяніе“, 1872 г., № 7.

Кляуза и изморъ путемъ судебной волокиты были ихъ спеціальностью. Этому сильно способствовали тѣ условія, въ которыхъ находилось тогда наше правосудіе. Чисто бумажный, бюрократическій характеръ судовъ давалъ полный просторъ взяточничеству, съ одной стороны, и кляузѣ, ябедѣ и подсиживанію, съ другой. И чиновники-судьи и адвокаты были піявками, которыя высасывали все, что можно было, и изъ кармана истца и изъ кармана отвѣтчика. Петръ I называлъ ихъ „ябедниками, составщиками воровъ и душегубцевъ". Судебные уставы Александра II измѣнили формы судопроизводства, и, благодаря этому, стали невозможны тѣ формы ябеды и подкупа, которыя практиковались раньше. Однако, и при новыхъ условіяхъ кляуза не исчезла, а измѣнила лишь формы, стала тоньше, неуловимѣе, заковыристѣе. Новыя времена вызвали новыя пѣсни, но, увы, не новыхъ птицъ. Тѣ же старыя птицы запѣли по-новому съ такими диковинными колѣнами и непостижимыми фіоритурами, что старому ябеднику и не снилось. Новый „составщикъ воровъ" занимаетъ хорошее положеніе въ обществѣ, образованъ, говоритъ такъ, какъ не говорили адвокаты и въ древнемъ Римѣ; онъ уже не довольствуется тѣми подачками, которыя выпадали на его долю въ прежнія времена, а сгребаетъ „куши". Судьба его сильно измѣнилась по сравненію съ судьбой его собрата временъ Петра I-го, но онъ, увы, по существу, остался тотъ, же, хотя и слушаетъ Шнейдершу и понимаетъ, черезъ пятое на десятое, французскій языкъ и толкъ въ винѣ, кокоткахъ и сигарахъ.

Этотъ блестящій очеркъ Щедрина, принадлежащій къ числу самыхъ лучшихъ его произведеній, кончается возвращеніемъ домой, съ пріятельской попойки, кончившаго курсъ студента. „Принимая во вниманіе,—говоритъ онъ въ дверяхъ, указывая на отца,—принимая во вниманіе, что этотъ человѣкъ совершилъ преступленіе, съ полнымъ сознаніемъ содѣяннаго, и при томъ безъ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, а потому полагаемъ"...—Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ нимъ!—съ нѣжностью говоритъ отецъ, крестя сына. „И за что они меня отдали въ прокуроры! Я въ адвокаты хочу!" всхлипываетъ Миша, и слезы градомъ катятся изъ его глазъ. Будущаго прокурора укладываютъ спать...

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина [1]).

„Отечественныя Записки“, 1873 г., № 1.

*) Говоря однажды о дѣятельности Тургенева, мы имѣли случай объяснить причину громадной популярности, какою онъ пользовался (особенно, со временъ „Рудина“).

Исторія литературной дѣятельности Тургенева, съ конца сороковыхъ до начала 60-хъ годовъ (т.-е. отъ „Записокъ охотника“ до „Отцовъ и дѣтей“), есть исторія нашего общественнаго самосознанія за это время. Его произведеніями не только наслаждались, но и поучались, ибо въ нихъ читатель находилъ симпатичное ему разрѣшеніе тѣхъ вопросовъ, которые, въ данную минуту, наиболѣе занимали обще-

---

[1]) „Биржевыя Вѣдомости“, 1873 г., № 53.

*) „Биржевыя Вѣдомости“—газета, основанная въ 1861 г. и существовавшая до 1879 г., а съ этого года переименованная въ „Молву“. Она, между прочимъ, не имѣетъ ничего общаго съ тѣми „Бирж. Вѣд.“, которыя издаются сейчасъ. Сначала газета преслѣдовала, исключительно, вопросы финансовые и коммерческіе, но вскорѣ расширила программу и ввела статьи по вопросамъ общественной, политической и литературной жизни. И „Биржевыя Вѣдомости“ не избѣгли административныхъ каръ за „постоянное стремленіе, рѣзкимъ порицаніемъ правительственныхъ распоряженій по части финансоваго управленія, колебать общественное къ нимъ довѣріе и тѣмъ употреблять во зло право обсужденія, предоставленное печати“. Кромѣ того, офиціальное мнѣніе усматривало въ статьяхъ газеты „неумѣренность и рѣзкость сужденій по текущимъ государственнымъ вопросамъ“. Съ 1875 г. газета переходитъ въ руки Вас. Апол. Полетики, извѣстнаго журналиста и техника, и становится либерально-оппозиціонною съ такъ же строго выдержаннымъ направленіемъ, какъ и раньше. За время съ 1875 г. по 1879 г. газета получила три предостереженія и была пріостановлена. Переименованная въ „Молву“, она существовала до 1881 г.

Въ приводимой здѣсь статьѣ авторъ указываетъ на исключительное дарованіе Щедрина и его способность съ удивительною трезвостью и неподкупностью усматривать и разоблачать ложь, двоедушіе, обманъ и маниловщину тамъ, гдѣ, большинство писателей ея и не предполагали.

Прим. Н. Денисюка.

ственную мысль. Мы не ошибемся, сказавъ, что то мѣсто, которое въ пятидесятыхъ годахъ занималъ Тургеневъ, занимаетъ теперь Щедринъ. Несмотря на все различіе въ свойствѣ талантовъ, оба эти писателя имѣютъ между собою общаго то, что завоевываютъ себѣ первенствующее значеніе не чисто-художественными достоинствами своихъ произведеній, а мыслью, которая заключается въ нихъ. Ни одинъ изъ нихъ не даетъ вамъ такихъ типовъ, какъ гоголевскіе герои или герои „Семейной хроники". Образы, создаваемые обоими писателями, скоро выцвѣтаютъ и теряютъ свою первоначальную свѣжесть; всякое новое произведеніе каждаго изъ этихъ двухъ писателей болѣе или менѣе заслоняетъ и тускнитъ собою предшествовавшія,—заслоняетъ не потому, чтобы съ каждымъ шагомъ росъ ихъ талантъ, не потому, чтобы каждое новое ихъ произведеніе было лучше своего предшествующаго, а единственно потому, что каждое ихъ произведеніе имѣетъ главную свою цѣнность въ томъ, что оно чутко отвѣчаетъ настроенію минуты, интересу дня, а вмѣстѣ съ тѣмъ, оно и теряетъ свое первоначальное значеніе по мѣрѣ того, какъ этотъ интересъ смѣняется новымъ, какъ это настроеніе уступаетъ свое мѣсто другому. Перечитывать время-отъ-времени истинно-художественныя произведенія—великое и вѣчно одинаковое наслажденіе. Такое произведеніе не старѣется, не блѣднѣетъ: оно вѣчно идетъ вмѣстѣ съ вами, но впереди васъ; оно растетъ вмѣстѣ съ вами и держитъ васъ въ своей власти; чѣмъ болѣе духовно мужаетъ человѣкъ, тѣмъ болѣе уразумѣваетъ онъ здравую истину жизни, которою дышитъ это произведеніе, тѣмъ болѣе постигаетъ онъ разлитую въ немъ глубину міросозерцанія, тѣмъ болѣе оцѣняетъ онъ вѣчно-юную свѣжесть созданныхъ поэтомъ образовъ. Не такова судьба писателей, въ родѣ Щедрина и Тургенева: ихъ новыя произведенія ожидаются съ горячимъ нетерпѣніемъ, читаются съ жадностью, но перечитываются, сравнительно, слишкомъ лѣниво. Мы сказали, что въ свойствѣ таланта обоихъ писателей громадная разница: Тургеневъ—болѣе художникъ; Щедринъ—болѣе публицистъ. Кисть Тургенева въ высшей степени мягка, колоритъ нѣженъ и нѣсколько туманенъ; въ его тихомъ смѣхѣ нѣтъ ни капли ядовитой желчи; на его легкой и беззлобной насмѣшливости лежитъ всегда отпечатокъ грусти и какого-то добродушія. Ничего этого вы не найдете въ Щедринѣ: его кисть груба,

его краски слишкомъ ярки, а въ желчномъ смѣхѣ вы всего меньше найдете добродушія. Читая Тургенева, вы чувствуете нѣжное, любящее сердце, которое жаждетъ отдохнуть на свѣтлыхъ сторонахъ жизни; напротивъ, Щедринъ сердится, ехидничаетъ и какъ бы услаждается своимъ дурнымъ, брюзгливымъ расположеніемъ духа... При всѣхъ этихъ различіяхъ, между обоими писателями общаго то, что произведенія ихъ можно охарактеризовать, всего вѣрнѣе, назвавъ ихъ размышленіями, въ повѣствовательной формѣ, о нѣкоторыхъ явленіяхъ современной жизни. Въ самой судьбѣ этихъ писателей есть нѣкоторое сходство въ томъ отношеніи, что оба они не сразу напали на свою истинную дорогу и завоевали извѣстность (какъ, напр., Гончаровъ—„Обыкновенною исторіею“, или Писемскій—своимъ „Тюфякомъ“). Тургеневъ, пока печаталъ свои стихотворенія, былъ однимъ изъ невидныхъ поэтовъ, и уже съ 1847 года выдвинулся на первый планъ, когда со стиховъ перешелъ на прозу и выступилъ со своимъ разсказомъ „Хорь и Калинычъ“. Щедринъ началъ свою литературную дѣятельность повѣстью *Запутанное дѣло*, которая была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1848 г. Дебютъ его былъ вовсе не блестящъ и крайне неудаченъ; его первая повѣсть, во-первыхъ, подверглась весьма сильному цензурному урѣзанію; во-вторыхъ, прошла почти незамѣченною въ публикѣ, но зато, въ-третьихъ, обратила на себя офиціальное вниманіе, которое повлекло для автора весьма непріятныя послѣдствія. Ему пришлось прекратить свою литературную дѣятельность и, живя въ одной изъ глухихъ провинцій, обогащать себя наблюденіями и собирать матеріалы для своихъ *Губернскихъ очерковъ*, съ которыми онъ и выступилъ въ 1856 г. въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, когда для нашей литературы наступила лучшая пора. Этими *Очерками*, какъ извѣстно, онъ сразу занялъ самое видное мѣсто между современными беллетристами. По *Запутанному дѣлу* едва ли можно было предсказать автору тотъ успѣхъ, какой онъ имѣетъ теперь. Но уже и по этой, первой его повѣсти видно было въ авторѣ нѣчто такое, что выдѣляло его изъ общей массы тогдашнихъ беллетристовъ. Путы, связывавшія русскую мысль, повели къ тому, что эта мысль, не находя себѣ ни здравой пищи ни выхода на свѣжій воздухъ, истомилась въ душной атмосферѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ и замкнулась въ тѣсномъ кругѣ инди-

видуальной жизни. Тогдашніе писатели предавались или болѣзненному субъективному анализу (Тургеневъ и др.), или ограничивались сатирою личныхъ нравовъ (Писемскій и др.), или же разсказывали разныя любовныя исторіи, которыя такъ нравятся чувствительнымъ женщинамъ и инымъ умѣреннымъ либераламъ, въ родѣ Тебенькова (герой въ послѣднемъ разсказѣ Щедрина), боящагося, что съ разрѣшеніемъ „женскаго вопроса“ погибнетъ и литература и романъ.

„Съ разрѣшеніемъ женскаго вопроса—говоритъ Тебеньковъ—не будетъ дѣвицъ, толпящихся подъ сѣнью развѣсистыхъ липъ, въ ожиданіи кавалеровъ, не будетъ дамъ, изнемогающихъ въ напрасной борьбѣ съ адюльтеромъ,—не будетъ и романа. Но, ради самого Бога, чтб же тогда будетъ? Кто меня утѣшитъ? Кто заставитъ пролить слезу?.. Ah, c'est si joli—une femme qui reste indécise entre le devoir et l'adultère [1]). Сколько тутъ перипетій, сколько непредвидѣннаго! Даже суровые моралисты и тѣ поняли, какъ великъ предстоящій, въ этомъ случаѣ, женщинѣ подвигъ, и потому назвали побѣду надъ адюльтеромъ торжествомъ добродѣтели. „Вотъ эта женщина добродѣтельна, говорятъ они, ибо съ успѣхомъ боролась въ Чугуевѣ съ цѣлымъ штабомъ военныхъ поселеній [2]). А вотъ эта женщина не можетъ быть названа добродѣтельною, потому что не могла устоять противъ настойчивости одного землемѣра...“ Однимъ словомъ, вся женская добродѣтель заключена тутъ, въ этомъ ограниченномъ, завѣтномъ кругѣ“...

Въ авторѣ „Запутаннаго дѣла“ виденъ былъ человѣкъ, не разъѣденный рефлексіей, со здоровымъ, „но озлобленнымъ умомъ“; его мысль не замкнулась отъ изнеможенія въ тѣсноту индивидуальной жизни, а рвалась въ болѣе широкую сферу вопросовъ политическихъ и общественныхъ. Ни теряться, съ ножомъ субъективнаго анализа, въ безвыходномъ лабиринтѣ человѣческой души, ни быть невинно щебечущимъ разсказчикомъ любовныхъ исторій—Щедринъ неспособенъ. Его первая повѣсть примкнула къ той небольшой, составлявшей какъ бы случайное исключеніе, группѣ беллетристическихъ произведеній, затрогивавшихъ общественные вопросы, которую составляли „Записки охотника“, „Сорока-воровка“, „Кто виноватъ“ и нѣкоторыя др. Какъ бы то ни было, но первая его повѣсть прошла незамѣченною, зато съ полною удачею выступилъ онъ (какъ

[1]) Ахъ, это такъ красиво, когда женщина борется между долгомъ и страстью.

[2]) Военныя поселенія съ чисто-военною дисциплиной установилъ пресловутый Аракчеевъ и главнымъ образомъ на югѣ Россіи. Поселенія эти уничтожены при Александрѣ II. *Прим. Н. Д.*

говорили, по возобновленіи въ первый разъ) съ *Губернскими очерками*, которые сразу выдвинули Щедрина на первый планъ между современными писателями; дальнѣйшія его произведенія окончательно упрочили за нимъ его популярность. Большинству современныхъ произведеній нашей изящной словесности вредитъ бѣдная мелкота мысли, которая ложится въ ихъ основу. Наши авторы, обыкновенно, выкраиваютъ своихъ героевъ по весьма мизерному шаблону и мѣряютъ жизнь на крайне фальшивый аршинъ. Наши писатели, обыкновенно, желаютъ доказывать и поучать: вотъ этотъ-то дидактизмъ и губитъ ихъ произведеніе, ибо міросозерцаніе авторовъ слишкомъ жидко, и мораль, проводимая ими, слишкомъ мелкотравчата. При такомъ положеніи дѣла, въ Щедринѣ особенно дорого то качество, выдѣляющее его изъ остальныхъ писателей, что онъ не стремится поучать, а только съ безпощадною жестокостью осмѣиваетъ все то, къ чему прикоснется. Глубина художественнаго чувства, въ соединеніи съ сатирическимъ свойствомъ сильнаго ума, дѣлаетъ то, что Щедринъ, будучи писателемъ-публицистомъ по преимуществу, стоитъ одиноко, не примыкая ни къ группѣ нашихъ радикальныхъ писателей, занимающихся канонизаціею „новыхъ людей“ и ожидающихъ возрожденія міра не иначе, какъ съ помощью дѣвицъ, занимающихся повивальнымъ искусствомъ, ни къ группѣ нашихъ консерваторствующихъ беллетристовъ, ожидающихъ для міра всяческой погибели именно отъ дѣвицъ-повитухъ, съ Дарвиномъ въ рукахъ,—ни отъ чего болѣе. Ни одна изъ этихъ группъ не можетъ назвать его своимъ. Чуткость его художественнаго чувства открываетъ ему фальшь тамъ, гдѣ другой писатель видитъ чистую монету и приходитъ отъ нея въ восхищеніе; сила его ума мѣшаетъ ему преклоняться передъ тѣми явленіями жизни, передъ которыми благоговѣютъ наши и поучающіе и близорукіе писатели. По своимъ воззрѣніямъ, онъ всего менѣе можетъ быть причисляемъ къ разряду нашихъ капитанъ-исправниковъ литературы, но онъ несолидаренъ ни съ „пѣнкоснимательствомъ“ умѣренныхъ либераловъ, ни съ радикализмомъ нашихъ крайнихъ лѣвыхъ. Въ то время, когда пѣнкосниматели захлебнулись съ восторга отъ новорожденной гласности, отъ повальнаго либерализма, обуявшаго всѣхъ, отъ грудныхъ младенцевъ до сѣдовласыхъ старцевъ,—Щедринъ

видѣлъ миражность всего этого. Въ самый разгаръ восторговъ онъ написалъ своихъ *Литераторовъ-обывателей*, представилъ превосходный типъ ново-глуповца и нарисовалъ мастерскіе и уморительные портреты старо-глуповцевъ, неудачно желающихъ поддѣлаться подъ духъ времени. Въ то время, когда пѣнкоснимателя сочли священнымъ долгомъ пасть ницъ передъ дѣятелями новыхъ земскихъ учрежденій и ожидали, что въ то время, пока они будутъ лежать ничкомъ, Россія превратится въ земной Эдемъ—Щедринъ написалъ *Нарцисса*, который поднялъ противъ него цѣлую бурю со стороны пѣнкоснимателей. Въ самый разгаръ канонизаціи „новыхъ людей“, онъ жестоко подсмѣялся надъ волосатымъ братомъ и его стриженою сестрицей изъ „новаго поколѣнія“, которые высказывали желаніе „упразднить“ своего отца съ матерью... Былъ ли онъ правъ? Оправдались ли тѣ пылкія, ни на чемъ неоснованныя надежды пѣнкоснимателей, къ которымъ Щедринъ постоянно относился съ недовѣріемъ и сарказмомъ? Увы, онъ былъ правъ... Но рьяная слѣпота нашего россійскаго радикализма и умѣренно-либеральная тупость нашего пѣнкоснимательства (качество „умѣренности“ я отношу только къ либерализму пѣнкоснимателей, а отнюдь не къ ихъ тупости, которая, какъ извѣстно, слишкомъ неумѣренна) и теперь продолжаютъ считать въ Щедринѣ недостаткомъ то, что составляетъ его силу: его равновѣсіе духа и ту зоркость взгляда, которыя не позволяютъ ему принимать миражъ за дѣйствительность, видѣть чистое золото тамъ, гдѣ есть страшный процентъ лигатуры, и сузиться до одного изъ тѣхъ трехъ жиденькихъ катехизисовъ, которые проповѣдуются нашими радикалами, пѣнкоснимателями и капитанъ-исправниками литературы. Щедрина упрекаютъ въ томъ, что онъ глумится надо всѣмъ, не имѣя никакого собственнаго идеала, никакого своего прочнаго міросозерцанія! Очевидно, этотъ упрекъ основанъ на простомъ недоразумѣніи. Мы до того привыкли къ тремъ катехизисамъ, что уже не представляемъ себѣ возможнымъ четвертый, болѣе широкій. Наши литературныя партіи до того еще проникнуты ненавистью нашихъ самодуровъ къ мельчайшему съ ними противорѣчію, что достаточно не согласиться съ однимъ изъ ихъ пунктовъ, чтобы они васъ считали врагомъ и по всѣмъ остальнымъ. Вы осмѣлились замѣтить смѣшныя стороны адвокатуры,—и вотъ,

въ глазахъ пѣнкоснимателя, вы являетесь врагомъ и судебной реформы и всѣхъ преобразованій послѣдняго времени. Вы позволили себѣ сочувственно изобразить, въ своей повѣсти, добряка-помѣщика прежнихъ временъ,—на васъ тотчасъ накидывается радикальный критикъ за то, что вы идеализируете крѣпостное право, желаете его возстановленія и враждебно относитесь ко всѣмъ новымъ порядкамъ: развѣ можно сочувственно изображать помѣщика екатерининскаго или павловскаго времени, который говоритъ прислугѣ *ты*, а не *вы*, и, вообще, живетъ, мыслитъ и чувствуетъ, какъ сынъ своего времени, а не какъ современный передовой человѣкъ! Вы рисуете симпатичную героиню, имѣющую несчастіе имѣть недостойныхъ родителей, или симпатичнаго героя, который не имѣетъ склонности и любви къ классическимъ языкамъ,—на васъ тотчасъ накидывается капитанъ-исправникъ за ваши разрушительныя тенденціи: по его мнѣнію, вы—врагъ отечества, если осмѣливаетесь нигилистически подрывать основы семейства, утверждая, что у достойныхъ дочерей бываютъ недостойные родители; вы—врагъ отечества и сообщникъ интернаціонала, если рѣшаетесь идеализировать человѣка, который не питаетъ любви къ классицизму и, вообще, въ своемъ покроѣ, хотя нѣсколько отступаетъ отъ того казеннаго образца, по которому капитанъ-исправникъ предписываетъ выкраивать добродѣтельныхъ мужчинъ. Отсюда же объясняются нападки на Щедрина за то, что онъ святотатственно позволяетъ себѣ глумиться надъ тѣмъ, что должно быть оставляемо въ неприкосновенности. „Положимъ (говорятъ эти охранители разныхъ сортовъ неприкосновеннаго), что и на солнцѣ есть пятна, и въ мірѣ нѣтъ ничего такого, что не имѣло бы своей ахиллесовой пяты. Но позволительно ли съ злорадствомъ указывать на пяту, вмѣсто того чтобы восхищаться красотою и мощью Ахилла? Разумно ли, даже честно ли толковать о пятнахъ на солнцѣ, вмѣсто того чтобы кланяться и благодарить его за свѣтъ и теплоту?“ Подобныя нападки проявляютъ въ тѣхъ людяхъ, которые ихъ дѣлаютъ, тѣ же привычки стараго закала, о которыхъ мы говорили сейчасъ. Этотъ охранитель, накидывающійся на Щедрина за то, что тотъ осмѣливается публично замѣтить пятно на томъ, что дорого ему, охранителю,—не напоминаетъ ли вамъ собою иную барыню-старушку, которая готова вамъ выцарапать глаза, если вы не

согласитесь, напр., съ нею, что красоту ея фаворита много портитъ его кривой глазъ, или скажете, что ея любимая болонка могла бы быть еще лучше, если бы она была вся бѣлая, безъ малѣйшаго коричневаго пятнышка. Онъ мой протеже—стало-быть, онъ хоть и кривъ, да не кривъ! Эта моя любимая болонка, стало-быть, не смѣй никто замѣчать, а тѣмъ болѣе говорить, что у ней на ухѣ коричневое пятно! Нападки на Щедрина за его святотатственныя посягательства на непосягаемое посыпались за его „Нарцисса“. Его „Исторія одного города“ вызвала нападки за то, что онъ не любитъ Россіи, что онъ крайне односторонне смотритъ на дѣло,—иначе могъ бы увидать что-нибудь иное, кромѣ глуповщины, въ томъ народѣ, у котораго есть славное прошедшее и великая будущность. Подобные безсмысленные упреки мы слышали уже далеко не въ первый разъ и не противъ одного Щедрина. Подобнымъ упрекамъ въ свое время подвергался Гоголь за то, что онъ, въ своемъ „Ревизорѣ“, далъ неполную, враждебную Россіи картину нашего чиновничества, ибо не изобразилъ ни одного добродѣтельнаго повытчика и ни одного великодушнаго квартальнаго, позабывъ, что въ нашемъ чиновномъ людѣ были не одни городничіе, Тяпкины-Ляпкины и др., но были и хорошіе люди. Едва ли стоитъ опровергать такихъ „печальниковъ“ за честь русской земли: они давно осмѣяны Гоголемъ. Послѣдній разсказъ Щедрина касается пресловутаго женскаго вопроса; героемъ этого разсказа является Тебеньковъ—умѣренный либералъ, „въ сущности, даже и не либералъ, а фрондеръ“, т.-е. (какъ весьма остроумно характеризуется у автора эта порода людей) „почтительно, но съ независимымъ видомъ лающій русскій человѣкъ“; фрондируетъ же онъ по той причинѣ, что князь Левъ Кириллычъ, представитель умѣреннаго либерализма, потерялъ кредитъ и уступилъ честь и мѣсто князю Ивану Семенычу; вмѣстѣ съ тѣмъ и Тебенькову пришлось до поры до времени остаться не у дѣлъ. Женскій вопросъ, о которомъ авторъ заставляетъ своего героя разсуждать, даетъ случай Тебенькову высказать сполна свое profession de foi. Либерализмъ Тебенькова заключается въ томъ, что, во-1-хъ, онъ—человѣкъ мягкій; онъ не любитъ выраженій въ родѣ „согнуть въ бараній рогъ, стереть съ лица земли, вырвать вонъ съ корнемъ“ и пр., хотя, по нуждѣ, онъ и терпитъ ихъ. Его либерализмъ заключается, далѣе, въ томъ, что онъ не

возстаетъ безусловно противъ такихъ разрушительныхъ вещей, какъ, напр., читальни, публичныя лекціи и пр. Онъ готовъ все это позволить,—онъ „все позволитъ, лишь бы ничего изъ того не вышло“, и не болѣе какъ настолько, покуда отсюда ничего не выходитъ. Поэтому:

„Я всегда говорилъ,—разсуждаетъ Тебеньковъ,—господа, не полагайте движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа! Дайте движенію надлежащее (разумѣется, въ смыслѣ Тебенькова) направленіе—et alors tout ça ira comme sur des roulettes“ [1]). Умѣренные либералы, кромѣ того, страдаютъ, еще и такимъ свойствомъ: „Я росъ и воспитывался въ такой средѣ, гдѣ т.-наз. рѣзкости считаются первымъ признакомъ неблаговоспитанности. Какъ ни велико мое сочувствіе благимъ начинаніямъ, я не могу выносить шума, я страдаю, когда въ ушахъ моихъ раздается крикъ. Когда передо мною начинаютъ „шумѣть“, мнѣ дѣлается не-по-себѣ—и я способенъ даже потерять изъ вида предметъ, по поводу котораго производится шумъ. *Я отворачивался отъ многихъ „благихъ начинаній“, къ которымъ я, несомнѣнно, отнесся бы благосклонно,* если бы не примѣшивались сюда шумъ и рѣзкости“.

Когда Тебеньковъ и князь Левъ Кириллычъ—эти „столпы современнаго русскаго либерализма“—сходятъ со сцены и уступаютъ мѣсто ретроградному князю Ивану Семенычу съ его bagarre gouvernementale [2]), умѣренные либералы приходятъ въ ужасъ и начинаютъ трепетать за судьбу либерально-благихъ начинаній. Но, въ существѣ дѣла, система либеральнаго князя Льва Кириллыча и система ретроградаго князя Ивана Семеныча суть двѣ стороны одной и той же системы, которую авторъ весьма удачно называетъ „системою равновѣсія“. Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выписать ту тираду Тебенькова, гдѣ онъ развиваетъ подробности, въ чемъ заключается эта система:

„Система моя очень простая: *никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать* C'est simple comme bonjour [3]). Но чтобы ты могъ лучше понять мой административный идеалъ, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣлъ. Первое, что я дѣлаю—это ослабляю бразды, хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, это очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales [4]). Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, жен-

[1]) И тогда все пойдетъ какъ по маслу.
[2]) Правительственная сумятица.
[3]) Это ясно какъ день.
[4]) Настоящій пиръ либеральныхъ идей.

щины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папиросами и сигарами въ зубахъ! И замѣть: я ничего *прямо* не дозволялъ, я только ничего *прямо* не воспрещалъ! Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: „Вотъ доказательства разумности моей системы!“ Такимъ образомъ, проходитъ годъ, а, можетъ-быть, и два; я все продолжаю мою систему, т.-е. ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаютъ тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ-называемой licence [1]). Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Канонерскомъ переулѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то, шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобы обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle [2]). Затѣмъ я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе. „Господа! говорю я, вы должны понять, что у насъ безъ авторитетовъ нельзя! Если вы хотите, чтобы я имѣлъ возможность защищать васъ, то поберегите и меня! если не хотите, то скажите прямо—я удалюсь въ отставку!“ Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: осторожнѣе! осторожнѣе! потому что, если оставить насъ Тебеньковъ,—мы погибли! Такъ проходитъ, быть-можетъ, еще цѣлый годъ. Mais hélas! les idées subversives—c'est quelque chose de très peu solide, mon cher, et c'est-peut être à cause de ce peu de solidité qu'elles se nomment subversives! [3]) Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ, гдѣ онѣ остановятся и не перейдутъ ли ту границу „не дозволеннаго“, но и „не воспрещеннаго“, въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête [4]) и прямо утверждаетъ, что „невоспрещеніе“ равняется „дозволенію“. Начинается шумъ, mesquineries [5]), рѣзкости. Тогда я говорю уже прямо: messieurs! je m'en lave les mains! [6]) и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу... Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! [7]) Итакъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча, и даже въ ряду прочихъ феноменовъ признаю его далеко небезполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются такъ-называемые Божіе бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобы они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается, наконецъ, скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ—небезполезно. Такимъ образомъ, покуда князь Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиден-

---

[1]) Распущенность.

[2]) Не слишкомъ усердствуйте, господа, главное, не слишкомъ.

[3]) Но, увы! разрушительныя идеи—это нѣчто очень непрочное, мой другъ, и, можетъ-быть, по причинѣ этой непрочности онѣ такъ и называются.

[4]) Распущенность поднимаетъ голову (растетъ).

[5]) Дрязги.

[6]) Господа! Я въ этомъ умываю руки!

[7]) Но постой, погоди, я еще не все сказалъ!

ціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикой я, такъ-сказать, напоминаю о себѣ; я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благорастворѐніями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само собою утрачиваетъ всякій raison d'être [1]). Напрасно старается онъ устраивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ ненуженъ, онъ надоѣлъ, онъ даже незабавенъ. Тогда опять прихожу я и опять приношу свою систему... И, такимъ образомъ, мы чередуемся: сперва я, потомъ князь Иванъ Семенычъ и такъ далѣе... Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système? [2])"

Признаемся, мы еще не встрѣчали до сихъ поръ ни разу въ нашей литературѣ такой мѣткой, ядовитой и остроумной характеристики нашего умѣреннаго либерализма. Этотъ Тебеньковъ, съ его любовью къ „вольнымъ мыслямъ лишь постольку, поскольку онѣ представляютъ matière à discussion" [3]), съ его трусливыми поползновеньицами къ благимъ начинаніямъ лишь настолько, насколько изъ нихъ ничего не выходитъ, съ его любовью къ благовоспитанному благочинію и нервнымъ, пугливымъ отвращеніемъ ко всякому „шуму" и „рѣзкости",—этотъ Тебеньковъ не напоминаетъ ли вамъ тѣхъ умѣренныхъ либераловъ, которыми еще вчера кишѣли грады и веси Россійской имперіи? Теперь эти люди перевелись—и перевелись они единственно потому, что испугались „шума" и „изъ-за рѣзкостей" получили отвращеніе ко всѣмъ „благимъ начинаніямъ", о которыхъ они прежде заботились съ такимъ усердіемъ. Они готовы теперь упразднить всѣ естественныя науки изъ-за того только, что имъ встрѣтился одинъ-другой Базаровъ, рѣзавшій лягушекъ, и оскорбилъ ихъ благовоспитанность своею „рѣзкостью". Они готовы теперь сокрушить всѣ женскія гимназіи въ виду того, въ корень сокрушающаго весь порядокъ явленія, что дочь Петра Михайловича остригла волосы и облачилась въ грязный воротничекъ, а сестра Алексѣя Петровича, чисто по-мужски, въ публичныхъ мѣстахъ, кладетъ одну ногу на другую и куритъ сигару съ видомъ либеральнаго ухарства. Эти двѣ дамы до того ихъ напугали, что они до сихъ поръ не могутъ притти въ себя... Предоставляемъ читателю прочесть

[1]) Смыслъ.

[2]) Не правда ли, это настоящая система?

[3]) Поводъ для спора.

у самого Щедрина о томъ, какъ смотритъ Тебеньковъ на женскій вопросъ, при чемъ онъ уморительно высказываетъ свои мнѣнія о значеніи приличій, о необходимости соблюдать формальное почтеніе къ Таутовой азбукѣ, о томъ, при какихъ условіяхъ женщина, не нарушая своего женскаго достоинства, можетъ выказать любовь къ наукамъ и пр. Въ концѣ-концовъ Тебеньковъ приходитъ къ тому заключенію, что женскій вопросъ порѣшенъ еще со времени „Belle Hélène“ [1]),—„но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало одного Менелая. Ménélas! On s'en moque—et voilà tout!“ [2]) Въ смыслѣ протеста противъ брачнаго союза, и теперь женскій вопросъ разрѣшаютъ съ полнымъ успѣхомъ и „la princesse de P., la baronne de K. [3]), наконецъ, Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна, и даже „princesse Nathalie [4]), которая пользуется репутаціею sainte“ [5]). Тебеньковы не возмущаются всѣмъ этимъ: „saperlote (думаютъ они)! не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кириллычъ имѣлъ удовольствіе надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Въ той нравственной распущенности, за которую они упрекаютъ практическихъ и теоретическихъ поборницъ женскаго вопроса, Тебеньковыхъ возмущаетъ только тотъ способъ разрѣшенія этого вопроса, котораго добиваются его поборницы; вмѣсто того, чтобы разрѣшить этотъ вопросъ „практически, келейнымъ образомъ“, de facto (въ чемъ никто имъ не препятствуетъ), эти поборницы „больше хлопочутъ о томъ, чтобы было что-то на бумажкѣ написано“. „Но, — говоритъ Тебеньковъ,— можно упразднить азбуку de facto; взялъ и упразднилъ, это я понимаю. Но чтобы притти и требовать какихъ-то законовъ объ упраздненіи—c'est tout bonnement exorbitant [6]). Онѣ хотятъ, чтобъ имъ разрѣшеніе на бумажкѣ было написано! Онѣ законовъ требуютъ. Понимаешь ли: онѣ хотятъ, чтобы законодатель взялъ въ руки перо и написалъ: позволяется à ces demoiselles [7]) и проч.

---

[1]) Прекрасная Елена.
[2]) Менелая! Надъ этимъ смѣются—вотъ и все.
[3]) Княгиня П., баронесса К.
[4]) Княгиня Наталья.
[5]) Святая.
[6]) Это, просто, чудовищно.
[7]) Этимъ дѣвицамъ.

Нѣтъ-съ! Этого нельзя-съ!“ Разсказъ чрезвычайно умѣстно оканчивается сценами на Невскомъ, „наглядно доказывающими“, въ какихъ широкихъ размѣрахъ разрѣшается женскій вопросъ практическими послѣдовательницами „Прекрасной Елены“ въ такой мудрой формѣ, что „никто никогда не видѣлъ въ томъ ни малѣйшей опасности“ и, слѣдовательно, никто не видитъ ни малѣйшей надобности имъ ни препятствовать, ни вопить, что отъ нихъ погибаетъ міръ, безъ вмѣшательства и энергической дѣятельности всѣхъ судебныхъ и административныхъ властей.

Ч. П. (Чебышевъ-Дмитріевъ).

Взглядъ на дѣятельность г. Щедрина [1]).

*) Недавно вышелъ „Концентрическій учебникъ французскаго языка“ (Игнатовича), въ которомъ авторъ посвятилъ нѣсколько уроковъ особенностямъ французской синтетической конструкціи, состоящимъ въ многоразличныхъ отступленіяхъ отъ обыденнаго порядка рѣчи. Благодаря этому учебнику, устраняется множество затрудненій, встрѣчаемыхъ учениками при переводѣ французскихъ текстовъ. Когда я перелистывалъ этотъ учебникъ, мнѣ пришла слѣдующая мысль: вотъ, думалъ я, было бы недурно, если бы кто-нибудь составилъ для русской публики учебникъ, съ помощью котораго устранялись бы затрудненія, встрѣчаемыя этой публикой въ многоразличныхъ отступленіяхъ того или другого писателя отъ обыденныхъ интеллектуальныхъ порядковъ. Какъ ни ограниченъ у насъ кругъ (два-три и обчелся) писателей, представляющихъ собою „отступленія отъ обы-

---

[1]) „Одесскій Вѣстникъ“, 1873 г., № 80.

*) Эта статья принадлежитъ небезызвѣстному журналисту Семену Титовичу Герцо-Виноградскому, писавшему въ тогдашнемъ „Одесск. Вѣст.“.

„Одесскій Вѣстникъ“ существовалъ съ 1827 г. по 1893 г. Сначала эта газета выходила на русскомъ и французскомъ языкахъ. Изданіе газеты было предпринято по иниціативѣ свѣтлѣйш. князя Мих. Сем. Воронцова, получившаго, какъ извѣстно, блестящее образованіе въ Англіи и, кромѣ того, обладавшаго недюжинными административными способностями и энергіей. Въ 1831 г. газета издавалась уже только на русскомъ языкѣ. Въ 1857 г. она переходитъ въ вѣдѣніе Ришельевскаго лицея, и редакторами ея назначаются два профессора этого учебнаго заведенія—Богдановскій и Георгіевскій. Съ этого момента газета пріобрѣтаетъ большое общественное значеніе и становится серіознымъ органомъ. Здѣсь печаталъ свои знаменитыя статьи Н. И. Пироговъ (1857—58 г.), бывшій тогда попечителемъ одесскаго учебнаго округа, а также извѣстные ученые Орбинскій и Савичъ, впервые поднявшіе вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Все это заставило офиціальныя сферы признать направленіе газеты вреднымъ и снова вернуть подъ надзоръ ген.-губернатора. Съ 1864 г. она стала выходить ежедневно. *Прим. Н. Денисюка.*

деннаго порядка", тѣмъ не менѣе,—дѣло не въ количествѣ, а въ качествѣ этихъ писателей,—такой учебникъ весьма желателенъ. Разъ имѣлся бы этотъ учебникъ, мы не присутствовали бы при такомъ комическомъ недоразумѣніи, какое, напр., случилось въ нашемъ обществѣ по поводу „Благонамѣренныхъ рѣчей" г. Щедрина. А г. Щедринъ представляетъ собою одно изъ видныхъ „отступленій" въ нашей литературѣ. Отсутствіе желаннаго мною „учебника" сдѣлало изъ г. Щедрина, въ глазахъ общественнаго мнѣнія, какого-то литературнаго enfant prodigue [1]), не поддающагося никакимъ прокрустовымъ ложамъ. Можетъ-быть, читатель помнитъ, что́ эта за штука такая—прокрустово ложе? Ложе это получило свое названіе по имени своего основателя Прокруста, который укладывалъ встрѣчнаго и поперечнаго на это ложе, и ежели встрѣчный оказывался длиннѣе ложа, то Прокрустъ отрубливалъ такому встрѣчному ноги; ежели же жертва оказывалась короче ложа, то Прокрустъ ее вытягивалъ. Такую же́ операцію дѣлаютъ съ г. Щедринымъ наши литературные прокрусты, вытягиваютъ и урѣзываютъ его, но enfant prodigue, несмотря на вытягиванія и урѣзыванія, остается при своемъ оригинальномъ ростѣ, приводя прокрустовъ въ неописанное смущеніе. Почти всѣхъ нашихъ писателелей литературные прокрусты размѣстили по этимъ ложамъ. И хотя нѣкоторые изъ размѣщенныхъ энергически протестуютъ противъ этого насилія, но протестъ ихъ не достигаетъ цѣли. Такъ, помнится мнѣ, г. Тургеневъ категорически протестовалъ нѣсколько лѣтъ назадъ противъ прокрустовъ, укладывавшихъ его на ложе, но гласу протестующей жертвы прокрусты не вняли. Не то мы видимъ съ г. Щедринымъ. Его въ одно время и вытягиваютъ и урѣзываютъ и, наконецъ, приходятъ къ заключенію, что онъ представляетъ собою такое „отступленіе", съ которымъ ничего не подѣлаешь. Бросивъ этотъ coup d'oeil [2]) на мартовскую книжку „Отечественныхъ Записокъ", я спѣшу перейти къ г. Щедрину, которому я уже давно хотѣлъ посвятить одинъ изъ своихъ журнальныхъ очерковъ. И хотя, строго говоря, у меня для этого не имѣется никакого à propos, такъ какъ картинка провинціальныхъ нравовъ: „*Онъ!!*",

[1]) Блудный сынъ.

[2]) Взглядъ.

помѣщенная въ № 3 „Отечественныхъ Записокъ“, слишкомъ слабое основаніе для этого посвященія сатирику цѣлаго фельетона, но говорить о г. Щедринѣ, значитъ, быть toujours le bienvenu [1]). *„Онъ!“* представляетъ собой новыя варіаціи на старую *помпадурскую* тему. Вотъ почему я сегодня долженъ въ третій разъ употребить выраженіе „est modus in rebus“ [2]), упущенное изъ виду и нашимъ сатирикомъ. Въ новомъ его произведеніи разсыпаны блестки остроумія, но *помпадурская тема*, такъ же какъ и извѣстная шкурка, не стоящая выдѣлки, не стоитъ этихъ блестокъ. Проводы упраздненнаго помпадура, плохенькаго, но смирненькаго и дешевенькаго (не лыкомъ шитъ, говорили про него обыватели, но зачѣмъ намъ помпадуры щегольской работы!), описаны авторомъ съ неподражаемымъ юморомъ. Затѣмъ мы распрощаемся съ мартовской книжкой и обратимся вообще къ литературной дѣятельности г. Щедрина. Дѣятельность эта ведетъ свое начало съ 1848 г., когда г. Щедринъ выступилъ на литературное поприще съ повѣстью *Запутанное дѣло*, которая принесла автору большія непріятности, хотя, предварительно своего появленія въ свѣтъ, она прошла цензурную инстанцію. Авторъ volens-nolens поселился въ провинціи, гдѣ и почерпнулъ массу матеріаловъ для своихъ знаменитыхъ *Губернскихъ очерковъ*, появившихся въ 1856 г. въ журналѣ „Русскій Вѣстникъ“. *Губернскіе очерки* сразу доставили громкую извѣстность своему автору, раскрывавшему, очеркъ за очеркомъ, наши, какъ тогда любили выражаться, „общественныя раны“. „И публика смѣялась много, смотря на эту ерунду“, такъ формулировалъ свое мнѣніе объ „Очеркахъ“ одинъ изъ тогдашнихъ критиковъ. Пусть этотъ отзывъ ляжетъ пятномъ, если не на совѣсть, то, по крайней мѣрѣ, на мыслительную способность критика. Что же касается того, что „публика смѣялась много“, то авторъ „Очерковъ“ могъ сказать этой публикѣ словами Гоголя: „Чему смѣетесь? надъ собой смѣетесь“. Но публика, въ отвѣтъ на авторскій репримандъ, могла отвѣчать словами того же Гоголя: „Да, надъ собой смѣемся, смѣемся потому, что слышимъ приказаніе высшее быть лучшими“. „Губ. очерки“, представляя собой рядъ блестящихъ статей, безпощадно карающихъ темныя

[1]) Всегда желаннымъ.

[2]) Всему есть своя мѣра.

продѣлки мелкихъ подьячихъ, въ то же время представляютъ собой и рядъ не менѣе блестящихъ статей, направленныхъ не менѣе безпощадно и противъ тѣхъ натуръ, которыя въ то время отдѣлялись отъ подьячей толпы въ лучшемъ смыслѣ. Онъ не щадилъ никого и ничего, у него какъ не было прежде, такъ нѣтъ и теперь никакихъ cordes sensibles [1]). Подъ общимъ названіемъ *талантливыхъ натуръ* „сатирикъ выводитъ въ своихъ „Очеркахъ" три натуры: 1) мефистофелевскую, 2) спившуюся съ круга и 3) опустившуюся въ мошенничество. Воскрешать передъ читателемъ эти три типа, нарисованные мѣткой кистью, я не стану по той простой причинѣ, что это лишнее для читателя, знакомаго съ Лузгинымъ, Горехвастовымъ и Корепановымъ, возстановлять же эти типы для читателя, не знакомаго съ ними, значитъ, дать ему, вмѣсто типовъ, скелеты, такъ какъ для пластическаго возстановленія ихъ потребовалось бы не мало мѣста... Я приведу только общій очеркъ, предпосылаемый авторомъ изображенію этихъ типовъ.

„Одни изъ нихъ занимаются тѣмъ, что ходятъ въ халатѣ по комнатѣ и отъ нечего дѣлать насвистываютъ; другіе проникаются желчью и дѣлаются губернскими мефистофелями; третьи выпиваютъ огромное количество водки; четвертые переваріваютъ на досугѣ свое прошедшее и съ горя протестуютъ противъ настоящаго... Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что и первые, и вторые, и третьи водятся, исключительно, между молодыми людьми. Старый заиндевѣвшій чиновникъ или помѣщикъ не можетъ сдѣлаться Печоринымъ; онъ смотритъ на жизнь съ практической стороны, а на терніи и неудобства—какъ на неизбѣжныя и неисправимыя: это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сдѣлались не врагами, а скорѣе добрыми знакомыми его. Онъ не вникаетъ въ причины вещей, а принимаетъ ихъ такъ, какъ онѣ есть, не задаваясь мыслью о томъ, какими бы онѣ могли быть, если бы... и т. д. Молодой человѣкъ, напротивъ, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; онъ видитъ себя въ странномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ, онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдотрагическомъ негодованіи".

Сатирикъ стоитъ въ отрицательномъ отношеніи къ современнымъ ему талантливымъ натурамъ, не лишеннымъ внутренней силы, ума и благородства, но караетъ ихъ за апатію, фразерство и... мошенничество. И всѣ эти замашки, по словамъ г. Щедрина, являются въ молодомъ поколѣніи,

[1]) Чувствительныя струны.

располагающемъ и свѣжестью силъ и воспріимчивостью чувствъ. Но неужели у насъ нѣтъ, или, если есть, то самая ничтожная малость людей, соединяющихъ съ возвышенностью стремленій честную и неутомимую дѣятельность, несмотря на давленіе неблагопріятныхъ разныхъ разностей? Неужели безусловное отрицаніе сатирика имѣетъ за собой горькую правду? Неужели, неужели? слышались голоса какъ тогда, такъ и теперь. Да дѣло не въ томъ: ужели или неужели?— а въ томъ, что щедринская „талантливая натура“ была имъ не выдумана, а живьемъ взята изъ дѣйствительности. Тѣмъ не менѣе, на сатирика посыпались упреки въ томъ, что у него нѣтъ ничего святого, что онъ осмѣиваетъ все и вся, къ чему только ни прикоснется. Эти упреки, раздававшіеся сначала слабо, чѣмъ дальше, становились громче и категоричнѣе, а Щедринъ продолжалъ осмѣивать все, что онъ находилъ смѣшнымъ, карикатурнымъ или нелѣпымъ въ нашемъ обществѣ, не щадя ни „вашихъ“ ни „нашихъ“, не укладываясь ни въ какую мѣрку—ни либеральную ни консервативную, не поддаваясь никакимъ прокрустамъ... Сатирикъ-публицистъ образовалъ, такимъ образомъ, для себя самую оригинальную ситуацію. Кто изъ читателей не помнитъ тѣхъ юношески-наивныхъ восторговъ, которыми захлебывалась русская публика, когда послышался въ нашихъ parages le doux ramage [1]) новорожденной гласности, когда на просьбу: „Папася, хочу гавалить!“ намъ отвѣчали: „Говори, другъ мой!“ Кто не помнитъ, спрашиваю я, этого недавняго прошедшаго. „Гласность, гласность! Ахъ, гласность! О, гласность!“ восклицали мы, уподобляясь соловью, заслушивающемуся собственныхъ пѣсенъ. И вдругъ, среди этого всеобщаго галдѣнья, обуявшаго и юныхъ старцевъ и старыхъ юношей, являются *Литераторы-обыватели*, обнажающіе всю ходульность и миражность этой „новой эры въ русской литературѣ. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ не заслуживала злого осмѣянія эта „новая эра“, вся новизна которой исчерпывалась „обличительными“ корреспонденціями противъ засѣдателя, ковыряющаго въ носу, или градоначальника, опоздавшаго на пожаръ. А между тѣмъ, кто откажетъ этимъ литераторамъ-обывателямъ въ ихъ искреннемъ патріотизмѣ и гражданскомъ самозабвеніи, съ которымъ они преслѣдо-

[1]) И въ нашихъ мѣстахъ пѣніе птицъ.

вали „зло“? Они самоотверженно несли свою доблестную лепту въ сокровищницу „преуспѣяній на пути прогресса“ и терпѣли даже гоненія: безпокойнаго обывателя-корреспондента выселяли изъ города Глупова и переводили въ Дурацкое-Городище, но и въ Дурацкомъ-Городищѣ онъ не унимался. Но-повторяю я: литераторъ-обыватель! ты не знаешь, что иные люди, иныя вещи, цѣлый новый міръ народился кругомъ тебя, и что старымъ, насквозь проржавленнымъ мѣхамъ не подъ силу новое молодое вино. Ты забываешь, что вѣчные интересы человѣчества призываютъ къ иной, болѣе дѣйствительной дѣятельности. Но странная и неудержимая сила обстоятельствъ! Въ то время, когда ты мучишься въ потугахъ рожденія, чтобы бросить міру какую-нибудь высокопарную мысль о человѣчествѣ и постепенномъ поступаніи его на пути совершенствованія, ты приковываешься къ тѣсной твоей раковинѣ, къ родному твоему Глупову? И выходитъ тутъ нѣчто нелѣпое: и Глуповъ, и человѣчество, и ковыряющій въ носу судья, и вѣчные законы... Sapienti sat [1]), кто не помнитъ тѣхъ юношески-наивныхъ восторговъ, которыми захлебывалась русская публика, когда послышался въ нашихъ parages le doux ramage новорожденнаго земства, когда нельзя было съѣсть куска, чтобы кусокъ этотъ не былъ отравленъ, или „рутинными путями, проложенными бюрократіей“, или „великимъ будущимъ, которое готовятъ Россіи новыя учрежденія“, когда у всѣхъ глаза горѣли дикимъ огнемъ и всѣ болтали или „о попахъ“, или „о мостахъ“, или „о всеобщемъ и неслыханномъ распространеніи пьянства“, или „о наидешевѣйшемъ способѣ изготовленія нижняго бѣлья для лицъ гражданскаго вѣдомства, пользующихся въ мѣстной больницѣ“, когда даже въ литературѣ появились передовыя статьи, въ которыхъ выражалась „твердая увѣренность, что вопросъ о снабженіи больницъ хорошо вылуженными мѣдными рукомойниками получитъ, наконецъ, надлежащее разрѣшеніе“. „Земство, земство! Ахъ, земство! О, земство!“ восклицали мы, уподобляясь опять соловью, заслушивающемуся собственныхъ пѣсенъ и вдругъ, среди этого всеобщаго галдѣнія, обуявшаго и юныхъ старцевъ и старыхъ юношей, является „Новый Нарциссъ“, обнажившій всю ходульность и ми-

[1]) Умный поймет.

ражность этой „новой эры“ въ русской жизни, вся новизна которой исчерпывалась „хорошо вылуженными мѣдными рукомойниками“. Но этого мало: „Я смотрю вглубь, и что жъ я вижу? Какой вопросъ прежде всего занялъ умы сѣятелей? Вопросъ о снабженіи другъ-друга фондами. Мнѣ тысячу, тебѣ тысячу—вотъ первый вопль, первое движеніе. Вновь смотрю я вглубь, и что же я вижу? Чѣмъ они заявляютъ міру о своемъ существованіи? Чѣмъ ознаменовываютъ свой въѣздъ въ дебри отечественной цивилизаціи? Вопросами о рукомойникахъ, о нижнемъ бѣльѣ, о становомъ приставѣ, дозволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ вмѣсто двухъ, о невычищенной плевательницѣ и т. д. А въ воздухѣ коломъ стоятъ и „рутинные пути“, и „великое будущее“, и „твердыя упованія“, и „свѣтлыя надежды“. „Новый Нарциссъ“ произвелъ поистинѣ комическое недоразумѣніе.—„Ай-да-лихо откаталъ наше земство!“ потирали руки отъ удовольствія наши бюрократы.—„Что же это онъ накидывается на такое юное, неопершееся учрежденіе! Оно, конечно... но и на солнцѣ есть пятна“, говорили умѣренные.—„Это ни на что не похоже! Авторъ—крѣпостникъ! Ему дороги дореформенные порядки!“ говорили либералы... Словомъ, никто не хотѣлъ или не могъ понять задушевной сути этой сатиры, заглянувшей вглубь восторговъ отъ „хорошо вылуженныхъ рукомойниковъ“. Щедринъ никогда не замыкался въ тѣсный кругъ какой-нибудь доктрины, никогда не исповѣдывалъ никакихъ катехизическихъ началъ настолько, чтобы эта доктрина или эти начала заслоняли бы отъ него истинный смыслъ жизни. Онъ смѣялся надъ старо-глуповцами и надъ ново-глуповцами, потому что его зоркій взглядъ открылъ между ними бездну соприкосновеній, хотя, съ перваго взгляда, казалось бы, что между ними мало общаго. „А вы читали, mon cher, политическое обозрѣніе... Charmant!“ говоритъ ново-глуповецъ. „А каку мнѣ сегодня канарейку изъ деревни привезли... персикъ!“ говоритъ старо-глуповецъ. Разница между этими двумя фразами чисто-внѣшняя: и старый и новый глуповецъ посвящаютъ время діалогамъ. И т. д. въ этомъ родѣ. Параллель между старымъ и новымъ глуповцемъ проведена такъ мѣтко, что, по прочтеніи этой параллели невольно восклицаешь вмѣстѣ съ авторомъ: „Какъ ты мнѣ милъ, ново-глуповецъ, милъ потому, что ты, Богъ дастъ, послѣдній изъ глуповцевъ, что за тобой, ново-глу-

повцемъ, не послѣдуетъ новѣйшій глуповецъ, а за новѣйшимъ—самоновѣйшій и т. д.". Но не послѣдуетъ ли? Qui vivra verra [1]). Введена судебная реформа. Все, что было у насъ прогрессивнаго, отнеслось къ реформѣ самымъ сочувственнымъ образомъ. Увлеченные новыми судебными порядками, мы игнорировали оборотную сторону дѣла, т.-е. ту массу дѣятелей, которые увидѣли въ реформѣ „лакомый кусокъ„ и только. И вотъ являются *Ташкентцы*. „Ташкентцы" представляютъ цѣлую серію очерковъ, въ которыхъ передъ читателемъ проходитъ галлерея живыхъ и ярко-очерченныхъ сатирикомъ-художникомъ типовъ, выхваченныхъ изъ нашей современности. Но въ особенности рельефны у него: типъ „надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго исполнителя", Миши Нагорнова, и типъ „способнаго и основательнаго молодого человѣка", Тонкачева, отвѣдывающихъ отечественнаго пирога. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи напомнить читателю слѣдующую характеристику ташкентца: „Рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго простеца, мѣшаетъ имъ спать: „Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! зачѣмъ ты зажалъ его въ рукѣ—разожми! Я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ папиросу!" „Дальше рубля взоръ ничего не видитъ. Ни общаго смысла жизни, ни смысла общечеловѣческихъ поступковъ, ни прошлаго, ни настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось, въ одномъ словѣ: *жрать*!" *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*—также галлерея ташкентцевъ, для которыхъ весь смыслъ жизни исчерпывается словомъ: *жрать*! Предпослѣднее произведеніе Щедрина *Благонамѣренныя рѣчи* произвело тоже немалую сенсацію въ нашемъ обществѣ. —„Скажите, пожалуйста: смѣется Щедринъ надъ Наденькой Лаврецкой и Гапочкой Перерепенко, „чуть не пѣшкомъ прибѣжавшими въ Петербургъ изъ своихъ захолустій для разрѣшенія женскаго вопроса", или же онъ имъ сочувствуетъ?" спрашивала меня недавно одна одесская Гапочка, собирающаяся тоже побѣжать въ Петербургъ или Цюрихъ: „смѣется,—значитъ онъ консерваторъ, обскурантъ, ретроградъ?"— Нисколько.—„Какъ такъ?" разинула ротъ Гапочка.—А такъ, просто: Щедринъ смѣется надъ Гапочкой Перерепенко, которая бѣжитъ въ Петербургъ разрѣшить какую-то женскую

[1]) Поживемъ—увидимъ!

задачу, обрѣтающуюся на ученической скамьѣ въ медико-хирургической академіи. Если бы Гапочка бѣжала въ Петербургъ, собственно, для того, чтобы заполучить тамъ для себя лично какое-нибудь преимущество, право на лучшій кусокъ въ жизни, то пока тутъ еще нѣтъ ничего смѣшного. Но разъ Гапочка связываетъ свой кусокъ съ разрѣшеніемъ какихъ-то вопросовъ—она смѣшна и нелѣпа. „Если бы меня спросили, подвинется ли черезъ путешествіе Гапочки въ мед.-хир. академію хоть на волосъ извѣстный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество, я отвѣтилъ бы,—говоритъ Щедринъ:—это не мое дѣло".—„Ну, послѣ этого вашъ Щедринъ—какое-то „отступленіе" отъ общихъ правилъ", пробормотала Гапочка.— Oui, c'est le mot, m-elle [1]) Гапочка. Но будто бы у Щедрина и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего святого? Неужели его отрицаніе существуетъ an sich und für sich? [2]) Нѣтъ, у сатирика есть свое profession de foi [3]) — это любовь къ народу, который онъ защищаетъ отъ всякихъ гнусныхъ поползновеній на него со стороны „талантливыхъ натуръ", „ташкентцевъ", „новыхъ Нарциссовъ" и т. д. Сочувствіе къ народу выражается въ самыхъ теплыхъ, дышащихъ живой искренностью словахъ. Вотъ, напримѣръ, на выдержку одно изъ такихъ мѣстъ: „Этой боли сердечной, этой нуждѣ сосущей, которую мы равнодушно называемъ именемъ ежедневныхъ, будничныхъ явленій, никогда нѣтъ скончанія. Онѣ безконечно зрѣютъ въ сердцѣ бѣднаго труженика, выражаясь въ жалобахъ, всегда однообразныхъ и всегда безплодныхъ, но тѣмъ не менѣе повторяющихся безпрерывно, потому что человѣку невозможно не стонать, если стонъ вылетаетъ изъ груди". Такихъ мѣстъ можно бы было привести достаточную толику.

С. Г.-В. (Герцо-Виноградскій).

---

[1]) Вотъ именно, барышня.
[2]) Въ себѣ и для себя.
[3]) Призваніе.

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина [1]).

Статья г. Щедрина *Благонамѣренныя рѣчи* [2]) трактуетъ о пресловутомъ отечественномъ либерализмѣ. Талантливый сатирикъ, въ лицѣ своего героя, изобразилъ передъ нами тотъ пошлый тонъ умѣреннаго либерала, который такъ назойливо и неустанно мозолитъ намъ глаза. Либералъ Тебеньковъ особенно возмущается принятымъ женскимъ вопросомъ оборотомъ, въ чемъ онъ видитъ поруганіе надъ женской стыдливостью, надъ цѣломудріемъ женскаго чувства, надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, которыя окружаютъ женщину душистымъ ореоломъ. Онъ признаетъ женскій вопросъ совершенно въ другой формѣ, и вотъ какъ самъ наивно выражается объ этомъ:

— Я говорю: женщина—это святыня, которой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помыселъ. Вотъ мой женскій вопросъ-съ! И мужчина и женщина—это, такъ-сказать, двоица: это, какъ говоритъ поэтъ, „Ладъ и Лада“, которымъ суждено взаимно другъ-друга восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ друга—и, наконецъ, устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: „Reposons nous!“ [3]) Ладъ же отвѣчаетъ: „Ce que femme veut, Dieu le veut“ [4]), и ведетъ ее подъ тѣнь деревъ. A mon avis, toute la question est là!“ [5])

Трудно представить себѣ что-нибудь тоньше и ядовитѣе этой тирады: въ каждой строчкѣ ея такъ и сквозитъ ѣдкій неумолимый юморъ; каждое выраженіе такъ и дышитъ ироніей и жгучею насмѣшкой. Въ этой тирадѣ вылились все глубокомысленное міровоззрѣніе гг. Тебеньковыхъ и

---

[1]) „Новое Время“, 1873 г., № 37. (См. стран. 61.)

[2]) „Отеч. Зап.“ (январь).

[3]) Отдохнемъ.

[4]) Чего хочетъ женщина, того хочетъ Богъ!

[5]) По-моему весь вопросъ тамъ.

всѣ основательные резоны ихъ умѣренно-буржуазнаго либерализма. По мнѣнію подобныхъ господъ, дать женщинѣ возможность учиться и работать, значитъ, trainer la femme dans la fange [1]). Далѣе Тебеньковъ развиваетъ остроумнѣйшую административную систему толченія воды въ ступѣ, характеризуя ее только слѣдующимъ изреченіемъ: „Никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать". Для поддержанія подобной безвредной системы управленія онъ предлагаетъ чередоваться съ княземъ Иваномъ Семенычемъ, при чемъ онъ *распускаетъ*, а князь Иванъ Семенычъ *подтягиваетъ*.

Но, несмотря на всѣ достоинства вышеназванной статьи, она страдаетъ однимъ, общимъ почти всѣмъ сатирическимъ очеркамъ Щедрина, недостаткомъ, а именно—отсутствіемъ ясно формулированнаго собственнаго міросозерцанія автора. Какъ и въ *Дневникѣ провинціала*, въ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ* мы видимъ лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, но въ лицѣ этомъ замѣчается какая-то странная двойственность,—онъ отчасти соглашается съ остальными осмѣянными героями, отчасти же вдругъ измышляетъ самъ нѣчто совершенно противное ихъ воззрѣніямъ, а за всѣмъ этимъ мы совершенно не видимъ мнѣнія самого автора. Такъ, напримѣръ, когда Тебеньковъ спрашиваетъ героя, ведущаго, отъ своего имени, разсказъ въ „Благонамѣренныхъ рѣчахъ", что станется съ ними, когда женщины разбредутся по академіямъ и университетамъ, какъ они будутъ существовать безъ того, чтобы не *баловать* женщину,—то герой и самъ начинаетъ сознавать, что, дѣйствительно, тогда ему придется очень жутко. Кого онъ будетъ *баловать*? Передъ кѣмъ станетъ сожигать ѳиміамъ своего сердца? Кому будетъ дарить конфеты, кого называть „belle dame"? А между тѣмъ, нѣсколькими страницами раньше, онъ возражаетъ на слова Тебенькова, восхищающагося этимъ pieuse ignorance, ce delicieux parfum d'innocence [2]), что нельзя же больше всего цѣнить въ женщинѣ ея невѣжество. Далѣе, когда Тебеньковъ развиваетъ свой взглядъ на народъ, обзывая его печенѣгами, и увѣряетъ, что plus ils sont bêtes et plus ils sont

[1]) Топтать женщину въ грязь.

[2]) Благочестивымъ невѣдѣніемъ, этимъ восхитительнымъ благоуханіемъ невинности.

souples [1]), и что печенѣгъ смиренъ только, пока ему ничего не даютъ, а какъ ему попало что-нибудь въ зубы—онъ дѣлается ненасытенъ, то герой весьма основательно замѣчаетъ, что одинъ его знакомый тоже, было, вздумалъ не кормить своей лошади, и дней шесть, дѣйствительно, не кормилъ, но на седьмой только успѣлъ сказать: „Ну, слава Богу, кажется привыкла“,—а она возьми да и издохни! Тѣмъ не менѣе тотъ же самый герой вполнѣ соглашается съ системой управленія Тебенькова. Вообще, изъ всего этого для насъ ясно, что г. Щедринъ—замѣчательный и даровитый сатирикъ, это, конечно, и для него самого не новость; зато, къ несчастію, намъ почти неизвѣстенъ его собственный идеалъ,—сочувствуетъ онъ женскому вопросу или нѣтъ; смѣется надъ однимъ Тебеньковымъ или, вмѣстѣ съ тѣмъ, и надъ Наденьками Лаврецкими и Гапочками Перерепенко, чуть не пѣшкомъ прибѣжавшими изъ своихъ захолустьевъ въ Петербургъ для разрѣшенія женскаго вопроса? Однимъ словомъ, онъ трактуетъ о самыхъ важныхъ вопросахъ въ такой формѣ, что невозможно разобрать—говорится это шутя или серіозно, и на чьей, именно, сторонѣ сочувствіе автора. Этимъ довольно важнымъ недостаткомъ грѣшатъ, въ большей или меньшей степени, всѣ произведенія г. Щедрина.

А. С.

[1]) Чѣмъ они глупѣе, тѣмъ они снисходительнѣе.

Присяжно-періодическая сатира г. Щедрина [1]).

„Отечественныя Записки“, 1873 г., 4 кн.

Послѣ очерковъ г. Глѣба Успенскаго начинается присяжно-фельетонная сатира „Отеч. Зап.“. въ видѣ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ г. Щедрина. Разумѣется, сатира, какъ слѣдуетъ, ядовита, остроумна, глубока, мѣтка—все, что хотите. Удивительно, какъ г. Салтыковъ наловчился въ послѣднее время писать сатиры: что ни нумеръ „Отеч. Зап.“, то сатира, полная самыхъ смѣлыхъ уязвленій, съ одной стороны, самаго невиннаго забавничества, съ другой. Виртуозность этихъ періодическихъ сатиръ поистинѣ образцовая. Прочтите, напримѣръ, хоть слѣдующій отрывокъ: „Во-первыхъ, скажите, на какой такой „образъ дѣйствія“ я, русскій Гамбетта, могу претендовать? Агитировать — запрещено; революціи затѣвать—тѣмъ паче. Вездѣ, куда бы я ни сунулъ свой носъ, я слышу: что вы! куда вы! да имѣйте же терпѣніе, развѣ вы не видите благія начинанія! И это говорятъ мнѣ безъ смѣха, безъ озорства, безъ малѣйшаго желанія мистифицировать меня. Напротивъ того, я чувствую, что субъектъ, произносящій эти предостереженія, самъ ходитъ на-цыпочкахъ, словно боится кого разбудить; что онъ серіозно чего-то ждетъ, и въ ожиданіи, пока придетъ это „нѣчто“, боится не только за будущее ожидаемаго, но и за меня, Гамбетту, за меня, который непрошеннымъ участіемъ можетъ скомпрометировать „дѣло обновленія“ и самого себя. Что долженъ я ощутить при видѣ этой благоговѣйной оторопи, если бъ даже въ головѣ моей и вполнѣ созрѣла гамбеттовская рѣшимость агитировать страну по вопросу о необходимости яснаго закона о потравахъ? Очевидно...“ и т. д., и т. д. Не правда ли, какъ все это зло, какая разъѣдающая соль

---

[1]) „Спб. Вѣд.“, 1873 г., № 115. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

таится тутъ въ каждомъ словѣ, въ каждой строкѣ; какою глубокою и безнадежною ироніей проникнуто воззрѣніе автора на ходъ современнаго россійскаго прогресса? Одно ужъ это чего стоитъ: „Агитировать запрещено; революцію затѣвать—тѣмъ паче?“ Ужасно, ужасно ядовито! Еще бы, впрочемъ, ядовитѣе было, если бъ сатирикъ прибавилъ, что не запрещено, однакоже, болтать направо и налѣво въ невинно-сатирическомъ родѣ, не запрещено талантливымъ писателямъ писать балагурные памфлеты о туманахъ и для распространенія тумановъ. Сатира г. Салтыкова помѣщена въ „Запискахъ“ рядомъ со статьей г. Романовича-Славатинскаго: „Государственная дѣятельность графа М. М. Сперанскаго“. Статья эта есть не что иное, какъ рѣчь, читанная почтеннымъ авторомъ на торжественномъ актѣ университета Св. Владимира. Новаго въ статьѣ ничего нѣтъ. Авторъ сжато и довольно живо излагаетъ всѣмъ извѣстные факты изъ біографіи знаменитаго александровскаго дѣятеля. Вообще, вся рѣчь не заключаетъ въ себѣ ничего замѣчательнаго и, въ качествѣ журнальной статьи, кажется даже излишнею въ книжкѣ. Очевидно, она помѣщена ради уваженія къ ея автору, заслужившему себѣ въ литературѣ извѣстность своей книгой „Дворянство въ Россіи“. Самое любопытное въ рѣчи—ея заключеніе; послѣ „горькихъ“ сатиръ г. Щедрина въ „Отеч. Запискахъ“ это заключеніе производитъ необыкновенно примиряющее чувство въ груди читателей почтеннаго журнала. Видишь ясно изъ заключительныхъ строкъ рѣчи, что органъ молчальниковъ только глупитъ, когда рѣшается презрительно молчать или скептически сердиться, что, въ сущности, онъ не прочь отъ совершенно маниловскихъ наиблагодушнѣйшихъ восхваленій современнаго прогресса.

Z (В. Буренинъ.)

„Благонамѣренныя рѣчи“, сатирическій очеркъ г. Щедрина [1]).

Продолжая обозрѣніе январской книжки „Отечественныхъ Записокъ“, я встрѣчаюсь съ „первымъ“ современнымъ сатирикомъ. Какъ не подумать въ глубинѣ души: счастливъ рецензентъ, который чуть не каждую недѣлю можетъ бесѣдовать о свѣтилахъ нашей литературной сферы. Да, очень счастливъ. Жаль только, что эти свѣтила являются ему въ періодѣ своего угасанія; прискорбно, что первые нерѣдко предстаютъ въ роли послѣднихъ. Тѣмъ болѣе прискорбно такое обстоятельство, что послѣдніе отнюдь не дѣлаются первыми, какъ бы это слѣдовало для равновѣсія и для доказательства несомнѣнности прогрессивнаго хода родной литературы. Первый сатирикъ, о которомъ я долженъ бесѣдовать, разумѣется, не кто иной, какъ г. Щедринъ. Къ моему совершенному удовольствію, мнѣ приходится на этотъ разъ возложить на главу г. Щедрина вѣнецъ хвалы. Авторъ „Губернскихъ очерковъ“ положительно преуспѣваетъ въ томъ „легкомъ“ родѣ сатиры, который онъ открылъ въ минувшемъ году рядомъ очерковъ, подъ общимъ заглавіемъ: „Дневникъ провинціала“. Этотъ родъ сатиры можетъ быть вполнѣ охарактеризованъ названіемъ фельетоннаго. Я ничего не имѣю противъ фельетонной сатиры. Напротивъ, будучи самъ фельетонистомъ, я даже долженъ радоваться, что и литературные генералы постепенно примыкаютъ къ сонму литературныхъ рядовыхъ, постепенно дѣлаются фельетонистами. Какъ быть, читатель? Теперь время торжества толпы и пониженія индивидуализма. Прежде были герои, руководители, передовые дѣятели, направлявшіе вкусы массы и заставлявшіе ее итти за собою. Нынче наоборотъ: масса увлекаетъ за собой героевъ, и они, затираясь въ ней, плывутъ покорно въ общемъ потокѣ, не брезгая тѣмъ, что онъ мутенъ, не разсуждая о томъ, куда онъ принесетъ ихъ. Легкое наше время, привыкшее жить на одинъ день, требуетъ легкой

---

[1]) „Спб. Вѣд.“, 1873 г., № 41. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

сатиры, и сейчасъ же является подходящая фельетонная сатира. И хорошо, что является такая, именно, сатира: другая-то, вѣдь, болѣе глубокая и серіозная, пожалуй, была бы невозможна теперь, во-первыхъ; во вторыхъ, она, пожалуй, не заинтересовала бы публику, оказалась бы не подъ силу современной вывѣтрившейся критикѣ. Оно, конечно, нѣсколько зазорно, что, послѣ Гоголя и Грибоѣдова, первые сатирики нашихъ дней пускаются въ сатиру фельетонную. Но, повторяю, духъ времени, читатель, требовательный духъ времени все оправдываетъ: надо ему подчиняться, надо склоняться передъ тѣмъ вѣтромъ, который дуетъ, надо приноравливать свою сатиру, свою поэзію ко вкусамъ толпы: тогда только вы достигнете того, что сатира будетъ возбуждать благосклонную улыбку и похвалу „всѣхъ“. А такая улыбка и такая похвала не есть ли высшее торжество фельетонныхъ поэтовъ и фельетонныхъ карателей? Безъ сомнѣнія. А если такъ, то—да здравствуетъ фельетонная сатира! Фельетонная сатира г. Щедрина, на этотъ разъ, касается женскаго вопроса, или, вѣрнѣе сказать, тѣхъ воззрѣній на этотъ вопросъ, которыя господствуютъ въ средѣ современныхъ охранителей различныхъ оттѣнковъ. Остроумный и игривый сатирикъ выводитъ двухъ охранителей, нѣсколько различныхъ по формѣ, но все-таки сходныхъ между собою по сущности. Оба охранителя временно находятся „не у дѣла“. Одинъ изъ охранителей, либералъ, даже, можно сказать—умѣренный радикалъ, изъ категоріи выдохшихся, который слыветъ въ своемъ кружкѣ подъ именемъ россійскаго Гамбетты. Онъ, по его объясненію, любитъ „вольныя мысли лишь постольку, поскольку онѣ представляютъ matière à discussion“ [1]). Онъ сочувствуетъ всякимъ „благимъ начинаніямъ“, но не любитъ никакихъ „рѣзкостей“. Въ своей средѣ за сочувствіе „вольнымъ мыслямъ“ онъ пріобрѣлъ репутацію человѣка, который неудобенъ къ занятію охраненіемъ. Общественное мнѣніе его среды высказывается о немъ такимъ образомъ: Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restra toujours méconnu et calomnié! Et il ne deviendra ni sénateur, ni membre du Conseil de l'Empire [2]). Россійскій Гамбетта чувствуетъ справедли-

[1]) Поводъ для спора.

[2]) Бѣдный Гамбетта. Сказано, что онъ навсегда останется неизвѣстнымъ и оклеветаннымъ! Онъ никогда не будетъ ни сенаторомъ ни членомъ Государственнаго Совѣта.

вость такого приговора объ его особѣ и, самъ на себя махнувъ рукой, занимается, по преимуществу, оффенбаховскими мотивами. Другой охранитель... но пусть его характеризуетъ самъ сатирикъ со свойственною ему манерой:

„Во-первыхъ, онъ, какъ говорится, toujours à cheval sur les principes [1]); во-вторыхъ, о „святомъ" выражается такъ: convenez, cependant, mon cher, qu'il y a quelque chose, que notre pauvre raison réfuse d'approfondir [2]), и, въ-третьихъ, пишетъ и монологи и передовыя статьи столь неослабно, что никакой Оффенбахъ не въ силахъ заставить его положить оружіе, покуда существуетъ хоть одинъ несраженный врагъ. Поэтому „хотя онъ въ настоящую минуту и не у дѣлъ, но считаетъ карьеру свою далеко неоконченною, и когда проѣзжаетъ мимо сената, то всегда хоть однимъ глазкомъ да посмотритъ на него. Въ сущности, онъ даже не либералъ, а фрондеръ, или, выражаясь иначе, почтительно, но съ независимымъ видомъ, лающій русскій человѣкъ. Происхожденіе его либерализма самое обыкновенное. Кто-то когда-то сдѣлалъ что-то не совсѣмъ такъ, какъ онъ имѣлъ честь почтительнѣйше полагать. По-настоящему, ему тогда же слѣдовало, не конфузясь, объяснить недоразумѣніе и возразить: да я именно, ваше превосходительство, такъ и имѣлъ честь почтительнѣйше полагать!— но, къ несчастью, обстоятельства какъ-то такъ сложились, что онъ не успѣлъ ни назадъ отступить, ни броситься въ сторону, да такъ и остался съ почтительнѣйшимъ докладомъ на устахъ. Съ тѣхъ поръ онъ держитъ себя особнякомъ, и не безъ дерзости доказываетъ, что если бъ вотъ тутъ на вершокъ убавить, а тамъ на вершокъ прибавить (именно, какъ онъ въ то время имѣлъ наглость почтительнѣйше полагать), то все было бы хорошо, и ничего бы этого не было. Но въ то же время, онъ малый зоркій и очень хорошо понимаетъ, что будущее еще не ускользнуло отъ него.— Я теперь въ загонѣ, mon cher,—откровенничаетъ онъ иногда со мной:— я въ загонѣ, потому что вѣтеръ дуетъ не съ той стороны. Теперь—честь и мѣсто князю Ивану Семенычу: c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tout qu'il reste là, je m'éclipse—et tout est dit [3]). Но это не можетъ продолжаться. Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer [4]). Придетъ минута, когда вопросъ о князѣ Львѣ Кирилычѣ, самъ собой, такъ-сказать, силою вещей, выдвинется впередъ. И тогда..." Дойдя до этого „тогда", онъ скромно умолкаетъ, но я очень хорошо понимаю, что „тогда" именно и должно наступить царство того серіознаго либерализма, который понемножку да помаленьку, съ Божьею помощью, выдастъ сто одинъ томъ „Трудовъ" съ таковымъ при томъ заключеніемъ, чтобы всѣмъ участвовавшимъ въ „Трудахъ", въ вознагражденіе за рвеніе и примѣрную твердость спинного хребта, дать въ вѣчное и потомственное владѣніе хотя по одной половинѣ уѣзда въ плодороднѣйшей полосѣ Россійской имперіи, и затѣмъ уже всякій либерализмъ навсегда прекратить".

[1]) Всегда осѣдлываетъ принципы.

[2]) Согласитесь, все-таки, мой другъ,что есть что-то, чего нашъ бѣдный умъ не можетъ постигнуть.

[3]) Отъ него зависитъ и дождливая и хорошая погода.—Пока онъ здѣсь, я въ тѣни—вотъ и все.

[4]) Эта правительственная сумятица не можетъ продолжаться.

Первый изъ охранителей, русскій Гамбетта, находитъ, что женскій вопросъ слѣдуетъ „дозволить“ именно въ виду охранительныхъ цѣлей, что отъ этого не только не проистечетъ вреда для нашего любезнаго отечества, но даже польза. Позволеніемъ можно, несомнѣнно, достигнуть того, что онѣ „будутъ у дѣла“ и имъ „не останется повода ни для „шума, ни для рѣзкостей“. Вопросъ относительно дозволенія весь сводится къ тому, будутъ ли онѣ усердны въ исполненіи лежащихъ на нихъ обязанностей. Конечно,—отвѣчаетъ на этотъ вопросъ Гамбетта изъ породы выдохшихся радикаловъ,—будетъ, ибо не доказываютъ ли то телеграфистки? Окажутъ ли онѣ себя способными охранять казенный интересъ? Конечно, окажутъ, ибо не доказываютъ ли то кассирши на желѣзныхъ дорогахъ?..“ „Какой вредъ можетъ произойти оттого, что въ Петербургѣ, а, быть-можетъ, и въ Москвѣ, явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ,—женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобъ восклицать: „Bonjour, chère mignonne! [1]) Какое вчера на princesse платье было!“ будутъ говорить: „А что, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты мясниковскаго дѣла?“ *) Опасенія различныхъ увлеченій въ средѣ подобныхъ скромныхъ женщинъ, „переводчицъ по природѣ“, какъ именуетъ ихъ охранительный Гамбетта, совершенно напрасны.

„Что женщина охотно увлекается“, разсуждаетъ Гамбетта, „это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертивъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благороднымъ энтузіазмомъ, но только это пространство—ни больше, ни меньше. Она извлечетъ весь сокъ изъ даннаго „позволенія“, но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самого позволенія—и отнюдь не дальше**). Если мужчина способенъ упереться лбомъ

---

[1]) Здравствуйте, милочка!

*) Въ то время въ Петербургѣ надѣлало шуму такъ-называемое „Мясниковское дѣло“ о подлогѣ духовнаго завѣщанія на крупную сумму.

Прим. Н. Д.

**) Къ слову сказать, это выраженіе охранительнаго Гамбетты о женщинѣ очень прилагается къ другому сюжету: къ сатирѣ г. Щедрина. Его сатира нерѣдко точно такъ же съ большимъ усердіемъ и даже съ упоеніемъ вращается въ извѣстныхъ предѣлахъ сатирическаго балагурства, хотя для нея это дѣло не столь вновѣ, какъ упираніе лбомъ въ судебные уставы для дамъ. Я думаю, именно, отъ этой примѣняемости къ даннымъ предѣламъ эта сатира порою является слишкомъ фельетонною и столь обоюдо-

въ уставы судопроизводства, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ большимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновѣ. Она и дома и на улицѣ будетъ декламировать: „Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредитъ или истребитъ“, и ежели вы ее прервете вопросомъ:—Какъ здоровье мамаши?—тогда она наскоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): „Благодарю васъ“, и потомъ опять задекламируетъ: „Если, вслѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги“, и т. д.

Второй охранитель совершенно иного мнѣнія о женскомъ вопросѣ. Онъ находитъ, что онѣ посягаютъ на все, что для женщины драгоцѣнно и свято, что въ ихъ стремленіяхъ обнаруживается поруганіе „надъ женской стыдливостью, надъ цѣломудріемъ женскаго чувства, надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence [1]), которыя душистымъ ореоломъ окружаютъ женщину“. Онъ признаетъ женскій вопросъ, но только „совсѣмъ въ другомъ смыслѣ“. По его понятіямъ „женщина—это святыня, которой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помыселъ. И мужчина и женщина —это, такъ сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, „Ладъ и Лада“, которымъ суждено взаимно другъ-друга восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ-друга—и, наконецъ, устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: Reposons nous! [2]) Ладъ же отвѣчаетъ: „Ce que femme veut, Dieu le veut! [3]) и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ.... A mon avis, toute la question est là! [4]) Въ заключеніе цитатъ изъ сатиры г. Щедрина не могу отказать себѣ въ удовольствіи сдѣлать еще слѣдующую, наиболѣе пространную и наиболѣе блестящую:

„Я всегда и вездѣ говорилъ: господа! не полагайте движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа! Дайте движенію надлежащее направленіе — et alors tout ça ira comme sur des roulettes [5]). Только овладѣйте! Сколько я потерялъ черезъ это—ты знаешь самъ. Ты знаешь очень хорошо, чѣмъ бы я могъ быть, если бы принялъ въ то время предложеніе князя Ивана Семеныча! Онъ предлагалъ мнѣ Анны... Ты понимаешь! святыя Анны... помимо Станислава! въ мои лѣта! Ah! c'était bien joli! [6]). Но я

острою, что иногда трудно разобрать, куда пускаетъ сатирикъ стрѣлы своего остроумія. *Авторъ.*

[1]) Этого, я не знаю чего... этой прелести невинности.

[2]) Отдохнемъ.

[3]) Чего хочетъ женщина, того хочетъ Богъ.

[4]) По-моему, весь вопросъ тамъ.

[5]) И тогда все пойдетъ какъ по маслу.

[6]) Ахъ, это было очень хорошо!

сказалъ прямо: если бы къ этому прибавили три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю! Почему я такъ смѣло отвѣтилъ? а потому, мой другъ, что, во-первыхъ, у меня есть своя административная система, которая, несомнѣнно, когда-нибудь понадобится, а, во-вторыхъ, и потому, что я знаю навѣрное, что отъ меня мое не уйдетъ. Система моя очень проста: никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать. C'est simple comme bonjour [1]). Но чтобы ты могъ лучше понять мой административный идеалъ, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣлъ. Первое, что я дѣлаю—это ослабляю бразды, хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, это очень и очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales [2]). Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, женщины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папиросами и сигарами въ зубахъ! И замѣть: я ничего *прямо* не дозволялъ, я только ничего *прямо* не воспрещалъ! Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: вотъ доказательства разумности моей системы! J'espère que j'ai bien mérité mon cordon rouge de S-te Anna! [3]). Такимъ образомъ, проходитъ годъ, а, можетъ-быть, и два: я все продолжаю мою систему, то-есть, ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаютъ тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ-называемой licence [4]). Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Канонерскомъ переулкѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то, шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобъ обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle [5]). Затѣмъ я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе: „Господа! говорю я, вы должны понять, что у насъ безъ авторитетовъ нельзя! Если вы хотите, чтобы я имѣлъ возможность защищать васъ, то поберегите и меня! если не хотите, то скажите прямо—я удалюсь въ отставку!“ Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: осторожнѣе! осторожнѣе! потому что, если оставить насъ Тебеньковъ,—мы погибли! Такъ проходитъ, быть-можетъ, еще цѣлый годъ. Mais hélas! les idées subversives—c'est quelque chose de très peu solide, mon cher! et c'est, peut-être, à cause de ce peu de solidité qu'elles ce nomment subversives! [6]). Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ

---

[1]) Это ясно какъ день.

[2]) Настоящій пиръ либеральныхъ идей.

[3]) Надѣюсь, что я вполнѣ заслужилъ красную ленту Св. Анны.

[4]) Распущенности.

[5]) Не слишкомъ усердствуйте, господа, главное, не слишкомъ.

[6]) Но увы! разрушительныя идеи—это нѣчто очень непрочное, мой другъ, и, можетъ-быть, по причинѣ этой непрочности онѣ такъ и называются.

гдѣ онѣ остановятся и не перейдутъ ли ту границу „недозволеннаго“, но и „невоспрещеннаго“, въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête [1]) и прямо утверждаетъ, что „невоспрещеніе“ равняется „дозволенію“. Начинается шумъ, mesquineries [2]), рѣзкости, въ родѣ тѣхъ, которыя мы слышали вчера вечеромъ. Тогда я говорю уже прямо: messieurs! je m'en lave les mains! [3]) и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу. Hein! tu comprends? [4])—Гм... да... это въ своемъ родѣ... Не правда ли? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit! [5]). Итакъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча и даже, въ ряду прочихъ феноменовъ, признаю его далеко небезполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются такъ-называемые Божіе бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобъ они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается, наконецъ, скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ—небезполезно. Такимъ образомъ, покуда князь Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиденціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикою я, такъ-сказать, напоминаю о себѣ; я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благорастворѐніями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само-собой утрачиваетъ всякій raison d'être. Напрасно старается онъ устраивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ ненуженъ, онъ надоѣлъ, онъ даже незабавенъ. Тогда опять прихожу я и опять приношу съ собой свою систему...“

Я извлекъ все наиболѣе существенное изъ сатиры г. Щедрина. Какъ видитъ читатель, все это фельетонно, но очень остроумно и ѣдко. Пара охранителей, нарисованныхъ авторомъ, конечно, не представляетъ двухъ законченныхъ типовъ, но, во всякомъ случаѣ, эти охранители очень характерны и проникнуты знакомыми признаками современнаго прогресса. Въ сатирѣ мѣстами проблескиваютъ кое-какія пошлости, вызванныя политическимъ брюзжаньемъ, но я не хочу указывать ихъ читателямъ, ибо ихъ можно простить г. Щедрину за живость всего очерка.

Z (В. Буренинъ).

---

[1]) Распущенность поднимаетъ голову (растетъ).
[2]) Дрязги.
[3]) Господа! Я въ этомъ умываю руки.
[4]) Ты понимаешь?
[5]) Но постой, погоди, еще я не все сказалъ.

Новая сатира г. Салтыкова и нѣчто вообще о его послѣднихъ сатирахъ [1]).

Съ „Отечественными Записками“ или, вѣрнѣе, съ однимъ изъ столповъ „Отечественныхъ Записокъ“, г. Салтыковымъ, приключился недавно „любопытный пассажъ“. Г. Салтыковъ написалъ нѣкую фельетонную „сатиру“, въ которой коснулся такъ-называемаго женскаго вопроса. Сатира почтеннаго автора, по обыкновенію, оказалась преисполненною всякихъ достоинствъ, присущихъ сатирамъ нашихъ дней: удивительнымъ остроуміемъ, проницающею до костей ядовитостью, тонкими и даже „опасными“, почти „дерзкими“ намеками на... на что́ и кого, собственно—неизвѣстно, но однакоже, несомнѣнно, на кого-то и на что-то. Къ сожалѣнію, къ исчисленнымъ высокимъ достоинствамъ сатиры въ ней примѣшался одинъ маленькій недостатокъ: она обнаруживала нѣкоторый обоюдоострый характеръ. Для непроницательнаго читателя въ сатирѣ казалась нѣсколько неясною цѣль сатирика. Непроницательный читатель не могъ опредѣлить достаточно отчетливо, что́ такое дѣлаетъ сатирикъ: пронзаетъ ли стрѣлами своего остроумія только противниковъ дамской самостоятельности, или же, кстати, постръливаетъ и по дамамъ, стремящимся къ оной. Многіе изъ непроницательныхъ читателей и особенно читательницъ, даже были обижены такою обоюдоострою манерой автора. Сколько помнится, въ какой-то газетѣ появились даже какія-то спазматическія назиданія г. Салтыкову, судя по ихъ спазматичности, изошедшія отъ одной изъ обиженныхъ дамъ. Зато всѣ „проницательные“ читатели поняли сатиру г. Салтыкова вполнѣ и воздали ей искреннія и усердныя похвалы [2]).

---

[1]) „Спб. Вѣд.“, 1873 г., № 82. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

[2]) Считаю нелишнимъ замѣтить, что я, въ моемъ отзывѣ о сатирѣ г. Салтыкова, оказался только полу-проницательнымъ: я похвалилъ ея остроуміе и ѣдкость, но въ то же время упомянулъ и объ ея фельетонности и

Особенно проницательными читателями и особенно усердными хвалителями сатиры г. Салтыкова явились рецензенты такъ-называемыхъ ретроградныхъ органовъ. Они, эти рецензенты, радостно распростерли объятія г. Салтыкову, поздравили его сатиру съ успѣшнымъ переходомъ съ пути заблужденія на стезю истины; они радостно провозгласили, что сатирикъ радикальнаго органа осмѣиваетъ въ своемъ произведеніи такія стороны представительницъ женскаго вопроса, которыя были давно ярко выставлены и осмѣяны откровенными и остроумными авторами, подвизающимися въ вышеупомянутыхъ органахъ. „Любопытный пассажъ“ съ г. Салтыковымъ этимъ не окончился, хотя, кажется, долженъ былъ бы окончиться именно этимъ. Собственно говоря, неожиданное привѣтствіе нашему сатирику отъ скандальныхъ рецензентовъ, какъ оно ни пріятно, могло бы быть презрѣнно. Въ самомъ дѣлѣ, какое значеніе имѣютъ какъ хвалебные, такъ и порицательные отзывы этихъ рецензентовъ? Ровно никакого. Рецензенты возликовали о томъ, что г. Салтыковъ написалъ сатиру якобы въ интересахъ ихъ партіи, и вострубили свою побѣду по этому случаю. Ну, и пусть бы ихъ тѣшились своею побѣдою сколько угодно. „Глупца разубѣждать въ его побѣдѣ мнимой идетъ лишь мальчику; не слѣдуй въ томъ ему: улыбка гордая и взоръ невозмутимый приличны болѣе высокому уму“. Самъ г. Салтыковъ, кажется, такъ это дѣло и понялъ и сохранилъ достоинство „высокаго ума“. Но, къ сожалѣнію, у сатирика выискались горячіе друзья изъ „мальчиковъ“ „Отечественныхъ Записокъ“, которые принялись защищать чистоту радикальнаго мундира г. Салтыкова и разубѣждать глупцовъ въ томъ, что на этомъ мундирѣ, будто бы, появилось ретроградное пятно, въ видѣ помянутой сатиры, задѣвающей женскій вопросъ. Такимъ неумѣстнымъ другомъ оказался не кто иной, какъ г. Михайловскій—это „ужасное дитя“ (enfant terrible) „Отечественныхъ записокъ“. Желая оказать „дружескую услугу“ г. Салтыкову, г. Михайловскій вооружился булыжникомъ для того, чтобы разогнать мухъ, назойливо зажуж-

---

обоюдоостромъ характерѣ. Фельетонность я объяснилъ легкомысленными требованіями времени: обоюдоострость необходимостью для сатирика вращаться въ „предѣлахъ дозволеннаго“. При этомъ полупроницательномъ мнѣніи я остаюсь и теперь. *Авт.*

жавшихъ вокругъ увѣнчаннаго лаврами чела „перваго“ сатирика нашихъ дней. Мухъ г. Михайловскій не разогналъ, а чело-то, между тѣмъ, отъ дружеской услуги нѣсколько пострадало. Пострадало оно въ томъ отношеніи, что „любопытный пассажъ“ съ сатирой г. Салтыкова получилъ теперь нѣкоторую огласку и значеніе.—Если „Отечественныя Записки“ сочли нужнымъ выпустить въ защиту г. Салтыкова „ужасное дитя“, значитъ, дѣло-то несовсѣмъ ладно, думаютъ теперь читатели: значитъ, г. Салтыковъ въ своей сатирѣ, дѣйствительно, запутался и проштрафился противъ радикализма. Иначе, для чего бы понадобились комментаріи „дитяти“ на истинное значеніе сатирической соли г. Салтыкова. Безъ огня не бываетъ дыма.—Между тѣмъ, какъ „ужасное дитя“ „Отеч. Запис.“ ратуетъ за несомнѣнность либерализма г. Салтыкова въ его сатирѣ по поводу женскаго вопроса, даровитый сатирикъ въ той же самой книжкѣ почтеннаго журнала продолжаетъ показывать ловкіе образцы радикально-сатирическаго балагурства. На сценѣ передъ нами одинъ изъ „помпадуровъ“, вѣроятно, вырытый г. Салтыковымъ изъ какихъ-либо залежалыхъ рукописей прежнихъ дней и подновленный новѣйшими остроумными тирадами и намеками тонкими „на то, чего не вѣдаетъ никто“. Характеристика „помпадура“, впрочемъ, сдѣлана прекрасно; его мечты о будущемъ положеніи послѣ потери мѣста очень милы. Это едва ли не лучшее мѣсто въ сатирѣ.

„Нѣтъ Агатона! Въ первое время, непосредственно слѣдовавшее за отставкой, онъ, впрочемъ, еще бодрится и старается водиться съ такъ-называемыми „людьми“. Какъ бывшій помпадуръ и какъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, онъ легко вторгается въ домъ къ финансисту Ѳалалею Губошлепову и даже исполняетъ разныя мелкія его порученія: встрѣчаетъ гостей, которые попроще, и занимаетъ ихъ, представляя лицо хозяина; ѣздитъ въ Гостиный дворъ за игрушками для Губошлеповскихъ дѣтей; показываетъ Губошлепову, какъ надѣваютъ на шею орденъ св. Анны; бѣгаетъ на кухню торопить француза-повара; предшествуетъ Ѳалалею въ ресторанахъ въ тѣ дни, когда устраиваются тонкіе обѣды для лицъ, почему-либо не желающихъ показываться въ ѳалалеевскихъ салонахъ; по вечерамъ, вмѣстѣ съ другими двумя дѣйствительными статскими совѣтниками, составляетъ партію въ вистъ для мадамъ Губошлеповой, и проч. и проч. За всѣ эти услуги онъ имѣетъ готовый столъ и возможность съ утра до вечера оставаться въ хорошо натопленныхъ и роскошно убранныхъ салонахъ своего патрона и сверхъ того, отъ времени до времени, пользуется небольшими подачками, которыя онъ, впрочемъ, принимаетъ съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства. Среди этого изобилія онъ какъ-будто даже повеселѣлъ: узналъ толкъ въ винахъ и сигарахъ, вѣрно угадывалъ

цѣну каждаго фрукта, прямо запускалъ лапу туда, гдѣ раки зимуютъ, отпустилъ брюшко, сшилъ легкій костюмчикъ, ѣлъ такъ смачно и аппетитно, что губы у него припухли и покрылись глянцемъ... Но поэтъ сказалъ правду... на счастье прочно всякъ надежду кинь... И правдѣ этой пришлось осуществиться на Агатонѣ самымъ жестокимъ образомъ. Не успѣлъ еще онъ пустить корни въ домѣ Губошлепова, какъ послѣдній уже подыскалъ себѣ какого-то бывшаго полководца. Съ этихъ поръ патронъ уже, видимо, охладѣваетъ къ Агатону. Являются на сцену столкновенія и пререканія. Вопросъ въ томъ, кому изъ двухъ соперниковъ владѣть сердцемъ Губошлепова, съ каждымъ днемъ дѣлается больше и больше назойливымъ и, конечно, долженъ рѣшиться въ ущербъ Агатону. Начинается съ того, что однажды Агатонъ уже совсѣмъ, было, запустилъ лапу въ ящикъ съ сигарами какой-то неслыханной красоты, какъ-вдругъ почувствовалъ, что его обожгло.—Вонъ эти... поменьше... онѣ скуснѣе будутъ!—сразу озадачиваетъ его Губошлеповъ, указывая взглядомъ на другой ящикъ съ менѣе цѣнными сигарами. Услышавъ эту апострофу, Агатонъ поблѣднѣлъ, но смолчалъ. Онъ какъ-то смѣшно заторопился, досталъ маленькую сигару и усѣлся противъ бывшаго полководца, попыхивая дымкомъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Но дальше—хуже. На другой день, какъ нарочно, назначается тонкій обѣдецъ у Донона, и распорядителемъ его, какъ-то совершенно неожиданно, оказывается бывшій полководецъ, а Агатонъ вынуждается обѣдать дома съ мадамъ Губошлеповой и дѣтьми. „На третій день Агатонъ, по порученію Губошлепова, купилъ какой-то совершенно новый сыръ, и только вознамѣрился похвастаться своей находкой, какъ вдругъ пріѣхалъ бывшій полководецъ и привезъ кусокъ точно такого же сыра. Разумѣется, сыръ полководца оказался „много превосходнѣе“... Тогда Агатонъ не выдержалъ и пустился въ объясненія. Выдержи онъ, стерпи, можетъ-быть, и теперь покуривалъ бы прекраснѣйшія (хоть и не первой красоты) сигарки, попивалъ бы отличнѣйшее бордо, ѣлъ бы сочную дюшессу и проч. Но онъ возропталъ, заплакалъ—и тѣмъ окончательно высказалъ свой безпокойный характеръ.—Это все въ тебѣ зависть плачетъ!—сразу осадилъ его Губошлеповъ;—а ты бы лучше на себя посмотрѣлъ! Какая у тебя звѣзда? (У Агатона была всего одна звѣзда, и то самая маленькая.) А у него ихъ три. Да и человѣкъ онъ безстрашный, сколько однѣхъ волостей завоевалъ—а ты! На печи лежа безъ пороху палилъ! И хоть бы то подумалъ, что этакихъ-то, какъ ты, какая орава у меня! По рублевой цыгаркѣ каждому дай—сколько денегъ-то будетъ! А ты лѣзешь! И легъ ты и всталъ у меня, и все тебѣ мало!“

Но за этимъ остроумнымъ эпизодомъ сатиры слѣдуютъ все больше „опасныя“ шутки, которыхъ юморъ равенъ ихъ опасности. Поистинѣ удивительно, какъ г. Салтыковъ навострился въ сочиненіи такихъ „опасныхъ“ шутокъ, съ какою веселою ловкостью, съ какимъ беззаботнымъ самодовольствомъ онъ откапываетъ ихъ. Ну, скажите, можно ли болѣе „опасно“, болѣе дерзко и, въ то же время, болѣе ловко сочинить хотя подобную тираду:

„Теплота чувствъ! О вы, которые такъ много говорите объ ней, объясните, по крайней мѣрѣ, въ чемъ должны заключаться ея признаки? Но увы! никто даже не даетъ себѣ труда отвѣтить на этотъ вопросъ. Напротивъ того, вопросъ мой возбуждаетъ негодованіе, почти ужасъ. Какъ! ты даже этого, врожденнаго всякому человѣку, понятія не имѣешь? Ты этого не понимаешь? Этого?! Брысь! Въ тоскѣ я обращаюсь къ моему сердцу. Сердце-вѣщунъ, говорю я, ты, которое десятки лѣтъ состоя на казенной службѣ, должно знать всѣ формы и степени казенной теплоты, повѣдай мнѣ, въ чемъ прегрѣшаю я противъ нихъ? И вотъ сердце отвѣчаетъ мнѣ:—Тогда-то спѣша въ присутствіе, ты забылъ сдѣлать подъ-козырекъ! Тогда-то гуляя въ публичномъ саду, ты разсуждалъ съ управляющимъ контрольной палаты на тему о безполезности писать законы, коль скоро ихъ не исполнять, между тѣмъ, какъ по-настоящему, ты долженъ былъ стоять въ это время смирно и распѣвать: „Громъ побѣды раздавайся!“ О ужасъ! Я припоминаю! Да... это такъ... это дѣйствительно было!.. Дѣйствительно, я и подъ-козырекъ не сдѣлалъ, и не распѣвалъ... Но почему же, о сердце, ты не предупредило меня! Ты, которое знаешь, какъ охотно я дѣлаю подъ-козырекъ и съ какимъ увлеченіемъ я всегда и на всякомъ мѣстѣ готовъ повторять: „О Россъ! О родъ непобѣдимый! О твердокаменная грудь!“ Положимъ, однакоже, что я преступенъ, но развѣ нѣтъ для меня смягчающихъ вину обстоятельствъ? Та поспѣшность, съ которою я устремлялся въ присутствіе и которая была причиной, что я не сдѣлалъ подъ-козырекъ—развѣ это не ѳиміамъ въ своемъ родѣ? Тотъ восторженный разговоръ, который я велъ о необходимости покоряться законамъ даже въ томъ случаѣ, если мы признаемъ, что законъ для насъ не написанъ—развѣ это не перифраза того же самаго: „Громъ побѣды раздавайся!“, за нераспѣваніе котораго я такъ незаслуженно оскорбленъ названіемъ преступника?“

Безподобно, восхитительно, не правда ли? Какая истинно-фельетонная игривость и ядовитость! Какое злое дерзновеніе и какая, вмѣстѣ съ тѣмъ, приличная, дозволенная шутливость! Такъ, именно, нужно писать въ наше время, и такъ умѣетъ писать одинъ г. Салтыковъ. Оттого-то онъ и единственный сатирикъ нашихъ дней, оттого-то, говорятъ, его сатиры читаются съ удовольствіемъ даже тѣми, на кого полагаетъ направлять ихъ авторъ. Да, въ послѣднее время г. Салтыковъ достигъ истинной высоты въ своемъ остроуміи: оно колетъ и, вмѣстѣ, услаждаетъ. Его сатиры страшно злы и, въ то же время, удивительно кротки; невыразимо глубоки и серіозны и, въ то же время, поверхностны и легки. Однимъ словомъ, онѣ пришлись по требованіямъ современной публики, а г. Салтыковъ, кажется, дѣлается ея любимымъ писателемъ,—мнѣ особенно пріятно заявить объ этомъ, ибо я симъ, такъ-сказать, обличаю мое безпристрастіе. Г. Салтыковъ, какъ извѣстно, состоитъ въ непріязненныхъ литературныхъ отношеніяхъ къ „Спб. Вѣд.“; онъ не можетъ

написать ни одного произведенія безъ того, чтобы косвенно и иносказательно не уязвить „Спб. Вѣд.“ Да, повторяю съ удовольствіемъ, сатира г. Салтыкова въ послѣднее время начинаетъ удовлетворять требованіямъ теперешнихъ вкусовъ. Это несомнѣнно. Но все-таки справедливость обязываетъ сказать, что нашъ сатирикъ держится еще въ нѣкоторыхъ предѣлахъ на этотъ счетъ—предѣлахъ довольно тѣсныхъ для настоящаго „любимца“ публики. Настоящіе любимцы нашихъ дней не стѣсняются никакими предѣлами. И зато ужъ, вѣдь, какъ и любитъ ихъ публика!

Z (В. Буренинъ).

„Благонамѣренныя рѣчи“, очеркъ г. Щедрина [1]).

Въ послѣднемъ очеркѣ, или, вѣрнѣе, въ историческомъ фельетонѣ „Благонамѣренныя рѣчи“, г. Щедринъ рѣшился пустить остроуміе не менѣе пикантное и удивительное, чѣмъ то, которымъ г. Достоевскій блеснулъ по поводу ругательствъ петербургскихъ мастеровыхъ. Мотивъ остроумія у автора „Губернскихъ очерковъ“ тотъ же, что и у автора „Бѣсовъ“: ругатня, но только не мастеровыхъ, а крестьянъ. Какъ разыгранъ этотъ мотивъ остроумнымъ сатирикомъ, читатели могутъ увидѣть сами на 603 страницѣ октябрьской книжки „Отечественныхъ Записокъ“. Авторъ обнаруживаетъ въ этой сценкѣ уже слишкомъ реальное остроуміе, которое, вѣроятно, приведетъ въ восторгъ многихъ. Извѣстное простонародное ругательное словечко, вѣроятно, прибавитъ свѣжіе лавры къ вѣнку г. Салтыкова, подобно тому какъ къ вѣнку г. Достоевскаго прибавилъ ихъ „онъ“. Лавры, конечно, прельстительны—кто объ этомъ будетъ спорить! Но, право, даровитымъ писателямъ, да еще сатирикамъ, нечего покупать ихъ цѣною потворства грубымъ вкусамъ толпы; особенно, въ наши дни, когда грубость вторгается въ область искусства слишкомъ нагло, когда она вредитъ ему съ какимъ-то ожесточеніемъ, слѣдуетъ пренебрегать подобными дешевыми лаврами... Скажутъ, это излишняя щепетильность: въ сатирѣ нѣкоторая доля цинизма необходима; цинизмъ есть неизбѣжный элементъ сатиры всѣхъ вѣковъ и народовъ; какъ на яркое подтвержденіе этого, сошлются на Ювенала, Рабле, Свифта и т. д. Но, во-первыхъ, цинизмъ цинизму рознь; тамъ, гдѣ цинизмъ мотивируется желаніемъ сатирика нарисовать отвратительное во всей его безобразной наготѣ, онъ можетъ быть допускаемъ; тамъ же, гдѣ онъ является только слѣдствіемъ не въ мѣру разыгравшагося балагурства, излиш-

---

[1]) „Спб. Вѣдом.“, 1873 г., № 303. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

ній цинизмъ терпѣть невозможно: онъ портитъ впечатлѣніе, онъ отзывается уже не юморомъ, а скандаломъ. Во-вторыхъ, и то еще слѣдуетъ сообразить—въ какое время и въ какомъ обществѣ жили Ювеналы, Рабле и Свифты, и въ какое время живемъ мы... А впрочемъ, по правдѣ говоря, стоитъ ли все это соображать авторамъ, да и есть ли время соображать: теперь требуется только писать, писать и писать, „спустя рукава“. Однакоже, осуждая приведенное мѣсто въ очеркѣ г. Щедрина, равно какъ и другое, въ подобномъ же родѣ,—разсказъ ямщика о томъ, какъ онъ состоялъ въ связи съ помѣщицей,—я, вообще, долженъ сказать, что очеркъ въ остальномъ довольно удаченъ: это бойкая юмористическая картинка нѣкоторыхъ сторонъ печальнаго положенія дѣлъ „тамъ“, въ глубинѣ Россіи. Картинка, очевидно, шаржирована, но въ ней есть черты очень вѣрныя, и она производитъ, несмотря на внѣшній юмористическій колоритъ, очень тяжелое впечатлѣніе. „Тамъ, въ глубинѣ Россіи“, съ перемѣною прежняго соннаго положенія, поселился также духъ той переходной дѣятельности, которая господствуетъ въ столичныхъ центрахъ и которую одно изъ лицъ очерка характеризуетъ слѣдующимъ образомъ:

„На дѣло-то нынѣшнее посмотришь, такъ, словно бы, оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсѣмъ дѣловъ не было, а нынче ужъ слишкомъ ихъ много, а настоящаго, постояннаго дѣла все-таки нѣту—все наскаку. Перервалъ горло, утащилъ, надулъ—и убѣгъ. Настоящій-то, постоянный-то человѣкъ промежъ дошлыхъ и пропадаетъ. Со всѣхъ сторонъ его окружили, нигдѣ ни расчету ни суда ему нѣтъ. Да и соблазнъ великъ. Станетъ человѣкъ постоянное-то дѣло дѣлать—анъ тутъ его сейчасъ лукавый смутитъ! Зачѣмъ, скажетъ, работать, коли обманомъ да колотырничествомъ жить можно! А иной съ непривычки и обмануть-то путемъ не умѣетъ! Смотришь, анъ со временемъ или по судамъ его, или онъ въ кабакѣ смертную чашу пьетъ!—Такъ неужто же прежде лучше было?—Лучше не лучше, только прежде мы о своихъ качествахъ помалчивали, да потихоньку ихъ прикапливали. При крѣпостномъ-то правѣ мы, словно, въ тюрьмѣ сидѣли, и какія такія были у насъ добродѣтели—никому о томъ было невѣдомо. А теперь всѣ свои капиталы вдругъ объявили. А и капиталовъ-то у насъ всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работать не хочется (прежде, должно-быть, при крѣпостномъ правѣ вдосталь наработались!)—ну и ищутъ, какъ бы вьюномъ извернуться. Иной всю жизнь безъ штановъ жилъ, да и дѣла отродясь въ глаза не видалъ—анъ, смотришь, онъ въ трактирѣ чай пьетъ, поддевку изъ синяго сукна сшилъ! Спроси его, что онъ сработалъ, откуда у него это проявилось—онъ не то что тебѣ, да и себѣ-то настоящаго отвѣта дать не сумѣетъ! Такъ маклаченьемъ да карманной выгрузкой живутъ“.

Такъ мѣтко устами стараго отпрыска прежнихъ порядковъ очерчиваетъ авторъ суть теперешняго положенія нашихъ сельскихъ дѣлъ. Съ тѣхъ поръ, какъ крѣпостная идиллія, основанная на легальномъ far niente [1]), миновала, весь блаженнѣйшій порядокъ жизни, весь ея цѣлостный строй превратился въ мучительное положеніе. Истинное понятіе о трудѣ утратилось совершенно, такъ какъ одни никогда не знали никакого труда, а другіе знали только трудъ принудительный. Слѣдствіемъ полной утраты понятія о трудѣ явилось то, что кулачество и маклачество внезапно, какъ Минерва изъ головы Юпитера, народились во всеоружіи изъ нѣдръ крѣпостного права и смѣло выступили на поприще „возрождающейся“ жизни. Выступленіе такихъ плодотворныхъ элементовъ не замедлило обнаружиться самыми милыми результатами и въ средѣ народа и въ средѣ землевладѣльцевъ. Кулаки и маклаки, выдѣлившіеся изъ представителей той и другой среды, оказались неизбѣжно руководителями общественнаго движенія и принялись направлять современный прогрессъ по пути, выгодному для нихъ. А этотъ путь, какъ извѣстно, есть путь полнаго нравственнаго и соціальнаго банкротства въ будущемъ, если только кулачеству и маклачеству не противостанетъ на дорогѣ сдерживающая сила просвѣщенія народной массы и интеллигенціи и предоставленіе той и другой болѣе широкаго пользованія тѣми благами, которыя намѣчены были великою крестьянскою реформой при ея первоначальномъ ходѣ.

Z (В. Буренинъ).

---

[1]) Ничегонедѣланіе.

Свѣжая струя въ русской литературѣ.

Господа Ташкентцы.— Дневникъ провинціала въ Петербургѣ. Издалъ М. Салтыковъ (Щедринъ) [1].

I.

Кто-то—Шлессеръ, если не ошибаемся,—говоря о сатирѣ XVIII вѣка, замѣтилъ, что она имѣетъ дѣло съ фактами и явленіями, которые, собственно говоря, скорѣе относятся къ вѣдѣнію полиціи и подлежатъ исправленію палочными ударами, чѣмъ входятъ въ область литературнаго обличенія. Именно, этого рода сатирѣ всего болѣе счастливилось, и у насъ до сихъ поръ явленія общественной жизни, съ которыми она имѣла дѣло, если и не подходили подъ вышеопредѣленное опредѣленіе въ буквальномъ смыслѣ, то, во всякомъ случаѣ, отличались такими грубо-характерными чертами, что опредѣленіе ихъ не представляло особенной трудности и въ оцѣнкѣ ихъ не могло быть разногласія между людьми, способными, вообще, настолько отвлекаться отъ такъ-называемой непосредственной жизни, чтобы формулировать о ней какое-ни-на-есть сужденіе. Переберите всѣ типы, созданные нашей сатирой, отъ Фонвизинской г-жи Простаковой, урожденной Скотининой, до Ивана Александровича Хлестакова съ Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ и до Щедринскихъ Ѳедей и Сеней, помпадурствующихъ въ городѣ Глуповѣ,—и отъ всѣхъ этихъ типовъ на васъ повѣетъ какою-то первобытною, элементарною простотой. Сатира, въ отношеніи ихъ, могла вооружиться своимъ классическимъ бичомъ и сыпать свои удары, не задаваясь никакими иными соображеніями, кромѣ желанія, чтобы каждый ударъ попадалъ въ цѣль и билъ больнѣе, или же она могла переходить въ художественное творчество, съ любовью вынашивающее

[1]) „Недѣля“, 1873 г., №№ 6 и 7. (См. стран. 64.)

свои образы,—въ томъ и другомъ случаѣ исходная ея точка была до-нельзя проста и очевидна: это былъ даже не силлогизмъ, а аксіома. Не нужно никакого сложнаго мыслительнаго процесса для того, чтобы опредѣлить мѣсто, подобающее въ ряду соціальныхъ явленій такимъ факторамъ, какъ старовѣріе невѣжества, взяточничество, самодурство и т. п. Люди самыхъ противоположныхъ міросозерцаній могутъ сходиться на такихъ пунктахъ, и если не каждому дано сдѣлаться Фонвизиномъ, Гоголемъ или Щедринымъ, то весьма многимъ дано отвѣчать безъ запинки на такіе вопросы, какъ, напр.: полезно или вредно невѣжество; хорошо или дурно поступаютъ взяточники; отрадное или прискорбное явленіе представляютъ Ѳеди и Сени, шалопайствующіе въ юности у Дюссо и Бореля, а въ зрѣломъ возрастѣ помпадурствующіе среди глуповскихъ обывателей? Вопросъ, предложенный въ такой упрощенной, теоретической формѣ и прилагаемый къ такимъ частнымъ, конкретнымъ фактамъ, не можетъ возбуждать ни разногласія ни недоразумѣній. Вотъ почему на него, обыкновенно, даетъ надлежащій отвѣтъ то разноколиберное большинство, которое составляетъ такъ-называемое общественное мнѣніе и которое устанавливаетъ популярность писателей. Между современниками Фонвизина, рукоплескавшими „Недорослю“, было не мало и такихъ, которые отнюдь не были расположены рукоплескать книгѣ Радищева и для которыхъ вся дѣятельность Новикова была не болѣе, какъ опаснымъ „фармазанствомъ“ *). Гоголь въ правѣ былъ

*) Изъ славной плеяды „екатерининскихъ орловъ“ выдаются имена двухъ литературныхъ тружениковъ—Новикова и Радищева. Воспитанные на идеалахъ первой половины царствованія Екатерины II, они много сдѣлали для просвѣщенія Россіи. Съ мужествомъ, по тому времени безпримѣрнымъ, они касались самыхъ щекотливыхъ общественныхъ вопросовъ, предлагая проектъ освобожденія крестьянъ, изобличая произволъ, самовластіе и злоупотребленія администраціи, нападая на тогдашнюю систему образованія, безстрашно указывая обществу на его дурные нравы и пороки, рисуя отрицательныя стороны цензуры такимъ опредѣленнымъ языкомъ, какой былъ бы невозможенъ и въ наши дни. „Одинъ немысленный урядникъ благочинія,—пишетъ Радищевъ,—можетъ величайшій въ просвѣщеніи сдѣлать вредъ и на многія лѣта остановку въ шествіи разума,—запретить полезное изобрѣтеніе, новую мысль и всѣхъ лишить великаго. Примѣръ въ малости. Въ управу благочинія принесенъ для утвержденія переводъ романа. Переводчикъ, слѣдуя автору, говоря о любви, назвалъ ее лукавымъ богомъ. Мундирный цензоръ, исполненный духа благоговѣнія, сіе выраженіе почернилъ, говоря: „неприлично Божество называть лукавымъ“. Кто

кинуть извѣстной части общества, хохотавшей надъ „Ревизоромъ“ и „Мертвыми душами“, знаменитое: „Чему смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!“ Наконецъ, и между почитателями таланта г. Щедрина не мало найдется такихъ, которые рѣшительно неспособны распознать глупость, самодурство или шалопайство внѣ той упрощенной, рѣзкой до карикатурности формы, въ которой онѣ щеголяютъ въ „Губернскихъ очеркахъ“ или въ „Исторіи одного города“. Такова уже судьба этихъ произведеній, бьющихъ, по стереотипному выраженію, „въ самое больное мѣсто общества“, что они имѣютъ за себя не только сознательно-прогрессивное меньшинство, но и всю ту, тугую на пониманіе посредственность, которая неспособна переварить никакую мысль, пока послѣдняя не стала общимъ мѣстомъ. Такимъ образомъ, если мы, оставивъ, собственно, литературную точку зрѣнія, захотимъ опредѣлить значеніе этого рода сатиры какъ соціальнаго, историческаго явленія, мы должны будемъ признать, что она знаменуетъ собою не столько прогрессъ мысли даннаго времени, сколько прогрессъ факта,—а извѣстно, что послѣдній всегда отстаетъ отъ первой. Сатира эта, по самой задачѣ своей, не намѣчаетъ и не можетъ намѣчать тѣ идеалы будущаго, къ которымъ подвигается общество данной эпохи въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей,—она намѣчаетъ только грань, далѣе которой не можетъ отодвинуться въ прошлое средняя масса этого общества; она изображаетъ собой, если можно такъ выразиться, не передній, а задній планъ прогресса. Извѣстенъ отвѣтъ Гоголя на упрекъ, обращенный къ нему, въ томъ, что въ произведеніи его нѣтъ ни одного честнаго человѣка: вы ошибаетесь, честный человѣкъ есть и это—самъ авторъ. Рѣчь тутъ идетъ, конечно, не о личной карманной честности, а о степени того нравственнаго развитія, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ такъ или иначе смотрѣть на жизнь. Безъ сомнѣнія, для того, чтобы проникнуться негодованіемъ противъ тѣхъ явленій, кото-

---

чего не разумѣетъ, тотъ въ то да не мѣшается. Такого же рода цензоръ не дозволилъ, сказываютъ, печатать тѣ сочиненія, гдѣ упоминалось о Богѣ. Если въ какомъ-либо сочиненіи порочили народные нравы того или другого государства, онъ недозволеннымъ сіе почиталъ, говоря: „Россія имѣетъ трактатъ дружбы съ ними“. Если упоминалось гдѣ о князѣ или графѣ, того не дозволялъ печатать, говоря: „Сіе есть личность, ибо у насъ есть князья и графы между знатными особами“. *Прим. Н. Д.*

рыя сатира Гоголя воспроизводитъ во всемъ безобразіи ихъ жизненной непосредственности, необходимо стоять по своему міросозерцанію выше всѣхъ этихъ Чичиковыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ, Сквозникъ-Дмухановскихъ и Держиморднъ, нужно имѣть свой идеалъ человѣка, отрицающій все то, что составляетъ безобразіе осмѣиваемыхъ типовъ. Отрицать значеніе сатиры, имѣющей дѣло съ грубыми вопіющими явленіями жизни,—отрицать его на томъ только основаніи, что идеалы, предполагаемые ею, стоятъ ниже идеаловъ, выработанныхъ соціальнымъ, философскимъ, политическимъ мышленіемъ на высшей ступени развитія послѣдняго въ данную эпоху,—было бы нелѣпо. Пока факты извѣстнаго рода держатся въ жизни, какъ бы безповоротно они ни были осуждены теоретическимъ мышленіемъ, литература не можетъ ихъ игнорировать; отвлеченная аргументація, какъ бы побѣдоносны и неотразимы ни были ея доводы, никогда не въ силахъ бываетъ сама-по-себѣ измѣнить извѣстный строй жизни; строй этотъ держится не столько въ силу такъ или иначе выработавшихся теоретическихъ убѣжденій,—сколько въ силу привычекъ и безотчетныхъ предубѣжденій; а потому, когда отвлеченная аргументація истощила свои доводы, настаетъ очередь беллетристическаго воспроизведенія, которое, дѣйствуя, преимущественно, на чувства, подгоняетъ ту вѣчно отсталую массу, которая мало доступна теоретическимъ соображеніямъ и еще менѣе способна измѣнить, подъ вліяніемъ этихъ соображеній, свои въѣвшіяся въ плоть и кровь привычки. Сила художественнаго впечатлѣнія, боязнь смѣшного расшатываютъ тѣ вредныя традиціи, которыя напору мысли противопоставляли свое тупое, но непреклонное non possumus [1]); смѣхъ очищающею струей проносится въ общественной атмосферѣ и уноситъ накопившіеся въ ней міазмы. Но, по мѣрѣ того какъ жизнь идетъ впередъ, въ ней возникаютъ новыя сочетанія, и она принимаетъ въ себя новые элементы; всѣ процессы ея осложняются, и тѣ грубыя явленія, которыя преслѣдовала сатира своимъ бичомъ, все болѣе и болѣе пріобрѣтаютъ частное знаніе. Они еще могутъ нѣкоторое, болѣе или менѣе продолжительное время, оказывать ощу-

[1]) „Не можемъ"—формула папскаго отказа на требованія свѣтской власти.

гительное вліяніе на ходъ жизни, но при этомъ они ско-рѣе покоряются силѣ инерціи; бокъ-о-бокъ съ ними воз-никаютъ другія явленія, въ которыхъ принципъ, нѣкогда выступавшій во всей своей наготѣ, является замаскирован-нымъ, лишеннымъ всѣхъ своихъ непригляднхъ угловатостей, прикрашеннымъ и подновленнымъ. Эти-то явленія и даютъ тонъ жизни, и даютъ его тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ труднѣе распознается въ нихъ, благодаря разнымъ современнымъ фіоритурамъ, старая погудка на новый ладъ. Задача сати-рика, въ виду подобныхъ явленій, значительно усложняется; чтобъ уразумѣть ихъ истинный характеръ и значеніе, ему уже мало тѣхъ обиходныхъ понятій, съ точки зрѣнія которыхъ онъ разилъ „вопіющее“ зло,—онъ долженъ выяснить себѣ задачи современности во всей ихъ полнотѣ; только прила-гая подобную мѣрку, онъ разсмотритъ дефицитъ и несосто-ятельность тамъ, гдѣ благодушные оптимисты видятъ тор-жество прогресса и утѣшительное знаменіе времени. Этого мало: ему необходима крайняя осмотрительность, чтобы рас-путать безчисленныя нити, переплетающіяся въ этихъ явле-ніяхъ, чтобы прослѣдить каждую изъ этихъ нитей до исходной ея точки, чтобы отличить активное „себѣ-на-умѣ“ отъ страдательной наивности и чтобы расположить воспроиз-водимые имъ факты въ надлежащей перспективѣ, сообразно съ дѣйствительнымъ ихъ значеніемъ.

Задача нелегкая, особенно тамъ, гдѣ сатирикъ связанъ разными постороннними соображеніями, вынуждающими его подчасъ намѣренно облекать свою мысль въ перифразы, всегда дающія поводъ къ недоразумѣніямъ. А, между тѣмъ, уклоняться отъ нея онъ не въ правѣ, если только хочетъ удержаться на высотѣ своего призванія. Сатира, казнящая взяточниковъ и самоуправцевъ и ограничивающаяся обли-ченіемъ такъ-называемыхъ злоупотребленій,—оружіе обою-доострое. Исключительное сосредоточеніе вниманія общества на такихъ грубыхъ фактахъ въ концѣ-концовъ воспитываетъ дешевое самодовольство и усыпляетъ общественную мысль на дешево доставшихся лаврахъ. Съ перваго взгляда это можетъ показаться парадоксомъ; мы слишкомъ много наслы-шались въ свое время о величіи того подвига покаянія, который мы совершили, дозволивъ благодѣтельной гласности раскрыть самыя гнойныя наши язвы. А, между тѣмъ, вгля-дѣвшись поближе, мы убѣждаемся, что это раскрываніе

язвъ не шло далѣе того симптоматическаго лѣченія, въ которомъ медицина нѣкогда видѣла всю сущность своей задачи, но которое она теперь, не отвергая совершенно, низвела на подобающее мѣсто. Самое понятіе злоупотребленія связано съ представленіемъ о чемъ-то случайномъ, внѣшнемъ, легкоустранимомъ; антитезомъ этому понятію само собой является понятіе объ употребленіи, которое съ устраненіемъ случайнаго внѣшняго нароста, производящаго вредъ, непремѣнно должно оказаться благимъ и полезнымъ. Всѣ тѣ, кто не сознаетъ за собою грѣха злоупотребленій, считаютъ себя неуязвимыми и, чѣмъ болѣе раздувается въ нихъ благородное негодованіе противъ того грѣха, которому они непричастны, тѣмъ менѣе они становятся расположены изслѣдовать, нѣтъ ли въ общественномъ организмѣ, къ которому они принадлежатъ, такихъ болѣзней, которыя окажутъ свое дѣйствіе и по закрытіи гноящихся, всѣмъ очевидныхъ язвъ. Именно такую эпоху успокоенія на лаврахъ переживаютъ наше общество и литература въ настоящее время. Покорствуя когда-то данному импульсу, мы продолжаемъ усердно гнать въ дверь остатки зла, завѣщаннаго намъ крѣпостническимъ періодомъ нашей исторіи; это, конечно, хорошо; но плохо то, что мы, въ своемъ увлеченіи, не замѣчаемъ, какъ зло, выгнанное въ дверь, влѣзаетъ къ намъ обратно въ окно. Зло утратило свою прежнюю несговорчивость, оно уже не бросаетъ намъ своего циничнаго: „полюби насъ черненькими, бѣленькими насъ всякій полюбитъ“,—оно готово убѣлиться по своему современному образцу, лишь бы мы его полюбили; и мы идемъ на эту нехитрую удочку и открываемъ въ такъ-называемомъ либеральномъ лагерѣ право убѣжища всему, помѣченному ярлыкомъ современности, считая чуть не святотатствомъ вникнуть, не кроется ли подъ этимъ ярлыкомъ дрянненькій, своекорыстный расчетъ, пагубный компромиссъ или ребяческая несостоятельность мысли, работающая на-руку старому злу, сама не вѣдая, что творитъ. Первую попытку разобраться среди массы неизслѣдованнаго еще матеріала, которая въ русской современности напрашивается на сатирическое воспроизведеніе, мы встрѣчаемъ въ *Ташкентцахъ* г. Щедрина. Въ этихъ очеркахъ мы имѣемъ мастерски изложенную исторію развитія типа, который могъ только народиться на почвѣ современности. Съ тонкою наблюдательностью изслѣ-

дователя, въ живыхъ и яркихъ краскахъ художника-колориста, авторъ выводитъ передъ нами черту за чертой эту физіономію, на которой всѣ факторы дарвиновскаго закона—и наслѣдственность, и естественный подборъ, и борьба за существованіе, и измѣняющее вліяніе среды—наложили свой рѣзкій отпечатокъ. Передъ вами проходитъ исторія семьи Мелентьевыхъ: папаша—совѣтникъ казенной палаты, по питейному отдѣленію, подвизающійся въ дальнемъ губернскомъ городѣ, въ то время, когда „еще ни правъ ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе попасть подъ судъ"; мамаша—помѣщица, торгующая мужиками, вымѣнивающая, продающая, покупающая, отпускающая на волю и пр. И отъ этой-то семьи родится сынъ, въ которомъ унаслѣдованные инстинкты, подъ измѣняющимъ вліяніемъ среды, проявляются въ формѣ болѣе грандіозной и, въ то же время, болѣе приспособленной къ той средѣ, въ которой ни питейныхъ отдѣленій ни крѣпостныхъ мужиковъ болѣе не существуетъ. Съ юныхъ лѣтъ томится этотъ многообѣщающій сынъ „финансовымъ идеализмомъ"; искру этого Прометеева огня заронили въ него еще два дяденьки-шулера, у которыхъ при магическомъ словѣ „клацъ!", червонцы пропадаютъ и исчезаютъ изъ рукъ ad libitum. „Видишь ли,—поучаютъ его дяденьки, указывая на груды золота, появившіяся у нихъ на столѣ, послѣ одного изъ такихъ шулерскихъ подвиговъ,—можетъ ли твой отецъ въ цѣлый годъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ часъ добыли?" Юноша томится „финансовымъ идеализмомъ" до той поры, пока его не возвращаетъ чувству дѣйствительности одна наука, преподававшаяся въ высшемъ классѣ привилегированнаго заведенія, куда его помѣстилъ честолюбивый папаша. Наука эта носила названіе политической экономіи, и хотя преподавалась въ весьма коротенькомъ видѣ, и „законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ ней въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая, въ свою очередь, представлялась въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей пѣсню: „Коли любишь, прикажи, а не любишь—откажи", тѣмъ не менѣе или, вѣрнѣе, именно, вслѣдствіе этого коротенькая наука пришлось Порфишѣ по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ, осуществленіемъ таин-

ственнаго „клацъ!“. Прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли притти и не притти на помощь, теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные кунстштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ.—„Кредитъ, толкуетъ онъ своему пріятелю,—это, когда у тебя нѣтъ денегъ... понимаешь? Нѣтъ денегъ, и вдругъ—клацъ!—онѣ есть!“—„Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты?“ возражаетъ наивный пріятель.—„Чудакъ, ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надо платить, ну, и опять кредитъ; еще платить—и еще кредитъ“... „И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ которой „спросъ“ съ завязанными глазами гонялся за предложеніемъ, а предложеніе, въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ спроса, но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ „ажіотажъ“ и въ акціонерныя компаніи, которая ждала Порфишу впереди“. Прогрессивное дѣйствіе дарвиновскаго закона успѣло сказаться вполнѣ. Многообѣщающій сынокъ совѣтника питейнаго отдѣленія изумляетъ на экзаменѣ директора своими познаніями по части биржевой игры. Понятно, что этотъ достойный сынъ своего времени не можетъ иначе, какъ съ презрѣніемъ, оглядываться на патріархальное прошлое. „Взяточки-съ?!“ не безъ оттѣнка циническаго негодованія язвитъ онъ своего отца, заставъ его въ моментъ полученія „слѣдуемаго по положенію“ съ откупщика. „А вы попрежнему копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ? Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ!“ — привѣтствуетъ онъ свою мать послѣ годовой разлуки. Немудрено, что старики Мелентьевы, эти ретроградные представители отживающаго поколѣнія, съ чувствомъ горькой обиды и тупого недоумѣнія смотрятъ на пропасть, которая раскрылась между ними и ихъ дѣтищемъ. Между тѣмъ, какъ Порфишѣ „снятся вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи“, папаша его подозрѣваетъ въ немъ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобы дать мѣсто другому реформатору, который также придетъ, насоритъ и уйдетъ. Такое недоразумѣніе со стороны стараго совѣтника питейнаго отдѣленія, отставшаго въ своемъ Семиозерскѣ отъ вѣяній времени, вполнѣ понятно

Но, что уже гораздо менѣе понятно—это, что тому же недоразумѣнію подпадаютъ люди, имѣющіе притязаніе не только поспѣвать за вѣяніями времени, но и, съ своей стороны, направлять ихъ въ сторону прогресса. Порфишѣ, въ которомъ недогадливый отецъ не сумѣлъ распознать свою плоть и кровь, россійскій прогрессъ раскрываетъ свои объятія; если вы, читатель, волею судебъ, кружились въ водоворотѣ прогресса, вы, навѣрное, встрѣчали его во всевозможныхъ обществахъ содѣйствія, читали его либеральныя статьи въ журналахъ, слышали его ораторствующимъ на общихъ собраніяхъ и въ кружкахъ. Быть-можетъ, если вы человѣкъ очень прихотливый, вы и испытывали нѣкоторое ощущеніе смутной антипатіи, но вы тотчасъ же спѣшили подавить въ себѣ это субъективное ощущеніе и дѣлали это не изъ какихъ-либо малодушныхъ соображеній, а въ твердой увѣренности, что, при нашей бѣдности, россійскому прогрессу и такими людьми брезгать не слѣдуетъ. Безъ сомнѣнія, вы не могли бы притти къ такому заключенію, если бы нѣсколько яснѣе опредѣлили себѣ, въ чемъ должна заключаться сущность нашего поступательнаго движенія, для того чтобы оно могло назваться прогрессомъ. Но на этотъ счетъ у насъ существуютъ самыя хаотическія понятія: Порфиша обладаетъ тою степенью бойкости и практической сноровки, которая, если и недостаточна для того, чтобы поймать журавля въ небѣ, то зато умѣетъ какъ нельзя лучше удержать синицу въ рукахъ; къ тому же извѣстно, что люди, гоняющіеся за журавлями въ небѣ, нерѣдко упускаютъ изъ рукъ синицу и, кромѣ того, пребольно расшибаютъ себѣ лобъ. Онъ кое-чему учился; правда, это кое-что не шло дальше краткой политической экономіи, но, вѣдь, мы съ вами, читатель, пожалуй, и краткой политической экономіи не учились, а потому, когда Порфиша развиваетъ передъ нами свою теорію кредита или излагаетъ правила биржевой игры, то мы только благоговѣніемъ проникаемся при мысли, какъ это все такъ премудро на свѣтѣ устроено, и какая полезнѣйшая вещь наука, возводящая какой-нибудь „клацъ!“, за который дядюшки Амалаты и Азамиты получали, по свидѣтельству г. Щедрина, „такъ-называемую непріятность“,— въ научный законъ, за который никакихъ непріятностей не полагается. При этомъ, если мы люди сангвиничные, то мы непремѣнно вообразимъ, что устами Порфиши сама наука

вѣщаетъ свое послѣднее слово и примемся съ величайшимъ и безкорыстнѣйшимъ усердіемъ пропагандировать это послѣднее слово; если же мы меланхолики, то мы махнемъ рукою,—не нашего, молъ, ума дѣло: быть-можетъ, онъ и себѣ-на-умѣ, но все-таки въ практическихъ вопросахъ онъ смыслитъ больше нашего, ему и книги въ руки; какое намъ дѣло до темныхъ побужденій, руководящихъ человѣкомъ,—лишь бы у него была голова на плечахъ, способная сослужить службу практическому дѣлу? А про Порфишу Мелентьева еще въ школѣ его товарищъ, Коля Персіановъ, выразился такъ: Il est un peu par trop théoricien, ce cher Melentieff, mais c'est égal; c'est une bonne tête, et avec le temps on pourra l'utiliser [1]). И мы не безъ самодовольства констатируемъ въ себѣ присутствіе извѣстнаго маккіавелизма, который умѣетъ завербовывать на службу прогресса даже такіе элементы, какъ „клацъ!". Между тѣмъ, Порфиша, незамѣтно для насъ, но не безъ пользы для себя и не безъ ущерба для общихъ интересовъ, внѣдряется во всѣ отправленія того прогресса, безсознательнымъ орудіемъ котораго мы думали его сдѣлать. Онъ не только ораторствуетъ въ общихъ собраніяхъ и пишетъ либеральныя статьи въ журналахъ, онъ даже въ филантропическихъ предпріятіяхъ участвуетъ, онъ даже распространенію образованія споспѣшествуетъ,—и, притомъ, не только классическаго, но и реальнаго; наконецъ, онъ, какими-то неисповѣдимыми путями, успѣваетъ подчасъ проторить себѣ дорожку въ кружки молодежи и тамъ становится оракуломъ. И при этомъ, надо отдать справедливость Порфишѣ: онъ никогда не компрометируетъ тѣхъ, кто съ такою недогадливой услужливостью подставили ему свои собственныя спины для проникновенія въ заповѣдное святилище либерализма; если онъ и не хуже своего папаши умѣетъ обезпечить себѣ „должное по положенію", то онъ никогда не поведетъ дѣла такъ, чтобы какой-нибудь непочтительный юнецъ могъ ему прошипѣть. „Взяточки-съ, курочки-съ, талечки-съ, грибки-съ!"—онъ сумѣлъ разрѣшить по всѣмъ правиламъ краткой политической экономіи ту дилемму, надъ которой, по словамъ г. Щедрина, русское

[1]) Онъ немного слишкомъ теоретикъ, этотъ славный Мелентьевъ, но это ничего не значитъ; у него голова хорошая и со временемъ онъ будетъ полезенъ.

общество билось съ самаго начала XVIII вѣка, а именно, дилемму такой „регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы вполнѣ цивилизованному обществу“. Не безъ сожалѣнія разстаемся мы съ *Господами Ташкентцами*, которые, и помимо Порфиши Мелентьева, представляютъ не одинъ типъ, живымъ выхваченный изъ русской современности; но размѣры и задача нашей статьи не позволяютъ намъ останавливаться на этихъ типахъ: насъ еще ожидаютъ *Записки провинціала*, въ которыхъ еще полнѣе и глубже схвачены основные мотивы старой погудки на новый ладъ, раздающейся среди современнаго намъ общества.

II.

Въ *Запискахъ провинціала*, изданныхъ г. Салтыковымъ-Щедринымъ, мы имѣемъ дѣло уже не съ отдѣльнымъ типомъ, какъ въ *Ташкентцахъ*, а съ цѣлою панорамой современной общественной жизни. Одинъ за другимъ проходятъ передъ нами „сѣятели“ и „дѣятели“ этой современности, со всею своей внѣшней сутолокой, подъ которой кроется столько устали и тоскливаго недоумѣнія, со всѣмъ своимъ маскарадомъ словъ и принциповъ, со всей своей безвкусной помѣсью европеизма и татарщины. Тамъ и сямъ мы узнаемъ старыхъ знакомыхъ, — тѣхъ героевъ грубо-обличительной сатиры, надъ которыми намъ такъ легко было смѣяться, сознавая великую пропасть, которая утверждена между ними и нами. Появленіе этихъ старыхъ знакомыхъ не удивляетъ насъ; мы знаемъ, что мѣсто ихъ въ современности еще не упразднилось и что безповоротное осужденіе, которое произнесло надъ ними наше либеральное сознаніе, не отразилось еще на фактахъ, среди которыхъ они продолжаютъ играть дѣятельную, видную роль. Тѣмъ болѣе, казалось бы причинъ вторить смѣху сатирика и заглушать этимъ здоровымъ, честнымъ смѣхомъ тотъ, Богъ-вѣсть откуда взявшійся, диссонансъ, какимъ эти типы являются среди стройнаго хора современности... Но почему-то смѣхъ выходитъ далеко не такимъ задушевнымъ и самодовольнымъ, какъ бывало; вмѣсто одного рѣзко рѣжущаго ухо диссонанса, вы слышите цѣлый концертъ фальшивыхъ нотъ, среди которыхъ напрасно отыскиваете избитый, но все еще любимый мотивъ: „Въ наше время, когда“... Пропасть, на томъ берегу

которой такъ привольно было себя сознавать, мало-по-малу выравнивается, и вы видите передъ собою не пресловутые два лагеря отцовъ и дѣтей, стоящихъ лицомъ къ лицу во всеоружіи своего непримиримаго отчужденія, а непрерывную цѣпь преемственности, каждое послѣдующее звено которой плотно замыкается въ предыдущемъ. Отцы придвинулись ближе къ дѣтямъ, дѣти придвинулись навстрѣчу отцовъ; тѣ и другіе утратили, при этомъ, ту цѣльность типа и рѣзкость признаковъ, которая, казалось, ставила ихъ въ такой непримиримый антагонизмъ и оказывается не болѣе какъ миражемъ: они сошлись на одной общей почвѣ, которая питаетъ и грѣетъ ихъ; сатирикъ раскрываетъ передъ вами самыя нѣдра этой почвы, и вы видите, какъ въ ней переплетаются корни этихъ, съ виду разнородныхъ, явленій, извлекая изъ нея себѣ общую пищу. Смѣхъ замираетъ у васъ на губахъ, и вы чувствуете себя въ неловкомъ положеніи Климыча, который не можетъ кивнуть на Петра. Впечатлѣніе это овладѣваетъ вами не сразу. Въ первыхъ главахъ передъ вами проходитъ шутовская процессія провинціальныхъ „кадыковъ", которые изъ-подъ сѣни рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба тронулись въ самое пекло россійскаго прогресса, въ Петербургъ. Вы еще съ легкимъ сердцемъ хохочете, глядя, какъ эта процессія мечется по Петербургу: вотъ устричная зала у Елисѣева, гдѣ вокругъ „оливковыхъ личностей, не то грековъ, не то евреевъ, не то армянъ, словомъ, какихъ-то иконописныхъ людей, которымъ удалось сбѣжать съ кипарисной доски и отгуляться на волѣ у Дюссо и Бореля", образуются груды кадыковъ", алчущихъ и жаждущихъ концессій. Вы слышите эти толки: „У меня линія вѣрная! Отъ Карачи, черезъ Тимъ, Щигры, да такъ-таки прямо въ Ливны. А тамъ у меня и имѣніе есть".—Да, вѣдь, я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется. Ну что я, въ самомъ дѣлѣ, возить по ней буду?—А вамъ-то что? Это что еще за тандрессы такіе! Вонъ, Петръ Ивановичъ, снитокъ бѣлозерскій хочетъ возить... а сооруженія-то, батюшка, затѣваетъ какія! Черезъ Чегодицу мостъ въ двѣ версты—разъ! Черезъ Тихвинку мостъ въ три версты (тутъ грузы захватитъ)—два! Черезъ Волховъ мостъ—три! По горамъ, по доламъ, по болотамъ, по лѣсамъ! Въ болотахъ морошку захватитъ, въ лѣсу рябчика!" Правда, въ этихъ безпутныхъ рѣчахъ кадыковъ и иконописныхъ людей вамъ какъ-будто слышатся отголоски того

самаго движенія „экономическаго“, того „исключительнаго преобладанія интересовъ богатства“ и той „горячки путей сообщенія“, которые вы привыкли считать однимъ изъ непремѣннѣйшихъ условій нашего поступательнаго движенія въ догонку за европейскимъ прогрессомъ; но вы—человѣкъ безпристрастный и знаете, что наиполезнѣйшее дѣло не застраховано отъ злоупотребленій, и не менѣе твердо знаете, что употребленіе само-по-себѣ, а злоупотребленіе само-по-себѣ, и потому, сочувствуя первому, готовы рукоплескать всякому обличенію послѣдняго. Вы отъ души хохочете надъ сновидѣніемъ „провинціала“, въ которомъ ему грезится столкновеніе двухъ мчавшихся навстрѣчу поѣздовъ: одного изъ Петербурга къ устью Печоры, съ жандармомъ и какимъ-то молодымъ человѣкомъ въ партикулярномъ платьѣ, и другого—отъ устья Печоры съ самимъ господиномъ Латкинымъ, везущимъ свѣжую семгу и кедровую шишку въ рукахъ, какъ доказательсво крайней необходимости дороги въ этотъ кишащій естественными богатствами край. Отъ Елисѣева вы переноситесь въ ложу театра Буффъ, гдѣ провинціальные кадыки, руководимые столичными, дѣлаютъ предметомъ серіознаго изученія Шнейдеръ и ея „отлетъ“, млѣя въ восторгѣ отъ того, comme elle se gratte les hanches et les jambes [1]). Тутъ уже вамъ становится совсѣмъ по себѣ: во время знаменитой полемики, взволновавшей, года два тому назадъ, всю нашу печать, вы были на сторонѣ того мирового судьи, который приговорилъ къ штрафу за неприличныя тѣлодвиженія одну изъ сподвижницъ г-жи Шнейдеръ. За театромъ Буффъ слѣдуютъ рауты, на которыхъ, подъ возгласы: куда мы идемъ?! читаются прожекты о необходимости поставить точки нашему прогрессу. Затѣмъ цѣлый ворохъ прожектовъ объ упраздненіи и разстрѣляніи, прожектовъ, измышленныхъ самими „кадыками“, вынужденными „по непріятностямъ“, покинуть службу и горящими желаніемъ въ лоно оной возвратиться: вотъ прожектъ о децентрализаціи, въ которомъ, ссылками на *Токевиля*, *Сергѣя Баршева* [2])

---

[1]) Какъ она потираетъ себѣ бедра и ноги.

[2]) Серг Иван. Баршевъ—извѣстный русскій криминалистъ и профессоръ моск. универс. по каѳедрѣ уголовнаго права. Работалъ въ разныхъ изданіяхъ („Москвитянинъ“, „Русскій Вѣстн.“, „Московскія Вѣд.“). Отрицательною стороной его ученой и литературной дѣятельности является раб-

и англійскаго писателя *Джона Стуарта* [1]), доказывается необходимость такой децентрализаціи, при которой не было бы „ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій—словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь", а была бы „пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ". Вотъ прожектъ „объ оглушеніи въ смыслѣ временныхъ чувствъ усыпленія", въ которомъ ссылками на того же *Токевиля* доказывается, что „такъ-называемое оглушеніе не только не противно человѣческой природѣ, но въ весьма многихъ случаяхъ даже способствуетъ возстановленію человѣческихъ силъ", при чемъ требуется только, „чтобы дремотное состояніе было не токмо вынужденное, но имѣло характеръ дѣятельный и искренній. Для достиженія такого дремотнаго состоянія, прожектъ рекомендуетъ занять молодыхъ людей чтеніемъ сонниковъ, разсмотрѣніемъ дѣвицы Гандонъ или вытверживаніемъ Таутовой азбуки, замѣчая, что во всѣхъ сихъ занятіяхъ будетъ участвовать страсть, но страсть спасительная, имѣющая въ предметѣ отличиться въ изученіи сюжетовъ безопасныхъ и мало полезныхъ, и такимъ образомъ получится поколѣніе дремотствующее, но бодрое и не только не препятствующее знакамъ препинанія, но дѣятельное и на постановку ихъ согласное". Вотъ, наконецъ, прожектъ о переформированіи десіансъ-академій, стремящійся „къ совершенному наукъ упраздненію, съ такимъ, притомъ, расчетомъ, чтобъ отъ сего государству ущерба не произошло и чтобъ оное и по упраздненіи наукъ сосѣдей своихъ въ страхѣ держало, а отъ оныхъ почитаемо было, яко всѣхъ просвѣщеніемъ превзошедшее". Пропасть, повидимому, зіяетъ глубже, чѣмъ когда-либо, но увы! Изъ чтенія всѣхъ этихъ прожектовъ, изъ посѣщенія всѣхъ этихъ раутовъ, буффовъ и устричныхъ залъ не вожделѣнное, бравурное, граждански-негодующее настроеніе, а то грузное, безотрадное похмелье, которое наводитъ „провинціала" на размышленія о собственной рыхлости и на параллель между собой и дѣдушкой Матвѣемъ Ивановичемъ. Передъ вами

ское преклоненіе передъ требованіями жизни или, выражаясь точнѣе, передъ принципами и взглядами, признаваемыми во вліятельныхъ сферахъ.
Прим. Н. Д.

[1]) Д.-С. Милль. Какъ Токвиль такъ и Д.-С. Милль извѣстны своими сочиненіями по вопросамъ политики.

какимъ-то укоризненно-насмѣшливымъ призракомъ встаетъ тѣнь старика, который изо дня въ день „выпивалъ до пропасти“ въ отъѣзжемъ полѣ, созерцалъ, какъ потрясаетъ бедрами крѣпостная дѣвка Палашка, и *могъ* не лопнуть со скуки; между тѣмъ какъ вы, худосочный его потомокъ, и вина пьете отъ Елисѣева, и созерцаете не Палашку, а самоё Шнейдершу, а все-таки пропадаете со скуки.

„Провинціалъ“ подсказываетъ вамъ разрѣшеніе этой загадки: у дѣдушки Матвѣя Ивановича были „элементы, оттѣнявшіе внѣшнее однообразіе его жизни; элементы эти: дворянскій интересъ, сознаніе властности и сельскохозяйственный интересъ. Правда, дворянскій интересъ не шелъ дальше бушеванья въ губернскомъ городѣ во время дворянскихъ выборовъ; правда, сознаніе властности вело лишь къ „мало-плодотворному занятію, формулируемому выраженіемъ: гнуть въ бараній рогъ“,—правда, наконецъ, и то, что „сельскохозяйственный интересъ былъ обставленъ рутинно“ и весь сводился на „безконечную ходьбу, неумолкаемое галдѣнье, понуканье и помыканье во всѣхъ видахъ и ту надоѣдливую придирчивость, которая положила основаніе пословицѣ: свой глазокъ—смотрокъ“. Но во всемъ этомъ была „подстрекающая мысль о какихъ-то якобы правахъ“, было сознаніе, что „когда я иду, подо мной земля дрожитъ“, была „суета, которая оттѣняла вещь, извѣстную подъ именемъ жуировки“. Ничего этого не существуетъ для потомковъ дѣдушки Матвѣя Ивановича. Отъ *права* „не осталось ни капельки“. Наслажденіе, доставляемое сознаніемъ властности, мы отрицаемъ „изъ чувства учтивости“, да оно для насъ и недоступно; наконецъ, сельскохозяйственный интересъ, построенный на принципѣ „спрашиванія“, упразднился съ тѣхъ поръ, какъ спрашивать стало не съ кого. Дѣдушка Матвѣй Ивановичъ умеръ, и, кажется, пора перестать и враждовать съ нимъ и жалѣть о немъ. Да, это мѣсто, по крайней мѣрѣ, упразднилось окончательно: не только Прокопъ, сочиняющій революціонные прожекты о заполученіи сорока тысячъ поясницъ и самъ хохочущій надъ своей затѣей, но и Петръ Ивановичъ Дракинъ, пока еще пребывающій подъ сѣнью рязанско-тамбовско-саратовскаго клуба, не болѣе какъ жалкіе эпигоны въ сравненіи съ богатыремъ—дѣдушкой. Правда, Петръ Ивановичъ Дракинъ обманулъ наши ожиданія: послѣ того какъ онъ заговорилъ свое: „Слава

Богу, и мы, наконецъ, освободились отъ этого постыднаго, ненавистнаго права стричь дѣвкамъ косы и наказывать на конюшнѣ людей",—мы, было, понадѣялись, что онъ такъ и не очнется, и даже принялись, вмѣстѣ съ сонмомъ легкомысленныхъ молодыхъ людей, устраивать на него облавы. Между тѣмъ, онъ очнулся и даже принялся тыкать руками; но тычетъ онъ въ пустое пространство и самъ сознаетъ, что разорять ему, въ сущности, болѣе не кого, что „сколько бы крови онъ въ себѣ ни портилъ,—а какъ начнетъ себя усчитывать... грошъ". Если же, несмотря на это безотрадное сознаніе, онъ все-таки не можетъ видѣть, какъ „онъ, к-каналья, по улицѣ въ пальтишкѣ бѣжитъ", чтобы не крикнуть: „ату его, лови, догоняй!!", то это въ немъ память старыхъ временъ говоритъ, „да привычка къ подвигамъ, сознаніе, что ему, Дракину, ни при чемъ иномъ, какъ при подвигахъ, состоять нельзя". Эта жалкая развалина прошлаго можетъ внушать только состраданіе; мало того, она, какъ трофей, свидѣтельствующій воочію о побѣдѣ, одержанной настоящимъ, способна внушать вамъ даже то благодушное чувство, которое мы ощущаемъ ко всему, что позволяетъ намъ измѣрить величіе совершенныхъ нами усилій. Тутъ бы, кажется, и справить веселую тризну: мертвый въ гробѣ мирно спи, жизнью пользуйся живущій! Но выходитъ какъ-разъ наоборотъ. Измѣряя то разстояніе, которое отдѣляетъ Прокопа и Петра Ивановича Дракина отъ дѣдушки Матвѣя Ивановича, вы, какъ-будто, получаете мѣрило не ихъ упадка, а собственной слабости. Да, это—эпигоны, жалкое, вырождающееся племя; но что же такое наше племя, если намъ приходится пасовать и конфузиться даже передъ этими эпигонами?

А что мы пасуемъ и конфузимся—это несомнѣнно. Пока мы сравнивали себя съ дѣдушкой Матвѣемъ Ивановичемъ, антитезъ былъ еще слишкомъ рѣзокъ; можно было ублажать себя сознаніемъ, что Шнейдерша все-таки не крѣпостная Палашка и что толки о концессіяхъ въ устричной комнатѣ все-таки не то, что буйство въ губернскомъ городѣ и сгибанье въ бараній рогъ. Но гдѣ же тѣ рѣзкіе признаки отличія, на которые мы могли бы опереться при встрѣчѣ съ Петромъ Ивановичемъ и Прокопомъ? Вѣдь, они, вмѣсто Палашекъ, вынуждены довольствоваться Шнейдершей и никого въ бараній рогъ не гнуть. А что касается прочаго, то раз-

ногласіе не идетъ далѣе подробностей чисто-внѣшнихъ. Вонъ Прокопу претитъ, что другой, рядомъ съ нимъ, жить хочетъ; онъ не желаетъ, чтобы кто другой дотрогивался до его куска, но, при этомъ, онъ не охотникъ думать, соображать, и держится того мнѣнія, что, „какъ-только мы начнемъ думать, тутъ намъ и смерть!“ Провинціалъ, хотя въ юности своей и напивался, въ качествѣ студента московскаго университета, въ трактирѣ „Британія“ и не только восторгался святыней искусства, но даже написалъ повѣсть „Маланья“, обличавшую крѣпостное право и запрещенную въ то время цензурой,—тѣмъ не менѣе вовсе не желаетъ серіозно, чтобы „куски“ достались кому-нибудь, помимо его. Онъ только находитъ, что „не все же разомъ, не все разсѣкать: иной разъ слѣдуетъ и развязать потрудиться“, а потому убѣждаетъ Прокопа: „Пойми же ты, наконецъ, что можно такимъ образомъ устроить, что другіе-то будутъ на самомъ дѣлѣ только облизываться, глядя, какъ ты куски заглатываешь, и, между тѣмъ, будутъ думать, что и они куски глотаютъ“. Скажите сами, возможно ли серіозное разногласіе на основаніи такихъ второстепенныхъ различій во мнѣніяхъ, относительно пріемовъ и способовъ дѣйствія, при совершенномъ согласіи въ конечныхъ цѣляхъ? Что же удивительнаго послѣ этого, что *Провинціалъ*, не взирая на Маланью и на „женерозность“, которую онъ проявилъ во время отмѣны крѣпостного права, пасуетъ передъ Петромъ Ивановичемъ Дракинымъ и конфузится за себя и за остальныхъ опрометчивыхъ молодыхъ людей, которые въ *то время* безъ нужды допекали Петра Ивановича разными колкостями. Итакъ, „кадыки“ съ своими прожектами не болѣе, какъ аксессуаръ, такъ-сказать, риторическая фигура амплификаціи, которая при всей своей трескотнѣ не въ состояніи была бы дать тонъ жизни, если бы съ ней не совпадалъ основной мотивъ современности. Правда, это совпаденіе происходитъ не стройнымъ аккордомъ, а фугой, въ которой два мотива какъ бы борются между собой, переплетаются, то расходятся, то снова идутъ навстрѣчу одинъ другому, но все же оно есть, и если тутъ можетъ быть рѣчь о рѣжущихъ ухо диссонансахъ, то развѣ, лишь, по отношенію къ разнымъ ріа desideria [1]), никакого реальнаго значенія въ жизни не имѣю-

[1]) Мечтаніямъ.

щимъ. Въ чемъ же заключается этотъ основной мотивъ современности, который наша обличительная и сатирическая литература совсѣмъ, было, проглядѣла изъ-за аксессуаровъ и амплификацій? У автора *Записокъ провинціала* мотивъ этотъ фигурируетъ подъ именемъ „пѣнкоснимательства", и разбору его посвящено нѣсколько главъ, превосходящихъ, по свѣжести мысли, по блеску и мѣткости воспроизведенія, все, что до сихъ поръ выходило изъ-подъ пера г. Щедрина. Пѣнкоснимательство—это уже не злоупотребленіе, болѣе или менѣе робко прокрадывающееся сторонкой: это само употребленіе, самоувѣренно идущее посрединѣ, въ твердомъ сознаніи неотъемлемо-упроченнаго права гражданства. Это не побочное обстоятельство, Богъ-вѣсть какъ, примѣшавшееся къ современности: это самая ея суть и суть эта такъ всецѣло отождествляетъ себя съ прогрессомъ, что каждый разъ, какъ идетъ дѣло о ней, она не сомнѣвается, что идетъ дѣло о прогрессѣ, и недоумѣваетъ, какой такой еще можетъ быть прогрессъ, который не торжествовалъ и не унывалъ бы вмѣстѣ съ нею, не имѣлъ бы общихъ съ нею друзей и общихъ враговъ. Пѣнкоснимательство имѣетъ своихъ радикаловъ, идущихъ напроломъ; въ *Дневникѣ провинціала* принципъ пѣнкоснимательнаго радикализма олицетворяется въ образѣ Неуважай-Корыта, который безпощадно подрываетъ авторитеты и всю Европу изъѣздилъ, чтобы доказать, что Чурилка [1]) былъ швабскій дворянинъ, и, долбя эту тему „какъ дятелъ дерево, постепенно приходитъ въ деревянный экстазъ отъ звуковъ собственнаго долбленія".—„Я говорю вамъ, камня на камнѣ не останется!—восклицаетъ онъ въ экстазѣ,—и я съ болью въ сердцѣ это говорю, но что же дѣлать, это такъ,—противъ науки я безсиленъ!" За радикалами слѣдуютъ тонкіе дипломаты, политическіе умы, которые проявляютъ неменьшій запасъ энергіи и самоотверженія, хотя и въ нѣсколько иной формѣ. Экстазъ Неуважай-Корыта можетъ проявляться совершенно безпрепятственно, пока рѣчь идетъ о подрываніи авторитетовъ на почвѣ Чурилокъ, но, какъ-скоро вопросъ заходитъ о томъ, которому изъ двухъ проектовъ пройти—объ уничтоженіи или объ упраздненіи — тутъ деревянный экстазъ этотъ долженъ уступить мѣсто совѣтамъ поли-

[1]) Чурило Пленковичъ—богатырь русскихъ былинъ Кіевскаго цикла.

тическаго благоразумія, которое, устами тайнаго совѣтника Кузьмы Пруткова, вѣщаетъ: „Любезный другъ, о томъ, чтобы устранить оба проекта, не можетъ быть и рѣчи; но, вѣроятно, съ Божьей помощью, мнѣ удастся провести проектъ объ упраздненіи, а уничтоженіе прокатить; во всякомъ случаѣ, мой другъ, я тогда только могу ручаться за успѣхъ, если пресса наша будетъ вести себя съ особенной сдержанностью". Всѣ пѣнкоснимателн проникаются сознаніемъ, что замѣна уничтоженія упраздненіемъ будетъ уже значительнымъ успѣхомъ, и строятъ такой силлогизмъ: „Ежели мы будемъ разбрасываться, то самъ тайный совѣтникъ Кузьма Прутковъ окажется внѣ возможности поддержать насъ, и тогда у насъ отнимутъ и то, что мы въ настоящее время имѣемъ, а, между тѣмъ, это будетъ потеря очень большая, потому что, если соединить въ одинъ фокусъ все то, что намъ дано, то окажется очень и очень многое". Послѣ такого силлогизма пѣнкоснимателн восклицаютъ хоромъ:—Намъ слѣдуетъ молчать, молчать и молчать!—и, восклицая это, пребываютъ въ твердой увѣренности, что совершаютъ актъ гражданскаго мужества. Программа пѣнкоснимателей вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру этихъ представителей различныхъ его оттѣнковъ. Вотъ наиболѣе выдающіяся черты этой программы:

„Не пропуская ни одного современнаго вопроса, обо всемъ разсуждать съ такимъ расчетомъ, чтобы никогда изъ этого ничего не выходило. По наружности имѣть видъ откровенный и даже смѣлый, внутренно же трепетать. Усиливать откровенность и смѣлость по мѣрѣ того, какъ предметъ, о которомъ заведена рѣчь, представляетъ меньшую опасность для обсужденія. Такъ, напримѣръ, по вопросу о неношеніи нѣкоторыми городовыми бляхъ надлежитъ дѣйствовать съ такой обстоятельностью, какъ бы имѣлось въ виду получить за сіе третье предостереженіе. Разсуждая о современныхъ вопросахъ, стараться, по возможности, сокращать ихъ размѣры, такъ, чтобы, разсматривая поступокъ городового № 000, отнюдь не зацѣплять весь почтенный институтъ городовыхъ".

Согласно съ этой программой, пѣнкоснимателъ, заговоривъ о податной реформѣ, испишетъ цѣлый рядъ статей на ту тему, что крайніе сроки для взиманія недоимокъ должны быть перенесены съ 15 января и 15 марта на 1 февраля и 1 апрѣля. Зайдетъ ли рѣчь о реформахъ въ уголовномъ законодательствѣ, пѣнкоснимателъ враждуетъ съ дѣйствительностью, налагающею за такое-то дѣяніе семь лѣтъ каторги, и, доказывая съ своей стороны, что „было бы справедливѣе уменьшить срокъ до шести лѣтъ одиннадцати

мѣсяцевъ двадцати-девяти дней двадцати-трехъ часовъ пятидесяти-пяти минутъ,—упрекаетъ дѣйствительность въ безчеловѣчіи, дразнится своимъ открытіемъ и оттачиваетъ объ него свое гражданское мужество". Какъ видите, провинціалъ, говоря о пѣнкоснимательствѣ, пріурочиваетъ его, почти исключительно, къ литературѣ, но литература и здѣсь, какъ и во всемъ, является лишь вѣрнымъ отголоскомъ соотвѣтствующей струны, которая звучитъ въ самомъ обществѣ; можно, пожалуй, спорить о томъ, въ какой мѣрѣ литература заразила общество переливаніемъ изъ пустого въ порожнее и въ какой мѣрѣ настроеніе общества, созданное обстоятельствами, непосредственнаго отношенія къ литературѣ не имѣющими, отразилось на литературѣ этимъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, которое сатирикъ воспроизводитъ передъ нами такими крупными мастерскими штрихами. Но, такъ или иначе, пѣнкоснимательство есть болѣзнь, повально заразившая весь нашъ либерализмъ и подтачивающая его гораздо сильнѣе, чѣмъ тѣ наружныя язвы, о закрытіи которыхъ мы такъ заботимся; въ какой пріютъ либерализма вы не толкнитесь, всюду вы встрѣтите характеристичные признаки этой болѣзни: какое-то тупое сосредоточеніе на спеціальномъ предметѣ долбни, какое-то озлобленное игнорированіе всего, что низводитъ значеніе этой долбни до естественныхъ ея размѣровъ, боязнь расплываться и, въ то же время, какую-то прѣсную восторженность, возрастающую по мѣрѣ того, какъ суживается предметъ, ее возбуждающій, пока, наконецъ, она не достигнетъ своего апогея на вопросѣ о „выѣденномъ яйцѣ". Область нашего либерализма кишитъ крыловскими любопытными, которые *по принципу*, не замѣчаютъ слона изъ-за разсматриваемыхъ букашекъ и таракашекъ. Съ перваго взгляда это вырожденіе общественнаго пониманія, это суженіе общественнаго кругозора представляется дѣломъ второстепенной важности.

Въ самомъ дѣлѣ, разъ практическая жизнь ничего, кромѣ букашекъ и таракашекъ, не представляетъ,—а объ этомъ едва ли кто станетъ спорить,—есть ли какая-нибудь надобность постоянно имѣть въ виду теоретическихъ слоновъ? И что за бѣда, что весь запасъ экзальтаціи, не находящей себѣ другого примѣненія, будетъ сосредоточиваться, именно, на этихъ букашкахъ? Глядя со стороны, оно, конечно, немножко смѣшно, но, во всякомъ случаѣ, безобидно,—чѣмъ бы

дитя ни тѣшилось, только бы не плакало,—а, можетъ-быть, и прокъ какой-нибудь выйдетъ. Неуважай-Корыто своей долбней все-таки расшатаетъ авторитетъ преданія о Чурилкѣ; пѣнкоснимателъ, либеральничающій въ области криминалистики, все-таки выторгуетъ у дѣйствительности пять минутъ изъ семилѣтняго срока каторги; педагогическое пѣнкоснимательство все-таки выраститъ физически-здоровыхъ ребятъ; пѣнкоснимательство въ области женскаго вопроса все-таки дастъ нѣсколько женщинъ, знающихъ ариѳметику и т. д. Возраженія эти были бы совершенно справедливы, „если бы эта спеціализація энтузіазма на малыхъ дѣлахъ не влекла за собой другихъ послѣдствій, кромѣ нарушенія пропорціональности и гармоніи частей, которое въ области духовной жизни такъ же оскорбительно для нравственно-эстетическаго чувства, какъ оскорбительна для глазъ опытнаго художника всякая непропорціональность въ строеніи тѣла. Еще съ такимъ отвлеченнымъ неудобствомъ можно бы было кое-какъ примириться, но дѣло въ томъ, что указанное нами явленіе влечетъ за собой и другія гораздо болѣе конкретныя послѣдствія. Бѣда не въ томъ, что пѣнкоснимателъ отмежевываетъ для своей либеральной практики вершокъ тамъ, гдѣ дѣйствительность не позволяетъ ему отмежевать аршинъ, а въ томъ, что онъ, ограждая предѣлы этого вершка отъ „расплыванья“, мало-по-малу обводитъ ихъ китайскою стѣной, изъ которой и выходъ впередъ становится такъ же невозможнымъ, какъ и выходъ назадъ. Пѣнкоснимателъ, выторговывающій у дѣйствительности пять минутъ каторги, до такой степени сосредоточивается на этихъ пяти минутахъ, что готовъ враждовать со всякимъ, кто пытается выторговать десять, и если бы сама дѣйствительность расщедрилась и уступила ему цѣлый мѣсяцъ, это скорѣе смутило бы, чѣмъ образовало его. Пѣнкоснимателъ-педагогъ, отмежевавшій себѣ сферу физическаго ухода за дѣтьми и Фребелевскаго метода, не только смутится, но сочтетъ васъ за злѣйшаго врага своего дѣла, если вы замѣтите ему, что ни Комбъ ни Фребель не помогутъ ему достигнуть главной цѣли воспитанія—создать человѣка, какъ общественную единицу. Какая-нибудь суетливая Марѳа женскаго вопроса будетъ хлопать на васъ глазами, если вы заговорите съ ней о чемъ-нибудь, кромѣ ариѳметики или акушерства; если же вы ей замѣтите, что нехорошее дѣло она дѣлаетъ, перебивая гро-

шовый заработокъ у женщинъ, существующихъ своимъ трудомъ, между тѣмъ какъ она пользуется готовыми хлѣбами у родителей или у мужа, то она закидаетъ васъ банальностями о женскомъ трудѣ и безъ дальнихъ околичностей сочтетъ васъ сторонникомъ самого Бишофа [1]). Словомъ, куда ни оглянитесь, всюду пѣнкоснимательство представляется продажею права первородства за чечевичную похлебку. Вотъ почему мы не можемъ не привѣтствовать отъ души тотъ негодующій упрекъ, который авторъ дневника бросаетъ въ лицо современному либерализму:

„Одна изъ характерныхъ чертъ пѣнкоснимательства—это враждебное отношеніе къ такъ-называемымъ утопіямъ. Надѣлите самаго ограниченнаго человѣка нѣкоторымъ количествомъ фантазіи и онъ устроитъ себѣ непремѣнно уголокъ, въ которомъ будетъ имѣть какую-нибудь завѣтную мечту. Мечты эти будутъ, конечно, неважныя... но, во всякомъ случаѣ, у него будетъ нѣчто свое, завѣтное, къ чему можно отнестись критически, чѣмъ можно разбередить его умственныя силы. Пѣнкосниматель не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній,—онъ гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно такъ же служитъ цивилизаціи, какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ уткнулся въ заборъ и ни о чемъ другомъ не хочетъ знать. Не хочетъ знать даже, существуютъ ли на свѣтѣ иные заборы и въ какомъ отношеніи находятся они къ забору, имъ созерцаемому...“

Богъ съ ними, однакожъ, съ утопіями, если ужъ этому выраженію суждено наводить страхъ на всѣхъ, кому нужны страшныя слова, чтобы застраховать свою душевную нищету. Но, вѣдь, и помимо утопій есть почва, на которой можно критически отнестись къ дѣйствительности, а именно—та почва, на которой стоитъ сама дѣйствительность. Ограничьте конкретность факта до послѣдней степени, доведите ее до самой нищенской наготы—вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пѣнкоснимательными усиліями фактъ имѣетъ и свою исторію, и свою современную обстановку, и свои ближайшія послѣдствія, не касаясь уже отдаленнаго будущаго. *Разъяснить эту обстановку факта, опредѣлить путь, по которому онъ долженъ слѣдовать, не извращая своею внутренняго смысла, все это уже не утопія, а именно та самая почва факта, на которой онъ стоитъ въ дѣйствительности. Но пѣнкосниматель, постоянно твердя о конкретности фактовъ, разу-*

[1]) Эдуардъ Бишофъ—извѣстный нѣмецкій романистъ, сильный противникъ раціонализма, выставившій реформацію, какъ безобразный бунтъ противъ папы. Цѣлый рядъ произведеній онъ направилъ противъ естественно-научныхъ изслѣдованій и либерализма. *Примѣч. Н. Д.*

мѣетъ совсѣмъ не конкретность, а разрозненность, потому что все, что имѣетъ видъ обобщенія, что напоминаетъ объ отношеніи и связи,—все это не подходитъ подъ его понятіе о конкретности...—„Наше время—не время широкихъ задачъ,—гласитъ онъ безъ всякаго стыда.—Не расплывайся! Не заѣзжай! Не раздражай! Взирай прилежно на то, что лежитъ у тебя подъ носомъ". Быть-можетъ, мы желали бы, чтобы авторъ занялся нѣсколько болѣе всестороннимъ разсмотрѣніемъ причинъ, создавшихъ пѣнкоснимательство, и отвѣтилъ нѣсколько опредѣленнѣе на сомнѣніе, возникающее въ немъ самомъ: „Воля ваша,—восклицаетъ провинціалъ,—а я до сихъ поръ не могу примириться съ мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою! Мнѣ все кажется, что эти индивидуумы подневольные, сносящіе иго пѣнкоснимательства лишь потому, что чувствуютъ себя въ каменномъ мѣшкѣ". Разъ такое сомнѣніе возникло въ авторѣ, онъ, пока не разрѣшилъ его, лучше бы сдѣлалъ, если бы воздержался отъ разсужденій о „благонадежности положенія пѣнкоснимателей относительно такъ-называемыхъ карательныхъ мѣръ" и отъ глумленія надъ тѣми непріятностями, которыми пѣнкоснимателі платятся „по недоразумѣнію" за свое „озорство". Эти разсужденія и это глумленіе, пока не выясненъ вопросъ о томъ, насколько въ пѣнкоснимательствѣ участвуетъ элементъ злостной самопроизвольности и насколько элементъ наивной страдательности,—а выяснить этотъ вопросъ едва ли можно въ настоящее время,—представляются по меньшей мѣрѣ излишними. Къ тому же они какъ-то непріятно противорѣчатъ тѣмъ справедливымъ упрекамъ, которые авторъ бросаетъ въ лицо литературѣ за то, что она „даже по вопросамъ самосохраненія неспособна притти къ единомыслію, а способна только предаваться взаимнымъ заушеніямъ по поводу выѣденнаго яйца". Но, оставивъ эту сторону дѣла, мы, повторяемъ,—отъ души привѣтствуемъ эту первую въ литературѣ попытку предостеречь общество отъ болѣзни, гораздо болѣе опасной, чѣмъ пресловутыя „язвы". Каковъ бы ни былъ процентъ злостности и пассивности въ лагерѣ пѣнкоснимателей, и та и другая равно отнимаютъ у соли ея силу; если „либерализмъ" и можетъ служить до извѣстной степени убѣжищемъ отъ обличеній, то лишь подъ условіемъ, чтобъ этимъ правомъ убѣжища не злоупотребляли тѣ выдохшіеся, прѣсные, гнилостные элементы, которые до того

заразили атмосферу нашего либерализма, что самое слово это получило какое-то двусмысленное, неблаговидное значеніе. Въ литературной попыткѣ автора *Дневника* намъ сказывается первое пробужденіе общественнаго сознанія, подмѣченное чутьемъ художника и публициста. Пожелаемъ же, чтобъ и въ жизни это сознаніе формулировалось въ строгую критику, въ цѣльное міросозерцаніе и очистило нашу интеллигентную атмосферу отъ всякаго хлама, нанесеннаго въ нее вѣдающими и невѣдающими что творятъ.

„Помпадуръ борьбы", Н. Щедрина [1]).

Чрезвычайно много юмора и сатиры въ разсказѣ г. Щедрина „Помпадуръ борьбы". Героемъ разсказа является нѣкто Ѳеденька Кротиковъ. „Я съ дѣтскихъ лѣтъ, говоритъ авторъ, знаю Ѳеденьку Кротикова. Въ школѣ онъ былъ отличный товарищъ, готовый и въ форточку покурить, и прокатиться на лихачѣ, и кутнуть гдѣ-нибудь въ заднихъ комнатахъ ресторанчика. По выходѣ изъ школы, продолжая оставаться отличнымъ товарищемъ, онъ, въ какихъ-нибудь три-четыре года, напилъ и наѣлъ у Дюссо на десять тысячъ рублей и задолжалъ нѣсколько тысячъ за ложу на Минерашкахъ, изъ которой имѣлъ удовольствіе аплодировать m-elle Blanche Candon. Это заставило его взглянуть на свое положеніе серіознѣе. Роль добраго товарища обходилась слишкомъ дорого: надо было остепениться и избрать карьеру. И вотъ, не прошло четырехъ лѣтъ, слышимъ, что онъ, прямо изъ подъ ферулы Дюссо, вдругъ выказалъ необыкновенный административный блескъ. Еще немного, и Ѳеденька былъ уже помпадуромъ *) въ городѣ Навозномъ. Какимъ образомъ все это случилось, никто не могъ дать себѣ отчета. Всѣ видѣли, что Ѳеденька сидитъ у Дюссо, но никто не подозрѣвалъ, что онъ сидитъ не спроста, а изучаетъ духъ времени. У Дюссо же, кстати, собираются наѣзжіе помпадуры и, за бутылкой добраго вина, развиваютъ виды и предположенія, какіе кому Богъ на душу положитъ, а, слѣдовательно, для молодыхъ кандидатовъ въ администраторы лучшей школы не

---

[1]) „Сынъ Отечества", 1873 г., № 232. (См. выпускъ I-й, стран. 65.)

*) Несомнѣнно, слово „помпадуръ" Щедринъ производитъ отъ имени Антуанетты Пуассонъ маркизы де-Помпадуръ, фаворитки Людовика XV, бывшей, какъ извѣстно, фактической правительницей Франціи. Щедринъ дѣлаетъ это имя нарицательнымъ и даетъ его нашимъ администраторамъ, управляющимъ губерніями. Соображенія на этотъ счетъ „Вѣстн. Европы" (см. стран. 81) врядъ ли заслуживаютъ вниманія. Весьма вѣроятно, что Щедринъ никогда не читалъ „Записки" Порошина, ибо это ни для кого не обязательно, что же касается маркизы Помпадуръ, то это имя хорошо извѣстно исторіи, и не знать его Щедринъ не могъ. *Прим. Н. Д.*

можетъ быть. И Θеденька воспользовался ею вполнѣ, т.-е. прислушивался и смекалъ. И вотъ, когда онъ понялъ, что для современнаго администратора ничего больше не требуется, кромѣ свободныхъ манеръ, то тотчасъ же сообразилъ, что и онъ въ этомъ отношеніи не лыкомъ шитъ. Проникнувъ въ извѣстныя сферы, изъ которыхъ, какъ изъ нѣкоего водохранилища, изливается на Россію многоводная рѣка помпадурства, Θеденька, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, сболтнулъ хлесткую фразу, въ родѣ того, что Россію губитъ излишняя централизація; что необходимо децентрализировать, т.-е. эмансипировать помпадуровъ, усиливъ ихъ власть; что мѣстная администрація слишкомъ погружена въ подробности и мелочи; что мелочи отвлекаютъ ее отъ главныхъ задачъ, т.-е. отъ внутренней политики, и пр. Однимъ словомъ, высказалъ все, что говорится у Дюссо за стаканомъ добраго вина наѣзжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнулъ и понравился, понравился,—и былъ признанъ способнымъ уловлять вселенную".

Затѣмъ авторъ начинаетъ рисовать, съ тою же долей юмора, самые подвиги Θеденьки въ Навозномъ, какъ администратора. Сначала Θеденька счелъ нужнымъ явиться либераломъ съ разными либеральными затѣями и починами. „Онъ писалъ циркуляры о необходимости заведенія фабрикъ; о возможности, при добромъ желаніи, населить и оплодотворить пустыни; о пользѣ развитія путей сообщенія, промысловъ, судоходства, торговли, и изъявлялъ надежду, что земледѣліе, споспѣшествуемое, съ одной стороны, садоводствомъ, а съ другой—улучшеніемъ породъ скота, принесетъ желаемые плоды и, такимъ образомъ, оправдаетъ возлагаемыя на него надежды. Онъ призывалъ къ себѣ для совѣщанія купцовъ и доказывалъ имъ неотложность учрежденія кожевенныхъ и мыловаренныхъ заводовъ, при чемъ говорилъ: „Прошу васъ, господа!" а въ случаѣ надобности, даже „Требую". Онъ приглашалъ дворянъ и говорилъ, что дворянское сословіе всегда было опорой, а потому и теперь должно первое подать примѣръ. Въ ожиданіи же результатовъ этой судорожной дѣятельности, онъ дѣлалъ внезапныя вылазки на пожарный дворъ; осматривалъ лавки, въ которыхъ продавались съѣстные припасы; требовалъ исправнаго содержанія мостовыхъ; пробовалъ похлебку, приготовляемую въ тюремномъ замкѣ для арестантовъ; прекращалъ чуму, холеру, оспу, сибирскую язву; соби-

ралъ деньги на учрежденіе дѣтскаго пріюта, городского театра и публичной библіотеки; предупреждалъ и пресѣкалъ бунты и, въ особенности, выказывалъ страстные порывы при взысканіи недоимокъ. Но изъ всѣхъ этихъ затѣй Ѳеденька достигъ относительнаго успѣха только по части пресѣченія бунтовъ и взысковъ недоимокъ, а ко всѣмъ прочимъ его запросамъ общество отнеслось глухо, почти безучастно, и вотъ, начинается второй періодъ кротиковскаго либерализма,—либерализма меланхолическаго, жалующагося, укоряющаго! Г. Щедринъ весьма остроумно представилъ одинъ циркуляръ, написанный въ духѣ подобнаго либерализма. Но, когда и этотъ голосъ былъ неумѣстенъ, Кротиковъ становится консерваторомъ и помпадуромъ борьбы. А сталъ онъ имъ вслѣдствіе, видите ли, вычитаннаго въ газетахъ извѣстія, что въ версальскомъ національномъ собраніи образовалась партія, которая на развалинахъ любезнаго отечества водрузила знамя „борьбы". „Слово это, говоритъ авторъ, было для Ѳеденьки цѣлымъ откровеніемъ. Да, это оно, это—то самое слово, до котораго онъ столько лѣтъ такъ тщетно додумывался. Все, что безсвязно копошилось въ немъ, съ той самой минуты, какъ онъ объявилъ себя консерваторомъ, все, къ чему онъ порывался и къ обрѣтенію чего дѣлалъ тщетныя попытки,—все нашло для себя осуществленіе въ словѣ „борьба". Не то чтобъ онъ понялъ смыслъ этого слова, но онъ достигъ результата еще болѣе существеннаго: онъ понялъ, что ему нѣтъ надобности что-нибудь понимать. До сихъ поръ, онъ отыскивалъ корни и нити и былъ до крайности сконфуженъ, что никакихъ корней не отыскивается, теперь онъ убѣдился, что ни въ чемъ подобномъ нѣтъ надобности, и что на будущее время онъ окончательно освобожденъ отъ труда что-нибудь отыскивать".

Рисуя съ этой стороны Кротикова, авторъ набросалъ весьма юмористичную сцену того, какъ этотъ помпадуръ борьбы, узнавъ о томъ, что въ Парэ-Моніалѣ произошло публичное отреченіе отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его, задумалъ то же устроить и въ Навозномъ, и какой по этому поводу разговоръ онъ имѣлъ съ пустынникомъ. Самая личность пустынника не избѣжала колкости сатиры.

Вообще, новый разсказъ г. Щедрина дышитъ остроуміемъ и выдается даже изъ ряда другихъ его разсказовъ.

Два очерка [1]).

Къ читателю.—Въ больницѣ для умалишенныхъ.

Въ апрѣльской книжкѣ „Отеч. Зап.“ неистощимый г. Щедринъ угощаетъ насъ сразу двумя очерками: „Благонамѣренныя рѣчи“ и „Въ больницѣ для умалишенныхъ“—и оба очерка полны остроумія и иронiи. Въ первомъ онъ остроумничаетъ по поводу „обузданія“, на принципѣ котораго „все сплошь зиждется міросозерцаніе громаднаго большинства“, а самый принципъ этотъ таковъ, что „продолжаетъ стоять незыблемый, неизслѣдованый“, написанный „во всѣхъ азбукахъ, на всѣхъ фронтисписахъ, на всѣхъ лбахъ“. Этотъ принципъ „обузданія“, около котораго ютятся и кормятся цѣлыя арміи „лгуновъ“, даетъ поводъ къ рельефной обрисовкѣ самыхъ лгуновъ. Лгуны, для которыхъ „обузданіе“ представляетъ отправную точку всей дѣятельности, бываютъ,—разсуждаетъ русскій Гамбетта,—двухъ сортовъ: лицемѣрные, сознательно лгущіе и искренніе фанатическіе. Лицемѣрные лгуны—истинные дѣльцы современности. Они лгутъ, какъ говорилось когда-то, при крѣпостномъ правѣ, „пуръ-ле-шансъ“, нимало не отрицая ненужности принципа обузданія въ отношеніи къ себѣ и людямъ своего круга. Они забрасываютъ васъ всевозможными краеугольными камнями, загромождаютъ вашу мысль всякими „основами“ и тутъ же, на вашихъ глазахъ, на камни поскудятъ, а на основы плюютъ. Въ обществѣ эти люди носятъ названіе „дѣльцовъ“, потому что они не прочь отъ компромиссовъ, и „добрыхъ малыхъ“, потому что они всегда готовы на всякое двоедушіе: и Богу помолиться и покощунствовать. Это—ревнители тихаго разврата; рыцари бездѣлицы, показывающіе свои патенты лишь такимъ же рыцарямъ, какъ и они; посѣтители „отдѣльныхъ кабинетовъ“; устроители всякихъ комбинацій на основаніи правила: „и волки сыты и овцы цѣлы“; антреметтеры высшей школы; политическія и нравственныя кукушки, потихоньку кладущія свои яйца въ чужое гнѣздо; не столько разбойники, сколько карманные воришки. Лично каждый изъ этихъ

[1]) „Сынъ Отечества“, 1873 г., № 87. (См. выпускъ I-й, стран. 65.)

господъ ничего другого не заслуживаетъ, кромѣ презрѣнія, которое, впрочемъ, значительно умѣряется опасеніемъ: вотъ-вотъ сейчасъ онъ надуетъ! сейчасъ выкинетъ штуку, которая подорветъ ваше благополучіе, уничтожитъ ваше спокойствіе и втопчетъ въ грязь всю вашу жизнь. Лгуны же искренніе суть тѣ утописты „обузданія“, передъ которыми содрогается даже освоившаяся съ лганьемъ дѣйствительность. Это—чудища, которыя лгутъ не потому, чтобъ имѣли умыселъ вводить въ заблужденіе, а потому, что не хотятъ знать ни свидѣтельства исторіи ни свидѣтельства современности, которые если и видятъ фактъ, то признаютъ въ немъ не фактъ, а капризъ человѣческаго своеволія. Они бросаютъ въ васъ краеугольными камнями вполнѣ добросовѣстно, нимало не помышляя о томъ, что камень можетъ убить. Это—угрюмые люди, никогда не покидающіе марева, созданнаго ихъ воображеніемъ, и съ неутомимой послѣдовательностью приводящіе это марево въ дѣйствительность. Всегда вооруженные, недоступные, неподкупные, они не останавливаются не только передъ насиліемъ, но и передъ пустотою. „Если въ результатѣ нашихъ насилій оказывается только пустота, говорятъ они, то, слѣдовательно, оно не можетъ быть иначе“. И вновь начинаютъ безумную работу данаидъ, совершая мимоходомъ злодѣянія, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый изъ этихъ господъ можетъ вызвать лишь изумленіе передъ безграничностью человѣческаго тупоумія, изумленіе, впрочемъ, значительно умѣряемое опасеніемъ: вотъ-вотъ сейчасъ налетитъ! вотъ-вотъ сейчасъ убьетъ, сотретъ съ лица земли этотъ ураганъ тупоумнаго, безсознательнаго лганья, отстаивающаго свое право убивать во имя какой-то личной „искренности“, до которой никому нѣтъ дѣла и передъ которою, тѣмъ не менѣе, сотни глупцовъ останавливаются съ разинутыми ртами: это-де искренность, а искренность надо уважать“.

„Въ больницѣ для умалишенныхъ“ авторъ не менѣе зло смѣется надъ разными Ванями и Ванечками съ ихъ „закусочными“, а вмѣстѣ и съ той системой воспитанія, которая плодитъ этихъ Ванечекъ. Авторъ весьма рельефно выставилъ на видъ ту пустоту интересовъ, какая занимаетъ Ванечекъ и вертится около лошадей цирка да Эммъ, и ту пустоту рѣчей, какая свойственна собраніямъ этихъ шалопаевъ.

„Опять я въ дорогѣ“ [1]).

(Очеркъ.)

Г. Щедринъ продолжаетъ свои „Благонамѣренныя рѣчи“, въ которыхъ излагаетъ свои путевыя впечатлѣнія, вызванныя или порожденныя тѣми или другими встрѣтившимися ему явленіями жизни. Явленія эти неотрадны, а потому невеселы и самыя впечатлѣнія. Онъ говоритъ о томъ, что стало съ нашимъ сельскимъ хозяйствомъ, чѣмъ сдѣлался помѣщикъ и чѣмъ сталъ крестьянинъ. Весь разсказъ составляетъ рядъ сценъ, изъ которыхъ мы, для примѣра, возьмемъ одну. „Какъ-то не вѣрится,—говоритъ авторъ,—что я снова въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были свидѣтелями моего дѣтства. Природа ли, люди ли здѣсь измѣнились, или я слишкомъ долго велъ бродячую жизнь среди иныхъ людей и иной природы, какъ бы то ни было, но я съ трудомъ узнаю родную окрестность. Съ освобожденіемъ крестьянъ помѣщиками овладѣло какое-то страстное желаніе ликвидировать. Безденежье, неумѣлость, неприготовленность, гнетъ старыхъ привычекъ и пріемовъ—все соединилось, чтобы поддерживать въ нихъ это стремленіе. Выраженіе „у насъ все свое, некупленное“ сдѣлалось уже преданіемъ. Теперь у всѣхъ все купленное и притомъ втридорога, потому что сдѣлать нужныя закупки оптомъ, въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, нѣтъ средствъ, а мѣстный торговецъ-монополистъ на все назначаетъ цѣну по душѣ. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками да при этомъ еще имѣть разговоръ съ мировымъ судьей. Какъ-будто, впервые поразила всѣхъ мысль, что существуетъ какой-то процессъ, безъ котораго пашня не производитъ хлѣба, луга—травы. Прежде все это производилось безъ всякаго процесса, такъ какъ-то, само-собою, а теперь—нѣтъ. Побьется-побьется

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1873 г., № 254. (См. выпускъ I-й, стран. 65.)

помѣщикъ и придетъ къ убѣжденію, что единственный для него исходъ—ликвидировать. А такъ какъ помѣщикъ здѣсь изстари былъ властелиномъ лѣсовъ, полей, луговъ и всего, что на землѣ, и всего, что подъ землей, то и выходитъ, что, какъ-будто, вся мѣстность разомъ ликвидируетъ.

„Въ настоящее время все составляетъ бремя для помѣщика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящій въ разрушеніе, домъ. Пашни лежатъ запустѣлыя, потому что, хотя и пробовали сгоряча, на первыхъ порахъ, пахать, но запахали себѣ въ карманъ и бросили. Луга заѣзжены и потравлены, потому что прежнее властное слово „не смѣть“ никого уже не сдерживаетъ. Пустоши никому не нужны и поросли чортъ-знаетъ чѣмъ. Естественно, что при такомъ положеніи дѣла нѣтъ иного спасенія, кромѣ ликвидаціи, но вопросъ: какъ ликвидировать? Продать землю? За землю даютъ грошъ, да и тотъ съ разсрочкой. Воспользоваться выкупною ссудою? Но она уже давно пущена въ оборотъ на затычку старинныхъ помѣщичьихъ легкомысленностей. Но всѣ какъ-то разомъ прозрѣли: нашлась статья настоящая, серіозная—лѣса. Лѣса здѣсь были сплошные, береженые, на лѣсъ не было покупателя, потому что нечего было съ нимъ дѣлать. Лѣсомъ, исключительно и, притомъ, безпошлинно, пользовались крѣпостные крестьяне, которые курили смолу, сидѣли деготь, дѣлали кадки, чашки, ложки и другой щепной товаръ. Теперь въѣздъ въ помѣщичій лѣсъ крестьянамъ возбраненъ, лѣсной промыселъ палъ, и, конечно, надолго бы остался лѣсъ мертвымъ капиталомъ и для помѣщиковъ и для края, если бъ на выручку не подоспѣли желѣзныя дороги, которыя значительно приблизили пункты сбыта. Вмѣстѣ съ первымъ слухомъ о желѣзныхъ дорогахъ появились и личности изъ мѣстныхъ прасоловъ, кабатчиковъ, бывшихъ приказчиковъ, бургомистровъ и прочаго крестьянскаго дѣлового люда, которыя начали неутомимо разъѣзжать на бѣговыхъ дрожкахъ отъ помѣщика къ помѣщику, предлагая свое содѣйствіе по устройству ликвидаціи. Помѣщики ободрились. „Продать, продать!“ завопили они хоромъ, „продать и затѣмъ бѣжать“.

Я ѣду и положительно ничего не узнаю. Вотъ здѣсь, на самомъ этомъ мѣстѣ, стояла сплошная стѣна лѣсу; теперь, по обѣимъ сторонамъ дороги, лежатъ необозримыя пространства, покрытыя пеньками. Помѣщикъ зря продалъ

лѣсъ, купецъ зря срубилъ его, крестьянинъ зря выпустилъ на порубку стадо. Никому ничего не жалко, никто не заглядываетъ въ будущее, всякій спѣшитъ сорвать все, что въ данную минуту сорвать можно. И вотъ, давно ли началась эта вакханалія, а окрестность уже имѣетъ обнаженный, почти безнадежный видъ. Пеньки, пеньки и пеньки; кое-гдѣ тощій лазнякъ.

— Нехороши наши мѣста стали, неприглядны,—говоритъ мой спутникъ, старинный житель этой мѣстности, знающій ее, какъ свои пять пальцевъ;—покуда лѣса были цѣлы, жить было можно, а теперь словно послѣднія времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы—ничего не будетъ. Пошли сиверки, холода, бездождица, земля трескается, а пару не даетъ. Шутка сказать, май въ половинѣ, а изъ полушубковъ не выходимъ!

И точно, холодный вѣтеръ пронизываетъ насъ насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то, что небо безоблачно и солнце заливаетъ блескомъ окрестные пеньки и побѣлѣвшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются свѣжія, тощія травинки. Вотъ вамъ и роскошный май. Прежде въ это время скотина была сыта въ полѣ, лѣса стонали птичьимъ голосомъ, воздухъ былъ тихъ, влаженъ и нагрѣтъ. Выйдешь, бывало, на балконъ, такъ и обдастъ тебя душистымъ паромъ распустившейся березы или смолистымъ запахомъ сосны и ели.

— Помнишь, Софронъ Матвѣевичъ, въ прежнее время, бывало, въ семицкій четвергъ [1]) дѣвки вѣнки завивали?— обращаюсь я къ моему спутнику.

— Да и вы, чай, помните, какъ въ Троицынъ день въ бѣлыхъ панталонцахъ, съ цвѣточками въ рукахъ, въ церковь хаживали?

Да все это было; и дѣвки вѣнки завивали и дворянскія дѣти, съ букетами піоновъ, нарциссовъ и сирени, ходили въ Троицынъ день въ церковь. Теперь не то что піона, а и дворянскаго дитю во всей окрестности днемъ съ огнемъ не отыщешь. Теперь семикъ на дворѣ, и не то что цвѣтка не сыщешь, а скотина ходитъ въ полѣ голодомъ.

---

[1]) *Семикъ*—весенній народный праздникъ, празднуется въ 7-й четвергъ послѣ Пасхи и сопровождается плетеніемъ вѣнковъ изъ молодыхъ березъ, пѣснями и играми. *Н. Д.*

Грустна эта сцена, но ихъ повторяемъ, цѣлый рядъ, и вотъ изъ нихъ еще одна, которая будетъ едва ли не грустнѣе приведенной.

Между тѣмъ-какъ я предавался размышленіямъ, лошади какъ то сами-собой остановились. Выглянувъ изъ тарантаса, я увидѣлъ, что мы стоимъ у такъ-называемаго постоялаго двора, на дверяхъ котораго красуется надпись: „Распивочно и на выносъ".

Ямщикъ разнуздываетъ лошадей, которыя трясутъ головами и громыхаютъ бубенчиками.

— Лошадей хочу поить,—обращается къ намъ ямщикъ.

— Чего „лошадей поить"! Вижу я, куда у тебя глаза-то скосило,—ворчитъ Софронъ Матвѣевичъ.

— Что жъ, на свои деньги и самъ выпить могу.

— То-то „самъ"... до мѣста, видно, нельзя подождать! На пароходъ опоздаемъ!

— На пароходъ еще за сутки пріѣдемъ. Ты, чай, и выпилъ и закусилъ дома съ бариномъ, а я на пустыхъ-то щахъ только зубы себѣ нахлопалъ!

Дверь кабака визжитъ, и ямщикъ скрывается за ней.

— А много пьютъ?—спрашиваю я.

— Такъ довольно, такъ довольно, что если, кажется, еще немного, совсѣмъ наша сторона какъ дикая сдѣлается. Многіе даже заговариваться стали.

— То-есть, какъ же это заговариваться?

— Совсѣмъ не тѣ слова говоритъ, какія хочетъ. Хочетъ сказать, къ примѣру: стѣна, а говоритъ: телѣга. Иного даже и совсѣмъ не поймешь. Не знаетъ даже, что у него подъ ногами: земля ли, крыша ли, рѣка ли. Да, вонъ, смотрите, черезъ поле молодецъ бѣжитъ!.. ишь, поспѣшаетъ. Это сюда, въ кабакъ.

И, дѣйствительно, черезъ нѣсколько секундъ съ нашимъ тарантасомъ поровнялся рослый мужикъ, имѣвшій крайне озабоченный видъ. Лицо у него было блѣдное, глаза мутные, волосы взъерошенные, губы сочились и что-то безъ умолку лепетали.

Въ каждой рукѣ у него было по подковѣ, которыми онъ звякалъ одна о другую.

— Давно не пивалъ, почтенный?—обратился къ нему Софронъ Матвѣевичъ.

— Завтра пивалъ!.. Реговонно табѣ... талды! Веней пина

Заррокъ!—бормоталъ мужикъ, остановившись и словно испуганный человѣческой рѣчью.

— Вотъ и разговаривай съ нимъ, какъ этакой-то къ тебѣ въ работники наймется! А что, почтенный, тебѣ и въ кабакъ-то ходить не для че? Ты встряхнись—безъ вина пьянъ будешь!

Мужикъ стоялъ, блуждая глазами по сторонамъ и какъ бы нѣчто соображая.

— Подковы-то укралъ, поди! Чужія, небось?

— Ч-ч-ій; виней пина... реговонно... талды...

— Ну, ну, ступай своей дорогой!

— Веней!—крикнулъ мужикъ не своимъ голосомъ, дѣлая всѣмъ корпусомъ движеніе въ нашу сторону.

„На другой день съ почтовымъ поѣздомъ, заключаетъ авторъ, я возвращался въ Петербургъ. Дорогой я опять слышалъ „благонамѣренныя рѣчи“ и мчался дальше и дальше съ твердою надеждою, что и впередъ, гдѣ бы я ни былъ, куда бы ни толкнула меня судьба, всегда и вездѣ будутъ преслѣдовать меня *благонамѣренныя рѣчи*“.

А мы, хотя и признаемъ за „Благонамѣренными рѣчами“ немалыя достоинства, и хотя не можемъ отвергать, что онѣ не лишены сатиры, тѣмъ не менѣе отъ души желаемъ, чтобы, наконецъ, съ лица земли русской исчезли тѣ грустныя явленія, съ которыми насъ знакомитъ авторъ, и вѣримъ, что русской жизни не вѣчно же суждено страдать отъ нихъ.

Щедринъ и его критика [1]).

I.

*) Я полагаю, что каждый безпристрастный читатель, не снѣдаемый какою-нибудь мелкою, дрянною страстишкой, котораго г. Щедринъ не заклеймилъ еще ядовитою кличкой на всю жизнь, или которому онъ не успѣлъ еще, въ ка-

---

[1]) „Искра“, 1873 г., №№ 12 и 13.

*) Въ 60-хъ годахъ не было, кажется, ничего страшнѣе для русскаго администратора или общественнаго дѣятеля, какъ „попасть въ Искру“. Это уже само по себѣ говоритъ за степень нравственнаго авторитета, которымъ пользовался этотъ журналъ. Это послѣднее обстоятельство становится вполнѣ понятнымъ, если припомнить, что въ журналѣ участвовали: Н. А. Добролюбовъ, Курочкинъ, А. В. Дружининъ, П. И. Вейнбергъ, П. А. Гайдебуровъ, Д. Д. Минаевъ, Глѣбъ Успенскій, Рѣшетниковъ, Герценъ, А. М. Жемчужниковъ, Златовратскій, Буренинъ и мн. др.

„Искра“, сатирич. и юморист. журн., издавался съ 1859 г. по 1873 г. Журналъ этотъ возникъ по мысли извѣстнаго карикатуриста Н. А. Степанова, и талантливаго переводчика Беранже, В. С. Курочкина. Журналъ часто навлекалъ на себя административныя кары и тяжело чувствовалъ „существованіе цензурнаго вѣдомства“. Объ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ знаменитый экспромптистъ Минаевъ, за товарищескимъ обѣдомъ, сказалъ:

Тамъ надъ статьями совершаютъ
Вдвойнѣ цивическій обрядъ:
Ихъ какъ евреевъ обрѣзаютъ
И какъ католиковъ крестятъ...

„Искра“ окончательно прекратила свое существованіе на 39 нумерѣ 1873 г. за „превратныя и совершенно неумѣстныя сужденія о правительственной власти“. Съ 1870 г. „Искра“ выходила уже безъ карикатуръ, конечно, не по собственному желанію. И талантливые сотрудники и руководящія начала журнала были таковы, что привлекли къ себѣ симпатіи всего тогдашняго мыслящаго общества. Журналъ принималъ самое горячее участіе въ общественномъ движеніи 60-хъ годовъ и оказалъ этимъ обществу несомнѣнную услугу.

Въ помѣщаемой у насъ статьѣ авторъ горячо отстаиваетъ произведенія Щедрина отъ той критики, которая, по разнымъ причинамъ, старается умалить значеніе выдающагося дарованія нашего сатирика.

Прим. Н. Денисюка.

чествѣ редактора, возвратить непризнаннаго авторскаго бумагомаранья, согласится, что г. Щедринъ относится къ числу самыхъ отрадныхъ явленій въ нашей литературѣ. Талантъ г. Щедрина принадлежитъ къ числу немногихъ въ современной беллетристикѣ, которые не увядаютъ подъ вліяніемъ внѣшнихъ невзгодъ или внутренняго худосочія, а, напротивъ того, развиваются, съ каждымъ годомъ пріобрѣтая большее значеніе. Стоитъ только сравнить „Губернскіе очерки“ съ сатирою г. Щедрина послѣднихъ пяти лѣтъ, чтобъ увидѣть, что былъ и чѣмъ сталъ г. Щедринъ. Въ „Губернскихъ очеркахъ“ г. Щедринъ стоитъ еще на почвѣ той самой обличительной литературы, которая была въ концѣ 50-хъ годовъ и надъ которою посмѣивался неоднократно Добролюбовъ, при видѣ сатириковъ, съ пафосомъ оскорбленныхъ гражданъ нападавшихъ на канцелярскаго служителя, выпросившаго гривенникъ у просителя, и не обращавшихъ вниманія на массу крупнаго зла, тяготѣвшаго надъ обществомъ. Но и тогда Добролюбовъ выгораживалъ г. Щедрина изъ массы обличителей того времени, съ одной стороны, за его недюжинный талантъ, съ другой—потому, что и тогда уже въ сатирѣ г. Щедрина часто мелькали образы и раздавались мотивы, далеко выходящіе изъ узкихъ предѣловъ обличительной литературы. Въ послѣднія же пять лѣтъ талантъ г. Щедрина развился до размѣровъ, которые трудно было и предвидѣть десять лѣтъ тому назадъ: изъ обличителя злоупотребленій становыхъ исправниковъ и судебныхъ засѣдателей онъ возвысился до сатирика общественныхъ нравовъ. Главное достоинство сатиры г. Щедрина въ настоящее время заключается въ томъ тонкомъ чутьѣ, съ какимъ умѣетъ онъ уловлять наиболѣе пошлыя явленія въ жизни общества въ данный моментъ, наиболѣе смѣшныя и тонкія положенія людей въ различныхъ слояхъ общества, и воплощать ихъ въ вѣковѣчные типы. Въ этомъ отношеніи, сатира г. Щедрина, безспорно, пріобрѣтаетъ, съ каждымъ днемъ, все большее общественное значеніе. Кто даже совсѣмъ не читалъ ни одной строчки г. Щедрина, и тотъ можетъ судить объ общественномъ значеніи этого писателя по той популярности, которую пріобрѣтаетъ,онъ, съ каждымъ днемъ, болѣе и болѣе. Рѣдкая бесѣда въ обществѣ, нумеръ газеты или журнала обходятся безъ упоминанія того или другого мѣста или типа сатиры г. Щедрина; прозвища, которыми онъ

заклеймилъ различныя пошлыя явленія жизни, у всѣхъ постоянно на языкѣ. По этому одному можно судить, что подъ именемъ г. Щедрина разумѣется сила, во всѣхъ отношеніяхъ, недюжинная. Въ самомъ дѣлѣ, нуженъ талантъ и большой талантъ, чтобы типы писателя врѣзывались въ головы читателей и ходили бы въ обществѣ, какъ деньги; чтобы прозвища его дѣлались нарицательными словами. Много ли вы насчитаете такихъ писателей въ прошломъ, которые производили бы такое дѣйствіе?

И однакоже, что же мы видимъ? Г. Щедринъ, устами котораго смѣется надъ собою все наше общество, до сихъ поръ не нашелъ еще критика, который по достоинству оцѣнилъ бы его произведенія. Оттого ли, что, по пословицѣ, пророку плохая слава въ своей землѣ, оттого ли, что сила, наиболѣе вліяющая на насъ, наименѣе поддается анализу, оттого ли, наконецъ, что критика-то наша больно ужъ хороша, но только мы не помнимъ, чтобы, въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, былъ въ литературѣ нашей хоть одинъ отзывъ о г. Щедринѣ хоть сколько-нибудь основательный и безпристрастный.

Мы не беремъ на себя попытки искупить этотъ грѣхъ критики, тѣмъ болѣе, что было бы весьма курьезно мечтать объ обстоятельной оцѣнкѣ произведеній г. Щедрина въ небольшой газетной рецензіи; мы ограничимся болѣе скромною цѣлью характеристики критиковъ г. Щедрина. Это дастъ намъ поводъ поговорить о самомъ г. Щедринѣ, насколько позволятъ намъ размѣры газетной рецензіи, а, съ другой стороны, по критикамъ г. Щедрина мы попытаемся составить характеристику современной критики вообще. Итакъ, къ дѣлу.

Всѣхъ критиковъ г. Щедрина можно раздѣлить на три разряда. Характеристика каждаго изъ этихъ разрядовъ составитъ особенную статью. Въ настоящей статьѣ мы займемся критиками перваго разряда—*пѣнкоснимателями.*

II.

Легкомысленные, легковѣстные снимати пѣнокъ со всевозможныхъ сливокъ человѣческаго труда въ потѣ лица, пустозвонные гаеры, вѣчно кривляющіеся высокопарными спичами, о развитіи промышленности и процвѣтанія россій-

скаго прогресса, въ засѣданіяхъ обществъ водотолченія, разныхъ преніяхъ или юбилейныхъ обѣдахъ въ честь другъ-друга, вѣчно-скользящіе въ жизни, веселые, самодовольные, жуирующіе и ни во что пристально не вглядывающіеся,— неужели подобные общественные шуты могутъ выпустить изъ своей среды критика, который былъ бы способенъ оцѣнить г. Щедрина, тѣмъ болѣе, если принять во вниманіе, что они-то наиболѣе всего подвергаются въ настоящее время бичу сатирика. Единственный принципъ, на которомъ они твердо стоятъ, это—принципъ нравственной эквилибристики, заключающійся въ томъ, чтобы во всемъ держаться спасительной серединки и къ каждому явленію жизни, какъ бы оно безобразно ни было, подходить съ подобающею почтительностью, „принимая въ соображеніе прискорбные недостатки и отдавая, въ то же время, долгъ справедливости". Этотъ принципъ они вводятъ и въ критику и требуютъ примѣненія его—отъ кого?—отъ г. Щедрина, сатирика!

Сатирикъ, замѣчающій „прискорбные недостатки и, въ то же время, отдающій долгъ справедливости"... Но, вѣдь, такой идеалъ сатирика—смѣшеніе кайенскаго перца съ патокой, Мефистофеля съ Маниловымъ—вѣдь, это болѣе чѣмъ безобразіе, это—рвотное! Да, читатели; это, пожалуй, даже будетъ нѣчто похуже и рвотнаго, но такой идеалъ сатирика постоянно носится въ воображеніи пѣнкоснимателей, и, отдавая долгъ справедливости г. Щедрину за мѣткое выставленіе имъ прискорбныхъ недостатковъ нашего общества, они въ то же время постоянно указываютъ на прискорбный недостатокъ его сатиры, не воздающей нашему обществу, и въ особенности имъ, пѣнкоснимателямъ, долга справедливости. Для примѣра, просимъ припомнить статью, помѣщенную въ „Вѣст. Евр.", въ 4 книжкѣ 1871 г.,подъ заглавіемъ: „Историческая сатира" [1]). Статья эта, какъ наиболѣе выдающаяся изъ массы пѣнкоснимательскихъ воплей, можетъ служить намъ образцомъ ихъ.

Самое заглавіе статьи представляетъ верхъ безсмыслицы. Историческая сатира! Какая, это, можетъ быть историческая сатира? Съ какою цѣлью сатирику осмѣивать прошлое, давно пережитое и схороненное? Что за нелѣпость предполагать возможность сатирическаго смѣха надъ покойниками на ихъ

[1]) См. стран. 72.

могилахъ? Исторической сатиры никогда не было, нѣтъ и не будетъ. А „Исторія одного города“? Да развѣ это историческая сатира? Она такая же современная, какъ и всѣ прочія сатиры г. Щедрина. Цѣль ея заключается вовсе не въ томъ, чтобъ осмѣять русскую исторію, вообще, или нравы какого-либо вѣка въ частности, а выставить на видъ въ нѣсколькихъ историческихъ чертахъ народной жизни вопіющій общественный недостатокъ нашего же времени, именно: ту возмутительную пассивность, съ которою общество наше переноситъ всякія безобразія и самодурства, относясь къ нимъ не только какъ къ тяготѣющему року, но какъ къ чему-то должному и даже высокосвященному... Г. Щедринъ, конечно, многое утрировалъ, имѣя въ виду не историческую объективную правду, а свою сатирическую цѣль, но самая эта утрировка, ради наиболѣе рѣзкаго выставленія осмѣиваемаго недостатка, не уменьшаетъ, а еще болѣе увеличиваетъ достоинства произведенія г. Щедрина. Критикъ же, задавшись нелѣпымъ абсурдомъ, что „Исторія одного города“ представляетъ собою историческую сатиру, главную цѣль произведенія г. Щедрина упустилъ совершенно изъ виду, и его повело совершенно въ сторону,—въ разсужденія о томъ, зачѣмъ, это, г. Щедринъ вздумалъ разсказывать намъ исторію фантастическихъ градоначальниковъ фантастическаго города Глупова, въ то время, какъ исторія наша, въ особенности XVIII вѣкъ, представляетъ множество богатыхъ матеріаловъ для сатиры. Предлагать сатирику осмѣивать давно истлѣвшихъ Потемкиныхъ и Зубовыхъ, и при этомъ, конечно, подразумѣвать процвѣтаніе современнаго прогресса,—признаться сказать, только пѣнкоснимателю можетъ притти въ голову такая тема для сатиры. Но не въ этомъ одномъ курьезѣ суть пѣнкоснимательской критики. Это—одни цвѣточки, ягодки впереди.

Я зналъ одну милую старушку, обломокъ XVIII вѣка, содержательницу одного пансіона, употреблявшую всѣ усилія, чтобы въ пансіонъ ея не только не попадалъ ни одинъ томъ Гоголя, но чтобы до ушей воспитанницъ ея никогда не долетало самое имя этого писателя, которое она не могла слышать безъ содроганія.

— „Помилуйте, говорила она, это—первый врагъ Россіи, измѣнникъ отечеству; у этого человѣка не было ничего святого; это былъ клеветникъ, умышленно представлявшій

все въ самомъ дурномъ свѣтѣ. Возьмите для примѣра, хоть, „Ревизора“. Я сама жила много лѣтъ въ провинціи, въ разныхъ городахъ, навидалась много всякихъ видовъ,—но могу вамъ побожиться всѣми святыми, что не видала ни одного города, который былъ бы наполненъ такими уродами, какъ въ „Ревизорѣ“... Это—все чистая ложь и клевета. Видала я и самыхъ отчаянныхъ взяточниковъ, и людей, горячихъ въ гнѣвѣ, которымъ, при моихъ глазахъ, случалось оттаскать за бороду какого-нибудь купчишку,—но, все-таки, во всѣхъ этихъ господахъ всегда я находила свои утѣшительныя стороны: одинъ, напримѣръ, при всѣхъ своихъ слабостяхъ былъ хорошій семьянинъ; другой—человѣкъ религіозный до подвижничества; третій—пріятный въ обществѣ,—не говоря уже о томъ, что всѣ они были православные христіане и готовы были пролить кровь за отечество. Во всѣхъ городахъ я имѣла много пріятныхъ знакомыхъ, съ которыми я отводила душу; но неужели я могла бы знаться хоть съ однимъ изъ гоголевскихъ героевъ. А, по мнѣнію Гоголя, вся Россія наполнена Сквозниками-Дмухановскими и Хлестаковыми... Нѣтъ, какъ хотите, а смѣяться такъ безбожно надъ своею родиной, не показавши въ ней ни одной отрадной черты, можетъ только человѣкъ зачерствѣлый и лишенный всякихъ благородныхъ чувствъ и нравственныхъ правилъ“.

Богъ съ ней, съ этою старушкой! Родившись чуть-что не при Елизаветѣ Петровнѣ, нѣтъ ничего мудренаго, что она имѣла подобныя мнѣнія о Гоголѣ! Но представьте себѣ, что буквально такіе же самые взгляды вы встрѣчаете относительно г. Щедрина въ вышеупомянутой пѣнкоснимательной критикѣ!..

По мнѣнію критика, оказывается, что г. Щедринъ—врагъ народа, что онъ презираетъ его, глумится надъ нимъ, клевещетъ на него, и все не для чего иного, какъ ради высокомѣрнаго самодовольнаго хохота надъ чѣмъ ни попало, лишь бы предметъ представлялъ хоть одну смѣшную сторону. Съ тономъ вышеупомянутой старушки, защищавшей администраторовъ, готовыхъ проливать кровь за отечество и злостно оклеветанныхъ Гоголемъ, критикъ сердобольно вопіетъ: „Мы не славянофилы; мы никогда не говоримъ и никогда не скажемъ, что въ русскомъ народѣ—а глуповцы составляютъ часть его—есть какія-то особенныя качества, способныя обновить гнилой Западъ“, но мы уважаемъ этотъ

народъ и видимъ въ немъ всѣ задатки для развитія; благодаря этому народу, создалось государство; благодаря ему, явилась интеллигенція, литература, искусство и разныя другія удобства жизни; самъ питаясь Богъ-знаетъ чѣмъ, онъ питаетъ всѣхъ, не исключая сатириковъ, даже самыхъ возвышенныхъ и непреклонныхъ, которые говорятъ, что, какъ-скоро дана была этому народу возможность „наполнять свои желудки жирной кашей до крайнихъ предѣловъ", какъ-скоро не стали „препятствовать его счастію и довольству", онъ немедленно началъ производить невообразимыя безумства, загулялъ и бросилъ даже хлѣбъ сѣять... Не правда ли, какой презрѣнный народъ, и какъ достоинъ онъ всего злого, что призывали на него ревнители его нравственности! Какъ ниже онъ всѣхъ его начальниковъ, не только такихъ, какъ Прыщъ, который, вмѣстѣ съ фаршированною головой, обладалъ и благоразуміемъ, но и всѣхъ тѣхъ, съ которыми мы познакомились..."

О, г. Щедринъ! Зачѣмъ вы, въ самомъ дѣлѣ, не воспѣли чувствительными, торжественными звуками народныя доблести. Вы уклонились бы, правда, отъ цѣли своей сатиры, но вы должны были бы всѣмъ пожертвовать ради того, чтобы, выставивши смѣшныя стороны русскихъ людей, не забыть ихъ доблестей, потому что: „Долгъ справедливости, долгъ справедливости прежде всего", гласитъ пѣнкоснимательскій принципъ; а вышеупомянутая старушка, съ своей стороны, поддакиваетъ: „Батюшка, одному фармазону пристало на Руси видѣть только уродовъ и идіотовъ".

Если бы даже г. Щедринъ въ „Глуповцахъ" разумѣлъ, дѣйствительно, народъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, т.-е. въ смыслѣ простого люда, какъ это предполагаетъ пѣнкоснимательскій критикъ, то и въ такомъ случаѣ онъ правъ, потому что никто не имѣетъ права требовать отъ сатирика одописаній; сатирикъ для того и существуетъ, чтобы воспроизводить однѣ нелѣпыя и пошлыя стороны жизни, задаваясь при этомъ серіозными цѣлями, а что г. Щедринъ смѣялся въ своемъ произведеніи не безцѣльно, что онъ имѣлъ цѣль, и серіозную,—этого не смѣетъ отрицать пѣнкоснимательскій критикъ, если въ немъ есть хоть капля добросовѣстности (выше мы сказали, какую цѣль имѣлъ г. Щедринъ, создавая свое произведеніе). Во-вторыхъ, народъ вовсе не требуетъ отъ насъ сентиментальныхъ возгласовъ, ради лицемѣрнаго

воздаянія долга справедливости. Онъ самъ относится весьма часто къ себѣ со смѣхомъ, почище еще щедринскаго. Тѣ ужасные эпитеты, которые выводятъ изъ себя сердобольнаго критика,—эпитеты, въ родѣ „головотяповъ, моржеѣдовъ“ и пр., выдуманы не г. Щедринымъ, а самимъ народомъ, и г. Щедринъ всецѣло заимствовалъ ихъ изъ области народнаго юмора.

Но дѣйствительно ли одинъ простой людъ изображенъ г. Щедринымъ въ „Глуповцахъ“? Можетъ-быть, г. пѣнкоснимательный критикъ свалилъ всю сатиру г. Щедрина на бѣднаго Макара, чтобы не увидѣть въ глуповцахъ, чего добраго, себя и своихъ собратій? Въ самомъ дѣлѣ, подумай, читатель, кого нужно разумѣть подъ глуповцами, которые, какъ-скоро дана была имъ возможность наполнять свои желудки жирною кашей до крайнихъ предѣловъ, какъ-скоро не стали препятствовать ихъ счастію и довольству, немедленно начали производить невообразимыя безчинства, загуляли и бросили даже хлѣба сѣять. Кого это можно назвать подлыми и гнусными въ несчастіи и разгульно-идіотичными въ счастіи? Не тѣхъ же ли все самыхъ пѣнкоснимателей, дрянныхъ и пошлыхъ пѣнкоснимателей, которые, дѣйствительно, подличали, ползали при Бородавкиныхъ, а какъ явились Прыщи, только на то и умѣли употребить дарованную имъ безпрепятственность, что плясали, скакали, въ ладоши били и безпрестанно восклицали: въ наше время, когда... и пр. и пр. Да, г. пѣнкоснимательный критикъ, слона-то ты и не замѣтилъ въ „Исторіи одного города“, сваливши все съ больной головы да на здоровую.

Кромѣ безсердечія, черствости и отсутствія стремленія къ отданію долговъ справедливости, пѣнкоснимательные критики постоянно преслѣдуютъ г. Щедрина за ужасныя слова. И оно очень понятно: представьте себѣ одѣтаго по послѣдней модѣ, съ лоснящимся лицомъ и пышными бакенбардами, прекраснодушнаго пѣнкоснимателя, у котораго въ сердцѣ одни высокія чувства, на устахъ медъ отборныхъ выраженій, въ родѣ: „цивилизація, прогрессъ, гуманность“, нѣга женственной граціи, въ движеніяхъ изысканность самыхъ изящныхъ, свѣтскихъ манеръ. Сидитъ сей кротко-нѣжно-сердечный пѣнкоснимать въ роскошномъ будуарѣ кротко-нѣжно-сердечной пѣнкоснимательницы, которая получила воспитаніе въ лучшемъ пансіонѣ и у которой тоже на сердцѣ одни

высокія чувства, а на устахъ медъ благоухающихъ рѣчей... Они переговорили о всѣхъ высокихъ предметахъ, волнующихъ ихъ сердца, и захотѣлось имъ развлечься чтеніемъ. Берутъ они томъ сочиненій г. Щедрина или развертываютъ нумеръ „Отечественныхъ Записокъ“. Ихъ сердца все еще, не забудьте, находятся въ томъ высокопоэтическомъ настроеніи, какое произвелъ въ нихъ предшествовавшій разговоръ. И вдругъ, что же? На первыхъ же страницахъ они читаютъ: идіотъ, прохвостъ или еще того лучше. Г. Щедринъ заставляетъ вдругъ ихъ цѣломудренныя воображенія представлять себѣ, какъ Ваня Поцѣлуевъ слѣзъ съ воображаемой лошади, чтобы посмотрѣть, что у нея подъ брюхомъ. Судите о ихъ общемъ смущеніи, опущенныхъ очахъ, персяхъ, трепещущихъ негодованіемъ!.. Понятно послѣ того, что, начиная съ вышеобозначеннаго критика и кончая послѣдними нумерами „Спб. Вѣдомостей“, пѣнкоснимательные критики и рецензенты не могутъ простить г. Щедрину ужасныхъ словъ. Милая наша старушка тоже не могла простить Гоголю ужасныхъ словъ; она, обыкновенно, говорила: „Гоголь—это писатель тривіальный, сальный, тотъ же Польде-Кокъ! Представьте себѣ благородныхъ дѣвицъ, онѣ ничего такого не видали, не слыхали, и вдругъ учитель будетъ читать имъ, какъ будочникъ у себя на воротникѣ поймалъ какую-то мерзость!.. Это возмутительно! Это невозможно!..“ Мы, съ своей стороны, восклицаемъ: Oh, monsieur Stchédrine, de grâce, gazez vos tableaux, monsieur, gazez vos tableaux!.. [1])

III.

Подъ именемъ *циклопа* въ гомеровскомъ эпосѣ является чудовище, у котораго былъ всего только одинъ глазъ среди лба, и которое, потому, могло видѣть только тѣ предметы, которые находились по прямой линіи глаза; все же, что было внѣ этой линіи, было для него покрыто мракомъ неизвѣстности.

Въ мірѣ человѣческой мысли циклопомъ можно назвать всякаго мыслителя, который, разъ увлекшись какою-нибудь идеею, хотя бы и самою высокою, создастъ рядъ стереотип-

[1]) О, г. Щедринъ, пощадите: прикройте ваши изображенія, милостивый государь, прикройте ваши изображенія!..

ныхъ образовъ по мѣркѣ этой идеи и только одни эти образы и видитъ передъ собой, лишаясь всякой возможности оцѣнивать предметы, находящіеся по сторонамъ.

Собственно говоря, циклопизмъ мысли—явленіе, весьма естественное и неизбѣжное, при каждомъ увлеченіи новою идеею. Ни одинъ человѣкъ, не исключая самыхъ великихъ геніевъ, не избѣжалъ циклопизма. Но бѣда вся въ томъ, что въ то время, какъ для однихъ людей циклопизмъ является моментомъ въ процессѣ ихъ развитія, другіе, разъ сдѣлавшись циклопами, остаются ими всю жизнь и доводятъ свой циклопизмъ до смѣшныхъ и жалкихъ нелѣпостей.

Такъ, напримѣръ, циклопомъ былъ, въ свое время, и Бѣлинскій, когда, уставивши свои взоры въ теорію искусства для искусства и олимпійскаго объективизма поэзіи, онъ началъ отрицать все, что не подходило къ этой теоріи,—Шиллера и Грибоѣдова, Лермонтова и Полежаева,—и дошелъ до того, наконецъ, что восхвалилъ Греча. Но такимъ людямъ, какъ Бѣлинскій, всегда бываетъ тяжело и жутко долго пребывать въ очарованномъ кругѣ какой-нибудь узенькой доктринки и вѣчно смотрѣть въ одинъ уголъ; жажда свѣта и простора заставляетъ ихъ смѣло рушить всѣ путы, смутившія ихъ мысль, и стремиться на свѣжій воздухъ. Но есть люди, которые, по самому свойству своего ума, созданы вѣчно пребывать циклопами.

Былъ, въ свое время, циклопомъ и Писаревъ, когда воображалъ, что вся россійская современность сосредоточивается въ вопросѣ о молодомъ поколѣніи и мыслящемъ пролетаріатѣ, и вопросъ этотъ исчерпывается тѣмъ, чтобы молодые реалисты занимались естествознаніемъ и устраивали свою жизнь такъ, чтобы могли трудиться съ наслажденіемъ и наслаждаться съ пользою. Самъ-по-себѣ вопросъ этотъ имѣетъ свое значеніе, и я вовсе не намѣренъ ставить Писареву въ вину, зачѣмъ онъ занимался его разработкою. Но бѣда вся въ томъ, что Писаревъ нѣкоторое время своей литературной дѣятельности въ этомъ вопросѣ видѣлъ альфу и омегу всей русской жизни и считалъ незаслуживающимъ вниманія все, что къ этому вопросу не относится. Такимъ образомъ, когда онъ смѣялся надъ Добролюбовымъ, видѣвшимъ въ Катеринѣ „Грозы“ Островскаго свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ, и доказывалъ, что Катерина не могла быть такимъ свѣтлымъ лучомъ потому, что пребывала на почвѣ мисти-

цизма и не принадлежала къ числу молодыхъ реалистокъ, занимающихся естественными науками; когда Писаревъ требовалъ, чтобы всѣ россійскіе беллетристы, и г. Щедринъ въ томъ числѣ, бросили писать свои безполезныя художественныя произведенія и взялись бы составлять популярныя статьи по естественнымъ наукамъ все для тѣхъ же молодыхъ реалистовъ, занимающихся естествознаніемъ,—очевидно, онъ былъ циклопомъ, вполнѣ потерявшимъ изъ виду все, кромѣ молодыхъ реалистовъ, занимающихся естествознаніемъ; циклопомъ, вообразившимъ, что внѣ круга этихъ реалистовъ не можетъ быть ни силы характера или честности, ни страстнаго протеста противъ самодурщины, словомъ, ничего человѣческаго. Но и Писаревъ, подобно Бѣлинскому, не могъ долго оставаться при такомъ узкомъ воззрѣніи на вещи: онъ былъ слишкомъ живой и талантливый человѣкъ для этого. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что, подъ конецъ своей дѣятельности, онъ начиналъ смотрѣть на вещи гораздо шире, и, если бы молодая жизнь его не угасла такъ преждевременно, по всей вѣроятности, въ настоящее время, въ немъ не осталось бы и слѣдовъ циклопизма.

Но то, что у Писарева было кризисомъ развитія, у многихъ изъ его приверженцевъ перешло въ хроническую болѣзнь. Нашлись и тутъ циклопы по естеству, которые, уцѣпившись за наиболѣе односторонніе идеи, развитыя имъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ „Русскаго Слова“, съ этими идеями такъ и остались на всю жизнь.

Съ той поры, какъ Писаревъ, въ своихъ „Цвѣтахъ невиннаго юмора“, призналъ въ Щедринѣ пустого балагура, безцѣльно расточающаго цвѣты остроумія, ради одного смѣха, безъ всякихъ серіозныхъ цѣлей, съ тѣхъ поръ въ кружкахъ циклоповъ тенденцій „Дѣла“ [1]) мнѣніе о г. Щедринѣ такимъ и остается до настоящаго времени. И это, въ свою очередь, весьма естественно и понятно: они ищутъ въ сатирѣ г. Щедрина все того же самаго, чего ищутъ и вездѣ: разрѣшенія вопроса о молодомъ поколѣніи, а находятъ, вмѣсто этого, хохотъ надъ различными Нарциссами, Угрюмъ-букчеевыми, ташкентцами, пѣнкоснимателями. Понять общественное значеніе этого хохота они не въ силахъ, потому, опять-таки, что хохотъ этотъ совершенно въ сторонѣ отъ

[1]) Журналъ, въ которомъ сотрудничалъ Д. И. Писаревъ.

линіи ихъ циклопическаго ока: имъ и въ голову не приходитъ такое хотя бы соображеніе, что внѣ небольшого кружка разумныхъ реалистовъ существуетъ масса общества, вязнущая въ хаосѣ злоупотребленій, пакостей, дрязгъ и пошлостей всякаго рода и сама-по-себѣ не идущая далѣе сознанія отдѣльныхъ единичныхъ фактовъ всѣхъ этихъ безобразій. Соединить эти факты въ нѣсколько общихъ образовъ и дать имъ кличку—это значитъ помочь обществу оріентироваться въ массѣ его безобразій, довести его до общихъ категорическихъ понятій относительно ихъ, развить до сознанія своихъ враговъ и недостатковъ, а смѣяться, ежедневно, зло, ядовито смѣяться надъ этими врагами и недостатками —значитъ вести общество къ тому, чтобы, въ концѣ-концовъ, всѣ осмѣиваемыя явленія сдѣлались противны ему до тошноты, и оно не могло бы болѣе терпѣть ихъ. Вспомните ташкентцевъ, вспомните Прокопа и всю его компанію и подумайте, что бы было съ вами, когда не было бы Щедрина. Развѣ эти образы разореннаго, пропившагося барства, ищущаго поправить свои обстоятельства посредствомъ различныхъ новыхъ путей любостяжанія, стояли бы, какъ живые, передъ вами и щемили бы сердце ваше, какъ они теперь щемятъ?

Встрѣтясь въ жизни съ Прокопомъ, вы только и видѣли бы, что одного Прокопа, на него одного и изливали бы всю желчь; теперь же передъ вами стоитъ не единичный Прокопъ, а собирательный; вы видите массу Прокоповъ и отъ частныхъ мерзостей жизни возвышаетесь до сознанія общаго зла, причиняемаго обществу сонмомъ Прокоповъ. Что же касается обвиненій, сыплющихся на г. Щедрина, зачѣмъ онъ не вдается во всѣ подробности дѣятельности своихъ Прокоповъ, зачѣмъ онъ не раскрываетъ намъ, какъ Прокопы эксплуатируютъ мелкихъ тружениковъ и разоряютъ иногда цѣлые края, то, не говоря уже о внѣшнихъ обстоятельствахъ, препятствующихъ такой обстоятельности сатиры, намъ кажется, что уже и въ такомъ видѣ, въ какомъ является сатира г. Щедрина, она оказываетъ намъ немалую заслугу: получая изъ нея общія понятія о „Прокопахъ, ташкентцахъ, пѣнкоснимателяхъ“, вы смѣетесь надъ ними, они претятъ вамъ; существованіе ихъ представляется вамъ все болѣе и болѣе позорнымъ и невыносимымъ; значитъ, цѣль сатиры достигнута, какими бы то ни было косвенными путями. Эти,

именно, соображенія и не входятъ въ линію зрѣнія цикловъ. Имѣя постоянно въ виду передъ собою однихъ молодыхъ реалистовъ, они требуютъ отъ всѣхъ писателей, и отъ сатириковъ въ томъ числѣ, чтобы послѣдніе тоже имѣли въ виду постоянно однихъ только молодыхъ реалистовъ и писали свои произведенія съ единственною цѣлью, чтобы вести еще далѣе, и безъ того уже ушедшихъ далеко людей. Понятно, что, не находя того, чего ищутъ, циклопы наши не обращаютъ вниманія на то, что есть, и видятъ въ сатирѣ г. Щедрина одинъ только букетъ остроумныхъ экивоковъ, не замѣчая въ ней слона.

Въ заключеніе, мы припомнимъ нашимъ циклопамъ одинъ историческій фактъ, имѣющій много общаго съ ихъ отношеніемъ къ сатирѣ Щедрина. Былъ въ русской литературѣ нѣкій знаменитый критикъ Николай Алексѣевичъ Полевой, который лѣтъ десять стоялъ во главѣ русской литературы, а потомъ вдругъ свихнулся и оказался отсталымъ изъ отсталыхъ. Но, собственно говоря, онъ вовсе не свихнулся: все его литературное крушеніе произошло оттого, что онъ былъ циклопъ. Ему казалось, что весь прогрессъ общечеловѣческій и русскій заключается въ одномъ романтизмѣ, и литература только и должна заниматься тѣмъ, что вѣчно изображать разочарованныхъ романтиковъ, этихъ людей злобы того времени. И не думайте, чтобы подобное заблужденіе не имѣло своей логики: оно было основано на самыхъ, повидимому, разумныхъ основаніяхъ: жизнь пошла и мелка, близорукая толпа тонетъ въ тинѣ мелочей и дрязгъ. Какая же должна быть цѣль литературы? Очевидно—выводить людей изъ трясины мелочныхъ дрязгъ, изображеніемъ передъ ними различныхъ героевъ, геніевъ и всякаго рода избранниковъ, возбуждая, такимъ образомъ, въ читателяхъ героическія чувства и подражательность этимъ героямъ и увеличивая, такимъ образомъ, число послѣднихъ, а, съ другой стороны—показывать, какъ пошлы и гнусны тѣ люди, которые не понимаютъ героевъ и причиняютъ имъ милліонъ терзаній какъ своимъ этимъ непониманіемъ ихъ, такъ и отношеніемъ къ нимъ, исполненнымъ грубаго матеріализма. Какъ видите, Полевой протестовалъ за весьма высокую цѣль, не лишенную тенденціозности, но бѣда вся въ томъ, что понималъ-то онъ это направленіе слишкомъ узко, исчерпывая его, исключительно, величавыми образами произведеній Байрона, Жанъ-

Поль Рихтера, Виктора Гюго и пр. Естественно, что, когда началось въ литературѣ новое движеніе, стоявшее совершенно внѣ линіи циклопическаго ока Н. Полевого, когда, совершенно вопреки программѣ знаменитаго критика, литература, вмѣсто изображенія непонятныхъ героевъ, начала выводить на сцену самую тину мелочей и дрязгъ, онъ не понялъ и не призналъ этого движенія и ничего не нашелъ въ произведеніяхъ Гоголя, кромѣ ничтожныхъ побасенокъ ради одного безцѣльнаго смѣха; и пошелъ онъ тогда къ Гречу и Булгарину, къ Сенковскому, гдѣ держались старой традиціи и, считая Гоголя русскимъ Поль-де-Кокомъ, восхищались романтизмомъ Кукольника, этимъ Шиллеромъ того времени.

Мы не думаемъ ставить Щедрина наравнѣ съ Гоголемъ. Мы говоримъ только, что отношеніе новѣйшихъ нашихъ циклоповъ къ Щедрину весьма напоминаетъ собою отношенія къ Гоголю Полевого. Онъ тоже, исходя изъ требованія, чтобы литература изображала однихъ непонятныхъ романтиковъ для назиданія и распространенія романтиковъ же, слона то въ Гоголѣ и не примѣтилъ. Это показываетъ, что какъ при Полевомъ, такъ и въ наше время, не переставая дѣйствуетъ тотъ непреложный законъ жизни, который говоритъ: горе вамъ, если вы упретесь въ одну точку и, упустивши изъ виду все прихотливое, калейдоскопическое разнообразіе жизни, не станете искать въ ней повсюду живыхъ элементовъ и молодыхъ отпрысковъ; жизнь, какъ-разъ, опередитъ васъ, создастъ нѣчто такое новое и въ такой сторонѣ, о чемъ вы и не воображали, а вы останетесь сзади со своими шаблонами, излюбленными идеальчиками и закостенѣлыми формами вашей мысли. Сегодня вы не признаете значенія Щедрина,—это еще малая вина: а завтра, вдругъ, совершится совсѣмъ новое и не въ литературѣ, а въ самой жизни, вы можете не признать и этого новаго, если дѣйствующія лица его окажутся вдругъ непохожи на героевъ романовъ Шеллера, Омулевскаго и Бажина *),—это уже будетъ непростительная вина.

---

*) Писатели того времени, съ большой склонностью къ сочинительству и тенденціозности, отчего герои ихъ отличались ходульностью. *Прим. Н. Д.*

Легкая сатира г. Салтыкова. Подражаніе безцеремонной манерѣ глумленія г. Салтыкова [1]).

Легкая балагурная сатира перваго сатирика нашихъ дней, г. Салтыкова: *Мнѣніе знатныхъ иностранцевъ о помпадурахъ*. Сатира эта, безъ сомнѣнія, остроумна, игрива и талантлива, ибо остроуміе, игривость и талантливость—признанныя качества г. Салтыкова. Это ужъ всѣмъ извѣстно, и г. Салтыковъ, такъ-сказать, непрестанно убѣждаетъ въ этомъ публику, аккуратно каждый мѣсяцъ поставляя въ „Отечественныя Записки" по нѣскольку листовъ остроумія, игривости и таланта. Этими ежемѣсячными поставками почтенный органъ выдающихся радикаловъ только и оживляется: безъ нихъ онъ бы „увялъ и увялъ навсегда", какъ выразился поэтъ. Ежемѣсячный неизсякающій талантъ г. Салтыкова служитъ для книжекъ „Отечественныхъ Записокъ" благодѣтельнымъ средствомъ, оживляющимъ ихъ старческую немощь. Безъ всякой иронiи, съ искреннимъ уваженіемъ къ дарованію нашего сатирика, я дивлюсь огромному запасу его силъ: ежемѣсячно писать по сатирѣ, иногда по двѣ даже—на первомъ планѣ „Отечественныхъ Записокъ" и на послѣднемъ—это, воля ваша, изумительно, и... и, какъ мнѣ кажется, нѣсколько рискованно со стороны г. Салтыкова. Положимъ, говоря фигурнымъ языкомъ, колчанъ или тулъ дарованія г. Салтыкова наполненъ сатирическими стрѣлами даже съ избыткомъ; но, растрачивая эти стрѣлы періодически, разметывая ихъ направо и налѣво, иногда даже безъ всякой причины, неизвѣстно въ кого и во что, просто, ради упражненія въ метаніи, г. Салтыковъ долженъ же притти, наконецъ, къ такому моменту, когда, „разсыпавъ стрѣлы всѣ изъ тула", онъ очутится съ самомъ неловкомъ положеніи—въ положеніи сатирика безъ оружія. Отъ души

---

[1]) „Спб. Вѣдом.", 1873 г., № 331. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

желаю, чтобы для г. Салтыкова этотъ печальный моментъ наступилъ какъ можно позднѣе; но не могу не замѣтить, что моментъ этотъ, кажется, уже недалекъ: нашъ сатирикъ едва ли не послѣднія стрѣлы растрачиваетъ. И, какъ подумаешь, для чего, для кого растрачиваетъ? Поражаетъ ли онъ дѣйствительныхъ враговъ, или, если не поражаетъ, то, по крайней мѣрѣ, хоть устрашаетъ ихъ, такъ-что они далеко разбѣгаются во всѣ стороны и очищаютъ путь прогрессивнаго развитія нашей жизни, ходъ которой имъ желательно затормозить? Ахъ, если бъ это было такъ, если бъ стрѣлы сатиры г. Салтыкова производили такое впечатлѣніе на тѣхъ, въ кого онѣ направляются! Но, увы, дѣло выходитъ нѣсколько иначе: поспѣшныя, усиленно-частыя метанія салтыковскихъ стрѣлъ не только не поражаютъ и не пугаютъ тѣхъ, въ кого онѣ направляются, но даже забавляютъ, потѣшаютъ среду, преслѣдуемую сатирикомъ. Среда эта до того привыкла къ періодическому журнальному остроумію г. Салтыкова, что почти пренебрегаетъ даже удачными и мѣткими ударами его сатиры, которые, впрочемъ, выдаются рѣдко.

Выше я назвалъ новый сатирическій этюдъ г. Салтыкова легкимъ. Дѣйствительно, онъ необычайно легокъ и по формѣ и по сущности. По формѣ это—пародія; по сущности это—остроумное, либеральное и даже, если хотите, довольно рѣзкое поддразниванье, подмигиванье, балагурство, которое, впрочемъ, кромѣ удовольствія и добродушнаго смѣха, ничего иного вызвать не можетъ. Относительно легкости формы г. Салтыковъ дошелъ въ новомъ этюдѣ до того, что вступаетъ въ соперничество съ „разнохарактерными“ артистами-разсказчиками, потѣшающими современную публику въ художественномъ и другихъ клубахъ. Мнѣ кажется даже, если я не ошибаюсь, въ языкѣ разсказа татарина Хабибулы почтенный сатирикъ очень явно подражаетъ извѣстному разсказу покойнаго Садовскаго о томъ, какъ „московскій купецъ Абдулъ Меджидъ рупъ целковъ давалъ“ и проч. Боюсь, что г. Салтыковъ обидится за то, что я приписываю его сатирѣ значеніе пародіи, что внутренній смыслъ этой сатиры я ставлю не выше либеральнаго, но никого небезпокоющаго поддразниванья. Но, собственно говоря, обижаться г. Салтыкову не изъ чего. Во-первыхъ, при современномъ паденіи искусства, при видимомъ умираніи его старыхъ формъ и

при отсутствіи еще новыхъ, пародія есть самый видный и самый живой родъ искусства; во-вторыхъ, для современнаго буржуазнаго вкуса ничто такъ не пріятно, какъ безрезультатное поддразниванье, возбуждающее веселый смѣхъ у жирнаго буржуа, всегда довольнаго „самимъ собой, своимъ обѣдомъ и женой". Такой смѣхъ очень способствуетъ пищеваренію, и, стало-быть, сатира, его возбуждающая, есть, въ нѣкоторомъ родѣ, гигіеническая сатира, т.-е. наиболѣе полезная, ибо что́ же можетъ быть полезнѣе поддержанія общественнаго здравія? Правда, прежняя сатира, напримѣръ, гоголевская, не имѣла такого полезнаго гигіеническаго значенія: она, напротивъ, возбуждала желчь и озлобленіе въ той средѣ, на которую направлялась; она, какъ извѣстно, стяжала Гоголю въ этой средѣ репутацію ужаснаго писателя, для котораго, будто бы, не было ничего священнаго. Въ сатирическое зеркало, которое подставлялъ Гоголь обществу, искаженному и отупѣлому подъ двойнымъ гнетомъ соціальнаго безправія и моральнаго невѣжества, это общество глядѣло не съ добродушнымъ весельемъ и ликованіемъ: оно отвертывалось отъ него съ воплями негодованія. Но что жъ изъ этого слѣдуетъ, читатель? Ровно ничего! То была сатира старая, тяжелая, мрачная; благодаря прогрессу, она уступила мѣсто сатирѣ новой, легкой, веселой, балагурящей. Эта новая сатира смѣется не горькимъ сосредоточеннымъ смѣхомъ сквозь невидимыя міру слезы: она заливается всею утробою, она фыркаетъ, играетъ, веселится и веселитъ почтеннѣйшую публику. Не слезы должны сопровождать смѣхъ этой сатиры, а, развѣ, скабрезные мотивы Оффенбаха. До какихъ предѣловъ легкости или, вѣрнѣе сказать, до какихъ предѣловъ легкаго поведенія способна простираться новая сатира, это мы можемъ видѣть въ другомъ образчикѣ ея, предлагаемомъ тѣмъ же г. Салтыковымъ въ концѣ „Отечественныхъ Записокъ". Я говорю о фельетонѣ: *Между дѣломъ* [1]). Въ этомъ фельетонѣ, написанномъ весьма бойко и остроумно, современный сатирикъ, на потѣху почтеннѣйшей публикѣ, доходитъ—ну, до чего вы думаете читатель?—до юмористическаго заушенія себя самого и того органа, гдѣ онъ пишетъ! Этотъ игривый пріемъ, впро-

[1]) Фельетонъ подписанъ буквами М. М.—псевдонимомъ г. Салтыкова, раскрытымъ имъ самимъ въ отдѣльномъ изданіи „Дневника провинціала".

чемъ, не новъ въ фельетонахъ г. Салтыкова: я имѣлъ, однажды, случай указать тотъ же самый пріемъ въ „Дневникѣ провинціала", гдѣ авторъ писалъ пародію на самого себя и представлялъ смѣшные образчики собственныхъ извѣстныхъ „фикъ" и „трефандосовъ". Теперь г. Салтыкову снова вздумалось возвратиться къ этому веселому пріему. „Зачѣмъ?" спросите вы. А Богъ его знаетъ, читатель: всего вѣроятнѣе, за недостаткомъ матеріала для увеселенія подписчиковъ „Отечественныхъ Записокъ", въ частности, и всей читающей буржуазіи, вообще. Не надъ чѣмъ посмѣяться, не о чемъ побалагурить, давай посмѣемся надъ собой, давай похлещемъ себя: результатъ выйдетъ одинъ и тотъ же, нами постоянно желаемый—забава, забава и забава!

Г. Салтыковъ въ фельетонѣ своемъ, между прочимъ, нападаетъ на современную литературу. Онъ увѣряетъ, что она занимается гимнастикой недомолвокъ и изнурительнымъ переливаніемъ изъ „пустого въ порожнее", не соблюдаетъ опрятности въ мысляхъ и выраженіяхъ и необыкновенно „свободно выбалтывается". Онъ увѣряетъ, что литература допускаетъ „подвиливанье" ради завлеченія подписчиковъ и пріобрѣтенія покровительства меценатовъ. Какъ ни старается г. Салтыковъ всѣ эти зловредныя качества приписать одному только направленію въ литературѣ, для чего выхватываетъ двѣ-три ненравящіяся ему фразы и усиленно глумится надъ ними, но изъ всѣхъ усилій нашего сатирика на дѣлѣ выходитъ нѣчто иное и совсѣмъ для него неожиданное—выходитъ пораженіе самого себя собственными руками. Въ самомъ дѣлѣ, если пораздумать хорошенько, къ кому, преимущественно, относятся качества, замѣченныя г. Салтыковымъ въ литературѣ послѣдняго времени? Не къ кому иному, какъ къ самому г. Салтыкову и „Отечественнымъ Запискамъ"—органу его, преимущественно, дѣятельности. Первый недостатокъ, указываемый г. Салтыковымъ,—„гимнастика недомолвокъ" и „изнурительное переливаніе изъ пустого въ порожнее". Кто же, спрашиваю я, больше г. Салтыкова грѣшитъ помянутою „гимнастикой недомолвокъ"? Всѣ произведенія г. Салтыкова, за немногими исключеніями, преизобилуютъ этою гимнастикой. Можно сказать, что такъ-называемая „щедринская" сатира основана, существеннымъ и главнымъ образомъ, на „гимнастикѣ недомолвокъ": въ этомъ вся ея пикантность; въ этомъ, въ былое время, когда

публика умѣла еще читать между строками и читала часто больше того, чѣмъ предполагалъ самъ авторъ, заключалась даже главная сила названной сатиры. Да и замѣтный успѣхъ г. Салтыкова въ послѣдніе годы, когда потребовалось усиленіе недомолвокъ, въ значительной мѣрѣ надо приписать, именно, этому обстоятельству: писатели, опытные въ спеціальности недомолвокъ и намековъ, получили снова ходъ и значеніе. Слѣдуетъ, однакоже, сказать, что недомолвки имѣли и невыгодную сторону для г. Салтыкова: благодаря, именно, имъ, сатиру его иногда не безъ основанія заподозрѣвали не только во внутренней пустотѣ, но даже и въ нѣкоторомъ канцелярскомъ бездушіи по отношенію къ народу. Справедливо или нѣтъ такое подозрѣніе—этотъ вопросъ не относится теперь къ дѣлу; но, во всякомъ случаѣ, упрекая въ „гимнастикѣ недомолвокъ", г. Салтыковъ упрекаетъ прежде всѣхъ самого себя.

Далѣе: кто больше всего отличался „изнурительнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее"? Опять, поистинѣ говоря,—органъ г. Салтыкова „Отечественныя Записки". Во все время ихъ обновленнаго существованія, онѣ ни по одному частному или общему вопросу не дали ничего, кромѣ радикальнаго „переливанія". При этомъ „переливаніи" никто не изнурялся больше ихъ. Я уже имѣлъ случай поставить имъ это однажды на видъ: я указывалъ подробно, когда, въ какихъ статьяхъ „Отечественныя Записки" говорили свое радикальное „ничего", за неимѣніемъ (а отнюдь не за невозможностью по независящимъ причинамъ, какъ наивно думаютъ онѣ сами) сказать что-либо. Теперь же я только позволю себѣ напомнить „Отечественнымъ Запискамъ", какое „изнуреніе" обнаружили онѣ въ извѣстной проповѣди о необходимости скандала для общественнаго развитія, въ извѣстномъ признаніи необходимости молчанія и показыванія кукишей въ карманѣ въ общественно-практическихъ вопросахъ, въ извѣстномъ куріозномъ увѣреніи публики, что онѣ воздерживали Европу отъ крайностей дарвинизма, что онѣ, вообще, издаются не для Россіи, а для Европы, и проч. и проч. Это ли еще не настоящія „изнуренія" по поводу настоящаго „переливанія изъ пустого въ порожнее"? Гдѣ же, какіе же еще болѣе яркіе примѣры „изнуреній" можно указать въ литературѣ послѣдняго времени? Съ огнемъ ищите, не отыщете соблазнительнѣе перечисленныхъ

примѣровъ. Еще: сатирикъ, игриво позоря литературу по поводу „изнуреній", опять-таки направляетъ свои стрѣлы, такъ-сказать, въ самый центръ редакціи „Отечественныхъ Записокъ".

Говорить ли о „подвиливаніи" для пріобрѣтенія подписчиковъ и покровительства меценатовъ—подвиливаніи, въ которомъ обвиняетъ г. Салтыковъ литературу? Ахъ, я боюсь, что это такой щекотливый сюжетъ, котораго разъясненіе будетъ куда-какъ непріятно для редакціи „Отечественныхъ Записокъ", напримѣръ, для г. Некрасова. Г. Салтыковъ находитъ возможнымъ бросать грязные намеки о подобномъ „подвиливаніи" въ такихъ журналистовъ, безусловная честность которыхъ извѣстна ему такъ же хорошо, какъ и публикѣ. Г. Салтыковъ находитъ, что бросаніе подобныхъ лживыхъ намековъ, говоря его рельефнымъ языкомъ, не „довольно погано"; увлекаемый своимъ обидчивымъ самолюбіемъ, онъ не стыдится, въ этомъ случаѣ, завѣдомо лгать публично. Его воля. Но мнѣ, читатель, опять повторяя выраженіе г. Салтыкова, „довольно погано" говорить печатно даже и правду на этотъ сюжетъ; поэтому, я умолчу о всѣмъ извѣстныхъ фактахъ „подвиливанія", обнаруженнаго нѣкоторыми столпами „Отечественныхъ Записокъ" очень явно и съ очень сомнительными цѣлями.

Говорить ли также по поводу того, что современная литература „свободно выбалтывается"? Но кто же, опять спрошу я, кто свободнѣе „Отечественныхъ Записокъ" выбалтывался и кто больше ихъ выболтался? Въ этомъ отношеніи онѣ не имѣютъ соперниковъ въ журналистикѣ. Ихъ болтовня публицистическая, критическая, даже поэтическая—это образчикъ журнальной болтовни нашихъ дней. И эта болтовня тѣмъ болѣе несносна и прискорбна, что она кичливо хранитъ серіозный видъ и, будучи безплодна и легка до-нельзя по своей сущности, мнитъ себя весьма глубокою и плодотворною. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же можно отыскать болтуновъ-публицистовъ, болѣе выболтавшихся, чѣмъ, напримѣръ, гг. Михайловскій и Елисѣевъ? А самъ г. Салтыковъ, развѣ онъ не сатирическій болтунъ въ самомъ дѣлѣ, конечно, талантливый и остроумный, но все-таки, въ большинствѣ своихъ произведеній, болтунъ. А г. Некрасовъ, наконецъ, съ послѣдними холодно-фразистыми, дѣланными поэмами гражданскаго свойства, развѣ онъ не „стихотворный болтунъ"?

Нѣтъ, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ я боялся бы упоминать даже самое слово „болтовня“, потому что это слово, такъ-сказать, почти синонимъ „Отечественныхъ Записокъ“. Болтовня въ этомъ почтенномъ журналѣ до того деспотически властвуетъ, что не стѣсняется даже явными противорѣчіями самой себѣ. Вотъ маленькій пояснительный примѣръ. Въ фельетонной болтовнѣ г. Салтыкова производится глумленіе надъ „С.-Петербургскими Вѣдомостями“ за высказанную ими мысль о томъ, что „наше время—не время широкихъ задачъ“, которая фельетонному болтуну „Отечественныхъ Записокъ“ кажется почти преступною, преступною до такой степени, что онъ надъ этою мыслью считаетъ необходимымъ глумиться чуть не въ каждой статьѣ своего легкаго пера. Опомнитесь, господа радикальные болтуны, перестаньте такъ беззастѣнчиво фиглярничать передъ публикой.

Но я, кажется, напрасно урезониваю болтуновъ „Отечественныхъ Записокъ“: для нихъ всѣ резоны несущественны, они одно имѣютъ въ виду: какъ бы полегче, поигривѣе, побезцеремоннѣе поглумиться надъ кѣмъ бы то ни было, хотя бы надъ самими собою даже. И они, дѣйствительно, глумятся до того легко и соблазнительно, что невольно беретъ охота дать имъ образчикъ подобнаго же глумленія, дабы они почувствовали сами на себѣ всю его прелесть. Ужъ не рискнуть ли и мнѣ, читатель, на пародію этого глумленія; не завести ли мнѣ отнынѣ въ фельетонѣ еще фельетонъ наманеръ „Отечественныхъ Записокъ“? Попробую, заведу: посмотримъ, пріятно ли это покажется почтенному органу выдыхающихся радикаловъ. Вотъ первый маленькій опытъ:

Ради скуки.

Замѣтки, очерки, разсказы и т. д.

I.

Пріятель мой Грызуновъ [1]), порою напоминающій мнѣ Собакевича, человѣкъ очень добрый и талантливый, но самолюбивый до болѣзненности. Ради своего самолюбія онъ готовъ на все—даже на шельмованіе не только порядочныхъ

[1]) Подъ этимъ именемъ Буренинъ выводитъ Щедрина.

людей, но и самого себя. Мы оба сотрудничаемъ въ „Пустопорожнемъ Радикалѣ“. Грызуновъ—одинъ изъ столповъ редакціи „Пустопорожняго“, а я, такъ-себѣ, сторонній человѣкъ: даю свои стихи, когда таковые напишутся. „Пустопорожній“ идетъ довольно хорошо, потому что онъ какъ-разъ по плечу нашему пустому времени. Грызунова статьи составляютъ украшеніе „Пустопорожняго“. Но Грызуновъ все недоволенъ, все рветъ и мечетъ: ему досадно, зачѣмъ „Пустопорожняго“ не признаютъ первымъ журналомъ въ Россіи и даже въ Европѣ, а его, Грызунова, не считаютъ первымъ писателемъ во всемъ мірѣ. Малѣйшій намекъ на то, что „Пустопорожній“ все-таки „Пустопорожній“, и что онъ, Грызуновъ, не первый въ мірѣ сочинитель, выводитъ его изъ себя.

На-дняхъ какъ-то мнѣ случилось зайти въ редакцію „Пустопорожняго“. Я нашелъ тамъ весь ихъ кружокъ въ полномъ составѣ. Тутъ были: самъ издатель „Пустопорожняго“—Клубноодовъ, Грызуновъ, публицистъ Лицемѣровъ, собственный радикалъ „Пустопорожняго“—Простоуминъ, философъ Пошлепкинъ 1-й, обозрѣватель Пошлепкинъ 2-й, беллетристъ Егоръ Неразвитовъ, критикъ Щепковъ-Топильскій и другіе, менѣе извѣстные сочинители [1]).

Я засталъ кружокъ въ нѣкоторой тревогѣ: онъ, очевидно, „изнурялся“ по поводу чего-то, для него очень важнаго.

— Вотъ что, отецъ,—говорилъ издатель Клубноодовъ Грызунову:—вы это напрасно такъ понимаете, что онъ васъ ругаетъ: онъ отдаетъ справедливость вашему таланту; онъ васъ хвалитъ, но указываетъ иногда ваши, такъ-сказать, нѣкоторыя несовершенства...

— Я не хочу, чтобъ онъ хвалилъ меня, вотъ что!—кричалъ Грызуновъ съ неистовствомъ.

— Кто это *онъ*?—спросилъ я тихо Пошлепкина 1-го.

— Вотъ этотъ въ „Спб. Вѣдомостяхъ“!—огрызнулся съ какимъ-то даже бѣшенствомъ Пошлепкинъ 1-й.

— Ну, какъ же это, отецъ, не хотите, чтобы васъ хвалили? Вѣдь, нельзя же запретить выражать о васъ въ печати мнѣніе: вы пишете для читателей, для публики.

— Зачѣмъ онъ Гоголемъ меня не признаетъ? Это, чортъ

---

[1]) Подъ этими именами выводятся сотрудники „Отечеств. Зап.“: Некрасовъ, Елисѣевъ, Михайловскій и др

знаетъ, что такое! Каково положеніе: Гоголемъ не признаетъ... а? меня?!

— Да... гм... конечно, это такъ, конечно, онъ могъ бы признать васъ Гоголемъ... но, вѣдь, онъ все-таки постоянно выражаетъ, что вы талантъ...

— Талантъ! Еще бы не талантъ!

— Сдѣлайте милость, нашъ Грызуновъ да не талантъ. П-фа!—поддакнулъ, сочувственно кивая бородою, нѣкто изъ хора сочинителей.

— Это, отецъ, ничего, что Гоголемъ васъ не признаютъ, это даже хорошо: теперь Гоголя вовсе ненужно; теперь его бы и читать не стали, а васъ читаютъ... Скажу опять: это хорошо. Вотъ что худо, отцы: худо, что нашъ „Радикалъ“ все больше и больше выдыхается. Хорошему журналу это не слѣдъ: ему нуженъ запахъ...

— И зубы,—добавилъ Грызуновъ.

— Кусаться-то, отецъ, теперь нельзя, вотъ что! Хорошо ужъ хотя бы однимъ запахомъ брать. Да вотъ и запахъ-то исчезаетъ.

— Отчего же исчезаетъ?—замѣтилъ важно, но почтительно, собственный радикалъ „Пустопорожняго“, Простоуминъ.—Я не нахожу, чтобы запахъ исчезалъ: мы твердо соблюдаемъ радикальные принципы, завѣщанные намъ отъ того блистательнаго періода, когда русская журналистика шла прогрессивно-радикальнымъ путемъ и еще не знала тѣхъ гнусныхъ аберрацій, которыя...

— Изнуритъ онъ насъ, остановите его!—передергиваясь крикнулъ Грызуновъ Клубноодову.

— Да, да, конечно, конечно,—перебилъ Клубноодовъ радикала,—но видите, отецъ, нынче съ однимъ храненіемъ радикальныхъ принциповъ далеко не уѣдешь въ журналѣ. Хранить принципы хорошо, но надо же имѣть при этомъ и какія-нибудь свѣдѣнія.

— Для чего же имѣть свѣдѣнія?—простодушно вопросилъ беллетристъ Егоръ Неразвитовъ.—Вотъ я пишу совсѣмъ безъ всякихъ свѣдѣній, а первый талантъ въ нашемъ „Пустопорожнемъ“.

— Ты, Егорушка, особая статья, ты у насъ непосредственный геній,—ласково обнялъ Неразвитова критикъ Щепковъ-Топильскій. — Только ты не вступай въ разговоръ: пусть говорятъ старшіе. А ты поди развлекись: палецъ послюнь, да на стеклѣ „туру-туру“ поиграй. Это очень занятно.

— И то,—сказалъ Неразвитовъ и пошелъ играть на стеклѣ.

— Да, конечно, свѣдѣнія необходимы,—замѣтилъ Лицемѣровъ,—но можно, собственно, и безъ нихъ фигурировать журналу: можно, напримѣръ, по поводу такихъ вопросовъ, гдѣ требуются свѣдѣнія, слегка похихикать, покивать головою...

— Можно! Люблю и одобряю!—воскликнулъ Грызуновъ въ восхищеніи.

— А то, еще лучше, многознаменательно помолчать.

— Извѣрилась, отецъ, нынче публика-то въ эти киванія, хихиканья и многознаменательныя молчанія. Очень ужъ ее этимъ морочили. Начни молчать—закричатъ: „Робѣете!“ А то и еще хуже: „Не знаете, что сказать!“

— Ну такъ выругаться можно, сквернословіемъ пустить!—мрачно отрѣзалъ Пошлепкинъ 2.

— Сквернословіе все-таки лучше молчанія—это какъ хотите! Я люблю сквернословіе, потому оно образно! А образность—слабость моя!—замѣтилъ Грызуновъ.

— Сквернословіе,—заговорилъ Простоуминъ,—даже требуется для тѣхъ, кто желаетъ сберечь радикальные принципы въ ихъ полной чистотѣ и неприкосновенности. И хотя преданія, которыя хранимъ мы отъ дней, когда прогрессивно-радикальная журналистика...

— Остановите его, изнуритъ онъ насъ!—крикнулъ, весь коробясь, Грызуновъ.

— Да, да, конечно, я пользу сквернословія не отрицаю,—началъ Клубноодовъ,—но все-таки, отецъ, сквернословіе, при всей его легкости и полезности...

— Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость,—внезапно закипятился нѣкто изъ хора,—я не могу согласиться, чтобы сквернословіе помогло успѣху журнала. Это глубочайшая ошибка! Неужели нельзя найти гораздо болѣе приличныя вещи для оживленія книжекъ? Напримѣръ, писать пьесы на мотивы изъ Фелиціи Гименсъ [1]). Ея стихи исполнены глубочайшей поэзіи, такой тонкой поэзіи, которая...

— Остановите его, изнуритъ онъ насъ!—крикнулъ почти въ конвульсіяхъ Грызуновъ...

Однако, на первый разъ довольно, читатель. Продолженіе послѣдуетъ, когда настанетъ надобность.

Z (В. Буренинъ).

---

[1]) Англійская поэтесса, со склонностью къ романтизму.

Литературныя особенности Щедрина [1]).

„Жизнь—комедія для того, кто мыслитъ, и трагедія для того, кто чувствуетъ", сказалъ... но я уже хорошо не помню, кто это сказалъ. Вспомнилось же мнѣ это изреченіе при чтеніи чреватаго сатирами сатирика Щедрина, для котораго жизнь есть комедія, но которому, въ то же время, никакъ нельзя отказать въ чувствѣ. Каждое его произведеніе проникнуто и мыслью и чувствомъ. Я этимъ не хочу сказать, что мысли и чувство—исключительная привилегія Щедрина. Мало ли на свѣтѣ есть людей съ умомъ и чувствомъ! Но много ли людей, умъ и чувство которыхъ имѣютъ индивидуальную физіономію? Въ самомъ дѣлѣ, какъ опредѣлить и назвать то неуловимое выраженіе, ту таинственную игру литературной физіономіи Щедрина, словомъ, все то, что составляетъ его особенность, что дѣлаетъ его непохожимъ на другихъ, за что, именно, русская интеллигенція такъ его любитъ. Не будь Щедринъ точно такъ же, какъ, напр., Гоголь, индивидуаленъ, типиченъ, созданія его были бы безцвѣтны и блѣдны. Эта оригинальность дѣлаетъ сатирика неподражаемымъ. Состоитъ же она въ какой-то сатирической злопамятности, въ высшей степени впечатлительной и чуткой, не упускающей изъ виду ни одного даже изъ самыхъ мелкихъ озлобленій дня: Щедринъ непримиримъ, мстителенъ и злопамятенъ. Оскорбленія по принципу отзываются на немъ такъ живо, раздражительно и болѣзненно, точно онъ лично оскорбленъ. Если только можно искать аттической соли на русской почвѣ, то развѣ у Щедрина. Вотъ главное свойство Щедрина, ему одному принадлежащее, и котораго нѣтъ у другихъ писателей. Отчего мы, напр., такъ любимъ Гоголя? Именно, за его оригинальность, за его оригинальный даръ выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, что, ускользающая

---

[1]) „Одесскій Вѣст.", 1873 г., № 246. (См. стран. 143.)

отъ глазъ обыденной жизни, она бьетъ въ глаза, пройдя черезъ горнило автора. Я сказалъ, что въ Щедринѣ всѣ какъ большія, такъ и мелкія озлобленія дня находятъ неумолимаго карателя. Такимъ карателемъ онъ является въ послѣдней части „Благонамѣренныхъ рѣчей“ [1]), появившейся въ X книжкѣ „Отеч. Записокъ“. Первая часть сатирическихъ очерковъ подъ этимъ заглавіемъ была напечатана еще въ прошломъ году въ № 11; въ ней набросаны были путевыя впечатлѣнія; послѣдняя—также посвящена путевымъ впечатлѣніямъ. Наиболѣе выдающеюся частью была часть автора, въ январской книжкѣ текущаго года, въ которой авторомъ съ неподражаемымъ юморомъ были осмѣяны какъ противники, такъ и сторонники такъ-называемаго женскаго вопроса.

Въ настоящемъ очеркѣ самыми выдающимися страницами являются страницы, на которыхъ фигурируетъ современный юристъ. Юристъ—это тоже одно изъ озлобленій дня. Говорить о юристахъ—это значитъ касаться одного изъ интимныхъ текущихъ вопросовъ. Судебная сфера одна изъ близкихъ намъ сферъ; юристъ—одинъ изъ самыхъ интимныхъ нашихъ пріятелей. Посмотримъ же на этого интимнаго пріятеля въ изображеніи сатирика. Кто изъ насъ, посидѣвшихъ на университетской скамьѣ хоть пѣтушкомъ, не слышалъ: „что такое право собственности“? Гражданская каѳедра посвящаетъ отвѣту на этотъ вопросъ столько же oleum et operam [2]), сколько, напр., въ прошломъ году г. Сѣченовъ посвятилъ на описаніе устройства глаза [3]). „Дѣточки“ слушали и на усъ мотали. Что же они намотали? А намотали они вотъ что: „Нашъ интимный пріятель-адвокатъ разматываетъ (у Щедрина) то, что было имъ намотано въ тѣ дни, когда ему такъ были новы всѣ впечатлѣнія бытія. У этого адвоката было на рукахъ одно дѣло—по завѣщанію. Купецъ отказалъ женѣ своей имѣніе, но при этомъ употребилъ въ завѣщаніи слѣдующее выраженіе: женѣ моей, такой-то, за ея любовь, отказываю *въ вѣчное* владѣніе то-то и то-то“. Теперь я долженъ посвятить профану-читателю нѣсколько

---

[1]) „Опять я въ дорогѣ“.

[2]) „Потерялъ масло и трудъ“—латинская поговорка, означающая безрезультатный, не достигшій цѣли трудъ.

[3]) Сѣченовъ—извѣстный физіологъ, читавшій въ то время публичныя лекціи по вопросамъ физіологіи.

строкъ, а именно—сообщить ему, что владѣніе есть только третья часть цѣлаго, именуемаго собственностью. Послѣдняя непремѣнно должна обнимать собою: право владѣнія, право пользованія и право распоряженія. Только при этихъ трехъ ингредіентахъ право собственности можетъ быть правомъ собственности. Но мало ли что! Послушаемъ нашего интимнаго пріятеля: „Ma foi!“ постараемся устроить такъ, чтобы моя кліентка была удовлетворена. Для этого я обратился къ вопросу: что такое завѣщаніе? И на этомъ простомъ вопросѣ, играя имъ, такъ-сказать, во всѣхъ направленіяхъ, я кругомъ пальца обвертѣлъ все дѣло. Господа, что такое завѣщаніе? Вы говорите: выраженіе воли завѣщателя. Я согласенъ. Но въ чемъ выражается воля завѣщателя? Въ буквѣ или въ смыслѣ завѣщанія? Конечно, въ смыслѣ; но вы скажете: тѣмъ не менѣе *вѣчное* владѣніе невозможно. Вѣчна собственность, говорите вы, но владѣніе, по самому существу своему, есть нѣчто временное, почти эфемерное. Прекрасно, я согласенъ, что совмѣстное существованіе такихъ представленій, какъ вѣчность и владѣніе, есть не что иное какъ неестественнѣйшій конкубинатъ. Допустить подобный конкубинатъ—значило бы потрясти самое основаніе собственности, а кто изъ насъ не остановится въ ужасѣ предъ подобнымъ предложеніемъ. Mais entendons nous, messieurs! [1]) Вы говорите: завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя. Постараемся же отыскать ту *волю* завѣщателя, выраженіемъ которой служитъ завѣщаніе. Но, повторяю, будемъ искать не въ буквѣ, а въ смыслѣ. *Вѣчное* владѣніе! Кто писалъ эти слова? Ихъ писалъ человѣкъ, съ одной стороны, не искусившійся въ юридическихъ тонкостяхъ, но который, съ другой стороны, содрогнулся бы, если бы понималъ всю необъятность бездны, раздѣляющей такія понятія, какъ „вѣчность“ и „владѣніе“! Эти слова писалъ простой купецъ, который не имѣлъ въ жизни иного культа, кромѣ культа собственности, и т. д. Зайди, читатель, въ судъ дослушать эту рѣчь, а я поспѣшу перейти къ обратной сторонѣ этой медали. Было у меня другое дѣло: точь-въ-точь такой же купецъ на такое же завѣщаніе. Но здѣсь я уже игралъ роль не отвѣтчика, а истца [2]). Я остерегся

[1]) Надо же понимать другъ-друга, господа!

[2]) То-есть, въ первомъ случаѣ Щедринскій адвокатъ защищалъ сторону, къ которой предъявлялся искъ, а во второмъ случаѣ онъ являлся сторо-

отъ обращенія къ вопросу: „Что такое духовное завѣщаніе?“ а прямо поставилъ дѣло на почву несовмѣстимости понятія о владѣніи съ понятіемъ о собственности. Господа! говорилъ я, не будемъ обманываться! Передъ нами два выраженія: владѣніе и собственность. Признаки одного и другого слишкомъ наглядны, слишкомъ осязаемы. Допустить смѣшеніе этихъ понятій—значитъ допустить страшную опасность. Что станется съ обществомъ, если допустить подобную юридическую ересь? Намъ говорятъ, что завѣщатель былъ человѣкъ, не искусившійся въ юридическихъ тонкостяхъ, что онъ только *не умѣлъ* различить „вѣчнаго владѣнія“ отъ „собственности“, но что мысль его, несомнѣнно, тяготѣла къ сей послѣдней. Но остережемся, мм. гг.! Имѣемъ ли мы право отдавать на поруганіе невѣжеству самыя дорогія основы нашей гражданственности“... и т. д. и т. д. Зайди, читатель, въ судъ дослушать и эту рѣчь.

— И оба раза выиграли-съ?—Оба раза выигралъ-съ!.. Присутствовавшіе тоскливо переглянулись. — Да-съ, батенька, ежели такимъ манеромъ... да ежели при этомъ еще ночнымъ временемъ... Это точно, что безъ мыла, куда хочешь, влѣзть можно.

— Да! *этотъ* обчиститъ!

С. Г.-В. (Герцо-Виноградскій).

ной, которая предъявляла искъ. Играя на юридической терминологіи, типъ адвоката, рисуемаго Щедринымъ, выигрываетъ оба процесса, въ одномъ случаѣ отстаивая *смыслъ*, а не букву, а въ другомъ—*букву*, а не смыслъ. *Н. Д*

Опять щедринскіе помпадуры [1]).

*) Книжка „Отечественныхъ Записокъ“ безъ г. Щедрина такая же рѣдкость, какъ книжка „Вѣстника Европы“ безъ г. Пыпина. Но г. Пыпинъ не беллетристъ и потому для своихъ работъ находитъ всегда готовый матеріалъ. Идеи его не обширны и не разнообразны, но, благодаря самой природѣ публицистической литературы, онъ можетъ высказывать ихъ въ безконечномъ рядѣ статей, такъ какъ ему нуженъ *поводъ*—а поводъ для публициста, критика и историка

---

[1]) „Русскій Міръ“, 1873 г., № 95. (См. стран. 100.)

*) Статья эта принадлежитъ извѣстному беллетристу и критику Вас. Григ. Авсѣенко.

Сначала Авсѣенко хотѣлъ посвятить себя ученой дѣятельности и потому, окончивши историко-филологическій факультетъ въ кіевск. универс., онъ сталъ читать въ этомъ же университетѣ, въ качествѣ приватъ-доцента, курсъ всеобщей исторіи. На каѳедрѣ, однако, онъ оставался недолго, такъ какъ его взгляды на науку шли вразрѣзъ и съ ученой коллегіей университета и съ аудиторіей. Его лекціи оказались безъ слушателей, и потому онъ оставилъ каѳедру и занялся литературной дѣятельностью. Съ 1864 г. по 1866 г. Авсѣенко былъ правой рукой издателя „Кіевлянина“, В. Я. Шульгина. Направленіе этой газеты близко подходило къ направленію „Московск. Вѣдом.“. Идеи Авсѣенко, не нашедшія примѣненія въ стѣнахъ университета, свободнымъ потокомъ выливались на страницы „Кіевлянина“, громя все, чѣмъ жили передовые слои русскаго общества.

Въ 1865 г. Авсѣенко выступилъ на страницахъ „Русск. Вѣстн.“, какъ беллетристъ, повѣстью „Буря“. Въ 1869 г. Авсѣенко становится постояннымъ сотрудникомъ возникшей тогда „Зари“ Кашперова, а съ прекращеніемъ этого органа переходитъ въ 1871 г. въ „Русскій Міръ“, гдѣ и ведетъ критическій фельетонъ подъ иниціалами *А. О.*

Критическіе взгляды и литературная дѣятельность Авсѣенко трудно подвести подъ какія-нибудь опредѣленныя начала. Она можетъ быть охарактеризована развѣ только словомъ „мракобѣсіе“. Онъ не признавалъ ни за кѣмъ изъ современныхъ ему литераторовъ никакихъ заслугъ. Даже такія имена, какъ Некрасовъ, Салтыковъ, Успенскій, не вызывали у него ничего, кромѣ порицанія. Изъ дѣйствовавшихъ, однако, писателей онъ выдѣлялъ беллетристовъ „Русск. Вѣстн.“, находя у нихъ тѣ положительныя достоинства, которыя, по его мнѣнію, отсутствовали у корифеевъ нашей литературы 70-хъ годовъ. *Прим. Н. Денисюка.*

всегда найдется. Другое дѣло г. Щедринъ. Конечно, онъ также ни въ чемъ болѣе не нуждается, какъ въ поводѣ, но тутъ обстоятельства выходятъ гораздо тоньше и труднѣе. Не каждый же мѣсяцъ русская жизнь создаетъ помпадуровъ и не каждый мѣсяцъ мы завоевываемъ Ташкентъ. А сатирическій умъ г. Щедрина настолько прилѣпился къ этимъ двумъ предметамъ, что съ трудомъ направляется на что-либо другое. Онъ такъ привыкъ цѣлить въ помпадуровъ и ташкентцевъ, что, хотя бы мѣтилъ мимо ихъ, стрѣла его непремѣнно ударитъ въ помпадура или въ ташкентца. Положимъ, это еще не бѣда, такъ какъ помпадуры, напримѣръ, бываютъ разные, и нашъ первоклассный сатирикъ могъ бы составить изъ нихъ весьма любопытную коллекцію. Но бѣда въ томъ, что г. Щедринъ знаетъ только одного помпадура, и потому бьетъ все по одному и тому же направленію. Это выходитъ уже скучно. Вотъ и въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ мы опять встрѣчаемся съ помпадуромъ—и не съ какимъ-нибудь новенькимъ, свѣженькимъ, а со старымъ, до гадости знакомымъ и заѣзженнымъ помпадуромъ. Сначала какъ-будто выходитъ, что авторъ сатирическаго очерка „*Онъ*!!“ открылъ въ обществѣ отечественныхъ помпадуровъ свѣженькій сюжетецъ, что въ сатиру его, на этотъ разъ, проскользнуло что-то новенькое, очень недавно подслушанное и подмѣченное—о чемъ, какой-нибудь мѣсяцъ назадъ, всѣ толковали съ большимъ интересомъ и оживленіемъ. Но это только такъ кажется. На повѣрку выходитъ, что г. Щедринъ увидѣлъ въ этомъ новенькомъ сюжетѣ совершенно стараго, заѣзженнаго помпадура, о которомъ онъ даже и говорить иначе не можетъ, какъ повторяя свои старыя, отслужившія вѣкъ остроты. Новаго во всемъ этомъ только то, что, по мнѣнію нашего сатирика, всякій дѣйствительный статскій совѣтникъ, согнанный съ помпадурскаго мѣста, неизбѣжно поступаетъ подъ команду выборгской шведки Лотты. Правда, дѣлается это не сразу. Сначала помпадуръ—въ настоящемъ случаѣ онъ зовется Агатономъ—вторгается въ домъ къ финансисту Ѳалалею Губошлепову и исполняетъ разныя мелкія его порученія, за что имѣетъ отъ него готовый столъ и пользуется изрѣдка небольшими подачками. „Среди этого изобилія онъ какъ-будто даже повеселѣлъ: узналъ толкъ въ винахъ и сигарахъ (помпадуръ-то!), вѣрно угадывалъ цѣну куждаго фрукта, прямо запускалъ лапу туда, гдѣ раки

зимуютъ, отпустилъ брюшко, сшилъ себѣ легкій костюмчикъ, ѣлъ такъ смачно и аппетитно, что губы у него припухли и покрылись глянцемъ. Но поэтъ сказалъ правду: ... на счастье прочно всякъ надежду кинь... И правдѣ этой пришлось осуществиться на Агатонѣ самымъ жестокимъ образомъ. Не успѣлъ еще онъ пустить корни въ домѣ Губошлепова, какъ послѣдній уже подыскалъ себѣ какого-то бывшаго полководца. Съ этихъ поръ патронъ уже, видимо, охладѣваетъ къ Агатону. Являются на сцену столкновенія и пререканія. Вопросъ о томъ, кому изъ двухъ соперниковъ владѣть сердцемъ Губошлепова, съ каждымъ днемъ дѣлается болѣе и болѣе назойливымъ и, конечно, долженъ разрѣшиться въ ущербъ Агатону. Начинается съ того, что однажды Агатонъ уже совсѣмъ, было, запустилъ лапу въ ящикъ съ сигарами какой-то неслыханной красоты, какъ-вдругъ почувствовалъ, что его обожгло. — Вонъ эти... поменьше... онѣ скуснѣе будутъ!—сразу озадачиваетъ его Губошлеповъ, указывая взглядомъ на другой ящикъ, съ менѣе цѣнными сигарами", и т. д.

. . . . . .

„Нѣтъ Агатона! Онъ поселился въ четвертомъ этажѣ, во дворѣ того самаго дома, гдѣ живетъ и бывшій его патронъ, и прозябаетъ подъ командой у выборгской шведки Лотты, которая въ одно и то же время готовитъ ему кушанье, чиститъ ему сапоги и исполняетъ другія неприхотливыя его требованія. Лотта безобразна, рѣдковолоса, лишена бровей и рѣсницъ и, за всѣмъ тѣмъ, съ ожесточеніемъ упрекаетъ его въ томъ, что онъ загубилъ ея молодость. Чтобы загладить этотъ поступокъ, онъ старается исполнить ея малѣйшій капризъ. Сначала она варила ему кофе, пока онъ нѣжился въ постели, теперь—онъ самъ варитъ кофе, пока она, неопрятная и сонная, барахтается въ пуховикѣ. Чтобъ быть ей пріятнымъ, онъ даже выучился говорить „по-ейному" и такъ чисто произноситъ: „анна-мино-нуси", что Лотта не можетъ удержаться, чтобъ не дать ему за это пинка. По воскресеньямъ къ Лоттѣ ходитъ „ейный" двоюродный братъ, и тогда Агатонъ на цѣлый день уходитъ изъ дому," и т. д. Безъ сомнѣнія, многимъ изъ читателей „Отечественныхъ Записокъ", и даже большинству этихъ читателей, все вышеприведенное покажется очень смѣшнымъ и будетъ принято за сатиру на современные нравы. Но,

вѣроятно, и самъ авторъ не раздѣляетъ такого мнѣнія большинства своихъ читателей. Авторъ, по всей вѣроятности, самъ понимаетъ, что онъ, просто, подшутилъ надъ райкомъ, что никакихъ современныхъ нравовъ тутъ нѣтъ, слѣдовательно, нѣтъ и сатиры, а просто положенія (и, притомъ, очень затасканныя положенія), и набраны они затѣмъ, что раекъ приметъ ихъ съ благосклонностью, а беллетристъ, пишущій такъ много, какъ пишетъ г. Щедринъ, иначе не можетъ писать, какъ для райка. Это, однакожъ, достойно всяческаго сожалѣнія, потому что г. Щедринъ, несомнѣнно, талантливый писатель и, если бъ не задался цѣлью наполнять каждую книжку „Отечественныхъ Записокъ“ своими статьями, отъ таланта его можно было бы ожидать чего-либо болѣе цѣннаго. Если бъ г. Щедринъ посвящалъ болѣе времени на обдумываніе своихъ сатирическихъ очерковъ, онъ догадался бы, что сатира должна быть направлена на явленія дѣйствительныя и господствующія, и что въ современной дѣйствительной жизни опрокинутые „новымъ вѣяніемъ“ помпадуры не поступаютъ въ приживалки къ Ѳалалеямъ Губошлеповымъ или къ выборгскимъ шведкамъ, но устраиваются совершенно инымъ образомъ, представляющимъ для сатирика несравненно болѣе питательную пищу. Г. Щедринъ, безъ сомнѣнія, знаетъ, что дѣйствительность нашихъ дней не исчерпывается помпадурами сороковыхъ годовъ и ташкентцами, но представляетъ также такія стороны, искусное и вѣрное освѣщеніе которыхъ сдѣлало бы величайшую честь сатирику и стяжало бы ему успѣхъ не у одного только райка. Но къ этимъ сторонамъ надо подходить съ запасомъ мысли и наблюденій,—съ запасомъ, который трудно наполняется при поспѣшной журнальной работѣ. Карикатурить съ-плеча, конечно, гораздо легче, чѣмъ наблюдать и обдумывать.

А. О. (Авсѣенко).

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина [1]).

Г. Щедринъ, съ своей стороны, попотчевалъ читателей въ книжкѣ „Отеч. Зап.“ „Благонамѣренными рѣчами“ [2]). Это—не разсказъ и не очеркъ, а что-то въ родѣ разсужденія, изложеннаго въ формѣ разговора и отзывающагося злою сатирой на тѣхъ, которые стоятъ противъ такъ-называемаго женскаго вопроса о допущеніи женщинъ къ высшему образованію. Эта сатира и выражена въ разговорахъ автора съ нѣкіимъ Тебеньковымъ, — человѣкомъ, „который въ настоящую минуту хотя и не служитъ, но считаетъ карьеру свою далеко неоконченною, и когда проѣзжаетъ мимо сената, то всегда хоть однимъ глазкомъ да посмотритъ на него“, и который, въ сущности, фрондеръ, или, выражаясь иначе, „почтительно, но съ независимымъ видомъ лающій русскій человѣкъ“. Онъ слыветъ, однако, за либерала, но, говоритъ авторъ, происхожденіе его либерализма самое обыкновенное. Кто-то, когда-то сдѣлалъ что-то не совсѣмъ такъ, какъ онъ имѣлъ честь почтительнѣйше полагать. По-настоящему, ему тогда же надлежало, не конфузясь, объяснить недоразумѣніе и возразить: да я именно, ваше превосходительство, такъ и имѣлъ честь почтительнѣйше полагать!—но, къ несчастью, обстоятельства какъ-то такъ сложились, что онъ не успѣлъ ни назадъ отступить ни броситься въ сторону, да такъ и остался съ почтительнѣйшимъ докладомъ на устахъ. Но, въ то же время, онъ малый зоркій и очень хорошо понимаетъ, что будущее еще не ускользнуло отъ него. Разговоры ведутся по тому поводу, что автору на одномъ вечерѣ пришлось выслушать со стороны женщинъ нѣсколько фразъ, относящихся къ женскому вопросу, и выражающихъ желаніе видѣть дозволеніе поступать въ медико-хирургическую

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1873 г., № 33. (См. выпускъ I-й, стран. 65.)
[2]) „Отеч. Записки“, 1873 г., № 1.

академію и слушать университетскіе курсы. Авторъ, по поводу этихъ толковъ, сейчасъ же становится на сторону женщинъ и разсуждаетъ такъ: „Что ежели позволятъ? думалось въ свою очередь и мнѣ. Вѣдь, начальство снисходительно; оно, чего добраго, все позволитъ, только бы ничего изъ этого не вышло. Что тогда будетъ? Будутъ ли онѣ усердны въ исполненіи обязанностей? Конечно, будутъ".

Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать медико-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы? Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ ничему не научатся и потратятъ время задаромъ, все-таки спрашивается: кому отъ того вредъ? Кто пострадаетъ отъ того, что онѣ задаромъ проведутъ и безъ того свое даровое время? Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими пріемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ все-таки будетъ одинъ: нѣтъ, ни опасности ни вреда не предвидится никакого. За что же это жестокое осужденіе на безсрочное блужданіе въ коридорѣ, которое, представляя собою фактъ безпричинной нетерпимости, служитъ, кромѣ того, источникомъ „шума" и „рѣзкостей". Конечно, заключаетъ авторъ, а „позволь" я и „не позволь", ни въ томъ ни въ другомъ случаѣ общественное спокойствіе не было бы нарушено, но развѣ это достаточный резонъ, чтобы непремѣнно не позволять? Ужели же перспектива пріобрѣсти либеральную репутацію имѣетъ въ себѣ такъ мало заманчиваго, чтобы предпочитать ей перспективы, обѣщаемыя хладнымъ и безплоднымъ восклицаніемъ „цыцъ"? Но не такъ смотритъ на вопросъ Тебеньковъ, готовый видѣть въ упомянутыхъ стремленіяхъ женщины нѣчто въ родѣ неблагонамѣренности, и авторъ въ сатирическомъ духѣ приводитъ мнѣнія людей подобнаго покроя. Вотъ, для примѣра, одно мѣсто изъ „Благонамѣренныхъ цѣлей", гдѣ Тебеньковъ доказываетъ, что наши дамы давно порѣшили съ женскими вопросами.

„Наши дамы давно уже порѣшили съ этимъ вопросомъ, и міръ нимало не пострадалъ отъ этого!—продолжалъ ораторствовать Тебеньковъ.—Надняхъ la princesse Nathalie—tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis! [1])—сказала мнѣ: „Mon cher,

[1]) Княгиня Наталья — ты знаешь, на нее нападаютъ иногда минуты прелестной откровенности съ друзьями.

nous autres femmes du monde, nous avons depuis longtemps tranché la question! Nous ne faisons pas de radotages, mais nous agissons"[1]).—La princesse Nathalie! Est-ce possible? Une „sainte" [2])—Да-съ, une „sainte". Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! [3]) Потому что, вѣдь, ты понимаешь, что ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то, весьма естественно, является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это давно всѣми признано, подписано и рѣшено. Saperlotte! Не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кириллычъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Но какъ расширить эти стороны?—вотъ въ чемъ весь вопросъ! Voici la grande, la grandissime question! [4])—Стало-быть, по-твоему лучшее средство—это протестовать наманеръ „Belle Hélène"!—А ты шутишь съ „Belle Hélène"? Нѣтъ, ты подумай! Вотъ онъ, протестъ-то, съ которыхъ поръ начался! И замѣть, въ этой формѣ никто никогда не видѣлъ въ немъ ни малѣйшей опасности! Еще во времена Троянской войны женскій вопросъ былъ уже рѣшенъ, но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало одного только Менелая. Menelas! On s'en moque—et voilà tout! [5]) Всѣ эти Фрины, Лаисы, Аспазіи, Клеопатры—что это такое, какъ не прямое разрѣшеніе женскаго вопроса? *) А онѣ волнуются, требуютъ какихъ-то разъяснительныхъ правилъ говорятъ: напишите все это намъ на бумажкѣ! Согласись, что все это нѣсколько странно! Согласенъ?—Да... для „Belle Hélène"... дѣйствительно, едва ли потребуются разъяснительныя правила.—Ну, вотъ видишь! А онѣ сохнутъ о правилахъ! Мы всѣ, tous que nous sommes [6]), понимаемъ, что первоизданная Таутова азбука отжила свой вѣкъ, но, какъ люди благоразумные, говорили себѣ: зачѣмъ подрывать то, что и безъ того стоитъ еле живо, но надъ чѣмъ покуда виситъ проржавѣвшая отъ времени вывѣска съ надписью: „Здѣсь начинается царство запретнаго"; зачѣмъ публично и съ какимъ-то дурнымъ шикомъ вторгаться въ предѣлы этого царства, коль-скоро мы всѣмъ этимъ quasi-запретнымъ можемъ пользоваться подъ самыми удобными псевдонимами? Для большей вразумительности приведу тебѣ хоть слѣдующій примѣръ: и ты, и я, и всѣ мы, люди современной интеллигенціи, любимъ отъ времени до времени посѣщать театръ Берга. Для чего мы ѣздимъ туда? Что привлекаетъ насъ? Это, конечно, наше личное дѣло, и вдругъ выискивается какой-нибудь nitrus и выпаливаетъ намъ въ укоръ: вы, господа, ѣздите къ Бергу смотрѣть, какъ француженки юбки поднимаютъ! Согласись, что это было бы крайне непріятно. По крайней мѣрѣ, что касается меня, то я сразу осадилъ бы наглеца. „Нѣтъ, ми-

[1]) Мой другъ, мы, свѣтскія женщины, давно рѣшили этотъ вопросъ: мы не дѣлаемъ чепухи, но мы дѣйствуемъ.

[2]) Княгиня Наталья? Возможно ли? Такая „святая"!

[3]) „Святая". И она права, прелестная княгиня!

[4]) Вотъ важный, очень важный вопросъ.

[5]) Менелая! надъ этимъ смѣются—вотъ и все!

*) Какъ извѣстно Елена, „позволивши Парису себя обольстить", бѣжала съ нимъ. Къ этому же г-да Тебеньковы сводятъ весь „женскій вопросъ". Они допускаютъ единственную форму свободы женщины: такую свободу, которая будетъ использована наманеръ „Елены Прекрасной". *Н. Д.*

[6]) Сколько насъ ни-на-есть.

лостивый государь, вы ошибаетесь: я хожу къ Бергу совсѣмъ не для юбокъ и пр., а для того, чтобы видѣть французскую веселость, la bonne et franche gaité française [1]). Понимаешь? Онъ сказалъ: юбки поднимаютъ, а я ему отвѣтилъ: французская веселость. Вотъ это-то и есть псевдонимъ, одинъ изъ тѣхъ псевдонимовъ, которые позволяютъ намъ не слишкомъ тяготиться игомъ первоизданной Таутовой азбуки".

Представивъ затѣмъ Тебенькова развивающимъ подобныя мысли еще въ нѣсколькихъ примѣрахъ, авторъ, останавливаясь на нихъ, говоритъ:

„О, Наденька Лаврецкая и Галочка Перерепенко! Вы, которыя чуть не пѣшкомъ прибѣжали изъ вашихъ захолустьевъ въ Петербургъ, ради разрѣшенія женскаго вопроса, вы не понимаете, что вопросъ этотъ разрѣшается такъ легко! Стоитъ только подобрать компанію des jeunes gens bien, bien comme il faut [2]), затѣмъ нанять нѣсколько троекъ и покатить съ бубенчиками прямо въ театръ Берга—эту наицѣлесообразнѣйшую медико-хирургическую академію à l'usage des dames et des demoiselles! [3]) Тамъ дѣвица Филиппо прочтетъ вамъ лекцію: „L'impôt sur les célibataires" [4]), а дѣвица Лафуркадъ, пропѣвъ: „A bas les hommes!" [5]), вмѣстѣ съ тѣмъ провозгласитъ и окончательную эмансипацію женщинъ".

Вообще, Тебеньковъ вышелъ у автора довольно полнымъ представителемъ всѣхъ тѣхъ взглядовъ, всѣхъ тѣхъ понятій, какіе сложились противъ стремленій современной женщины къ высшему образованію и мѣшаютъ счастливому разрѣшенію женскаго вопроса, и авторъ не пропускаетъ случая, чтобы не осмѣять этихъ взглядовъ, не выставить ихъ въ ихъ устарѣлости и съ смѣшной стороны. Не поймутъ ли, хоть послѣ этого, гг. Тебеньковы, какъ они смѣшны съ ихъ разными ссылками на princesse Nathalie и другихъ femmes du monde [6]), тогда какъ лучше всего было бы разрѣшить вопросъ не по этимъ ни для кого необязательнымъ примѣрамъ, а, единственно, во имя правды и логики.

---

[1]) Добрую, открытую французскую веселость.
[2]) Молодыхъ людей, очень, очень порядочныхъ.
[3]) Къ услугамъ (или въ пользу) дамъ и дѣвицъ.
[4]) Налогъ на холостяковъ (или незамужнихъ).
[5]) Долой мужчинъ.
[6]) Свѣтскихъ женщинъ.

Критикамъ Щедрина [1]).

Хотите знать, что такое Щедринъ? Прокуроръ русской общественной жизни и защитникъ Россіи отъ враговъ внутреннихъ. Вы говорите, что онъ не любилъ родины, что онъ издѣвался надъ Россіей? Вы говорите, что онъ злословилъ, что онъ зубоскалилъ, что онъ клеветалъ? Это вы могли говорить только потому, что сами вы сидѣли на скамьѣ подсудимыхъ, когда онъ обвинялъ, и сами обвиняли, когда онъ защищалъ. Вамъ ненавистно было свободное слово свободнаго человѣка, потому что вы привыкли говорить, какъ ослица ветхозавѣтнаго Валаама, только по повелѣнію свыше. Въ вашихъ убѣжденіяхъ (если это слово примѣнимо къ вамъ) нѣтъ упругости; вы изъ породы мягкотѣлыхъ. Но помните, что мягкотѣлыя одной породы съ червями. Вы точите организмъ родины, которая имѣла несчастье вскормить васъ. Вы думаете, что она уже трупъ!.. Ошибаетесь... Вы копошились въ ея ранахъ и гнойникахъ, но организмъ здоровъ, и это были только внѣшнія болячки. Вы съ видомъ участія подносили ей опіумъ. Вы хотѣли, чтобы она спала непробуднымъ сномъ... Вы говорили ей о золотыхъ грезахъ... Наивные!.. Она выспится, а затѣмъ?.. Вы надѣли ей на голову дурацкій колпакъ и разбили зеркало... Наивные... А произведенія Щедрина?.. Вы твердили на страницахъ своихъ журналовъ, что народъ является носителемъ всевозможныхъ совершенствъ, а про-себя думали, что онъ ничѣмъ не отличается отъ сказочнаго Иванушки-дурачка... Да, вы были бы правы, но только въ томъ случаѣ, если бы вы не забыли, кто является въ сказкѣ побѣдителемъ всѣхъ препятствій, которыя ставятъ братья Иванушки на его пути.

Не пройдетъ и четверти вѣка, и судьба литературныхъ произведеній, развѣнчивавшихъ талантъ Щедрина, и безсмертныхъ произведеній нашего сатирика покажетъ, кто былъ правъ. Впрочемъ, вы можете утѣшиться. Ваши имена покроются густымъ слоемъ исторической пыли, такимъ слоемъ, подъ которымъ даже жадный до скандальной хроники

[1]) „Искра“, 1873 г., № 31. (См. стран. 207.)

репортеръ не въ состояніи будетъ разглядѣть васъ. И это для васъ самое лучшее. Если для васъ значитъ хоть что-нибудь судъ потомства, вамъ надо искать забвенія.

Трудно понять психологію людей, для которыхъ міросозерцаніе Щедрина было неясно, но еще труднѣе понять тѣхъ, для которыхъ оно было ненавистно.

Есть вещи, о которыхъ не можетъ быть двухъ мнѣній. Надо быть слабоумнымъ или русскимъ либераломъ, чтобы стараться охаять ихъ. Есть критики, для которыхъ ругаться площадною бранью является физіологическою потребностью, такъ какъ духовныхъ потребностей они не имѣютъ, а сбрасывать съ пьедестала въ грязь—вопросомъ личнаго удовлетворенія и благополучія. Со всѣми этими литературными „дѣятелями“ и „сѣятелями“ плевелъ трудно считаться, и, въ то же самое время, нужно считаться, потому что на ихъ сторонѣ если и не будетъ общество, то всегда соберется толпа зѣвакъ и бездѣльничающихъ фланеровъ. Ихъ языкъ приспособленъ для улицы и рынковъ. Они знаютъ и потребности своей публики, и то, что, зачастую, предложеніе вызываетъ спросъ. Сегодня прохожій, слушая развязную рѣчь этихъ молодцовъ, плюнетъ, завтра не обратитъ лишь вниманія, а послѣзавтра, глядишь, и попривыкъ, а тутъ, уже недалеко и до потребности...

Салтыковъ, конечно, не исчерпалъ (и далеко не исчерпалъ) всѣ сокровища литературной кунсткамеры, но онъ и въ этой области положилъ фундаментъ. Литературныя болота еще ждутъ своего бытописателя, но и картина, которую далъ Щедринъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что очищеніе этихъ авгіевыхъ конюшенъ было бы не подъ силу и Геркулесу.

Гутенбергъ... что сдѣлали они съ твоимъ геніальнымъ изобрѣтеніемъ?!. Какъ использовали они то, что ты далъ имъ!.. Ты, можетъ-быть, думалъ, что несешь человѣчеству знаніе, свѣтъ и благо?.. Увы, это было бы такъ, если бы не было Подхалимовыхъ... Когда литературныя статьи этихъ литературныхъ „кликушъ“ идутъ въ типографскую машину, не кажется ли вамъ, что вы присутствуете при актѣ непотребства?..

О великій Гутенбергъ, посмотри, какъ буйно разрослись плевелы, сѣемые изо-дня-въ-день на страницахъ нашихъ „органовъ“. Это вполнѣ понятно, потому что страницы эти обильно унавожены... Посмотри, какъ гордо несутъ „дѣятели и представители печати“ свои пустопорожнія головы,

избавленныя отъ какихъ бы то ни было знаній, кромѣ знанія тѣхъ статей цензурнаго устава, по которымъ ихъ „дѣятельность“ можетъ превратиться въ одну минуту въ паръ, въ позорное прошлое... Въ газетномъ океанѣ, отличающемся отъ обыкновеннаго тѣмъ, что въ его водахъ нѣтъ соли, безъ руля и безъ вѣтрилъ плаваютъ эти тупые и привязчивые цѣнители и судьи, памятуя твердо, что на всякій уличный скандалъ соберется жадная до развлеченій толпа. Имъ только этого и надо.

Они говорятъ, что у Щедрина нѣтъ міросозерцанія! Это говорятъ люди, провозгласившіе наше время временемъ, не нуждающимся въ широкихъ задачахъ! Что же нужно намъ? Конечно, только то, что идетъ къ понятію *жратъ* и что исходитъ отъ того же *жратъ*!.. Если послѣ этого еще добавить, что они считаютъ себя людьми передовыми, то картина будетъ полной. По мнѣнію этихъ „передовыхъ“ людей, свысока смотрящихъ на Щедрина, намъ нужны нѣкоторыя умѣренныя починки нашего государственнаго корабля въ видѣ соціальныхъ реформъ подъ непосредственнымъ руководствомъ господъ дворянъ и помпадуровъ и подъ неослабнымъ надзоромъ полиціи и жандармовъ. А все остальное— „пустыя, громкія слова“ и не ведущія къ дѣлу пререканія. Сколько здѣсь коварства, предательства, вѣроломства и мерзости души *).

---

*) Послѣднія фразы автора статьи нѣсколько неясны для читателя, незнакомаго съ общественнымъ и литературнымъ движеніемъ нашего общества во второй половинѣ XIX вѣка.

Общественное движеніе на Западѣ шло болѣе правильнымъ путемъ. Сначала были проведены политическія реформы, а уже затѣмъ соціальныя. Сначала граждане страны получили право устраивать сами свою жизнь, а уже затѣмъ начали ее устраивать сообразно своимъ нуждамъ и пониманію. Въ Россіи было наоборотъ. Даже наиболѣе просвѣщенные люди 50-хъ, 60-хъ и 70-хъ годовъ стояли за соціальныя реформы, способныя, по ихъ мнѣнію, обновить русскую жизнь и поднять матеріальное и умственное развитіе народа настолько, чтобы онъ вполнѣ сознательно перешелъ къ тѣмъ новымъ формамъ политической жизни, которыя будутъ соотвѣтствовать его національному характеру. Щедринъ полагалъ иначе. Онъ думалъ что безъ политическихъ правъ страна не сможетъ осуществить и соціальныхъ реформъ. Онъ ставилъ въ голову нашего общественнаго движенія борьбу за достиженіе этихъ правъ. Наши дни показали, кто былъ правъ: народники, либералы, во главѣ съ Герценомъ и Бакунинымъ, разочаровавшимися въ западныхъ формахъ политической жизни, или группа лицъ, къ которой принадлежалъ и Щедринъ. *Прим. Н. Денисюка.*

„Благонамѣренныя рѣчи“ [1]).

*) Было бы и очень скучно и совершенно ненужно припоминать здѣсь все, что писалось въ газетахъ и говорилось въ обществѣ о первой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за нынѣшній годъ. Но, было однако, во всемъ этомъ и кое-что любопытное. Это именно оцѣнка „Благонамѣренныхъ рѣчей“ г. Щедрина. Статья эта привела многихъ въ недоумѣніе. Авторъ пользуется извѣстностью, имѣющею, въ глазахъ читающаго міра, совершенно опредѣленный характеръ. И вдругъ, этотъ человѣкъ пишетъ статью, въ которой можно усмотрѣть отрицательное отношеніе къ такъ-называемому женскому вопросу, то-есть къ одному изъ пресловутыхъ вопросовъ, наичаще подвергающихся травлямъ и облавамъ. Какъ не возликовать недругамъ женскаго вопроса и какъ

---

[1]) „Отечественныя Записки“, 1873 г., 3 кн. (См. выпускъ I-й, стр. 162.)

*) Эта статья принадлежитъ выдающемуся русскому писателю, публицисту и критику Ник. Конст. Михайловскому (род. въ 1842 г., ум. въ 1904 г.). Михайловскій получилъ образованіе въ Петерб. горномъ институтѣ и уже въ бытность свою въ этомъ заведеніи началъ заниматься литературой. Въ 1860 г. въ журн. „Разсвѣтъ“ появилась его первая статья объ отрывкѣ гончаровскаго „Обрыва“. Въ самомъ концѣ 60-хъ годовъ Михайловскій вступаетъ въ „Отечественныя Записки“, и съ этого момента начинается его популярность. До 1877 г. Михайловскій состоитъ руководящимъ сотрудникомъ журнала, а съ этого года, года смерти Некрасова, замѣщаетъ его въ качествѣ соредактора Щедрина и Елисѣева. Послѣ закрытія „Отеч. Зап.“ переходитъ въ „Русскія Вѣд.“ и частью въ „Русскую Мысль“. Съ 1894 г. становится во главѣ журн. „Русское Богатство“ и остается здѣсь до самой смерти. Михайловскій, какъ писатель, занимаетъ въ исторіи русской лит. выдающееся положеніе, благодаря разностороннему таланту, широкому энциклопедическому образованію и оригинальности идей. На его произведеніяхъ воспитались, по крайней мѣрѣ, два поколѣнія, и большинство вещей изъ литературнаго наслѣдства, оставленнаго намъ покойнымъ писателемъ, не утратило своего значенія и до сихъ поръ. Къ числу послѣднихъ принадлежатъ и статьи о Щедринѣ, котораго онъ такъ близко зналъ и высоко цѣнилъ, какъ выдающагося художника слова и мыслителя. Ясность мысли и живость языка дѣлаютъ эти статьи еще болѣе интересными. *Прим. Н. Денисюка.*

не возскорбѣть его друзьямъ! Какъ не заголосить разнымъ „Русскимъ Мірамъ“: [1]) ага! вотъ ваши же договорились до того же самаго, что мы говорили всегда. И на г. Щедрина посыпались комплименты... Я спрашиваю васъ, читатели, каково слушать подобныя любезности? каково слушать комплименты людей, которые, очевидно, ничего не поняли?

Самымъ непроницательнымъ изъ враговъ и сторонниковъ женскаго вопроса, можетъ-быть, нелишнее будетъ напомнить, что Щедринъ и Тебеньковъ не одно и то же, какъ не одно и то же Островскій и его самодуры. Но гораздо важнѣе другая сторона дѣла. Стоитъ только пересмотрѣть статьи и брошюры, вызванныя пребываніемъ женщинъ въ Цюрихскомъ университетѣ, или многочисленные романы и повѣсти нашихъ отечественныхъ сочинителей, въ которыхъ фигурируютъ „нигилистки“,—чтобъ убѣдиться, что корень дѣла лежитъ въ вопросѣ о нравственности. Говорятъ и пишутъ, что, допустивъ женщинъ къ нѣкоторымъ профессіямъ, доселѣ для нихъ не существующимъ, мы выведемъ женщину и изъ семьи и изъ круга святого незнанія и наивной чистоты, которыя ее такъ украшаютъ. Выжлятники изъ беллетристовъ поставляютъ въ громадномъ количествѣ образы женщинъ, потерявшихъ за книгой, въ аудиторіи, въ препаровочной всякія понятія о нравственности. Борзятники изъ критиковъ, публицистовъ и философовъ разводятъ эти образы бурными волнами своихъ размышленій. И эти же охотники серіозно говорятъ комплименты автору „Благонамѣренныхъ рѣчей“. Но, о вы, борзятники, доѣзжачіе, выжлятники, загонщики, вы всѣ, творящіе облавы и травли и ратующіе за семью и нравственность,—гдѣ *ваша* семья, гдѣ *ваша* нравственность? Авторъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ говоритъ вамъ, что ничего этого у васъ нѣтъ. Онъ говоритъ вамъ больше: онъ говоритъ, что вы сами знаете, что „и безъ того все стоитъ еле живо“, что „собственность-то, семейство-то, основы-то наши... фью-ю!“ Тебеньковъ, la princesse de P., la baronne de K., „наконецъ, Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна“, да и вы всѣ, господа доѣзжачіе, конечно, можете смотрѣть на вещи не иначе, какъ съ точки зрѣнія разрѣшенія женскаго вопроса поведеніемъ Елены Прекрасной. Но зачѣмъ валить съ больной головы на здоровую и тѣмъ обна-

[1]) См. стран. 100.

руживать свою почти невѣроятную непроницательность? Вамъ докладываютъ, что вы безнравственны, что вы ратуете за то, чего у васъ нѣтъ и во что вы не вѣрите,—а вы изъявляете радость, вы ликуете... Всякій человѣкъ имѣетъ право быть глупымъ, говорилъ Гейне, но нѣмцы злоупотребляютъ этимъ правомъ. Мнѣ кажется, что у насъ злоупотребленіе этимъ правомъ давно уже не достигало такихъ размѣровъ, какіе оно приняло по поводу „Благонамѣренныхъ рѣчей". Конечно, господа доѣзжачіе, ко всякому дѣлу пристегивается много всякой дряни, совершающей, подъ тѣмъ или другимъ знаменемъ, грязныя и глупыя дѣянія. Конечно, и между нами, можетъ-быть, существуютъ субъекты, видящіе разрѣшеніе женскаго вопроса въ поведеніи Елены Прекрасной. Но они ваши, господа доѣзжачіе. Если это женщины, то онѣ скоро станутъ вашими женами, любовницами и содержанками, предметами вашего „баловства" и „экскурсій въ область запретнаго". Если это мужчины,—они опять-таки ваши. И чѣмъ скорѣе вы ихъ заполучите, тѣмъ веселѣе для васъ—вашего полку прибудетъ, и тѣмъ лучше для насъ—худая трава изъ поля вонъ.

Но авторомъ „Благонамѣренныхъ рѣчей" затронута еще одна сторона такъ-называемаго женскаго вопроса, быть-можетъ, самая важная, но опять-таки совершенно непонятая непроницательными ликующими недругами. Авторъ „Благонамѣренныхъ рѣчей", помимо вышесказаннаго, дѣйствительно отрицательно относится къ женскому вопросу, но, чтобы видѣть, въ чемъ, именно, состоитъ это отрицательное отношеніе, куда оно, именно, направлено, я позволю себѣ слѣдующую выписку изъ „Благонамѣренныхъ рѣчей":

„Скажите, какой вредъ можетъ произойти оттого, что въ С.-Петербургѣ, а, быть-можетъ, и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ, — женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы восклицать: „Bonjour, chère mignonne! Какое вчера на princesse N платье было!" будутъ говорить: „А что, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты Мясниковскаго дѣла?.." Я знаю, многіе полагаютъ, будто женская работа не можетъ быть такъ чиста, какъ мужская. Но, во-первыхъ, мы этого еще не знаемъ. Мы даже приблизительно не можемъ опредѣлить, какимъ образомъ женщина обработала бы, напри-

мѣръ, Мясниковское дѣло, и не чище ли была бы ея работа противъ той мужской, которую мы знаемъ. Во-вторыхъ, мы забываемъ, что опредѣленіе степени чистоты работы вполнѣ зависитъ отъ давальцевъ: не станетъ женщина чисто работать—растеряетъ давальцевъ. Въ-третьихъ наконецъ, не напрасно же сложилась на міру пословица: „Не боги горшки обжигаютъ"—а чѣмъ же, кромѣ „обжиганія горшковъ" занимается современный русскій человѣкъ, къ какому бы онъ полу или возрасту ни принадлежалъ? Я знаю другихъ, которые опасаются не столько за чистоту работы, сколько за возможность увлеченій. Но эти опасенія ужъ просто не выдерживаютъ никакой критики. Что женщина охотно увлекается—это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертавъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благодарнымъ энтузіазмомъ, но только *это* пространство—ни больше ни меньше. Она извлечетъ весь сокъ изъ даннаго „позволенія", но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самаго *позволенія*—и отнюдь не дальше. Если мужчина способенъ упереться лбомъ въ уставы судопроизводства, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ большимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновѣ. Она и дома и на улицѣ будетъ декламировать: „Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредитъ или истребитъ", и ежели вы прервете ее вопросомъ:—Какъ здоровье мамаши?—то она наскоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): „Благодарю васъ", и затѣмъ опять задекламируетъ: „Если, вслѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги", и т. д. Нѣтъ, какъ хотите, а я бы позволилъ. Ужъ одно то, что онѣ будутъ у дѣла и, слѣдовательно, не останется повода ни для „шума", ни для „рѣзкостей"—одно это ужъ представило бы для меня несомнѣнное основаніе, чтобы не медлить разрѣшеніемъ. Но, кромѣ того, я увѣренъ, что тутъ-то именно, то-есть въ средѣ женщинъ, которымъ *позволено*, я и нашелъ бы для себя настоящую опору, настоящихъ столбовъ. Не спорю, есть много столбовъ и между мужчинами, но, ради Бога, развѣ мужчина можетъ быть настоящимъ, то-есть пламеннымъ, исполненнымъ энтузіазма столбомъ? Нѣтъ, онъ и на это занятіе смотритъ равнодушно, ибо знаетъ, что оно ему разрѣшено искони, и что никто его права быть столбомъ не оспариваетъ.

То ли дѣло столбъ, который еще самъ хорошенько не знаетъ, столбъ онъ или нѣтъ, и потому пламенѣетъ, славословитъ и изъявляетъ желаніе сложить жизнь! И за что готовъ сложить жизнь? За то только, что ему „позволено“ быть столбомъ наравнѣ съ мужчинами! Ну просто, дозволилъ бы—и дѣлу конецъ! Разумѣется, если бы меня спросили, достигнется ли черезъ это „дозволеніе“ разрѣшеніе такъ-называемаго „женскаго вопроса“, я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло. Еслибы меня спросили, подвинется ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество,—я отвѣтилъ бы опять-таки, что это не мое дѣло“.

Это очень большая выписка, но я сдѣлалъ ее съ огромнымъ удовольствіемъ и рекомендую ее особенному вниманію читателей, потому что здѣсь, въ сатирической формѣ, вопросъ поставленъ такъ ясно, какъ онъ положительно никогда не ставился въ русской литературѣ. И тѣмъ замѣчательнѣе непроницательность, обнаруженная, при этомъ случаѣ, господами доѣзжачими и борзятниками. Очевидно, что въ приведенной цитатѣ изъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ не только нѣтъ солидарности съ травлями и облавами, но есть, напротивъ, прямой протестъ противъ облавъ. Это разъ. Во-вторыхъ, во имя чего высказывается этотъ протестъ? Это опять-таки ясно какъ Божій день. Господа доѣзжачіе, неужели вы по совѣсти можете говорить комплименты автору „Благонамѣренныхъ рѣчей“ за приведенныя мысли? Неужели и вы недовольны настоящимъ положеніемъ женскаго вопроса только потому, что женщины стремятся укрѣпить всѣмъ своимъ персоналомъ существующій порядокъ вещей? О, какіе же вы неблагонамѣренные люди! Представьте себѣ, что женщины получили возможность обработать Мясниковское дѣло и, дѣйствительно, его обработали не хуже мужчинъ. Авторъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ заранѣе объявляетъ свое недовольство этимъ фактомъ, и вы аплодируете автору „Благонамѣренныхъ рѣчей“. Но согласитесь съ тѣмъ, что ваши точки зрѣнія нѣсколько различны: онъ недоволенъ тѣмъ, что женщины обработали Мясниковское дѣло *извѣстнымъ образомъ*; вы недовольны тѣмъ, что его обработали извѣстнымъ образомъ *женщины*.

Въ № 58 газеты „Новое Время“ напечатана статья: „Женская полиція“. Статья начинается слѣдующими словами:

„Въ то время, какъ въ Германіи вопросъ о томъ: могутъ ли женщины съ успѣхомъ исполнять обязанности по нѣкоторымъ видамъ государственной службы? только недавно былъ поставленъ для обсужденія,—въ Англіи и Америкѣ этотъ вопросъ уже давно рѣшенъ утвердительно. Въ этихъ государствахъ опытъ дѣятельности женщинъ на государственной службѣ привелъ къ убѣжденію, что онѣ могутъ съ успѣхомъ исполнять обязанности службы и несомнѣнно полезны еще въ одной отрасли дѣятельности, а именно, какъ полицейскіе сыщики". Затѣмъ, идетъ разсказъ объ ловкихъ ухищреніяхъ одной американской сыщицы, миссъ Нейманъ, которая оказалась столбомъ, исполненнымъ энтузіазма. „Новое Время" сообщаетъ эти свѣдѣнія съ нѣкоторымъ торжествомъ, въ смыслѣ торжества женскаго вопроса, и тѣмъ свидѣтельствуетъ, что постановка вопроса, предложенная авторомъ „Благонамѣренныхъ рѣчей", какъ нельзя болѣе умѣстна и своевременна. Является любопытный вопросъ: должны ли друзья женскаго вопроса радоваться искусству миссъ Нейманъ; должны ли скорбѣть по этому случаю выжлятники и доѣзжачіе? Такъ именно ставитъ вопросъ авторъ „Благонамѣренныхъ рѣчей". Постановка эта хороша, въ особенности тѣмъ, что заключаетъ уже въ себѣ отвѣтъ.

Н. Михайловскій.

Лекція I [1]).

„Губернскіе очерки“. — „Сатиры въ прозѣ“. — „Невинные разсказы“.

*) „Губернскіе очерки“ сразу обратили на себя вниманіе публики. Они находятся въ самой тѣсной связи съ Гоголевскими картинами провинціальной жизни; но Щедринъ въ значительной мѣрѣ раздвинулъ Гоголевскую рамку, включивъ въ свои *Губернскіе очерки* также и личности изъ народа и посмотрѣвъ на нихъ не съ той только внѣшней стороны, съ какой смотрѣлъ на нихъ Гоголь, а сумѣвъ заглянуть имъ глубоко въ душу (въ этомъ отношеніи Щедринъ пошелъ по стопамъ другихъ писателей, появившихся послѣ Гоголя и, въ этомъ смыслѣ, далеко опередившихъ своего родоначальника). Остальные щедринскіе типы представляютъ очень много общаго съ типами Гоголя, но они взяты изъ эпохи болѣе поздней, а потому и не

[1]) „Публичныя лекціи“, 1874 г.

*) Эта статья принадлежитъ небезызвѣстному русскому филологу и историку литературы профес. Оресту Ѳедоров. Миллеру, родивш. въ 1834 г. и умерш. въ 1889 г. Миллеръ окончилъ курсъ въ Петерб. университетѣ, по филологическому факультету. По своимъ убѣжденіямъ Орестъ Ѳед. принадлежитъ къ партіи славянофиловъ, но удерживается отъ крайностей этой доктрины, которая въ 80-хъ годахъ, подъ перомъ К. Аксакова, превратилась въ абсурдъ. Миллеръ былъ хорошимъ лекторомъ и знающимъ литературнымъ историкомъ. Кромѣ своихъ литературн. трудовъ онъ былъ еще извѣстенъ своимъ вліяніемъ на учениковъ, создавая среди нихъ тѣсные кружки, организуя ихъ для занятій по литературѣ и наукѣ. Отсутствіе независимаго мнѣнія въ вопросахъ литературы и славянофильства, утратившее общественное значеніе, не позволило Миллеру занять въ исторіи литературы выдающееся положеніе, но его труды, тѣмъ не менѣе, не лишены извѣстнаго интереса и значенія, какъ голосъ одного изъ представителей того направленія, которое было такъ ненавистно Щедрину. Впрочемъ, эти лекціи о Щедринѣ ничего новаго нашему читателю не дадутъ, но въ нихъ умѣло сгруппированъ весь тотъ матеріалъ по данному вопросу, который накопился въ нашей критической литературѣ до 1874 г.

Примѣч. Н. Денисюка.

могутъ не отличаться нѣкоторыми видоизмѣненіями. Хотя провинціальная наша жизнь развивалась медленно, но и въ провинцію отчасти уже заносилось вѣяніе кое-чего иного. Правда, пора, которую затрогиваетъ Щедринъ въ своихъ „Очеркахъ", это еще пора дореформенная,—но это, такъ-сказать, самый финалъ дореформенной поры: провинція какъ-будто бы уже почуяла страхъ грядущихъ вдали реформъ, этихъ новыхъ, еще неизвѣданныхъ „ревизоровъ". Щедринъ въ своихъ „Очеркахъ" пытается какъ бы подвести окончательные итоги нашей провинціальной жизни, всего, что она приготовила или, лучше сказать, что въ ней безсознательно накопилось къ началу этой знаменательной эпохи преобразованій.

Увы, оказалось, что итоги, подведенные Щедринымъ, не очень-то далеко ушли отъ Гоголевскихъ. Въ провинціальномъ мірѣ все еще не оказывается никакого понятія о человѣкѣ, *какъ человѣкѣ*; самъ-по-себѣ, какъ *личность*, онъ ничего не значитъ. Онъ получаетъ значеніе, и часто весьма большое, только смотря по тому, на какомъ онъ мѣстѣ сидитъ, или въ какомъ состояніи его карманъ,—вотъ единственныя два мѣрила достоинства человѣка. Ловкость въ пролѣзаніи впередъ и въ составленіи себѣ фортуны, не зависящая ни отъ ума, ни отъ трудолюбія, а, главнымъ образомъ, отъ такъ-называемого „усердія", вотъ единственно нужная добродѣтель. Во всѣхъ этихъ Фейерахъ, Живоглотахъ, Порфиріяхъ Петровичахъ и т. д. мы видимъ лишь нѣсколько подновленныхъ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Держиморъ и Чичиковыхъ. Только одинъ изъ Гоголевскихъ типовъ является въ значительной степени подновленнымъ въ „Губернскихъ очеркахъ". Типъ этотъ тутъ принимаетъ уже совершенно другой отпечатокъ,—его уже коснулось то вѣяніе, которое предвѣщало такъ много новаго,—а именно оно коснулось Хлестаковскаго типа. Щедринъ понялъ въ широкомъ смыслѣ, что вносится въ провинціальную жизнь заѣзжимъ столичнымъ чиновничествомъ. Его представители у Щедрина не оказываются уже такими пустыми, какъ Хлестаковъ, только со страху и принятый за ревизора; у Щедринскихъ *заѣзжихъ* чиновниковъ уже есть содержаніе или, лучше сказать, начинка. Они плотно набиты разными взглядами, разными болѣе или менѣе благими намѣреніями, но они оказываются, по большей части, людьми неумѣлыми:

Щедринъ такъ ихъ и называетъ въ особой главѣ. Одинъ человѣкъ стараго покроя, далеко не лишенный смысла, говоритъ у него объ одномъ изъ такихъ чиновниковъ:

„Живого матеріалу они, сударь, не понимаютъ; имъ бы все вотъ за книжкой, али еще пуще за разговорцемъ,—это ихнее поле; а какъ дойдетъ дѣло до того, чтобы пеньки считать,—у него, вишь, и ноженьки заболѣли!“

Кромѣ того, оказывается, что столичные просвѣтители провинціи, какъ замѣчаютъ люди стараго покроя, черезчуръ чистоплотны и брезгливы: „вишь, ручки у тебя больно бѣлы, въ перчаткахъ ходишь, да носъ-отъ высоко задираешь,—ну, и ходи въ перчаткахъ“. Но это бы еще ничего; а то нѣкоторые изъ этихъ людей въ своихъ бѣлыхъ перчаткахъ гнутъ преисправно другихъ въ дугу, перестраивая окружающее по своимъ кабинетнымъ соображеніямъ. „Совсѣмъ не съ того конца начинаете,—взываетъ къ нимъ тотъ же старый провинціальный дѣлецъ.—По верхамъ-то не лазай, а держись больше около земли, около земства-то. А то пріѣдетъ, это, весь какъ пушка заряженный, да и стрѣляетъ въ васъ своею честностью и благонамѣренностью. Ты благодѣтельствуй намъ—слова нѣтъ!—да въ мѣру, сударь, въ мѣру, а не то, вѣдь, намъ и тошно, пожалуй, будетъ. Ты, вотъ, лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то,—можетъ, она и пошла бы, машина-то!..“

Эта сторона новаго типа особенно развита въ главѣ *Озорники*,—т.-е. сторона „ломающая“.—Но представители ея связаны со старымъ провинціальнымъ поколѣніемъ нѣкоторыми практическими стремленіями, напримѣръ, стремленіемъ къ удовольствіямъ жизни; на практикѣ эти люди—эпикурейцы. При такой практикѣ, въ соединеніи съ такою теоріей, трудно обойтись безъ нѣкоторыхъ постороннихъ пособій,—взятокъ, однако, они не берутъ! „Моя обязанность“,—говоритъ одинъ изъ нихъ—„только исчислить статьи: гоньба тамъ что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter...“ Онъ только держится основного правила, что „достоинъ дѣлатель мзды своея“,—а они ли еще не дѣлатели?!

„Оглянитесь кругомъ себя“, говоритъ одинъ изъ нихъ, „все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія—плодъ администраціи, община—плодъ

администраціи, торговля—плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи"...

И какую борьбу приходится выносить этой общей благодѣтельницѣ съ тупою массой, съ грубымъ мужичьемъ: „Ils sont encore bien loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation"—говоритъ о народѣ одинъ изъ такихъ провинціальныхъ администраторовъ.

Но надворный совѣтникъ Щедринъ отъ этихъ просвѣтителей въ бѣлыхъ перчаткахъ обращается прямо къ этимъ простымъ людямъ, не дозрѣвшимъ до цивилизаціи. Онъ рѣшается даже прямо изъ губернскаго салона перевести насъ въ губернскій острогъ. Тутъ мы у него видимъ, въ сущности, тѣ же черты, которыя развиты у Достоевскаго въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома". Оба они судили на основаніи опыта: только Достоевскій, конечно, могъ еще глубже судить, потому что дольше и ближе могъ наблюдать. Но у Щедрина эти сцены въ острогѣ имѣютъ особенное значеніе именно потому, что онъ переводитъ туда читателя прямо изъ губернскихъ салоновъ. Оказывается, что многіе попадаютъ въ острогъ, просто, по недоразумѣнію; другіе—вслѣдствіе преступленій, объясняемыхъ тою нравственною и умственною неразвитостью, при которой человѣкъ, долго забиваемый, можетъ вдругъ, въ одну минуту, потерять терпѣніе и дать просторъ своей силѣ уже безъ всякаго удержу. Возможность такого быстраго перехода человѣка неразвитого и неблагопріятно-поставленнаго въ жизни къ величайшимъ преступленіямъ одинаково ясно показана у Достоевскаго и у Щедрина; но у послѣдняго особенно поражаетъ то, что усматриваемые имъ, какъ и Достоевскимъ, остатки человѣческихъ чувствъ въ этихъ людяхъ самымъ выгоднымъ для нихъ образомъ могутъ быть сопоставлены съ нравственными качествами Живоглотовъ, Фейеровъ и Порфиріевъ Петровичей... Въ этихъ послѣднихъ, которые такъ благополучно преуспѣваютъ на служебно-пріобрѣтательскомъ и просто пріобрѣтательскомъ поприщѣ (и всѣ пожимаютъ имъ руки, потому что они отличаются такою степенною благовидностью)—въ нихъ человѣческаго сохранилось гораздо менѣе. Подъ эгидою порядка, подъ красивою личиной благонамѣренности, люди эти систематически совершали такіе поступки, которые своею сплошною безнравственностью едва ли не оставляли далеко за собою многихъ острожниковъ съ

ихъ часто только случайными преступленіями. Итакъ, вотъ какое значеніе получаетъ у Щедрина этотъ переходъ съ читателемъ изъ салона въ острогъ.

Въ числѣ острожнаго населенія попадаются у него и люди „стараго благочестія"; Щедринъ посвящаетъ имъ даже особыя главы. Въ этихъ главахъ много интереснаго.

Щедринъ затѣмъ переходитъ прямо къ народной массѣ и выдѣляетъ изъ нея цѣлый рядъ своеобразныхъ личностей — въ главѣ: *Богомольцы и странники*. Особенно ярко обрисована у него личность отставного солдата Пименова, который заканчиваетъ свою жизнь, совершая не первое уже путешествіе ко святымъ мѣстамъ. Какъ сочувственно отличается эта личность, напримѣръ, отъ того писаря, который такъ пошло смѣется надъ невѣжествомъ Пименова! Но отставной солдатъ Щедрина не менѣе рѣзко отличается и отъ всѣхъ, вообще, представителей провинціальнаго „образованнаго" класса—тѣмъ, что у него мы видимъ цѣлое, вполнѣ сложившееся, хотя и простодушное міросозерцаніе, тогда какъ у нихъ, по вѣрному замѣчанію Добролюбова, мы, въ сущности, не находимъ никакихъ основныхъ воззрѣній. Своеобразное міросозерцаніе Пименова сложилось изъ особыхъ условій народной жизни, составляя какъ бы ея особаго рода идеализацію. Въ томъ, что́ составляетъ, на самомъ дѣлѣ, тяготу этой жизни, народъ готовъ видѣть ея преимущество. Мы знаемъ, что народъ бѣденъ, но эта-то самая бѣдность и является, съ извѣстной точки зрѣнія, большимъ преимуществомъ,—заслугою передъ Богомъ. Народъ и въ другомъ смыслѣ бѣденъ—онъ нищъ духомъ,—но это опять только новое преимущество: именно, нищихъ духомъ и возвеличиваетъ Господь, имъ-то и открываетъ Онъ то, что́ скрыто Имъ отъ мудрыхъ. Народъ сознаетъ и то, какъ легко онъ доходитъ до преступленія; но даже и въ этомъ готовъ онъ найти едва ли опять не существенное преимущество. Люди, впадающіе въ преступленія,—они, вѣдь, „несчастные", а такихъ несчастныхъ особенно взыскиваетъ Божіе милосердіе: стоитъ только покаяться—и изъ преступниковъ они могутъ съ тою же быстротой, съ какою дошли они до этого состоянія, обратиться въ подвижниковъ. „Извѣстно, что наказаніе разбойнику слѣдуетъ,—говоритъ Пименовъ,—однако, если человѣкъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ, наврядъ, и палачъ его столько наказать можетъ, сколько

онъ самъ себя изнуритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ".

Едва ли бы что-нибудь подобное была въ состояніи высказать провинціальная важная дама, Дарья Михайловна, для прохода которой расталкиваютъ толпу въ церкви,—или же тотъ, весь ушедшій въ свой туго набитый карманъ, откупщикъ Хрептюгинъ, для серебрянаго самовара котораго отнимаютъ воду у бѣдныхъ странницъ, раздѣляющихъ возрѣніе Пименова. Если у г. Хрептюгина и есть какое-нибудь міросозерцаніе, то оно состоитъ, развѣ, въ томъ, что онъ, со своими милліонами, могъ бы взять на откупъ и Царство Небесное; такъ точно, какъ если у генеральши Дарьи Михайловны и есть какая-нибудь религіозность, то она состоитъ, развѣ, въ томъ, чтобы по праздникамъ, въ модномъ своемъ нарядѣ, дѣлать форменные визиты и самому Господу! На такого рода различіе въ понятіяхъ губернскихъ тузовъ, съ одной, и простыхъ богомольцевъ, съ другой стороны, первый обратилъ вниманіе Добролюбовъ въ своей статьѣ о *Губернскихъ очеркахъ*.

Люди *слова*, а не *дѣла* являются у Щедрина въ особой главѣ, озаглавленной *Талантливыя натуры*; но всѣ эти Лузгины, Корепановы, Горехвастовы,—все это только видоизмѣненіе уже не разъ намъ встрѣчавшагося типа *лишнихъ людей*; это тѣ же Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины и Обломовы. Щедринъ называетъ ихъ людьми *талантливыми*, но вся ихъ талантливость состоитъ въ томъ, что они стремятся къ широкимъ задачамъ,—эта талантливость, главнымъ образомъ, существуетъ въ ихъ воображеніи. Они рвутся къ чему-то высокому, но въ результатѣ оказывается, что, не будучи въ силахъ достигнуть его и гнушаясь близкимъ и малымъ, они, въ концѣ-концовъ, ничего не дѣлаютъ или впадаютъ въ безобразный разгулъ. Эти талантливыя натуры, выведенныя Щедринымъ, подробно разобраны Добролюбовымъ, а потому мнѣ и не зачѣмъ на нихъ останавливаться; но почему этотъ типъ такъ часто появляется у нашихъ писателей? Многіе объясняли его (а вмѣстѣ съ другими и я) тою *барской средой*, въ которой выросли эти господа и которая, не пріучивъ ихъ къ работѣ, заставляетъ ихъ отлынивать отъ *прямого* дѣла ради *воображаемаго*. Но однимъ этимъ нельзя всего объяснить, тѣмъ болѣе, что такъ-называемыя *талантливыя натуры*—онѣ же и *лишніе люди*—выходятъ и

не изъ барской среды. Не объясняются ли онѣ отчасти и той широтой нашей натуры, о которой такъ много было говорено, но которая остается чѣмъ-то неопредѣленнымъ? Можетъ-быть, нѣкоторые изъ этихъ людей, дѣйствительно, потому облѣниваются или прокучиваются, что имъ бы хотѣлось дѣйствовать на широкомъ просторѣ, а жизнь ихъ связываетъ по рукамъ и по ногамъ?

Въ произведеніи Печерскаго—„Въ лѣсахъ"—мы можемъ прослѣдить удовлетворительное объясненіе стараго историческаго явленія—перехода въ казачество столькихъ людей изъ народа: не свыкаясь со стѣсненіями позднѣйшей поры, они видѣли въ казацкомъ житьѣ-бытьѣ вѣрное убѣжище для своихъ свободныхъ привычекъ. Не уходятъ ли и наши новѣйшія *талантливыя натуры*, за неимѣніемъ уже налицо готовой свободной среды, въ воображаемую, подъ вліяніемъ присущаго, можетъ-быть, нашей природѣ желанія развернуться пошире; но, усматривая, наконецъ, безплодность своей мечтательной дѣятельности, впадаютъ въ разгулъ или въ праздность, съ отчаянія?

Но у насъ, однакоже, наступила пора, приближеніе которой только чувствуется въ *Губернскихъ очеркахъ*, а уже осязательно проявляется въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ Щедрина,—пора преобразованій, и вотъ тутъ-то, казалось бы, этимъ широкимъ натурамъ представлялась возможность проявить свои силы. Но что́ же мы видимъ у Щедрина? Выставляетъ ли онъ свои *талантливыя натуры* принимающимися за ту болѣе или менѣе широкую дѣятельность, которая стала въ эту эпоху возможною до извѣстной степени? Нѣтъ, онъ не перенесъ этого типа изъ *Губернскихъ очерковъ* въ свои позднѣйшія произведенія, стало-быть, не нашелъ возможности выставить его въ обновленномъ видѣ. Мало того, въ своихъ *Сатирахъ въ прозѣ*, онъ даже прямо говоритъ: „Мнѣ всегда казалось, что истиннымъ насадителемъ конфуза былъ почтенный нашъ писатель И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковыхъ годахъ предрекалъ его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровскаго уѣзда". Подъ „конфузомъ", какъ извѣстно, у Щедрина разумѣется извѣстная сторона нашей эпохи возрожденія: она *сконфузила* многихъ, рѣшительно неготовыхъ къ ней, застигнутыхъ ею врасплохъ. И эта-то эпоха конфуза, по мнѣнію Щедрина, была предсказана Тургеневымъ; предвѣстниками конфуза явля-

лись Рудины и Гамлеты Щигровскаго уѣзда, т.-е. Щедринъ находитъ, что и подобнымъ талантливымъ натурамъ пришлось бы *сконфузиться*: на настоящее дѣло ихъ бы никакъ нехватило.

Но мы должны, вообще, обратить вниманіе на дальнѣйшія отношенія Щедрина къ эпохѣ нашего возрожденія, въ которой Щедринъ, главнымъ образомъ, видитъ, именно, только *конфузъ*. Конечно, какъ сатирикъ, онъ имѣетъ право налегать, преимущественно, на уродливыя стороны современныхъ явленій. Но едва ли и сатирику позволительно почти вовсе не видѣть другой стороны,—не замѣчать того, что многое, однакоже, у насъ принялось, — стало-быть, не было же у насъ окончательнаго безлюдья. Между тѣмъ, Щедринъ исключительно занятъ тѣмъ, что „глуповцамъ“ вдругъ пришлось превращаться въ „умновцевъ“,—а это, разумѣется, трудно. Зато *эта*, именно, сторона эпохи нашего возрожденія выставлена имъ мастерски. Какъ смѣшонъ у него конфузъ, сказавшійся въ помѣщичьемъ классѣ. Озабоченные крѣпостники вывѣдывали, узнавали, дѣйствительно ли вѣренъ слухъ,—скоро ли это будетъ? „Ну, да не скоро,—Улита ѣдетъ, когда-то будетъ“, утѣшали они себя. Улита, однакоже, пріѣхала, и конфузъ сдѣлался окончательнымъ. Госпожѣ Падейковой („Сатиры въ прозѣ“), съ одной стороны, Кондратію Трифоновичу („Невинные разсказы“), съ другой,—представляется, что окружающіе ихъ слуги и служанки уже чуютъ пріѣздъ Улиты и потому на каждомъ шагу дѣлаютъ имъ непріятныя демонстраціи. Но Кондратій Трифоновичъ находитъ въ этомъ нѣкоторое препровожденіе времени, это нѣсколько наполняетъ обычную пустоту его барскаго житья сложа руки.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ прочиталъ въ газетѣ, что есть на свѣтѣ какой-то „сословный антагонизмъ“, эта мысль не даетъ ему покоя. „Онъ вообразилъ себѣ, что онъ—одна сторона, а слуга его—другая, и что они должны бороться“. „Съ тѣхъ поръ, какъ завелось превосходство вольнонаемнаго труда надъ обязательнымъ, съ тѣхъ поръ, какъ, съ другой стороны, опекунскій совѣтъ заперъ свои гостепріимныя двери,—глуповскія веси уныли и запустѣли“. Идея антагонизма ихъ нѣсколько подняла, разбудила. Вскорѣ, затѣмъ, они нашли и другой, болѣе широкій жизненный интересъ,— пошли толки объ англійскомъ „Selfgovernment“, а затѣмъ—о возможности соединить его съ „libre initiative des

poméschiks". „Въ этомъ видѣли вознагражденіе за свои утраты. Вотъ какимъ благопріятнымъ образомъ, наконецъ, разрѣшился конфузъ въ помѣщичьей сферѣ. Но не менѣе ясно сказался онъ и въ другой,—въ сферѣ городничихъ и другихъ имъ подобныхъ служебныхъ лицъ. Долгъ службы, расчетъ на награды заставилъ всѣхъ этихъ людей, почуявшихъ въ воздухѣ новое вѣяніе, выставить себя съ либерально-преобразовательской стороны; этимъ можно было выслужиться, за это можно было получить награду. И вотъ, различные глуповскіе городничіе и исправники начинаютъ прикидываться передовыми людьми. Вслѣдствіе этого, совершается въ самыхъ широкихъ размѣрахъ возрожденіе Гоголевскаго Хлестакова. „Россіяне", говоритъ Щедринъ, „такъ изолгались въ какія-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя было понять въ этой всеобщей хлестаковщинѣ". Но новымъ Хлестаковымъ по временамъ, однакоже, становилось жутко,—трудно было выдерживать непривычную для нихъ роль. „Ma chère", не разъ говаривалъ генералъ Зубатовъ своей супругѣ, „это возрожденіе—чортъ его знаетъ, что̀ это такое!"—„Pourvu que tu conserves ta place, mon ami",—благодушно и успокоительно отвѣтствовала ему Анна Ивановна. Но для сбереженія себѣ мѣста нужно было продолжать такимъ образомъ хлестаковствовать! Щедринъ разсказываетъ объ этомъ подробно въ особомъ разсказѣ: *Генералъ Зубатовъ* („Невинные разсказы"). Этотъ почтенный администраторъ, строя различные проекты для благоденствія своего города, сходитъ на нихъ съ ума. Другіе, напротивъ, выходятъ изъ конфуза такъ же благополучно, какъ и помѣщики. Они догадываются, что прежде всего „нужно поспѣшить заявленіемъ своей готовности, а потомъ... а потомъ можно будетъ оставить все попрежнему". И вотъ, слѣдя за *Губернскими очерками*, за *Сатирами въ прозѣ*, и за *Невинными разсказами*, мы все болѣе и болѣе убѣждаемся въ томъ, что глуповскіе заправщики окончательно успокаиваются и торжественно поютъ хоромъ: „Возродимся! возродимся!" Но рѣчи либеральнаго свойства говорятся ими попрежнему, только въ хвостикѣ появляются слова въ родѣ: постепенность, осторожность (ими же оканчиваются и нѣкоторые куплеты Некрасовскихъ „Пѣсенъ о свободномъ словѣ"), такъ-что кончикъ рѣчи уничтожаетъ ея начало, а говорить продолжаютъ, и говорятъ долго. Говорятъ смѣло и либерально даже Ноздревы!

„Ты ли это, mon cher“, спрашиваетъ надворный совѣтникъ Щедринъ одного изъ нихъ; „если это ты, то почему ты смотришь такимъ Лафайэтомъ?..*) Или, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, тебѣ выгоднѣе быть Лафайэтомъ, нежели прежнимъ сорви-головой Ноздревымъ?“ Но далѣе является и объясненіе: „Всѣ эти рекламы либерализма не больше какъ прыщи, которыми разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе“. Итакъ, заведенная разъ либеральная *говорильня* продолжаетъ дѣйствовать. „Нѣтъ возможности“, замѣчаетъ Щедринъ, „предпринять самое простое дѣйствіе—сшить себѣ новое платье, купить фунтъ икры и т. п., чтобы дѣйствія этого не подсмотрѣлъ мѣстный бардъ и тутъ же безцеремонно не выразилъ, что—чѣмъ икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать“.

Сущность взгляда, выраженнаго въ *Сатирахъ въ прозѣ* и въ *Невинныхъ разсказахъ*, та, что преобразованія, вдругъ, какъ будто, упали къ намъ съ неба, что общество было застигнуто ими врасплохъ, а отсюда—и либеральная ложь. — Гр. Л. Н. Толстой въ своей хроникѣ „Война и Миръ“ выставляетъ насъ неготовыми къ великимъ событіямъ 12-го года. Щедринъ обнаруживаетъ такую же нашу неподготовленность въ другую замѣчательную эпоху,—въ ту эпоху, когда мы, послѣ несчастной Восточной войны, почувствовали, что многое должно быть у насъ перестроено. Но Толстой въ своей хроникѣ, — можно принимать его объясненіе или нѣтъ,—по-своему умѣлъ показать, что, однакоже, вывезло насъ въ 12-году. Щедринъ въ тѣхъ произведеніяхъ, о которыхъ я теперь говорю, какъ бы вовсе не обращаетъ вниманія на то, что великія преобразованія: крестьянское, земское и судебное, однакоже, совершились, что многое принялось,—такъ ли прочно, какъ надо, другой вопросъ!—но все-таки принялось: значитъ, могло приняться, значитъ,—были же у насъ кое-какіе дѣятели. Эту дѣльную сторону нашего возрожденія онъ оставляетъ почти безъ вниманія, опредѣляя эту эпоху однимъ „конфузомъ“. Но въ такомъ случаѣ нельзя не сознаться, что сатира у него получаетъ характеръ просто трагическій. Если, въ самомъ дѣлѣ, у насъ

*) Маркизъ Лафайэтъ былъ рѣшительный конституціоналистъ, предводитель прогрессивной партіи во Франціи и членъ крайней лѣвой въ палатѣ депутатовъ. *Н. Д.*

оказалась такая окончательная несостоятельность, то есть чего ужаснуться! Послѣ этого странною представляется статья Писарева о Щедринѣ, носящая названіе: „Цвѣты невиннаго юмора“. Въ этой статьѣ, какъ видно уже по заглавію, сатира Щедрина характеризуется какъ *смѣхъ ради смѣха*.

Съ огульнымъ осужденіемъ цѣлаго Глупова трудно какъ-то помирить у Щедрина нѣкоторыя теплыя страницы, попадающіяся въ *Невинныхъ разсказахъ*. Тутъ онъ, между прочимъ, обращается къ глуповскимъ Иванушкамъ (понимая подъ ними личности изъ *народа*). Надо замѣтить, что эти теплые разсказы вовсе не оцѣнены Писаревымъ; напротивъ, они имъ осмѣяны. Этой участи не избѣгъ и прелестный разсказъ *Миша и Ваня*, въ которомъ съ такою глубокою психологическою правдой выставлены два мальчика, доведенные до отчаянія обращеніемъ съ ними помѣщицы. Писаревъ находилъ излишнимъ нападать на то, что́ уже было упразднено (разсказъ написанъ всего два года спустя послѣ 19 февраля 1861 г.); но онъ забылъ, что слѣды крѣпостного права еще оставались, да и теперь еще остаются въ нашихъ *нравахъ*. На всякаго, приступающаго къ чтенію этого разсказа безъ заранѣе составившагося взгляда, самое сильное дѣйствіе производитъ мастерское описаніе психическаго состоянія этихъ двухъ мальчиковъ, которые одни, далеко за-полночь, ждутъ возвращенія съ бала своей злой барыни: воображеніе все болѣе и болѣе разыгрывается у нихъ, особливо у одного, одареннаго артистическимъ темпераментомъ, и мало-по-малу приводитъ *дѣтей* къ вопросу о томъ, какую смерть выбрать? Впрочемъ, какую ни выбирай, а исходъ одинъ: „Бить не будутъ! Возьмутъ твою душу ангелы и понесутъ къ престолу Божьему!“—„А Богъ—ничего?“—„А Богъ спроситъ: зачѣмъ вы, рабы Божіи, предѣла не дождались? Зачѣмъ, скажетъ, вы смертную муку безо времени приняли? А мы Ему все и скажемъ!..“ Странное дѣло! Писаревъ находитъ эту тему устарѣлою. А развѣ газеты не приносятъ намъ и теперь извѣстій о самоубійствѣ дѣтей? Такъ не значитъ ли это, что и безъ крѣпостного права возможно даже для нихъ положеніе,—ну... какое же? Да ужъ, разумѣется, не хорошее, если и теперешнимъ дѣтямъ, какъ Мишѣ и Ванѣ у Щедрина, приходитъ охота рѣзаться или топиться. Крѣпостного права уже нѣтъ, но есть *нужда*, есть... мало ли что́ еще, дѣлающее человѣка чуть-чуть что не крѣпостнымъ. Писаревъ,

можетъ-быть, правъ только относительно двухъ заключительныхъ обращеній Щедрина—къ барынѣ Миши и Вани и къ „землѣ-матери“: въ этихъ обращеніяхъ, особливо въ послѣднемъ, дѣйствительно, нѣсколько проглядываетъ риторика. Въ цѣломъ же, разсказъ проникнутъ самою неподдѣльною теплотой. Тѣмъ же отличается въ той же книгѣ и другой разсказъ, — *Святочный*, въ которомъ выводится только-что попавшій въ рекруты Петруня (онъ напоминаетъ Матюшу въ „Губернскихъ очеркахъ“), въ послѣдній разъ справляющій праздничный рождественскій пиръ въ своей семьѣ. Здѣсь рѣшительно не узнаешь сатирика,—онъ исчезаетъ въ разсказѣ, исполненномъ такого нѣжнаго участія къ семейному горю этихъ простыхъ людей. Сатиризмъ, повидимому, снова сказывается при появленіи на сцену, въ видѣ контраста, шутника Абессаломова, но и тутъ самъ авторъ намъ говоритъ: „Несмотря на грубо-комическій колоритъ разсказа (т.-е. разсказа Абессаломова), видно было, что весь тонъ его фальшивый и что за нимъ слышится нѣчто, до того похожее на страданіе, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью... День мой былъ окончательно испорченъ“.

Въ *Развеселомъ житьѣ* Щедринъ съ участіемъ рисуетъ картину жизни бѣглыхъ людей (въ кругъ которыхъ долженъ попасть и Петруня), и рисуетъ такъ, что изъ этого мы можемъ вывести заключеніе противъ самого Щедрина, заключеніе такого рода, что не всѣ глуповцы—„Иванушки“, что не всѣ они „смирные“,—есть между ними и „хищные“. Съ такими разсказами трудно примирить то, что говоритъ Щедринъ о какомъ-то сплошномъ отупѣніи, сплошномъ молчаніи всего Глупова. А какое сочувствіе народу слышится въ слѣдующихъ словахъ Щедрина, въ концѣ разсказа о рекрутѣ Петрунѣ: „Казалось бы, что общаго между мною и этою случайно встрѣченною мною семьей; какое тайное звено можетъ соединить насъ другъ съ другомъ? И, между тѣмъ, я, несомнѣнно, сознавалъ присутствіе этой связи, я, несомнѣнно, ощущалъ, что въ сердцѣ моемъ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для меня самого, пріобщаетъ меня къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни“. Какъ примирить подобное мѣсто съ тѣми мѣстами въ *Сатирахъ въ прозѣ*, гдѣ *меньшіе* глуповцы являются „Иванушками“, т.-е., очевидно, „Иванушками-

дурачками",—гдѣ говорится съ такою желчью объ этой „грубой *толпѣ*, которая изъ-за куска насущнаго хлѣба потѣла и выбивалась изъ силъ, вскидывая вилами навозъ на телѣги и потомъ раскидывая его по полямъ?" Или, можетъ-быть, слово „Глуповъ" не слѣдуетъ принимать въ такомъ значеніи, какъ его принимаютъ многіе? Можетъ-быть, это просто какая-нибудь провинціальная глушь, или просто нѣсколько провинціальныхъ мѣстъ, сведенныхъ въ одно? А *Исторія одного города?* Ее, къ сожалѣнію, никакъ уже нельзя отнести къ одному какому-нибудь глухому мѣсту; она, очевидно, претендуетъ на значеніе весьма широкое.

Лекція II [1]).

„Признаки времени".—„Письма о провинціи".—„Дневникъ провинціала въ Петербургѣ".—„Ташкентцы".

Самый важный періодъ сатирической дѣятельности Щедрина,—это, конечно, періодъ второй, относящійся къ тому времени, когда наша общественная жизнь перешла опять въ новый фазисъ: тѣ же самые глуповскіе городничіе, квартальные и становые, которые сначала считали нужнымъ принимать новый, непривычный для нихъ тонъ, потомъ окончательно догадались, что все, дѣйствительно, можетъ оставаться по-старому. Пока и они считали нужнымъ прикидываться либералами, это было болѣе смѣшно, чѣмъ печально: дѣятели честные могли дѣйствовать прямо и открыто. Но мало-по-малу у глуповскихъ городничихъ, квартальныхъ и становыхъ развивается рѣшимость сдерживать стремленія новыхъ людей, честно преданныхъ новымъ идеямъ; вотъ тутъ-то и наступаетъ пора уже болѣе печальная, чѣмъ смѣшная. Выработалось стремленіе къ тому, что на языкѣ этихъ провинціальныхъ... въ своемъ родѣ, агитаторовъ называется „подтягиваніемъ".—„Трудно себѣ представить"—говоритъ Щедринъ въ своихъ *Признакахъ времени*—что-нибудь болѣе уродливое, нежели жизнь, составленную изъ однихъ *подтягиваній*. Трудно выдумать нигилизмъ болѣе безсодержательный, нежели этотъ диковинный, подтягивательный ниги-

[1]) „Публичныя лекціи", 1874 г.

лизмъ!“ Итакъ, обвиненіе въ *нигилизмѣ* сваливается обратно на голову тѣмъ, кто такъ любитъ корить имъ молодое поколѣніе. Нигилистическіе подтягиватели вовсе не имѣютъ опредѣленнаго понятія о томъ, во имя чего имъ надо подтягивать. Правда, они говорятъ о принципахъ и даже „великихъ принципахъ“, но когда у нихъ спросятъ: „что́ же это за принципы?“ они отвѣчаютъ: „Это принципы!—Что́ за великіе принципы?—Это великіе принципы!“ Вотъ все толкованіе, котораго вы добьетесь въ отвѣтъ на ваши запросы [1]).

Щедринъ недаромъ замѣчаетъ въ одной изъ статей тѣхъ же самыхъ *Признаковъ времени*, что и литература въ нѣкоторыхъ своихъ углахъ мало-по-малу начала „подтягивать“, т.-е., въ свою очередь, вторить глуповскимъ городничимъ, квартальнымъ и становымъ. „Мальчишки!“ стонетъ на всѣ лады одинъ; „Нигилисты!“, подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣло ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серіозные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ“. Надо, однако, замѣтить, что слово *благонамѣренный* на языкѣ Щедрина вообще принимается въ такомъ же прямомъ смыслѣ, въ какомъ принималось оно еще Гоголемъ (извѣстно, что Чичиковъ, по мнѣнію губернатора, былъ вполнѣ благонамѣренный человѣкъ). Нашъ современный сатирикъ спрашиваетъ: „Что́ такое человѣкъ благонамѣренный?— Онъ долженъ имѣть хорошій образъ мыслей. Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. Невинность же, съ своей стороны, есть отсутствіе всякаго образа мыслей. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока—вотъ кодексъ... которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ“... („Сеничкинъ ядъ“.)

Но какимъ же это образомъ вышло, что „изъ загнанной и трепещущей, по словамъ Щедрина, литература (т.-е. извѣстная ея часть) вдругъ превратилась въ торжествующую и ликующую... изъ заподозрѣнной—въ благонамѣренную и достойную довѣрія?“—Къ несчастью, по мнѣнію, нашего сатирика, дѣло объясняется очень просто: „Всему причиной *четвертакъ*“, говоритъ онъ.

---

[1]) „Признаки времени“. Статья: „Легковѣсные“.

„Чѣмъ же объясняется вся эта, долго копившаяся и вдругъ прорвавшаяся наружу, злоба? Она объясняется тѣмъ рядомъ преобразованій, которыя обновили нашу жизнь, время которыхъ и называется временемъ нашего возрожденія. Окружные суды по-боку и земство по-шапкѣ. Словомъ сказать, чтобъ ширь да высь—и больше ничего".—„Что́ вы да, вѣдь, это цѣлая революція!"—„А вы какъ объ насъ полагали? Мы, вѣдь, не нѣмцы, помаленьку не любимъ!"

Въ *Дневникѣ* приводится нѣсколько другихъ, болѣе опредѣленныхъ проектовъ объ уничтоженіи. Проектъ „объ уничтоженіи всего" черезчуръ уже далеко хватилъ, а потому и не особенно опасенъ. Но вотъ другой проектецъ „о необходимости децентрализаціи", составленный отставнымъ корнетомъ Петромъ Толстолобовымъ. Децентрализація!—Какъ видите, терминъ очень широкій, либеральный; составитель какъ-будто бы еще чувствуетъ то, что́ чувствовали во время „конфуза", чувствуетъ необходимость прикинуться либераломъ; на самомъ же дѣлѣ, мы сейчасъ увидимъ, что́ онъ понимаетъ подъ словомъ „децентрализація". Централизація, какъ оно выходитъ въ силу его толкованій, это такой порядокъ вещей, при которомъ все сводится къ одному центру, къ тому спасительному центру, который признается во всѣхъ благоустроенныхъ обществахъ—къ закону. Децентрализація—это, напротивъ, такой порядокъ вещей, при которомъ каждому городничему, квартальному и становому предоставляется распоряжаться по своему усмотрѣнію. Извѣстно, что провинціалу, по прочтеніи этого проекта, представилась великолѣпная картина того, что́ могло бы быть, если бы проектъ этотъ осуществился. Ему какъ бы въ видѣніи представилось, что уже „не было ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій, словомъ сказать, ничего, чѣмъ красна современная русская жизнь. Была пустыня, въ которой рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ. Бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ, потомъ наскоро подкрѣпляютъ силы холодными закусками и водкой, и опять бьютъ, испытываютъ и ссылаютъ".

Другой проектъ—свойства подговительнаго: надо, вѣдь, заранѣе дѣйствовать на подрастающее поколѣніе.

Настоящій корень всего, какъ совершенно вѣрно понимаетъ Щедринъ, заключается въ величайшемъ изъ преобразованій нашей эпохи—въ освобожденіи крестьянъ. Объ

этомъ особенно подробно говоритъ нашъ сатирикъ въ своихъ *Письмахъ о провинціи*, относящихся къ числу самыхъ сильныхъ его произведеній. Тутъ авторъ изъ обычнаго сатирическаго тона переходитъ, мѣстами, въ негодующій паѳосъ: „Цѣлые легіоны ничтожнѣйшихъ шалопаевъ", говоритъ онъ, „рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отечества—со спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19 февраля!.." Рыскаютъ себѣ да рыскаютъ эти, въ наибуквальнѣйшемъ смыслѣ, нигилисты и нахально сваливаютъ обвиненіе въ нигилизмѣ на головы тѣхъ людей, которые приводили въ исполненіе великую реформу!

„Нельзя себѣ представить", продолжалъ Щедринъ, „того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую проруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ ненавистное ему дѣло. Прослышитъ ли онъ, что народъ бѣднѣетъ—онъ ликуетъ; вычитаетъ ли, что въ дѣлахъ застой—онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ ли до него, что города и села опустошаются пожарами—нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ пріурочить къ 19 февраля, потому что въ дурацкой его головѣ нѣтъ ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ числомъ".

Но ненавистникъ на этомъ не останавливается,—онъ не только радуется бѣдствіямъ, посылаемымъ природою, не только пользуется ими въ видѣ доказательствъ противъ 19 февраля, онъ готовъ самъ создавать для народа бѣдствія, чтобы потомъ приписать ихъ—опять тому же неперевариваемому для него числу. „Вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія, подъ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью—пускай, дескать, знаютъ, поганцы, каково сладка хваленая ихъ свобода! И вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ!" Да, дѣятели 19 февраля, съ точки зрѣнія этихъ людей,—коммунисты и соціалисты, т.-е., по-ихнему, то же, что́ нигилисты. А все дѣло въ томъ, что „намѣренія этого великаго дня", какъ вѣрно объясняетъ Щедринъ, „пали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста ни для опасеній, ни, тѣмъ болѣе, для нелѣпыхъ разсказовъ" (т.-е. разсказовъ о какихъ-то „отставныхъ солдатахъ и разносчикахъ", будто бы дѣй-

ствительно могущихъ посѣять сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ). „Какъ бы мы ни были взыскательны", продолжаетъ Щедринъ, „мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна Египетскаго цѣлыя массы людей... разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи,—такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ самый безпредѣльный. Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, нежели даже тѣ, съ которыми мы боролись во время трудной работы освобожденія". И вотъ, этой-то работѣ организаціи, которая должна окончательно водворить реформу,—этой работѣ ненавистники-шалопаи не хотятъ дать совершиться въ спокойной послѣдовательности, вотъ ей-то и хотятъ они помѣшать. Такимъ образомъ, въ этихъ *Письмахъ о провинціи* Щедринъ вполнѣ признаетъ и дѣльную, доводящую его до восторга, сторону нашего „возрожденія",—ту сторону, которая не могла же отзываться „конфузомъ", если пала на такую благодарную почву, если представляется нашему автору *настоящимъ подвигомъ*. Но въ такомъ случаѣ, признавая благодарною почву, мы должны также признать и то, что русская земля была готова къ великому дню. И дѣйствительно, она ожидала его давно. Въ дѣлѣ подготовленія принимала живое участіе и наша литература,—въ немъ принималъ, въ свое время, участіе самъ Щедринъ.

Но если крѣпостное право отмѣнено и никакимъ усиліямъ „дикихъ невѣжъ" никогда не удастся возстановить его, то слѣды крѣпостного права остались. Некрасовъ, какъ мы знаемъ; по преимуществу указываетъ на тѣ слѣды его, которые сохранились въ народномъ быту; Щедринъ—на слѣды, сохранившіеся въ нашихъ нравахъ. „Тѣ, которые говорятъ: „Зачѣмъ напоминать о крѣпостномъ правѣ, котораго уже нѣтъ? зачѣмъ нападать на лежачаго?"—говорятъ это единственно по легкомыслію", замѣчаетъ Щедринъ (имѣя, можетъ-быть, въ виду и извѣстную статью Писарева). „Оно, т.-е. крѣпостное право, живетъ въ нашемъ темпераментѣ, въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ нашихъ поступкахъ... Хищничество—вотъ наслѣдіе, завѣщанное намъ крѣпостнымъ правомъ". И Щедринъ цѣлымъ рядомъ сатиръ рисуетъ намъ различныя видоизмѣненія этого скверная наслѣ-

дія. Хищничество—это принадлежность „ветхаго человѣка", но тотъ *старый* ветхій человѣкъ, котораго рисовалъ Гоголь, возродился въ *новомъ* ветхомъ человѣкѣ, являющемся во множествѣ различныхъ видоизмѣненій, въ числѣ которыхъ оказывается и то, что́ называется у нашего сатирика „Ташкентствомъ".

Типъ *Ташкентца* постепенно развивается у Щедрина; онъ намекаетъ на него цѣлымъ рядомъ типовъ, изъ которыхъ, наконецъ, вырабатывается типъ, выведенный въ книгѣ: *Господа Ташкентцы*. Первый набросокъ этого типа находимъ мы въ *Легковѣсныхъ* („Признаки времени"). Объ этихъ „легковѣсныхъ", можно сказать то, что́ одинъ изъ нихъ разсказываетъ про знакомаго ему нѣмца: когда у него спросили, при встрѣчѣ, о его мысляхъ—„Мой мизль? нѣтъ мизль",—отвѣчалъ онъ; а Щедринъ замѣчаетъ, что про всѣхъ легковѣсныхъ можно сказать, что у нихъ „нѣтъ мизль". Единственный ихъ руководитель—это виднѣющійся гдѣ-то вдали сытный кусокъ [1]). Въ сущности тотъ же типъ, только съ нѣсколько другимъ оттѣнкомъ, рисуетъ намъ Щедринъ въ сатирѣ: *Нашъ Savoir-Vivre*. Экономическая наука людей этого рода—нахальство, нестѣсняемость, развязность, и... и опять постоянно неуклонное стремленіе къ куску".

У Ташкентцевъ не только нѣтъ *мысли*; у нихъ даже нѣтъ головы; вмѣсто нея у нихъ—„порожняя бутылка... ея обязанность—наполняться той жидкостью, которая наиболѣе подходитъ ко вкусамъ минуты" — потому что только подходящее ко вкусамъ минуты сулитъ впереди—кусокъ. Подходятъ ли ко вкусу минуты либеральныя фразы—они и ими себя начинятъ; подходитъ ли то, что́ называется у извѣстныхъ людей „порядкомъ"—они и этимъ набьютъ себя; войдетъ ли, наконецъ, въ моду такъ-называемое *подтяиванье*— они станутъ бредить только имъ однимъ. Впослѣдствіи изъ типа Ташкентцевъ выработался у Щедрина тотъ типъ, который получилъ у него названіе *Помпадура борьбы*.

Разсадникомъ Ташкентства оказываются наши привилегированныя заведенія; не именно одно изъ нихъ, какъ это понимаютъ иные, но всѣ вообще привилегированныя заведенія и подготовляющее къ нимъ домашнее привилегиро-

---

[1]) *Кусокъ*, очевидно, значитъ то же, что́, въ другомъ мѣстѣ, у Щедрина *четвертакъ*.

ванное воспитаніе. „Судебная реформа произвела необыкновенное, почти отуманивающее дѣйствіе“ въ одномъ изъ этихъ заведеній, куда былъ отданъ одинъ изъ щедринскихъ кандидатовъ Ташкентства, особливо съ той минуты, когда „на дѣлѣ послѣдовало открытіе новыхъ судовъ, и ученики увидѣли ихъ лицомъ къ лицу... Въ публикѣ ходили слухи о какихъ-то баснословныхъ кушахъ, о какихъ-то компаніяхъ, составляющихся съ цѣлью наиоспѣшнѣйшаго ободранія кліентовъ“, и Ташкентцы заранѣе облизывались при этихъ слухахъ. А вотъ какой разговоръ между ними, т.-е. уже между Ташкентцами взрослыми, окончившими курсъ, переданъ нашимъ сатирикомъ далѣе:

— Ты что́ получилъ за такое-то дѣло?

— Да что́! всего пять тысячъ,—не стоило рукъ марать!

— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть. Наработаю тысячъ двѣсти-триста,—и на-боковую!

Но ихъ манитъ не одна только большая нажива,—даже „рубль, выглядывающій изъ кармана ближняго-простеца, мѣшаетъ спать“.—„Зачѣмъ тебѣ, простофиля, рубль! разожми! я возьму этотъ рубль, зажгу его на свѣчкѣ и закурю имъ сигару“. „Дальше рубля, поясняетъ Щедринъ, взоръ ничего не видитъ: все сосредоточилось, замкнулось, заклепалось въ одномъ словѣ—*жрать!*“

Въ сторонѣ отъ домашняго и общественнаго *привилегированнаго* воспитанія, понятнымъ образомъ, остается у нашего сатирика воспитаніе университетское,—онъ его не затрогиваетъ. По мнѣнію Ташкентцевъ, этихъ нигилистовъ въ буквальномъ смыслѣ слова, университетское образованіе является разсадникомъ тѣхъ людей, которыхъ называютъ одни „нигилистами“, другіе же „новыми людьми“.

„Ташкентство“, этотъ самоновѣйшій видъ хищничества, вовсе не пугаетъ ветерановъ въ родѣ Петра Ивановича Дракина; напротивъ, этотъ типъ ему по душѣ, его пугаютъ тѣ „новые люди“, которые какія-то утопіи тамъ выдумываютъ.

Насчетъ этихъ утопій нашъ сатирикъ дѣлаетъ чрезвычайно вѣрное и въ психологическомъ и въ педагогическомъ смыслѣ замѣчаніе: „Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать“.

Да, утопіи принадлежатъ къ неотъемлемымъ свойствамъ

молодости: молодость безъ утопій не есть молодость, и воспитаніе, которое совершенно уничтожаетъ способность вдаваться въ утопіи, есть воспитаніе, преждевременно обезцвѣчивающее. Не утопій надо бояться;—безсмертный, постоянно, какъ фениксъ изъ пепла, возрождающійся Павелъ Ивановичъ Чичиковъ—вотъ что ужасно! Молодежь, способная не гнушаться этимъ типомъ, какъ бы не узнавая его въ новѣйшихъ утонченныхъ его видоизмѣненіяхъ, была бы дѣйствительно совершенно растлѣнною молодежью; а пока ее увлекаютъ утопіи, она еще здоровая молодежь! Но вѣчное возрожденіе Чичикова, этого *стараго* ветхаго человѣка, возрожденіе его въ видѣ *новыхъ* ветхихъ людей, страшно особенно потому, что отъ этого-то всего болѣе и терпитъ „человѣкъ, питающійся лебедой", подъ которымъ, очевидно, Щедринъ разумѣетъ народъ.

Щедринъ выходитъ за предѣлы, предписанные ему спеціальностью его таланта, когда выступаетъ на историческое поприще въ *Исторіи одного города*. Относительно этого произведенія всѣмъ памятна та теплая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣльная статья, которая появилась въ апрѣльской книгѣ „Вѣстника Европы" 1871 г., подписанная неполнымъ псевдонимомъ и озаглавленная: „Историческая сатира" [1]). Выводъ статьи, какъ извѣстно, тотъ, что историческая сатира не можетъ быть признана хорошимъ литературнымъ родомъ. Впрочемъ, сатирику тутъ указываютъ и на историческія черты, которыя гораздо болѣе заслуживали бы сатирическаго бича, чѣмъ черты, имъ подхваченныя. Главная же сила статьи въ томъ, что въ ней указываются такія черты въ „Иванушкахъ", надъ которыми никакъ уже не слѣдовало глумиться.

Критикъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что въ „Исторіи одного города" сатирика не отличить отъ того архиваріуса, отъ имени котораго онъ ведетъ свою лѣтопись, ведетъ тономъ, какъ выражается критикъ,—„бюрократическаго презрѣнія къ народу". Къ тому, что сказано въ этой прекрасной статьѣ, мнѣ остается только прибавить указаніе еще на два мѣста въ „Исторіи одного города". Въ одномъ изъ нихъ надворный совѣтникъ Щедринъ разсказываетъ, что послѣ разныхъ безчинствъ, такъ долго производившихся въ Глуповѣ разными бабами-поганками, присвоившими себѣ надъ

[1]) См. стран. 72.

нимъ власть и нарисованными у сатирика такими грязными красками,—чувство какого-то негодованія какъ-будто бы пробудилось въ глуповцахъ.

„Рѣшили дѣйствовать единодушно и прежде всего списаться съ пригородами... Пригороды одинъ за другимъ слали въ Глуповъ самыя утѣшительныя отписки. Всѣ единодушно соглашались, что крамолу слѣдуетъ вырвать съ корнемъ и для начала прежде всего очистить самихъ себя: „точію, братіе, себя прилежно испытуйте“... Когда читалась эта отписка, въ толпѣ раздавались рыданія, а посадская женка Аксинья-гунявая, воспалившись ревностью великою, тутъ же высыпала изъ кошеля два двугривенныхъ и положила основаніе капиталу, для поимки Дуньки предназначенному“. Неужели это пародія на „смутное время“, на грамоты, которыя тогда разсылались земствомъ, на жертвы для общаго дѣла, которыя приносилъ народъ?!

Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ-архиваріусъ приписываетъ глуповцамъ слѣдующее откровенное заявленіе своего смиренномудрія: „Ежели насъ теперича всѣхъ въ кучу сложить и съ четырехъ концовъ запалить—мы и тогда противнаго слова не молвимъ“. Далѣе, однакоже, онъ заставляетъ ихъ выбрать ходока Евсеича, который долженъ отправиться къ градоначальнику Ѳердыщенкѣ и высказать ему, что глуповцамъ невтерпежъ. Попытка не удается,—Евсеича схватываютъ, и онъ, передъ ожидающимъ его наказаніемъ, обращается къ народу со слѣдующими словами:

— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидѣлъ, и ежели передъ кѣмъ согрѣшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всѣ простите!

— Богъ проститъ! слышалось въ отвѣтъ; и Евсеичъ исчезъ безъ остатка, какъ умѣютъ исчезать только „старатели“ Русской земли...

Но если ея *ходоки* такъ мало имѣютъ успѣха,—можно объяснять это какъ-угодно, но развѣ можно надъ этимъ глумиться? Если неудачный радѣтель родной земли, по обычаю народному, считаетъ нужнымъ просить у нея прощенія, ясно сознавая, что послѣ каждой неудачной попытки въ пользу народа участь его можетъ только ухудшиться,—то и надъ подобной чертой развѣ можно глумиться?

По прочтеніи *Исторіи одного города*, въ которой, съ другой стороны, есть и великолѣпныя страницы (о переходѣ

Грустилова отъ прегрѣшеній къ покаянію, объ ужасающей цѣльности взглядовъ и нрава Угрюмъ-Бурчеева и т. п.),— выносится общее впечатлѣніе такого рода, что невольно вспоминаешь въ „Медвѣжьей охотѣ“ Некрасова извѣстный разговоръ князя съ барономъ:

Кн. Вокхотскій.

Теперь, баронъ, вы видѣли природу,
Вы видѣли народъ нашъ?

Баронъ.

И не могъ
Не заключить, что этому народу
Пути къ развитью заградилъ самъ Богъ.

Кн. Вокхотскій.

Да, да, непобѣдимыя условья!
Но къ счастію, народъ не выше ихъ.
Невѣжество, безчувственность воловья
Понятны при условіяхъ такихъ...
Его удѣлъ—безграмотство, безпутство,
Убожество и чувствомъ и умомъ,
Его узда—налоги, трудъ, рекрутство,
Его утѣха—водка съ дурманомъ.

Баронъ.

So, so...

Но что̀ у Некрасова является ѣдкою сатирой на барон-ско-княжескія воззрѣнія, то въ „Исторіи одного города“ получаетъ характеръ серіознаго мнѣнія самого сатирика-архиваріуса, совмѣщающаго въ себѣ и барона и князя.

А глуповскіе градоначальники, если бы они прочли эту лѣтопись своего града, могли бы, по праву, сказать: „Ну, значитъ, мы распоряжались, какъ слѣдуетъ—по Сенькѣ и шапка“; а затѣмъ, поощрительно обратиться къ архиваріусу со словами: „Побольше, побольше такихъ произведеній, мой милый“. Можно, конечно, до извѣстной степени психологически объяснить появленіе *Исторіи одного города*. Любя кого-нибудь сильно, мы часто бываемъ способны и ненавидѣть его въ то же время. Желая человѣку добра, сожалѣя о томъ, что оно ему не дается, что онъ позволяетъ дурно обращаться съ собою другимъ, мы накидываемся на него съ ожесточенною бранью. То же самое, до нѣкоторой степени,

можетъ происходить и въ нашихъ отношеніяхъ къ родной странѣ—только этимъ и можно хотя сколько-нибудь объяснить то желчное глумленіе надъ глуповцами, которое позволяетъ себѣ Щедринъ въ *Исторіи одного города*. Не надо возвращаться къ маниловщинѣ, не надо сладко лгать, пошло льстить своему народу, но не надобно и доводить его до „самооплеванія". Предоставимъ это милое занятіе тѣмъ „гулящимъ русскимъ людямъ за границей", которыхъ такъ удачно и такъ справедливо выставилъ на позоръ тотъ же самый сатирикъ.

Но какое же *общее впечатлѣніе* производитъ наша послѣ-Гоголевская литература? Она не льстила намъ, не лгала; не лгала въ хорошую сторону, т.-е. не преувеличивала нашихъ добрыхъ качествъ, но, по большей части, не лгала и въ дурную сторону, т.-е. не преувеличивала и нашихъ недостатковъ. Немногія преувеличенія послѣдняго рода составляютъ въ ней исключеніе.

Наша литература показала намъ быструю смѣну типовъ,—быстрое нарожденіе новыхъ на мѣсто старыхъ,—а такая быстрота показываетъ, что мы безостановочно развиваемся. Нѣкоторые типы, еще такъ недавно воспроизведенные нашей литературой, представляются уже совершенно отжившими, напримѣръ, тотъ, съ которымъ мы имѣли дѣло въ самомъ началѣ—типъ Александра Адуева, пустого идеалиста, прикрывающаго напускною восторженностью самое узенькое стремленіе къ эгоистическимъ наслажденіямъ. Гораздо выше стоятъ Рудины, Берсеневы, Лаврецкіе и даже Обломовы, несмотря на то, что и у нихъ еще очень замѣтенъ разладъ между словомъ и дѣломъ, между тѣмъ, что они проповѣдуютъ, и тѣмъ, какъ они поступаютъ. Но они уже любятъ свои идеи, имъ бы, нешутя, хотѣлось, чтобы все то, о чемъ они говорятъ, въ самомъ дѣлѣ осуществилось; они стремятся уже не къ карьерѣ, стремятся не просто къ комфорту, не только къ нему одному, но они—все еще баричи, а потому и лѣнивые люди, имъ лѣнь путнымъ образомъ потрудиться для своей идеи,—отсюда и весь разладъ между ихъ словами и ихъ поступками. Типы совершенно другого рода, типы людей озлобленныхъ, въ родѣ Раскольникова, съ одной стороны, Базарова—съ другой, появившіеся у насъ вслѣдъ затѣмъ—конечно, все-таки не такіе типы, которые могли бы насъ удовлетворить; эти типы переходной

поры, но они стоятъ уже значительно выше прежнихъ, потому что мысль у этихъ людей не въ разладѣ съ поступками, потому что это люди, въ своемъ родѣ, цѣльные [1]). Своего русскаго Инсарова наша литература намъ еще не выставила: пока она воплотила только въ болгарѣ этотъ типъ человѣка, который имѣетъ право сказать, что каждый мужикъ, каждый нищій въ его отечествѣ хочетъ того же, чего и онъ. Но сочувствіе къ Инсарову, которое высказывается въ русской дѣвушкѣ, свидѣтельствуетъ о томъ, что запросъ на этого рода типъ уже сказывается въ нашей жизни.

Нашимъ писателямъ, какъ мы замѣчали, болѣе удавались женскіе идеальные типы; женщина стоитъ у нихъ значительно выше мужчины, какъ общественнаго дѣятеля. Но, вѣдь, это служитъ добрымъ предзнаменованіемъ въ будущемъ и относительно мужской половины нашего общества. То воспитательное значеніе, которое принадлежало, принадлежитъ и всегда будетъ принадлежать женщинѣ, даетъ надежду, что, подъ вліяніемъ ея, и въ нашемъ мужскомъ подрастающемъ поколѣніи разовьется, наконецъ, совершенно здоровый типъ *общественнаго дѣятеля*. Пора, пора ему, наконецъ, явиться на смѣну П. И. Чичикову, новѣйшія видоизмѣненія котораго видѣли мы сперва въ Калиновичѣ Писемскаго, потомъ во всякаго рода „Ташкентцахъ“ Щедрина.

Но наша литература подаетъ намъ также добрыя жизненныя надежды, когда обращается къ быту простого народа. Вовсе не идеализируя его вообще, рисуя, напротивъ того, съ величайшимъ реализмомъ его нужды и его невѣжество, она умѣла намъ показать въ народѣ привлекательный типъ людей, живущихъ не только для личной наживы, но связанныхъ съ другими людьми крѣпкою мірскою связью, сознающихъ себя живою частью цѣлаго. Типъ этотъ является у Тургенева, у гр. Л. Н. Толстого, даже у Рѣшетникова — въ его „Подлиповцахъ“. Общее настроеніе нашей литературы относительно народа таково, что мы имѣемъ полное право указать на ея сочувствіе ему и его нуждамъ, на

[1]) Тургеневская „Новь“ показала, что и Базаровскій типъ у насъ устарѣлъ. *О. М.*

поэтически-выраженное Некрасовымъ ея заключеніе, что

...бѣлый свѣтъ кончается не нами...

что...

...Можно *личнымъ* горемъ не страдать
И плакать честными слезами...

Можно указать на это, какъ на самую благородную надпись на знамени, осѣняющемъ нашихъ писателей.

Если мы обратимъ вниманіе на то, велика ли въ нашей литературѣ талантливость, то можемъ, я полагаю, притти къ заключенію, что мы вовсе не обѣднѣли талантами послѣ Гоголя. Большинство изъ нихъ еще живы; нѣкоторые, правда, пишутъ уже мало. Послѣднія произведенія нѣкоторыхъ (наприм., Гончарова, отчасти Тургенева) уже не то, что первыя; нѣкоторые изъ нашихъ писателей, наприм., Достоевскій, выступали на дорогу, не совсѣмъ свойственную особенностямъ ихъ таланта. Хроника гр. Л. Н. Толстого „Война и Миръ“ вызвала подражателей, къ числу которыхъ принадлежитъ, между прочимъ, и даровитый авторъ романа „Пугачевцы“. Некрасовъ сталъ-было обнаруживать нѣкоторое утомленіе, повторяя одни и тѣ же мотивы, но въ „Русскихъ женщинахъ“ и въ „Дѣдушкѣ“ онъ выказалъ опять прежнюю силу, выйдя на новую дорогу.

Нельзя не пожелать Щедрину, чтобъ онъ отказался отъ исторической сатиры и остался сатирикомъ въ настоящемъ смыслѣ, сатирикомъ современнымъ. На этой почвѣ, смѣло можно сказать, онъ можетъ еще долго блистательно дѣйствовать: въ матеріалѣ недостатка не будетъ, а что силы его до сихъ поръ не ослабѣли, лучшимъ доказательствомъ служатъ его *Благонамѣренныя рѣчи*. Нельзя, наконецъ, не замѣтить, что у насъ появляются и таланты новые, о которыхъ я не говорилъ только потому, что времени было мало, съ другой же стороны—время еще не ушло, къ нимъ, вѣдь, можно вернуться... когда-нибудь, впослѣдствіи. Все, что я могу замѣтить теперь—это стремленіе нашихъ новѣйшихъ писателей (насколько удачно оно—это особый вопросъ) къ воспроизведенію новыхъ типовъ.

О. Миллеръ.

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина [1]).

*) Никогда, любезный читатель, впередъ не буду давать обѣщаній прочитывать всѣ наши журналы, такъ-называемые, *толстые*, и сообщать вамъ о нихъ мои впечатлѣнія... Приходитъ минута, когда досужій читатель сознаетъ, что прочиталъ-то онъ всѣ изъ нихъ, но что относительно впечатлѣній онъ, положительно, оказывается банкротомъ. Никакихъ впечатлѣній—и баста! Хоть зарѣжь,—прочелъ, но ничего не могу сказать...—Читали ли вы такой-то журналъ? спрашиваетъ одинъ мой пріятель другого.—Читалъ.—Не правда ли, скучно?—Что скучно: на свѣтѣ жить или журналъ

---

[1]) „Гражданинъ“, 1874 г., № 52.

*) Газета „Гражданинъ“ стала издаваться съ 1872 г. кн. Мещерскимъ, получившимъ образованіе въ училищѣ правовѣдѣнія и состоящимъ въ придворномъ званіи камергера. Литературное крещеніе кн. Мещерскій получилъ въ Катковской реакціонной купели, состоя сотрудникомъ его изданій. Здѣсь онъ выступалъ и какъ публицистъ и какъ беллетристъ. Однако, извѣстность, впрочемъ, далекую отъ популярности, кн. Мещерскій получилъ благодаря своей газетѣ „Гражданинъ“, проповѣдующей и до сей поры ультра-охранительные идеалы. На протяженіи 30-ти съ лишнимъ лѣтъ „Гражданинъ“ отстаиваетъ дореформенный строй Николая I и порицаетъ все, имѣющее связь съ реформами Александра II. Кромѣ того, самые пріемы газеты, по вопросамъ о разысканіи и искорененіи всяческихъ „крамолъ“, таковы, что съ ними трудно бываетъ согласиться даже единомышленникамъ кн. Мещерскаго. Одинъ изъ этихъ пріемовъ—натравливаніе одного класса общества на другой. Этотъ пріемъ вызвалъ даже порицаніе цензурнаго вѣдомства въ 1874 г. и первое предостереженіе за „совершенно превратныя сужденія, высказанныя въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ и клонящіяся къ возбужденію вражды противъ одной изъ частей населенія страны“. Очень внимательно прислушиваясь къ голосу „сферъ“, газета, однако, не всегда умѣла попадать въ тонъ, за что и подвергалась неоднократнымъ административнымъ карамъ. Такъ, наприм., въ 1888 г. ей было дано предостереженіе за то, что она „при благонамѣренномъ, вообще, направленіи позволяетъ себѣ постоянно крайне неприличные отзывы о дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ правительства и о высшихъ государственныхъ учрежденіяхъ, внушая такимъ образомъ неуваженіе къ нимъ“.

Прим. Н. Денисюка.

этотъ прочесть?—И то и другое.—Да, и то и другое, ваша правда.—И онъ зѣвнулъ. И пріятель зѣвнулъ сейчасъ же послѣ него.—Отчего это такъ скучно стали всѣ писать? даже Щедринъ, и тотъ скученъ сталъ, ей-Богу; хочешь смѣяться, ужъ чего только ни дѣлаешь, чтобы не расхохотаться: не беретъ, да и только.—И онъ зѣвнулъ.—Фу, какая скука!—И пріятель зѣвнулъ.—А знаешь, что нужно сдѣлать, чтобы разсмѣяться, когда читаешь Щедрина? Я тебя научу,—собственнымъ, братъ, опытомъ добылъ,—ты мнѣ скажешь спасибо.—А что? Научи, голубчикъ, потому, журнальная скука, просто, одолѣваетъ.—Ты затвори свою комнату на ключъ, сядь, возьми хоть послѣднія вещи Щедрина и начни громко читать: непремѣнно разсмѣешься.—Ей-Богу?—Клянусь! Я испробовалъ. Прежде Щедринъ смѣшнѣе какъ-то писалъ; я помню, я смѣялся, когда читалъ его, просто, такъ, просебя; а теперь я читаю его громко и смѣюсь... Или, если тебѣ скучно одному сидѣть, позови своего камердинера, вели ему стать у стѣны и слушать; а ты читай вслухъ,—вотъ увидишь, какъ разсмѣешься. Въ другомъ домѣ я слышалъ слѣдующій литературный разговоръ; бесѣдовали дамы:—Нѣтъ, Щедринъ исписался, говорила одна барыня,—нельзя же смѣшить да смѣшить, надоѣстъ же, наконецъ.—А нѣтъ, по-моему, Щедринъ идеаленъ: это такой сатирикъ, я тебѣ скажу, что если бы онъ жилъ въ древности, онъ непремѣнно былъ бы выше Ювенала.—Ну полно, вздоръ какой!—Какъ вздоръ? я тебѣ ручаюсь.—Да ты читала ли Ювенала?—Нѣтъ, но слыхала.—Слыхала, мало ли что можно услыхать. Нѣтъ, я не за Щедрина,—по крайней мѣрѣ, не за нынѣшняго. Я его читаю, потому что ужъ, по привычкѣ, прочитываешь всю книгу, но ничего въ немъ не нахожу смѣшного...—Послушайте, говоритъ мой знакомый съ важною, ему свойственною, физіономіей,—вы читали послѣднія вещи Щедрина?—Читалъ, отвѣчаетъ собесѣдникъ.—Какая замѣчательная вещь! Это геніальныя вещи!—Какія?—Какъ какія! А его *Экскурсіи*, а его *Переписка Сережи съ матерью*,—да знаете ли вы, что это не что иное, какъ эпоха въ нашей литературѣ!—Ну ужъ, у васъ сейчасъ и эпоха,—такъ себѣ, смѣшно.—Молчалина изобразить въ наше время, да въ нашемъ обществѣ,—да, это, помилуйте, это геніальная мысль!—Что жъ тутъ геніальнаго? По-моему, онъ его очень слабо изобразилъ.—Какъ... Молчалина-то слабо? Да что это

съ вами?!. Не то, что слабо,—геніально хорошо! Щедринъ геній,—я вамъ ручаюсь за это головою.—Голова-то ваша пускай ручается, а я все-таки несогласенъ. Помилуйте, какой же Молчалинъ въ нынѣшнее время можетъ быть экзекуторомъ или еще помощникомъ экзекутора!..—А чѣмъ онъ, по-вашему, можетъ быть?—Какъ чѣмъ? По меньшей мѣрѣ, директоромъ департамента.—Неправда! никогда Молчалинъ не можетъ быть въ наше время директоромъ!.. Помилуйте, да вы забываете, какое у насъ нынче время: нынче берутъ смѣлостью, все смѣлостью берутъ, а не то мѣднымъ лбомъ.—Ну, и *молчалинствомъ* берутъ.—Никогда-съ!.. Однимъ словомъ, что бы вы тамъ ни говорили, Щедринъ, по-моему, это, знаете что, это не то что какой-нибудь Ювеналъ или Горацій, это Шекспиръ нашъ,—вотъ что я вамъ скажу! Да-съ, кого-угодно спросите. Зайдите въ лавку Черкасова, спросите кого хотите,—хоть артельщика или перваго встрѣчнаго приказчика, что такое Щедринъ? Геній-съ, онъ вамъ отвѣтитъ, нашъ русскій, національный геній.—Мнѣ вашихъ черкасовскихъ приказчиковъ и спрашивать не нужно.—Какъ не нужно? Магазинъ Черкасова—это своего рода общественное мнѣніе.—Ну, а съ меня и моего ума довольно; я нахожу, что Щедринъ просто исписался.—Да какъ же исписался, когда я вамъ говорю, что всѣ хохочутъ: моя жена хохочетъ, это разъ; я хохочу—это два; сынъ мой гимназистъ хохочетъ—это три; Петя, военный гимназистъ, хохочетъ—это четыре; гувернеръ хохочетъ, нянюшка хохочетъ,—да всѣ, всѣ, рѣшительно всѣ хохочутъ; министръ мой, онъ мнѣ самъ говорилъ, что хохочетъ, да еще какъ! Если всѣ хохочутъ, развѣ это не значитъ, что онъ геній,—геній комизма, геній сатиры!..—Такъ бесѣдуютъ въ Петербургѣ о Щедринѣ нынѣшняго времени. Изъ этихъ бесѣдъ трудно что-либо вывести положительное; но все-таки онѣ доказываютъ, что „Отечественныя Записки“ очень читаются, и что о Щедринѣ мнѣнія весьма различны. Онѣ доказываютъ также, что „Отечественныя Записки“,—это не что иное, какъ Щедринъ.—„Щедрина есть что-нибудь—„Отечественныя Записки“ читаются; нѣтъ Щедрина—не разрѣзываются“, говорилъ мнѣ одинъ мой знакомый. И я навѣрное знаю, что это такъ. Но не менѣе достовѣрно знаю я и то, что Щедринъ въ послѣднее время дѣйствительно сталъ менѣе комиченъ, чѣмъ бывалъ онъ прежде. Объясняю я себѣ это

явленіе очень просто. Сферы, въ которыхъ привыкъ вращаться авторъ столькихъ поистинѣ смѣшныхъ сценъ и очерковъ изъ чиновническаго міра,—остаются для Щедрина неизмѣнными. Онъ къ нимъ привыкъ,—какъ привыкъ къ своему купеческому міру или къ міру захолустьевъ А. Н. Островскій. Привычка къ этому міру сдѣлала то, что пріучила талантливаго г. Щедрина сидѣть въ немъ, какъ въ берлогѣ, съ чувствомъ лѣни при всякой мысли о переходѣ изъ этого міра въ другой міръ. Благодаря этой привычкѣ, вѣроятно, созданной лѣнью, Щедринъ пріобрѣтаетъ весьма немного новаго, цѣльнаго вдохновенія, точно такъ же, какъ къ этому же истощенію пришелъ А. Н. Островскій. Оттого, при всемъ желаніи сочинить что-либо новое, это новое ему подчасъ не удается, ибо не носитъ въ себѣ ничего оригинальнаго, ничего впечатляющаго своею художественною новою правдою; и если и бываетъ ново, какъ новы, напримѣръ, въ послѣдней его главѣ *Благонамѣренныхъ рѣчей* переписка Сережи съ мамашей, или какъ въ его *Экскурсіяхъ въ область умѣренности и аккуратности* Алексѣй Степановичъ Молчалинъ, то и это, повидимому, новое, въ сущности, не носитъ на себѣ печати чего-либо талантливаго и оригинальнаго. Я привелъ нѣсколько типическихъ разговоровъ о скукѣ нашей журналистики вообще, объ „Отечественныхъ Запискахъ“ вообще, и о Щедринѣ въ особенности. Читатель можетъ вѣрить или не вѣрить,—это для меня совершенно все равно, но всѣ приведенные разговоры записаны мною съ натуры. Вотъ почему въ нихъ, несмотря на комизмъ, есть много вѣрнаго. Вѣрно, что Щедринъ кажется для иныхъ истощившимъ свой юморъ. Такъ думаютъ про него люди болѣе серіозные и, въ особенности, болѣе образованные. Вѣрно, что Щедрина надо читать вслухъ,—въ одиночествѣ, или въ компаніи, это все равно,—чтобы разсмѣяться. Такъ думаютъ про Щедрина такъ-называемые *свѣтскіе* читатели журналовъ, болѣе легкаго умственнаго уровня. Вѣрно, что Щедринъ геній и даже нашъ Шекспиръ. Такъ думаютъ иные изъ петербургскихъ чиновниковъ, въ особенности, изъ категоріи *либерало-недовольныхъ* чиновниковъ, никогда не читавшихъ Шекспира, ни въ оригиналѣ ни въ переводѣ, и получившихъ образованіе въ университетѣ *на мѣдные гроши*. Вѣрно, наконецъ, и то, что Щедринъ заткнетъ за поясъ всякаго Ювенала (подлинное выраженіе одного литерато-

ришка про Щедрина). Такъ думаютъ про него не мало русскихъ барынь и барышень изъ чиновническаго люда, нѣкоторыя жены и дочери нѣкоторыхъ полковниковъ, институтки (украдкою читаютъ Щедрина) и, наконецъ, разные литераторишки, ничего никогда не читавшіе. Эта знаменитая переписка между Сережей и мамашею помѣщена въ октябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ", подъ общимъ заглавіемъ: *Благонамѣренныя рѣчи*, и подъ частнымъ заглавіемъ: *Переписка*. Переписка эта происходитъ между мадамъ Проказниной, про которую мужъ говоритъ, что она не только прелюбодѣйка, но даже *перепрелюбодѣйствуетъ*, и между ея сынкомъ Сережей, армейскимъ молодымъ кавалеристомъ. Мать живетъ въ деревнѣ, а сынъ въ уѣздномъ городѣ, въ мѣстѣ стоянки полка. Сюжетъ переписки весьма пикантенъ. Сынъ, посредствомъ своихъ писемъ, посвящаетъ свою мамашу во всѣ тайны своихъ любовныхъ замысловъ и называетъ ее: chère petite mère [1]). Мать его, Nathalie de Prokaznine, пишетъ сыну похвалы за его любовныя проказы и повѣряетъ ему въ письмахъ всѣ свои сокровеннѣйшія мысли, даже воспоминанія о своихъ прелюбодѣяніяхъ. Признаюсь, цинизмъ и развратъ этой переписки—явленіе совершенно новое въ нашей литературѣ, и остается только пожелать г-ну Щедрину такія экскурсіи въ область отвратительнаго разврата дѣлать какъ можно рѣже! И благо, если бы этотъ развратъ искупался чѣмъ-либо смѣшнымъ. Но нѣтъ, — смѣшного мало, очень даже мало; но зато гадкаго и даже отвратительнаго очень и даже слишкомъ много. Глава эта напоминаетъ того разсказчика-болтуна, который, поощренный смѣхомъ слушателей, вретъ все дальше и больше и, наконецъ, доходитъ до того, что забываетъ, что можно и чего нельзя говорить при людяхъ, и приходитъ въ память только тогда, когда его выводятъ изъ комнаты за неприличныя слова... Такъ и г. Щедринъ, привыкшій смѣшить публику: онъ пошелъ ужъ черезчуръ далеко и позволяетъ себѣ сальности, по-моему, нетерпимыя даже въ *Отечественныхъ Запискахъ!* И откуда взялъ авторъ такую фигуру, какъ мадамъ Проказнина? гдѣ онъ ее видѣлъ? откуда онъ взялъ такія уродливыя отношенія матери къ сыну,—словомъ, гдѣ та натура, съ которой г. Щедринъ списалъ эти гадкія лица,

[1]) Мамочка.

которыя, во всякомъ случаѣ, типическаго не имѣютъ ровно ничего?.. Во времена регентства во Франціи были отцы, которые въ товарищи разврата и въ конфиденты своихъ любовныхъ похожденій брали своихъ сыновей. Этихъ отцовъ называли: petits pères или jeunes pères [1]). Нѣчто въ этомъ родѣ представляетъ собою Nathalie de Prokaznine въ своихъ отношеніяхъ къ сыну. Изъ писемъ ея мы узнаемъ, что она была любовницей въ Парижѣ всѣхъ бонапартистовъ, маломальски извѣстныхъ по имени г. Щедрину, и, въ заключеніе, прельстила даже самого седанскаго плѣнника и Чильсгёрстскаго изгнанника. Но этого мало: мы узнаемъ изъ переписки ея съ сыномъ, что она называетъ своего мужа, а онъ своего отца „бюторомъ", то-есть по-русски болваномъ,—и никогда иначе, какъ этимъ словомъ, не называютъ его ни онъ ни она! У этого бютора въ деревнѣ живетъ, какъ въ темницѣ, мадамъ Проказнина,—живетъ и мысленно рвется въ Парижъ, въ объятія своихъ любовниковъ, до той минуты, пока стало ей невтерпежъ, и она, укравъ у мужа своего 2,000 руб., бѣжитъ въ Парижъ, прельстившись побѣгомъ Базена...*) Пока мать убѣгаетъ изъ деревни на перепрелюбодѣянія съ бонапартистами, сына выгоняютъ изъ полка отчасти за то, что онъ въ объясненіяхъ въ любви къ своей командиршѣ пошелъ такъ далеко, что и самъ, какъ онъ говоритъ, испугался, а отчасти потому, что въ городѣ распустили слухъ, что какая-то купчиха, за которою онъ принялся ухаживать, подарила ему вмѣсто денегъ шубу... Привожу отрывки, характеризующіе странность этого неистоваго произведенія г. Щедрина. Вотъ, напримѣръ, маленькая выписка изъ письма матери къ сыну, гдѣ она обрисовываетъ свои отношенія къ мужу, свой развратъ въ мысляхъ и, наконецъ,—свой цинизмъ въ отношеніи къ сыну.

„На-дняхъ,—пишетъ она,—это было въ день моего рожденія (hélas! [2]) твоей pauvre petite mère [3]) исполнилось сорокъ лѣтъ, mon enfant! [4]) онъ (то-есть мужъ ея) является прямо въ мой будуаръ.—„Честь имѣю поздравить!" Я молчу.—„Сорокъ годковъ изволили получить! Самая, значитъ, пора!" Я

---

[1]) Папеньки, или молодые папаши.

*) Какъ извѣстно, маршалъ Базенъ за сдачу Мецкой крѣпости и Рейнской арміи въ 170.000 человѣкъ, былъ приговоренъ къ пожизненному заключенію, но вскорѣ ему удалось бѣжать въ Испанію. *Н. Д.*

[2]) Увы.

[3]) Бѣдной мамашѣ.

[4]) Мое дитя.

дѣлаю чуть замѣтный знакъ нетерпѣнія.—„По-Бальзаку, это, именно, настоящая пора любви. Удивительно, говорятъ, какъ у этихъ сорокалѣтнихъ бабъ оно знойно выходитъ“...—„Только не для васъ!“ холодно отвѣтила я и, окинувъ его презрительнымъ взглядомъ, поспѣшила запереться у себя въ спальнѣ. Я не знаю, какой эффектъ произвелъ на него мой отвѣтъ (Маша, моя горничная, увѣряетъ, что у него даже губы побѣлѣли отъ злости), но я очень отчетливо слышала, какъ онъ нѣсколько разъ сряду произнесъ мнѣ вдогонку:—„Заставлю-съ! заставлю-съ! заставлю-съ!“—И такимъ образомъ,—почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющіеся къ моей комнатѣ, и жду оскорбленія. Однажды—это былъ для меня памятный день, Serge!—онъ пришелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ листокъ „Городскихъ и Иногородныхъ Афишъ“ (c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent! [1])—„Ну-съ, вотъ и Чильсгёрстскій философъ околѣлъ!“ сказалъ онъ, посылая мнѣ въ упоръ свою пьяную улыбку.—„Какъ? кто? Онъ?“ только могла я произнести.—„Да-съ! онъ-съ. Седанскій герой-съ, вашъ...*)“ —Il a nommé la chose... le monstre [2]). Онъ не пощадилъ ничего... даже этого славнаго воспоминанія моей жизни“. Далѣе она пишетъ: „Послѣ всего этого, ты можешь себѣ представить, какое блаженство для меня твои письма. И что придаетъ имъ еще больше прелести,—это тайна и даже опасность, съ которыми сопряжено ихъ полученіе. Я получаю ихъ черезъ Машу и иногда, по цѣлымъ часамъ, бываю вынуждена держать ихъ подъ корсажемъ, прежде нежели прочитать. Тогда я воображаю себя въ пансіонѣ, гдѣ я впервые научилась скрывать письма (и представь себѣ, это были письма Butor'a, который еще въ пансіонѣ „сослѣдилъ“ меня, какъ онъ выражался на своемъ грубомъ жаргонѣ), и жду, пока Butor не уляжется послѣ обѣда спать. Это пытка, мой другъ, это почти истязаніе, mais c'est égal, c'est plein de poésie! [3]) Иногда онъ, какъ нарочно, медлитъ, и тогда я готова надѣлать глупостей отъ нетерпѣнія... Но вотъ раздался сигнальный храпъ—и я ужъ за дѣломъ. Я запираюсь у себя въ комнатѣ—и читаю и перечитываю твои письма... noble enfant de mon coeur! [4]) Я понимаю тебя и твои молодыя стремленія, мой другъ! Я, твоя бѣдная мать, эта сорокалѣтняя женщина, cette femme de Balzac, comme le dit le Butor [5]). И я была молода, и я увлекалась... ты знаешь, *кто* меня любилъ! Теперь *онъ* въ могилѣ... всѣ въ могилѣ, мой другъ: Morny, Persigny... Lui! **) Одинъ Базенъ остался, и тотъ сидитъ на

---

[1]) Это единственная умственная пища, которую онъ себѣ позволяетъ, невинный!

*) Рѣчь идетъ, конечно, о Наполеонѣ III, умершемъ въ 1873 г., подъ ножомъ хирурга, въ Чильсгёрстѣ, въ Англіи, послѣ плѣненія въ Седанѣ и заключенія мира съ Пруссіей. *Н. Д.*

[2]) Онъ такъ прямо и сказалъ... Чудовище!

[3]) Но все же это такъ полно поэзіи.

[4]) Благородное, милое дитя мое!

[5]) Эта женщина Бальзаковск. возраста, какъ говоритъ Бюторъ.

**) Шарль Морни, франц. политическій дѣятель, посолъ въ Петербургѣ и министръ внутренн. дѣлъ. Персиньи также полит. дѣятель, желавшій доставить престолъ Наполеону III, строгій реакціонеръ. *Н. Д.*

какомъ-то островѣ *), откуда онъ будетъ очень глупъ, ежели не бѣжитъ. Но я не забыла, я помню. Я *все* помню и потому *все* могу понимать...“ А вотъ ея отвѣты. „Любовь, мой другъ,—это святыня, къ которой нужно приблизиться съ осторожностью, почти съ благоговѣніемъ, и вотъ почему мнѣ несовсѣмъ нравится слово „тррахъ“, которое ты употребилъ въ письмѣ своемъ. Можетъ-быть, все такъ и произойдетъ, какъ ты писалъ, но уже по тому одному, что оно именно *такъ* и произойдетъ, т.-е. *сначала* назовутъ тебя „сынкомъ“, потомъ дадутъ ручку, etc.—ты всего менѣе въ правѣ употреблять ce malecontreux „тррахъ“. Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l'écurie, le fumier [2]). Салонъ свѣтской женщины (ты, именно, такою описываешь мнѣ Полину),—не манежъ и не одно изъ тѣхъ жалкихъ убѣжищъ, въ которыхъ вы, молодые люди, къ несчастію, получаете первыя понятія о любви... Это мѣсто очень приличное, гдѣ требуются совсѣмъ другіе пріемы, нежели... ты понимаешь гдѣ? Помни, мой другъ, что любовь—все для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало-быть, оскорбить ея любовь—значитъ, оскорбить ея *все*. Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успѣхъ, въ большинствѣ случаевъ, достается совсѣмъ не тому, кто съ громомъ и трубами идетъ точно на приступъ, а тому, кто умѣетъ ждать. Во-первыхъ, всѣ эти самонадѣянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что совсѣмъ не входитъ въ расчеты замужней женщины, которая желаетъ сохранить les dehors [3]). Во-вторыхъ, женщины самолюбивы, и имъ всегда пріятно дать щелчокъ человѣку, у котораго на умѣ „тррахъ“, въ-третьихъ—и это главное—женщины вовсе не такъ алчутъ грубыхъ наслажденій, какъ вы, мужчины, объ этомъ думаете“. А вотъ и post-scriptum. „Ты не теряешь, однако, времени, дурной мальчикъ! Ухаживаешь за Полиной, и въ то же время не упускаешь изъ виду вдовушку Лиходѣеву, которая „отправляетъ значительное количество барокъ съ хлѣбомъ. „Эта приписка мнѣ особенно нравится! Mais savez-vous, que c'est bien mal à vous, monsieur le dameret, de penser à une trahison, même avant d'avoir reçu le droit de trahir...“ [4])

Затѣмъ вотъ что пишетъ ей въ отвѣтъ „дурной мальчикъ“.

„Я получилъ твое письмо, chère petite mère. Comme modèle de style, c'est un chef-d'oeuvre [5]), но, къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что ты, по крайней мѣрѣ, на двадцать лѣтъ отстала отъ вѣка. Всѣ эти финессы и деликатессы, эти aperçus de morale et de politique [6]), эти подходцы и подвиливанья—все это старый хламъ, за который нынче гроша не дадутъ. De nos jours on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour—et voilà tout... [7]) Мы—позитивисты (il me semble avoir lu quelque par ce mot) [8]) мы знаемъ,

*) Писано до полученія извѣстія о бѣгствѣ Базена.

[1]) Злополучный. [2]) Это пахнетъ казармой, это воняетъ конюшней, навозомъ.

[3]) Приличія.

[4]) Но знаете ли, очень плохо вамъ, господинъ волокита, думать объ измѣнѣ прежде полученія правъ измѣнить.

[5]) Въ смыслѣ слога, это—шедёвръ.

[6]) Эти краткія обозрѣнія нравственныя и политическія.

[7]) Въ наши дни нѣтъ обозрѣній; есть любовь—вотъ и все.

[8]) Мнѣ кажется, я гдѣ-то прочиталъ это слово.

что time is money [1]), и предпочитаемъ любовный телеграфъ самой благоустроенной любовной почвѣ".

Побранивъ свою chérè petite mère, онъ говоритъ ей:

„Не думай, однакожъ, petite mère, что я сержусь на тебя за твои нравоученія и обиженъ ими. Во-первыхъ, я слишкомъ bon enfant, чтобъ обижаться, а во-вторыхъ, я очень хорошо понимаю, что въ твоемъ положеніи ничего другого не остается и дѣлать, какъ морализировать. Еще бы! Имѣй я ежедневно передъ глазами Butor'a, я или повѣсился бы, или такой бы aperçus de morale [2]) настрочилъ, что ты только руками бы развела! А теперь поговоримъ о моихъ маленькихъ дѣлахъ. То, что я писалъ тебѣ, начинаетъ сбываться. Меня ужъ назвали „сынкомъ" и дали поцѣловать ручку (ручка у нея маленькая, тепленькая, съ розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я увѣренъ даже, что ты найдешь въ этомъ подтвержденіе твоихъ нравоученій), но я все-таки продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увѣнчаются со скоростью телеграфнаго сообщенія, то совсѣмъ не потому, что я не пускаю въ ходъ „aperçus historiques et littéraires" [3]), а просто потому, что, по заведенному порядку, никакое представленіе никогда съ пятаго акта не начинается. Что дѣлать! Женщина такъ ужъ воспитана, что требуетъ, чтобъ однажды принятая канитель была продѣлана отъ начала до конца, а исключеніе въ этомъ случаѣ допускается только въ пользу „чильсгёрстскихъ философовъ".

Въ послѣднемъ письмѣ своемъ, послѣ изгнанія изъ полка, вотъ что, въ видѣ post-scriptum, приписываетъ Serge Prokaznine.

„P. S. Пожалуйста, поскорѣе уломай Butor'a, потому что я ужъ подалъ въ отставку. Я безъ копейки, пусть пришлетъ денегъ. Представь себѣ, даже Лиходѣева перестала показываться. Сегодня утромъ я смотрѣлъ въ окно— вдругъ дверь балкона отворяется, и въ ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало-быть, и съ этой стороны все кончено". Она же ему пишетъ вотъ что: „Bazaine s'est évadé! [4]) Я сегодня прочла объ этомъ въ „Городскихъ и Иногородныхъ Афишахъ", которыя доставлены сюда разомъ за цѣлый мѣсяцъ. Я не могу описать тебѣ, мой другъ, что я почувствовала, когда прочла это извѣстіе. C'était comme une révélation [5]). Помнишь, я писала тебѣ, что предчувствую катастрофу... et bien, la voici! [6]) Я заперлась въ своей комнатѣ и цѣлый часъ, каждую минуту повторяла одно и то же: Базенъ бѣжалъ! Базенъ бѣжалъ! И потомъ Рюль... Рюль... Рюль... Рюль! Il est brave! il est jeune! il est beau [7]). И я вдругъ почти машинально начала собираться. Мнѣ такъ ясно, такъ отчетливо представилось, что мое мѣсто... тамъ, à côté de ce brave et beau jeune homme! [8])

---

[1]) Время—деньги.
[2]) Нравственныя обозрѣнія.
[3]) Краткія обозрѣнія историческія и литературныя.
[4]) Базенъ бѣжалъ.
[5]) Это было, какъ открытіе.
[6]) И вотъ она!
[7]) Онъ храбръ, онъ молодъ и красивъ!
[8]) Около этого храбраго и прекраснаго молодого человѣка.

Oui, je dois être à mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irrésistibilité [1]). Сначала ѣду въ Парижъ, чтобы повидаться съ Sainte-Croit (celui qui a donné le soufflet à Gambetta [2]), потомъ... потомъ, быть-можетъ, и совсѣмъ останусь въ Парижѣ... Ah! si tu savais, mon ami [3])! Но, само-собою разумѣется, что гдѣ бы я ни была, сердцемъ я всегда съ тобою. Nathalie".

Кончается же вся эта нелѣпая переписка лаконическимъ отвѣтомъ Бютора къ сыну. Вотъ оно:

„Негодяй! Всѣ письма твои я перечиталъ, а послѣднія два даже самъ лично получилъ. Butor—это я-съ?! Наталья Кирилловна, твоя мать, а моя жена, вчерашняго числа въ ночь бѣжала, предварительно унеся изъ моего стола (посредствомъ подобраннаго ключа) двѣ тысячи рублей. Пишетъ, будто бы для свиданія съ Базеномъ бѣжитъ, я же навѣрно знаю, что для канкановъ въ Closeries des lilas. Но я немного о томъ печалюсь, а трепещу только, какъ бы, навѣшавшись въ Парижѣ досыта, опять не воротилась ко мнѣ. До сихъ поръ я читалъ седьмую заповѣдь такъ: „Не прелюбодѣйствуй!" Но вы съ матерью и симъ недовольны, а новую заповѣдь выдумали: „Не перепрелюбодѣйствуй"! Вы простому-то прелюбодѣйству не можете остаться вѣрными, но даже въ самый разгаръ онаго о томъ всечасно помышляете, какъ бы новое учинить! А посему, вотъ отъ меня тебѣ приказъ: немедленно, съ посланнымъ пріѣзжай въ деревню и паси свиней, доколѣ не исправишься. Буде же сего не исполнишь, то поѣзжай къ Базену и отъ него жди милости, а меня не раздражай. Засимъ, остаюсь навсегда разгнѣванный отецъ твой: Семенъ Проказнинъ".

Окончивъ эту экскурсію въ область разврата и выкопавъ въ ней какую-то *невозможную* героиню, г. Щедринъ отправляется въ „область аккуратности и умѣренности" и задается очень остроумною мыслью представить *Грибоѣдовскаго Молчалина*, обставленнаго всѣми героями безсмертной комедіи *Горе отъ ума*, дѣйствующимъ и разсуждающимъ въ наше время и въ нашемъ обществѣ. Къ сожалѣнію, кромѣ замысла самаго произведенія, остроумнаго вылилось изъ-подъ пера талантливаго сатирика очень мало. И если что удалось г. Щедрину, то развѣ только то, что онъ доказалъ слишкомъ ясно, насколько онъ далекъ отъ Грибоѣдова! Во-первыхъ, неудача заключается, по-моему, уже въ томъ, что онъ беретъ Молчалина и ставитъ его на петербургскую сцену жизни. Молчалинъ—типъ безусловно московскій: какъ въ то время его не было въ Петербургѣ, такъ и теперь его нѣтъ. Петербургъ не производитъ Молчалиныхъ. Петербургъ—это

---

[1]) Да, я должна быть на мѣстѣ! Я это чувствую съ такою непреодолимостью, какъ никогда.

[2]) Тотъ, который далъ пощечину Гамбеттѣ.

[3]) Ахъ, если бъ ты зналъ, мой другъ.

почва безконечно разнообразныхъ Хлестаковыхъ, но Молчалинъ немыслимъ, въ настоящее время въ особенности, ни въ какомъ видѣ, ни въ какой должности. Оттого исполненіе остроумной задачи оказалось г. Щедрину не подъ силу. Его „Молчалинъ“ вышелъ далеко не Грибоѣдовскимъ Молчалинымъ, а чѣмъ-то въ родѣ представителя того общаго типа петербургскаго узковзглядаго чиновника, на обрисовку коего г. Щедринъ, положительно, мастеръ первостатейный. Молчалинъ у г. Щедрина слишкомъ много говоритъ и слишкомъ просторно и безъ *стѣсненій* говоритъ; тогда какъ, сколько мнѣ кажется, Молчалинъ Грибоѣдовскій говоритъ и дѣйствуетъ всегда съ утонченной осторожностью. Въ описаніи тѣхъ многочисленныхъ директоровъ департамента, которыхъ пережилъ Молчалинъ у г. Щедрина, онъ говоритъ такъ, какъ говорилъ бы всякій; а, между тѣмъ, Молчалинъ—далеко *не всякій*. Такъ, въ бесѣдѣ съ авторомъ о своемъ житьѣ-бытьѣ Молчалинъ говоритъ слѣдующее:

„Сынъ у меня старшій, нынче осенью въ медицинскую академію на первый курсъ поступилъ, и представь себѣ, какъ онъ меня на-дняхъ афрапировалъ! Прибѣгаетъ — это изъ академіи, весь взволнованный, и первымъ словомъ; а, вѣдь, человѣкъ-то, папаша, отъ обезьяны происходитъ! Я просто руками всплеснулъ! Во-первыхъ, говорю, человѣкъ не отъ обезьяны происходитъ, а во-вторыхъ, ну, ежели тебя, глупенькаго, кто-нибудь услышитъ!— Что жъ онъ?— Да что, сипарь! Храбрость въ нихъ какая-то нынче завелась? Въ наше время, бывало, все потихоньку да умненько, а нынче онъ, знай, себѣ твердитъ: пострадать хочу!— Отчего же вы его по классической части не пустили? Тутъ бы ему и въ голову не пришло, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ.—Знаю я и самъ, что по классической части лучше: самъ, батюшка, классикъ! Да, вѣдь, и то подумалъ: врачъ будетъ — хлѣба достанетъ!*) Не съ тобой первымъ объ этомъ дѣлѣ разговаривать приходится... съ самимъ сахаромъ медовичемъ бесѣду имѣлъ. И онъ, знаешь, какъ пронюхалъ, что я сына къ медицинѣ приспособить хочу: что, говоритъ, вамъ вздумалось?— А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что нашему брату не гранъ-пасьянсъ раскладывать, а хлѣбъ добывать нужно!—Однако вы, Алексѣй Степанычъ, тово... откровенно-таки!— Я, батенька, нынче напрямки! Потерпѣлъ-таки! покланялся! Разумѣется, часъ выберешь,—нельзя безъ того! И что жъ бы вы думали? Выслушалъ онъ мой отвѣтъ—и, вѣдь, согласился-таки со мной!—Да, говоритъ, Алексѣй Степанычъ! это такъ! должно, говоритъ, сознаться, что классическое образованіе—оно для насъ хорошо! а для васъ медицина! У самого дѣти есть“.

Въ другомъ мѣстѣ Молчалинъ вводитъ автора въ свою

*) По уставу 1864 г. классическая гимназія давала право на поступленіе въ университетъ, а реальная – въ остальныя высшія спеціальныя училища, въ томъ числѣ и въ медицинскую академію. *Н. Д.*

семью и знакомитъ его со своими дѣтьми, и спеціально со старшимъ сыномъ, Павломъ Алексѣевичемъ Молчалинымъ.

„Въ эту минуту, въ средѣ молодыхъ людей раздался взрывъ сдержаннаго смѣха.— Вы чему, господа, смѣетесь? полюбопытствовалъ Алексѣй Степанычъ (Молчалинъ).—Ахъ, папенька, неужто жъ намъ посмѣяться между собой нельзя! вскрикнула Соня.— Отчего не посмѣяться! да отцу-то отчего не открыть?— Развѣ вамъ интересно? Ну, мы объ учителяхъ вспомнили!— Вотъ она такъ всегда мнѣ отвѣчаетъ! Съ Павломъ Алексѣичемъ хоть цѣлый день шушукаться готова, а передъ отцомъ — молчокъ! И объ чемъ только вы шушукаетесь? Вѣрно, онъ и тебя нашпиговалъ, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ?— Вы, папенька, въ такомъ странномъ видѣ это представляете, какъ-будто я говорю, что это вчера или третьяго дня произошло, вступился Павелъ Алексѣевичъ.— Что вчера, что за шесть тысячъ лѣтъ — это все равно, мой другъ! Все-таки оно неправильно. Потому, сказано: Адамъ, Ева... какъ же ты послѣ этого объ Адамѣ и Евѣ полагаешь!— А такъ и полагаю, что ничего не полагаю!— Нельзя не полагать, мой другъ! велѣно полагать! По-твоему, и міръ не въ семь дней сотворенъ, и отъ сотворенія міра до Рождества Христова не 5508 лѣтъ протекло, а нѣсколько десятковъ тысячъ столѣтій — такъ что ли?—Ахъ, папенька, вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете?—Для твоего добра, мой другъ! Вѣдь, ты и при постороннихъ людяхъ чепуху-то эту несешь, а нынче, слава Богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчикъ, держи! Ты линію-то свою веди, да такъ, чтобъ комаръ носу не могъ подточить!—Слушайте-ка, Алексѣй Степанычъ! вступился я:—а помните, что вы сами давеча насчетъ молодыхъ-то людей говорили?— Что жъ такое?— А вотъ, что молодымъ людямъ и самихъ себя довольно, что неправы тѣ старики, которые претендуютъ, что молодые люди не ищутъ ихъ общества? —Такъ-то такъ, да, вѣдь, родительское сердце— загадка. Ежели разсудить по справедливости, такъ оно и дѣйствительно такъ; какіе же у насъ съ дѣтьми разговоры могутъ быть? Баловать ихъ, жалѣть, радоваться на нихъ — вотъ настоящая наша задача! Ну, а какъ коснется до дѣла — тутъ и спасуешь! Все думаешь, какъ бы поближе да потѣснѣе, да какъ бы за свою любовь-то благодарность получить!—Сказавши это, Алексѣй Степанычъ такъ нѣжно и любовно погладилъ по головѣ маленькую Леночку, сидѣвшую около него по правую руку, что та сейчасъ же расшалилась и опрокинула къ нему все свое свѣтящееся личико.—Слѣдовательно,—продолжалъ онъ:—всякому свое—и старикамъ и молодымъ. Мы будемъ объ нынѣшнемъ направленіи разсуждать, а молодежь пусть сама для себя сюжеты выискиваетъ!—Обѣдъ кончился; мы встали изъ-за стола и, въ ожиданіи кофея, пріютились съ Алексѣемъ Степанычемъ въ его кабинетѣ.— Я такого объ нынѣшнемъ направленіи мнѣнія,—началъ онъ:—что къ тому видно все клонится, чтобы не разсуждать. Совсѣмъ чтобы это оставить! И ежели ты на этой линіи стоишь твердо, то никто, значитъ, тебя и не потревожитъ!“

Немного ниже теорію *„неразсужденія“* Молчалина выясняетъ авторъ въ своей бесѣдѣ съ нимъ такъ:

„Стало-быть,—говоритъ авторъ Молчалину,—вообще говоря, разсуждать не возбраняется? — Да, мой другъ! — А ежели не умѣешь отыскать „пре-

дѣловъ", и ежели не можешь отличить, что вредно и что полезно, то... то лучше не разсуждать!—Мы на минуту умолкли и смотрѣли другъ на друга не то въ изумленіи, не то какъ-будто намъ самимъ было совѣстно, что мы пришли къ такимъ результатамъ. Но я рѣшился выпить чашу до дна, и первый прервалъ молчаніе.—Прекрасно; но что вы скажете насчетъ слѣдующаго соображенія. Мы имѣемъ порохъ, книгопечатаніе, паръ, желѣзныя дороги, шасспо, голубиную почту, аэростаты... Мы, наконецъ, ѣдимъ печеный хлѣбъ, а не питаемся сырыми зернами ржи... Какъ вы думаете, если бы люди не разсуждали, обладали ли бы мы всѣми этими благами?—И насчетъ этого въ статьѣ говорится. Правда, говоритъ, что есть вещи, которыхъ польза признана всѣми, и осуществленіе которыхъ было бы невозможно безъ нѣкотораго полета ума, но и на этотъ случай существуетъ извѣстная комбинація, при помощи которой могутъ быть удовлетворены всѣ интересы. Пусть тѣ, которые имѣютъ склонность къ полетамъ, прибѣгаютъ къ онымъ подъ личною за сіе отвѣтственностью! пусть изумляютъ они міръ величіемъ и смѣлостью своихъ открытій и изобрѣтеній! развѣ это мѣшаетъ намъ, избѣгающимъ упомянутыхъ полетовъ, ради отвѣтственности съ ними сопрягаемой, пользоваться плодами оныхъ?—Отнюдь! Да, мой другъ! нужно только терпѣніе, а прочая вся приложатся! Есть и безъ насъ кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай ихъ! Вѣдь оно, выдуманное-то, и безъ того въ свое время до насъ дойдетъ,—тогда мы и попользуемся!—Слѣдовательно, какъ ни кинь, а все выходитъ: не разсуждать?—Ежели по тому судить, что въ статьѣ говорится, то видимое дѣло, что оно къ тому клонится.—Попробуемъ, Алексѣй Степанычъ! попробуемъ!—Попробуй, мой другъ!"

Воля ваша, но какъ бы искренни ни были усилія мои представить себѣ и воскресить въ воображеніи Молчалина Грибоѣдовской комедіи,—усилія мои оказываются тщетными. Я все вижу петербургскаго чиновника, петербургскаго чиновника и петербургскаго чиновника! А петербургскій чиновникъ, съ *разсужденіемъ* или *безъ разсужденія*,—не Молчалинъ.

Павелъ Павловъ.

„Зиждитель“ [1].

„Отечественныя Записки“, 1874 г., 4 кн.

Въ лицѣ *Зиждителя* г-на Щедрина мы опять знакомимся съ помпадурами его. *Зиждитель*—это помпадуръ изъ новой породы. На визитной карточкѣ его написано: le comte Serge de Bystritzine, conseiller d'état, président de la société économique de Tchoukloma, etc. etc... [2] Графъ Быстрицынъ дѣлается помпадуромъ потому, что онъ, живя въ своемъ имѣніи въ чухломскомъ уѣздѣ, не только самъ занялся хозяйствомъ и устроилъ его на блестящихъ раціональныхъ началахъ, но примѣромъ своимъ заразилъ нѣсколько молодыхъ чухломцевъ и устроилъ съ ними Общество для возрожденія чухломскаго хозяйства. Событіе это дало ему, Быстрицыну, и его уѣзду какую-то полуфантастическую хозяйственно-организаторскую репутацію, и вотъ является новая порода помпадуровъ—чухломскихъ администраторовъ.

— Но, вѣдь, говорятъ, ты въ своемъ имѣніи, дѣйствительно, устроилъ что-то необыкновенное! говоритъ Быстрицыну его пріятель.— Ничего необыкновеннаго. Никакихъ чудесъ. Я работалъ и былъ такъ счастливъ, что нѣкоторые изъ моихъ опытовъ дали результаты... поразительные, вотъ и все...— Напримѣръ, помѣсь налима и леща...— Ну да, это такъ. Это опытъ удачный. Но, самъ-по-себѣ, онъ не имѣетъ еще большого значенія. Онъ важенъ... онъ, дѣйствительно, важенъ... но лишь въ связи съ другими подобными же опытами, долженствующими дать совершенно новыя основы нашей сельской жизни. Рыболовство, скотоводство, свиноводство, садоводство — tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde! А моя система — это именно цѣлый міръ!

На вопросъ пріятеля, какъ онъ будетъ всѣ эти „водства“ соединять съ помпадурствомъ, графъ Быстрицынъ ему отвѣчаетъ: „ничего нѣтъ проще“—стоитъ только дѣлать противоположно прочимъ помпадурамъ; это противоположное должно заключаться въ отстраненіи вовсе того, что

---

[1]) „Гражданинъ“, 1874 г., № 19. (См. стр. 277.)

[2]) Графъ Сергѣй Быстрицынъ, статскій совѣтникъ, предсѣдатель экономическаго общества Чухломы и т. д. и т. д.

прежніе помпадуры считали главнымъ и единственнымъ своимъ дѣломъ *внутренней политики.*

„Если я направлю внутреннюю политику противъ дворянъ, говоритъ Быстрицынъ, кто же будетъ исправлять должность опоры? Съ кѣмъ буду я проводить время, играть въ ералашъ, танцовать на балѣ? Ежели я расточу купцовъ — у кого я буду ѣсть пироги?“

Даже относительно сословія нигилистовъ Быстрицынъ признаетъ ненужною внутреннюю политику. Нигилистъ, по его мнѣнію, прежде всего человѣкъ неудовлетворенный, и вслѣдствіе этого, „когда я вижу человѣка неудовлетвореннаго“, говоритъ Быстрицынъ, „то мнѣ никакой другой мысли въ голову не приходитъ, кромѣ одной: этотъ человѣкъ не удовлетворенъ—слѣдовательно, надобно его удовлетворить!“... Задачи Быстрицына многочисленны. Начинаются онѣ съ борьбы съ пьянствомъ. Въ этомъ вопросѣ главное вниманіе Быстрицына обращено на ту роковую рюмку водки, которую мужикъ выпиваетъ сверхъ того количества водки, которое ему нужно для его благосостоянія. Къ предупрежденію и пресѣченію мужику способовъ испить эту злосчастную лишнюю рюмку должны, по мнѣнію Быстрицына, быть направлены заботы его и его администраціи. Вторая задача Быстрицына—война съ семейными раздѣлами, общиннымъ владѣніемъ и круговою порукою *), и, притомъ, война съ убѣжденіемъ въ полной возможности обходить всякій законъ, „имѣя въ виду совершить нѣчто, дѣйствительно, полезное и плодотворное“. „Затѣмъ“, говоритъ Быстрицынъ, „начинается, собственно, положительная часть моего предпріятія. Оплодотвореніе, орошеніе, разведеніе улучшенныхъ породъ скота, указаніе лучшихъ способовъ воздѣлыванья земли и проч. Тутъ я ужъ какъ у себя дома“. Далѣе Быстрицынъ говоритъ, что „это будетъ продолженіемъ его чухломскаго хозяйства“. Исходною точкой всѣхъ этихъ административныхъ предположеній и соображеній для Быстрицына является замѣчательный фактъ изъ его чухломскаго хозяйства. Въ 1869 году онъ пріобрѣлъ себѣ ютландскаго борова и ютландскую свинью;

*) Говоря иначе, выведенный Щедринымъ въ *Зиждителѣ* администраторъ воюетъ противъ всего во имя личнаго усмотрѣнія и произвола. И правовые институты подвѣдомственныхъ крестьянъ и исторически сложившіяся формы быта, какъ, наприм., общинное владѣніе, одинаково подвергаются административному натиску щедринскихъ помпадуровъ, не знающихъ другихъ началъ, кромѣ личнаго умозрѣнія. *Н. Д.*

въ 1874 году отъ этихъ доблестныхъ родоначальниковъ числилось уже налицо въ его чухломскомъ хозяйствѣ: четыреста поросятъ и, сверхъ того, двѣсти-тридцать-семь свиней и тридцать-одинъ боровъ, которые всѣ пущены на племя. Что будетъ въ 1884 году—не знаю.

— Душа моя, отвѣчаетъ пріятель,—но, вѣдь, такимъ образомъ можно весь шаръ земной покрыть свиньями!—И можно бы, если бы этому не препятствовала ложь и человѣческая плотоядность! Но представь себѣ этотъ результатъ въ примѣненіи къ народному хозяйству! Представь себѣ его, какъ одно изъ многочисленныхъ административныхъ средствъ, находящихся въ моихъ рукахъ... какой могущественный рычагъ!

Система дѣйствія у Быстрицына—совѣтовать, указывать, и все добровольно:

— Моя система,—говоритъ Быстрицынъ,—не требуетъ принужденія! Я являюсь на сходъ лично и объясняю...—Ты! помпадуръ! на сходѣ... и лично!—Да, душа моя, лично! Я забываю все это мишурное величіе, и на время представляю себѣ, что я простой, добрый деревенскій староста... Итакъ, я являюсь на сходъ и объясняю. Затѣмъ, ежели я вижу, что меня недостаточно поняли, я поручаю продолжать дѣло разъясненія исправнику. И вотъ, когда исправникъ объяснитъ окончательно, тогда, по его указанію, составляется приговоръ, и прикладываются печати... И новая хозяйственная эра началась!

Таковъ новый помпадуръ чухломской школы. Типъ этотъ снятъ съ натуры, нѣтъ сомнѣнія, но типъ ли это, вотъ въ чемъ вопросъ. Мнѣ показалось, читая этотъ новый этюдъ почтеннаго художника-юмориста, что онъ недовольно его обработалъ, слишкомъ мало далъ ему, такъ-сказать, настояться и очиститься отъ примѣси разныхъ частностей, фотографическаго, но не типическаго свойства. Отъ этого, въ очеркахъ г. Щедрина недостаетъ комизма; читаешь ихъ съ удовольствіемъ, ибо и умно, и мѣтко, и мѣстами смѣшно, но настоящаго комизма мало, очень мало. Изъ всѣхъ помпадуровъ этотъ *Зиждитель* всѣхъ менѣе удачный.

Павелъ Павловъ.

Письма о текущей литературѣ [1]).

Въ нынѣшнемъ году Щедринъ подарилъ насъ продолженіемъ своихъ *Благонамѣренныхъ рѣчей*, разсказомъ о новомъ сортѣ помпадуровъ — *Зиждителѣ* и, наконецъ, очеркомъ: *Городѣ*. Разсказъ о Деруновѣ („Благонамѣренныя рѣчи") принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ Щедрина. Оставивъ въ сторонѣ чиновничество, Щедринъ рисуетъ намъ, на этотъ разъ, кулака-мѣщанина, который, начавъ съ мелкаго прасольства, сталъ первостатейнымъ купцомъ и „главнымъ мѣстнымъ воротилой": „арендовалъ у помѣщиковъ винокуренные заводы, въ большинствѣ городовъ губерніи имѣлъ винные склады, содержалъ громадное количество кабаковъ, скупалъ и откармливалъ скотъ, и всю мѣстную хлѣбную торговлю прибралъ къ рукамъ,—словомъ, сдѣлался монополистомъ, который всякую чужую копейку считалъ гулящею и не успокаивался до тѣхъ поръ, пока не получитъ все въ свой карманъ". Разумѣется, онъ считаетъ себя „столпомъ" и „охранителемъ основъ". Авторъ рисуетъ намъ его семейную жизнь: оказывается, что онъ, на старости лѣтъ, „свою жену, Анну-то Ивановну, нынче отставилъ, а у сына, у Яшеньки, жену отнялъ"; Яшенька „съ этого самаго запилъ, что сраму стерпѣть не могъ", а Деруновъ, этотъ чадолюбивый отецъ, трактуетъ его, какъ непутнаго, и всячески притѣсняетъ. Авторъ знакомитъ насъ съ тѣмъ, какъ онъ ведетъ свои торговыя дѣла: оказывается, что онъ безпощадно эксплуатируетъ всѣ мѣстное населеніе, видя бунты и преступныя стачки въ каждой попыткѣ крестьянъ защититься отъ его безсовѣстной эксплуатаціи, и прибѣгаетъ къ мѣстнымъ властямъ съ ходатайствами о подавленіи всякихъ такихъ бунтовъ и стачекъ... Мысль разсказа не нова, но

---

[1]) „Биржевыя вѣдомости", 1874 г., № 118. (См. стран. 130.)

типъ Дерунова зато набросанъ у Щедрина мастерскою кистью. Вы какъ живого видите передъ собой этого плута, съ мягкимъ обращеніемъ, красивымъ лицомъ, съ ласковыми голубыми глазами, начиная съ того времени, когда онъ только-что начиналъ свою карьеру, разъѣзжая по барскимъ усадьбамъ и пріобрѣтая особое расположеніе дворни каждаго помѣщика, къ которому онъ заѣзжалъ, и до того времени, когда онъ сталъ воротилою, сохранивъ свое „благолѣпіе", но пріобрѣтя солидность съ нѣкоторымъ свинствомъ и проникнувшись глубокимъ уваженіемъ къ своей особѣ съ претензіей на непогрѣшимость каждаго своего слова. Не могу воздержаться, чтобы не привести хоть одинъ отрывокъ изъ этого разсказа. Когда авторъ разсказа сидитъ у Дерунова (уже ставшаго воротилою), онъ узнаетъ, что „кандоуровскаго барина" увезли-было.

„Какъ увезли? Куда?"— „Неизвѣстно-съ. И за что — никто не знаетъ. Сказывалъ этта, будто становой писалъ. Ни съ кѣмъ будто не знакомится, книжки читаетъ, дома по вечерамъ сидитъ"... —„Не было ли поступковъ за нимъ какихъ?"— „Поступковъ не было. И становой, сказываетъ, писалъ: поступковъ, говоритъ, нѣтъ. Такъ и ожидали, что увезутъ. Однако, отвѣтъ отъ высшаго начальства вышелъ: дожидаться поступковъ".

Деруновъ, какъ охранитель и столпъ, высказывается въ пользу того, что съ кандоуровскими баринами можно, даже должно, и „безъ поступковъ", производить надлежащую расправу. Но авторъ разсказа смотритъ на это дѣло иначе и, подъ вліяніемъ слышаннаго, размышляетъ:

„Вотъ мы, жители столицъ, часто на начальство ропщемъ. Говоримъ: стѣсняетъ, правъ не даетъ. Нѣтъ, съѣздите въ деревню, да у станового подъ начальствомъ поживите! Что было бы съ „кандоуровскимъ баріномъ", если бы начальство не написало: „дожидаться поступковъ!" Что сталось бы съ нимъ, если бы судьба его зависѣла, единственно, отъ усмотрѣнія сердцевѣдца-станового! Становой! Какая метаморфоза, если сравнить съ добрымъ старымъ временемъ! Я помню: смотритъ, бывало, папенька въ окошко и говоритъ: „Вотъ пьяницу-станового везутъ". Пріѣдетъ ли становой къ помѣщику по дѣламъ — первое ему привѣтствіе: „Что, пьяница! видно, куръ по уѣзду собирать ѣздишь!" Заикнется ли становой насчетъ починки мостовъ — отвѣтъ: „Кромѣ тебя, ѣздить здѣсь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты — таковскіе". Словомъ сказать, кромѣ „пьяницы" да „куроѣда", и словъ ему никакихъ нѣтъ! Я знаю, что такую манеру обращаться съ агентомъ полицейской власти хвалить нельзя; но согласитесь, однакоже, что и метаморфоза черезчуръ уже рѣзка. Все былъ „куроѣдъ", и вдругъ — сердцевѣдецъ. Въ прежнія времена говаривали: „Тайныя помышленія Богъ судитъ, ибо Онъ одинъ въ совершенствѣ видитъ сокровенную человѣческую мысль..." Нынче все такъ упростилось, что даже становой, нимало не робѣя, говоритъ себѣ: „А дай-ка и я понюхаю, чѣмъ

въ человѣческой душѣ пахнетъ!" И нюхаетъ. Я сижу дома и, запершись отъ людей, Поль-де-Кока читаю, а становой уже нѣчто насчетъ „превратныхъ толкованій" умозаключилъ! Не по случаю Поль-де-Кока умозаключилъ (въ этомъ смыслѣ онъ такъ образованъ, что даже Баркова наизусть знаетъ), а по случаю моей любви къ уединенію. Онъ думаетъ, зачѣмъ я уединяюсь, когда прочіе въявь всѣ срамоты производятъ. И вотъ, онъ начинаетъ сослуживать меня. Я держу у себя Гришку лакея, думаю, что живу за нимъ, какъ за каменной стѣной, а онъ ужъ и Гришку развратилъ и потихоньку его выспросилъ, что и какъ, почтителенъ ли я къ начальству, не затѣваю ли я революцій и т. п. Онъ даже не ждетъ съ моей стороны „поступковъ", а просто проникаетъ, на основаніи Гришкиныхъ показаній, въ тайники моей души, и однимъ почеркомъ пера производитъ меня или въ званіе „столпа и опоры", или въ званіе „опаснаго и безпокойнаго человѣка", смотря по тому, какъ Богъ ему на душу положитъ. Это бывшій-то куроѣдъ! Куроѣдъ, совмѣстившій въ своемъ одномъ лицѣ всю академію нравственныхъ и политическихъ наукъ! Куроѣдъ—сердцевѣдецъ, куроѣдъ—психологъ, куроѣдъ — политиканъ! Куроѣдъ, принимающій на себя расцѣнку обывательскихъ убѣжденій и съ самымъ невозмутимымъ видомъ однимъ выдающій аттестатъ благонадежности, а другимъ—аттестатъ неблагонадежности! Ужели же и впрямь нѣтъ другого дѣла для куроѣда! Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе, въ существованіи котораго много виноватъ Т-скій исправникъ. Онъ призвалъ къ себѣ подвѣдомственныхъ ему куроѣдовъ и сказалъ имъ: „Вы отвѣчаете мнѣ, что въ вашихъ участкахъ тихо будетъ!" Но при этомъ не разъяснилъ, что читать книжки, не ходить въ гости и, вообще, вести уединенную жизнь—вовсе не противорѣчитъ общепринятому понятію о „тишкѣ". И вотъ, куроѣды взбаломутились, и съ помощью Гришекъ, Прошекъ и Ванекъ начинаютъ орудовать. Не простой тишины они ищутъ, а тишины прозрачной, обитающей въ открытомъ со всѣхъ сторонъ помѣщеніи. Вездѣ, даже въ самой несомнѣнной тишинѣ, они видятъ или нарушеніе тишины или подстрекательство къ таковому нарушенію. Еще на-дняхъ одинъ становой-щеголь мнѣ говорилъ: „По-настоящему, насъ не становыми называть бы надо, потому что я, напримѣръ, за весь свой станъ отвѣчаю: чуть ежели кто ненадеженъ, или въ мысляхъ нетвердъ — сейчасъ же къ свѣдѣнію долженъ дать знать!" Взглянулъ я на него — во всѣхъ статьяхъ куроѣдъ! И глаза врозь, и руки растопырилъ, словно курицу поймать хочетъ, и носомъ воздухъ нюхаетъ. Только вотъ мундиръ—мундиръ, это точно, что ловко сидитъ? У прежнихъ куроѣдовъ такихъ мундирчиковъ не бывало! И этотъ-то щеголь судитъ „моя тайная и сокровенная", судитъ, потому что я живу у него въ стану, а онъ „за весь станъ отвѣчаетъ!" Онъ залѣзетъ въ мою душу и барахтается въ ней на всей своей волѣ! Какія жестокія времена! Да и одинъ ли становой! одинъ ли исправникъ! Вонъ Деруновъ и партикулярный человѣкъ, которому ничего ни отъ кого не поручено, а попробуй, поговори-ка съ нимъ по душѣ? Ничего-то онъ въ психологіи не смыслитъ, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философіи, всю твою душу по ниточкѣ разберетъ! Проста наша психологія! ахъ, какъ проста! Только одно слово отъ себя прилги или скрой одно слово — и вотъ, вся человѣческая подноготная словно на ладони!.. Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержаны. Имѣй я ихъ взгляды на бунты и тѣ удобства,

которыми они пользуются для проведенія этихъ взглядовъ, я всякаго бы человѣка, который мнѣ нагрубилъ, или просто не понравился, со свѣту бы сжилъ".

Въ *Зижditелѣ* Щедринъ затрогиваетъ одну изъ важныхъ нашихъ болѣзней—неуваженіе законности и непониманіе той простой истины, что твердая почва даже и плохого закона все-таки основательнѣе и прочнѣе, чѣмъ благоусмотрѣніе хотя бы и хорошаго произвола. Героемъ разсказа является нѣкто Быстрицынъ. Принадлежа къ „блестящей плеядѣ" Ѳеди Кротикова, Вани Козелкова, Пети Толстолобова и другихъ помпадуровъ, уже описанныхъ Щедринымъ, Быстрицынъ отличался отъ нихъ тѣмъ, что „по выходѣ изъ школы, онъ не устремился на поискъ немедленно карьеры, но удалился въ свою чухломскую деревню" и тамъ составилъ себѣ огромную репутацію великаго хозяина-организатора; про него стали ходить по Россіи фантастическіе слухи, напр., будто, онъ „скрестилъ налима съ лещомъ и что отъ этого произошла рыба, соединившая массивную тешку леща съ налимьей печенкой"... Словомъ, слава его прогремѣла, и онъ былъ призванъ на постъ помпадура въ городъ Паскудскъ. Вопреки блестящей плеядѣ своихъ однокашниковъ-помпадуровъ, которые полагали исключительною своей цѣлью охранять основы, т.-е. расточать внутреннихъ враговъ и все подтягивать,—Быстрицынъ благоразумно находитъ, что расточать некого и незачѣмъ. Вслѣдствіе этого, онъ совершенно отвергаетъ „внутреннюю политику расточенія" и ставитъ себѣ такую программу, чтобы улучшать и уничтожать только болото, а все прочее оплодотворять".

„Я (говоритъ онъ) начинаю съ того, что приготовляю почву, необходимую для будущаго сѣмени, т.-е. устраняю вредные элементы. Такихъ элементовъ я, главнѣйшимъ образомъ, усматриваю три: пьянство, крестьянскіе семейные раздѣлы и общинное владѣніе землей!" Когда ему замѣчаютъ: „Послушай, однакожъ, мой другъ, вѣдь, все это,— и семейные раздѣлы, и община, и круговые порядки,— все это находится подъ защитой закона! Стало-быть, ты хочешь сдѣлаться паскудскимъ законодателемъ? Но безопасно ли это?"—то Быстрицына нисколько не останавливаетъ такое соображеніе:—„Pas de malsaines théories! (отвѣчаетъ онъ) restons dans la pratique![1]) Практика въ этомъ случаѣ — самый лучшій отвѣтъ. Начнемъ хоть съ тебя. Ты вотъ сидишь теперь у себя въ квартирѣ, и ужъ, конечно, чувствуешь себя подъ защитой закона. И вдругъ — фюить! — et vous êtes à milles

[1]) Не надо нездоровыхъ теорій, обратимся къ практикѣ.

verstes de votre chez-soi, de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation... que sais-je, enfin [1]). Вѣдь, это возможно, спрашиваю я тебя!"— Конечно оно невозможно, но...—Никакихъ „но"! фюить—и больше ничего! Теперь, спрашиваю тебя: ежели я, какъ помпадуръ, имѣю возможность обойти законъ ради какого-то „фюить", то неужели же я поцеремонюсь сдѣлать то же самое, имѣя въ виду совершить нѣчто дѣйствительно полезное и плодотворное?"— Да, это такъ. То-есть, коли хочешь, оно не „такъ", но ужъ если допустить въ принципѣ, что можно дѣлать все, что хочешь, то лучше свиней разводить, нежели вращать зрачками. Итакъ, это рѣшено. Ты исполнилъ первую половину своей программы, ты разорилъ кабаки, положилъ предѣлъ семейнымъ раздѣламъ, упразднилъ общину... затѣмъ?— Затѣмъ, начинается, собственно, положительная часть моего предпріятія Оплотвореніе, орошеніе, разведеніе улучшенныхъ породъ скота, указаніе лучшихъ способовъ воздѣлыванія земли и проч. Тутъ я ужъ какъ у себя дома".—То-есть, какъ въ своемъ собственномъ чухломскомъ хозяйствѣ?—„Да, это будетъ продолженіемъ моего чухломскаго хозяйства."

Въ лицѣ Глумова авторъ разбиваетъ всю эту теорію произвола, какъ она ни кажется благовидною иному человѣку, не разбирающему средствъ для достиженія хорошей цѣли. Положимъ (говоритъ Глумовъ), что Быстрицынъ, своею политикой произвола, достигнетъ блестящихъ результатовъ,— но (продолжаетъ онъ):

— Представь себѣ теперь слѣдующее: сосѣдъ Быстрицына, Петька Толстолобовъ, тоже пожелаетъ быть реформаторомъ а-ля Пьеръ-ле-Гранъ [2]). Видитъ онъ, что шутка эта идетъ на рынкѣ бойко, и думаетъ: „Семъ-ка, я удеру штуку! прекращу празднованіе воскресныхъ дней, а вмѣсто того заведу клоповодство".—И опять-таки преувеличеніе. Клоповодство—преувеличеніе, душа моя, а не возраженіе.—Хорошо, уступаю и въ этомъ. Ну, не клоповодствомъ займется Толстолобовъ, а устройствомъ... положимъ, хоть фаланстеровъ*). Вѣдь, Толстолобовъ парень рѣшительный—ему всякая штука въ голову можетъ притти! А на него глядя, и Ѳеденька Кротиковъ возопіетъ: а нутка, я насчетъ собственности пройдусь! И тутъ же, не говоря худого слова, декретируетъ: жить всѣмъ, какъ во времена апостольскія живали! Какъ ты думаешь, ладно такъ-то будешь?—Увы! я даже не могъ отвѣтить на вопросъ Глумова. Я страдалъ. Я такъ жаждалъ „отрадныхъ явленій", я такъ твердо былъ увѣренъ въ томъ, что не дальше, какъ черезъ два-три мѣсяца, прочту въ „нашей уважаемой газетѣ" корреспонденцію изъ Пасвудска, въ которой будетъ изображено: „Съ нѣкотораго времени нашъ край, поистинѣ, сдѣлался ареной отрадныхъ явленій. Давно ли со всѣхъ сторонъ стекались мірскіе приговоры объ уничтоженіи кабаковъ, какъ развратителей нашего добраго, простодушнаго народа,—и вотъ снова отовсюду

---

[1]) И вы — за тысячу верстъ отъ вашего дома, вашихъ привычекъ, друзей, цивилизаціи и, вообще, отъ всего.

[2]) Петръ Великій.

*) Т.-е. осуществленіемъ соціалистической теоріи Фурнье. (См. выпускъ I-й, стран. 6.) *Н. Д.*

притекаютъ новые приговоры, изъ коихъ явствуетъ, что сельская община, въ сознаніи самихъ крестьянъ, является единственнымъ препятствіемъ къ пышному и всестороннему развитію нашей производительности! "Да, я ждалъ всего этого, я надѣялся, я предвкушалъ! И вдругъ—картина! Клоповодство, фаланстеры, возвращеніе апостольскихъ временъ! И, что всего грустнѣе, я не могъ даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду!—Увы! Я слишкомъ хорошо зналъ Толстолобова, чтобы позволить себѣ подобное обличеніе. Да, онъ ни передъ чѣмъ не остановится, этотъ жестоковыйный человѣкъ! онъ покроетъ міръ фаланстерами, онъ разрѣжетъ грошъ на милліонъ равныхъ частей, онъ засѣетъ всѣ поля персидской ромашкой! И при этомъ будетъ какъ вихрь летать изъ края въ край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько онъ перековеркаетъ, сколько людей перекалѣчитъ, сколько добра погадитъ, покамѣстъ самъ, наконецъ, попадетъ подъ судъ! А вмѣсто него другой придетъ и начнетъ перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Вѣдь, были же картофельныя войны; были попытки фаланстеровъ въ формѣ военныхъ поселеній; были импровизированныя декораціонныя селенія, дороги, города? Что осталось отъ этихъ явленій? Но что стоило ихъ коверканье и расковерканье?— А я бы,—продолжалъ, между тѣмъ, Глумовъ,— обратился къ Быстрицыну съ слѣдующею рѣчью: Быстрицынъ! ты, безспорно, хорошій и одушевленный добрыми намѣреніями человѣкъ! но ты берешься за такое дѣло, которое ни въ какомъ случаѣ тебѣ не принадлежитъ. Хороша ли сельская община или дурна, препятствуетъ ли она развитію производительности или не препятствуетъ—это вопросъ спорный, рѣшеніе котораго (и въ особенности рѣшеніе практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это рѣшеніе тѣмъ, кто прямо заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ, самъ же не мудрствуй, не смущай умовъ и на законъ не наступай! Помни, что ты помпадуръ, и что твое дѣло не созидать, а слѣдить за цѣлостью созданнаго. Созданы, напримѣръ, гласные суды — ты, какъ левъ, стремись на защиту ихъ! Созданы земства — смотри, чтобы даже вѣтеръ не смѣлъ дунуть на нихъ! Тогда ты будешь почтенъ и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затѣмъ — гряди съ миромъ".

Слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о *Городѣ* Щедрина, появившемся въ „Складчинѣ" [1]), но этотъ очеркъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, однако, слабѣе всего, что вышло изъ-подъ пера нашего талантливаго сатирика-публициста за послѣдніе годы. Очевидно, авторъ не думалъ напечатать этого эскиза и вынулъ его изъ своего портфеля только ради филантропической цѣли „Складчины"...

Эксъ (Чебышевъ-Дмитріевъ).

[1]) Литературный сборникъ.

„Благонамѣренныя рѣчи“, г. Щедрина [1]).

„Отечественныя Записки“, 1875 г., 10 кн.

*) *Благонамѣренныя рѣчи* г. Щедрина, подъ спеціальнымъ заглавіемъ—*Семейный судъ*, въ значительной степени отличаются, по своему содержанію, отъ всѣхъ тѣхъ обычныхъ мотивовъ, какіе разрабатываетъ сатира г. Щедрина и какіе мы видѣли во всѣхъ предыдущихъ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ* его. Передъ нами парадируютъ здѣсь уже не помпадуры,

---

[1]) „Спб. Вѣд.“, 1875 г., № 307. (См. выпускъ I-й, стран. 74.)

*) Эта статья принадлежитъ извѣстному историку русской литер. и критику Алекс. Михайлов. Скабичевскому. Начавши литературную дѣятельность въ 60-хъ годахъ, Скабичевскій завоевалъ себѣ видное мѣсто въ литературѣ, главнымъ образомъ, какъ критикъ. Онъ выступилъ противникомъ крайнихъ теорій Писарева и послѣдователемъ Бѣлинскаго и Добролюбова. Какъ и Добролюбовъ, Скабичевскій, по преимуществу, *публицистъ-критикъ*. Для него произведеніе цѣнно постольку, поскольку оно проводитъ общественныя идеи. Вотъ почему онъ мало касается художественныхъ сторонъ разбираемыхъ литературныхъ произведеній. Отсюда ясно, почему онъ такъ высоко ставитъ Щедрина, называя его въ одной изъ статей не только однимъ изъ лучшихъ русскихъ писателей, но и *геніемъ*, стоящимъ ни сколько не ниже геніальныхъ сатириковъ всѣхъ странъ и народовъ. Сказать при жизни писателя, и писателя, противъ котораго вооружено такое количество журнальныхъ перьевъ, то, что сказалъ г. Скабичевскій о Щедринѣ, значитъ, обладать и большимъ мужествомъ, и еще бо́льшей убѣжденностью, и художественнымъ чутьемъ. И дѣйствительно, въ статьяхъ о Щедринѣ г. Скабичевскій не преувеличилъ его общественное и художественное значеніе. Это мы можемъ теперь сказать съ полнымъ правомъ, такъ какъ событія и исторія отодвинули насъ отъ литературной дѣятельности Салтыкова на то законное разстояніе, которое допускаетъ и объективную оцѣнку его дарованія, и болѣе правильный умственный глазомѣръ, и дѣйствительную перспективу. Я этимъ, конечно, не хочу г. Скабичевскаго поставить на ряду съ нашими лучшими критиками. Опредѣлить размѣры дарованія Щедрина послѣ „Благонамѣренныхъ рѣчей“, „Писемъ изъ провинціи“, „Признаковъ времени“, „Исторіи одного города“ и т. д. было несравненно легче, чѣмъ послѣ „Губернскихъ очерковъ“, представляющихся, по сравненію съ позднѣйшими произведеніями, слабою пробой пера. *Прим. Н. Денисюка.*

ташкентцы, дѣльцы, плутократы, адвокаты и тому подобные герои современности; это уже не общественная сатира, бичующая тѣ новыя язвы общества, которыя назрѣли сегодня; нѣтъ, это бытовая повѣсть и, если хотите, историческая, потому что рисуетъ намъ нравы отжившаго прошлаго, которое хотя бы сдѣлалось прошлымъ не далѣе, какъ вчера, но все-таки успѣло уже вступить въ предѣлы исторіи. Здѣсь на первомъ планѣ играетъ роль уже не та ѣдкая соль остроумной, мѣткой насмѣшки и карикатурнаго выставленія напоказъ наиболѣе смѣшныхъ сторонъ жизни, однимъ словомъ, не тѣ качества сатиры г. Щедрина, къ которымъ мы привыкли; нѣтъ—здѣсь передъ вами мастерской очеркъ типовъ отжившаго прошлаго, глубокій, психическій анализъ, а сатиру, въ тѣсномъ значеніи этого слова, замѣняетъ горькій юморъ, переходящій подъ конецъ въ потрясающій трагизмъ весьма своеобразнаго характера. Однимъ словомъ, г. Щедринъ въ этой повѣсти—словно совсѣмъ другой. Щедринъ здѣсь открываетъ передъ нами новыя и нетронутыя до сихъ поръ стороны своего таланта. Однимъ это нравится; другіе, желающіе, чтобы г. Щедринъ непрестанно затрогивалъ самые современные и сегодняшніе мотивы жизни, находятъ, что повѣсть отстала отъ современности, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на пятнадцать или на двадцать, что отъ нея вѣетъ даже какъ-будто археологическою пылью. Что касается до меня, то я скажу, что, конечно, въ настоящей повѣсти г. Щедрина затронутъ не сегодняшній мотивъ, и, конечно, очень было бы жаль, если бы г. Щедринъ пересталъ вдругъ совсѣмъ затрогивать современные мотивы, а все сталъ бы писать подобныя повѣсти: передъ нами былъ бы тогда совсѣмъ новый талантливый писатель, но мы потеряли бы г. Щедрина. Но, тѣмъ не менѣе, одна такая повѣсть въ ряду всего, что написалъ и напишетъ г. Щедринъ, не только не портитъ дѣла, а, напротивъ того, можетъ представиться совершенно необходимымъ звеномъ во всей громадной цѣпи его произведеній, и хотя, на первый взглядъ, отъ повѣсти г. Щедрина и вѣетъ чѣмъ-то археологическимъ, но нельзя сказать, чтобъ она такъ уже вовсе и не имѣла самаго живого современнаго значенія. Такъ, всѣмъ извѣстно, что въ послѣднее время однимъ изъ самыхъ замѣтныхъ вопросовъ литературы представляется вопросъ о такъ-называемыхъ культурныхъ явленіяхъ нашей

жизни, то-есть такихъ явленіяхъ, которыя составляютъ суть русской жизни, русскихъ нравовъ, безъ малѣйшей примѣси чего-либо иноземнаго, навѣяннаго со стороны. Повѣсть г. Щедрина, безспорно, въ томъ отношеніи и представляетъ весьма живой интересъ, что безхитростно изображаетъ передъ нами эти явленія, въ лицѣ нѣсколькихъ весьма типическихъ представителей ихъ, тѣмъ именно и замѣчательныхъ, что, выросши на русской почвѣ, они всецѣло, во всѣхъ малѣйшихъ чертахъ своихъ нравовъ, олицетворяютъ исконныя русскія характерныя явленія, чуждыя какой бы то ни было посторонней примѣси. Прочитавши эту повѣсть, вы невольно воскликнете: „Вотъ настоящіе-то русскіе люди, не идеализированные, не выдуманные,—вотъ они, живые, дѣйствительные представители того слоя, который принято у насъ называть культурнымъ; мы всѣ безспорно плоть отъ плоти ихъ и кость отъ ихъ костей“. Не вдаваясь ни въ какія дальнѣйшія разсужденія, я ограничусь только тѣмъ, что познакомлю своихъ читателей съ главными чертами и мѣстами повѣсти г. Щедрина. Г. Щедринъ ведетъ насъ въ глубь прошедшаго, когда крѣпостное право стояло еще незыблемо, и ни о какихъ реформахъ не было еще и помину. Передъ нами, однимъ словомъ, доброе старое время, и г. Щедринъ рисуетъ намъ доброе старое русское семейство. Представительницей этого семейства является Арина Петровна Головлева. Вотъ какими чертами обрисовываетъ ее г. Щедринъ:

„Арина Петровна—женщина лѣтъ шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить по своей волѣ. Держитъ она себя грозно; единолично и безконтрольно управляетъ обширнымъ головлевскимъ имѣніемъ; живетъ уединенно, расчетливо, почти скупо; съ сосѣдями дружбы не водитъ; мѣстнымъ властямъ доброхотствуетъ, а отъ дѣтей требуетъ, чтобы они были въ такомъ у нея послушаніи, чтобы при каждомъ поступкѣ спрашивали себя: „Что-то объ этомъ маменька скажетъ?“ Вообще имѣетъ характеръ самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочемъ, не мало способствуетъ и то, что во всемъ головлевскомъ семействѣ нѣтъ ни одного человѣка, со стороны котораго она могла бы встрѣтить себѣ противодѣйствіе. Мужъ у нея—человѣкъ легкомысленный и пьяненькій (Арина Петровна охотно говоритъ о себѣ, что она ни вдова ни мужняя жена); дѣти частью служатъ въ Петербургѣ, частью пошли въ отца и, въ качествѣ „постылыхъ“, не допускаются ни до какихъ семейныхъ дѣлъ. При этихъ условіяхъ Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, такъ-что, говоря по правдѣ, даже отъ семейной жизни совсѣмъ отвыкла, хотя слово „семья“ не сходитъ съ ея языка и, по наружности, всѣми ея дѣйствіями исключительно руководятъ непрестанныя заботы объ устройствѣ семейныхъ дѣлъ.

Дѣтей было у нея четверо: три сына и дочь. О старшемъ сынѣ и о дочери она даже и говорить не любила, къ младшему сыну была болѣе или менѣе равнодушна и только средняго, Порфишу, не то чтобы любила, а словно побаивалась. Дочь была у нея въ опалѣ, потому что убѣжала съ гусаромъ. Старшій сынъ, Степанъ Владимировичъ, о которомъ, преимущественно, идетъ рѣчь въ настоящемъ разсказѣ, слылъ въ семействѣ подъ именемъ Степки-балбеса и Степки-озорника. Онъ очень рано попалъ въ число „постылыхъ“ и съ дѣтскихъ лѣтъ игралъ въ домѣ роль не то паріи, не то шута. Отъ отца онъ перенялъ неистощимую проказливость, отъ матери—способность быстро угадывать слабыя стороны людей. Благодаря первому качеству, онъ скоро сдѣлался любимцемъ отца, что еще болѣе усилило нелюбовь къ нему матери. Часто, во время отлучекъ Арины Петровны по хозяйству, отецъ и подростокъ-сынъ удалялись въ кабинетъ, украшенный портретомъ Баркова [1]), читали стихи вольнаго содержанія и судачили, при чемъ, въ особенности, доставалось „вѣдьмѣ“, то-есть Аринѣ Петровнѣ. Но „вѣдьма“ словно чутьемъ угадывала ихъ занятія: неслышно подъѣзжала къ крыльцу, подходила на-цыпочкахъ къ кабинетной двери и подслушивала веселыя рѣчи. Затѣмъ, слѣдовало немедленное избіеніе Степки-балбеса. Но Степка не унимался; онъ былъ нечувствителенъ ни къ побоямъ ни къ увѣщаніямъ, и черезъ полчаса опять принимался куролесить: то косынку у дѣвки Анютки изрѣжетъ въ куски, то сонной Васюткѣ мухъ въ ротъ напуститъ, то заберется на кухню и стянетъ тамъ пирогъ (Арина Петровна, изъ экономіи, держала дѣтей впроголодь), который, впрочемъ, тутъ же раздѣлитъ съ братьями. „Убить тебя надо!—постоянно твердила ему Арина Петровна,—убью—и не отвѣчу! И царь меня не накажетъ за это!“ Такое постоянное униженіе, встрѣчая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даромъ. Оно имѣло въ результатѣ не озлобленіе, не протестъ, а образовало характеръ рабскій, надоѣдливый до буффонства, не знающій чувства мѣры и лишенный всякой предусмотрительности. Такія личности охотно поддаются всякому вліянію и могутъ сдѣлаться чѣмъ-угодно—пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

---

[1]) Барковъ—поэтъ, извѣстный своими неприличными произведеніями.

„Средній сынъ Порфирій Владимировичъ, извѣстенъ былъ въ семействѣ подъ тремя именами: іудушки, кровопивушки и откровеннаго мальчишки, каковы прозвища еще въ дѣтствѣ были ему даны Степкой-балбесомъ. Съ младенческихъ лѣтъ любилъ онъ приласкаться къ милому другу мамашенькѣ, украдкой поцѣловать ее въ плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворитъ, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ сыновнимъ заискиваніямъ. И тогда этотъ пристально-устремленный на нее взглядъ казался ей загадочнымъ, и тогда она не могла опредѣлить себѣ, что, именно, онъ источаетъ изъ себя: ядъ или сыновнюю почтительность. „И сама понять не могу, что у него за глаза такіе,—разсуждала она иногда сама съ собою:—взглянетъ—ну, словно, вотъ петлю закидываетъ. Такъ вотъ и поливаетъ ядомъ, такъ и подманиваетъ".

Младшій сынъ, Павелъ Владимировичъ, былъ полнѣйшимъ олицетвореніемъ человѣка, лишеннаго какихъ бы то ни было поступковъ. Еще мальчикомъ онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности ни къ ученію, ни къ играмъ, ни къ общительности, но любилъ жить особнякомъ, въ отчужденіи отъ людей.

„Забьется, бывало, въ уголъ, надуется и начнетъ фантазировать. Представляется ему, что онъ толокна наѣлся, что ноги сдѣлались у него тоненькія, и онъ не учится. Или—что онъ не Павелъ, дворянскій сынъ, а Давыдка-пастухъ, что на лбу у него выросла болона, какъ у Давыдки, что онъ арапникомъ щелкаетъ и не учится... Шли годы, и изъ Павла Владимировича постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, изъ которой, въ конечномъ результатѣ, получился человѣкъ, лишенный поступковъ. Можетъ-быть, онъ былъ добръ, но никому добра не сдѣлалъ, можетъ-быть, былъ и не глупъ, но во всю жизнь ни одного умнаго поступка не совершилъ. Онъ былъ гостепріименъ, но никто не льстился на его гостепріимство; онъ охотно тратилъ деньги, но ни полезнаго, ни пріятнаго результата отъ этихъ тратъ ни для кого никогда не происходило; онъ никого никогда не обидѣлъ, но никто этого не вмѣнялъ ему въ достоинство; онъ былъ честенъ, но не слыхали, чтобы кто-нибудь сказалъ: „Какъ честно поступилъ въ такомъ-то случаѣ Павелъ Головлевъ". Въ довершеніе всего онъ нерѣдко огрызался противъ матери и въ то же время боялся ея какъ огня. Повторяю: это былъ человѣкъ угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствіе поступковъ—и ничего больше".

Младшіе братья вышли, какъ это у насъ обыкновенно говорится, въ люди и пошли служить. Порфирій Владимировичъ служилъ по гражданской службѣ, Павелъ Владимировичъ—по военной; оба находились въ Петербургѣ. Что же касается старшаго брата, Степана, то изъ него, какъ и надо было ожидать, вышелъ человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ неудачный. Онъ долго переходилъ изъ одной канцеляріи

въ другую, былъ даже въ ополченіи, но нигдѣ не оказалъ ни наклонности къ усидчивому труду, ни уживчивости. Арина Петровна рѣшилась на крайнюю мѣру по отношенію его: она „выбросила сыну кусокъ", который, впрочемъ, въ то же время долженъ былъ изображать и „родительское благословленіе". Кусокъ этотъ состоялъ изъ дома въ Москвѣ, за который Арина Петровна заплатила двѣнадцать тысячъ рублей. Но Головлевъ оказался неспособнымъ справиться и съ этимъ „родительскимъ благословленіемъ": онъ такъ легко привыкъ обращаться со своими деньгами, такъ нелѣпо понималъ размѣры дѣйствительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень не надолго. Въ какія-нибудь четыре-пять лѣтъ онъ прогорѣлъ окончательно, и во время его ополченства „родительское благословленіе" было продано съ молотка. Наступила минута, когда онъ, такъ-сказать, очнулся лицомъ къ лицу съ глухою стѣной. Ему было уже подъ-сорокъ, и онъ вынужденъ былъ сознаться, что дальнѣйшее бродячее существованіе сдѣлалось для него не по силамъ. Оставался одинъ путь—Головлево. Этотъ путь Степана Владимировича въ Головлево, равно какъ пребываніе его въ немъ, и составляетъ главное содержаніе повѣсти. Степанъ Владимировичъ ѣхалъ въ родительскую усадьбу, какъ въ могилу, вполнѣ сознавая, что тамъ ждетъ его вѣрная смерть, о чемъ онъ и говорилъ своему спутнику—крѣпостному Ивану Михайловичу, принимавшему въ немъ то нѣжное участіе, какое зачастую въ старину оказывали крѣпостные къ „постылымъ" господамъ.—Прощай, братъ! говорилъ Головлевъ дрогнувшимъ голосомъ, цѣлуя Ивана Михайловича: заѣстъ она меня!—Богъ милостивъ! вы тоже ужъ не слишкомъ пугайтесь!—Заѣстъ! повторяетъ Степанъ Владимировичъ такимъ убѣжденнымъ тономъ, что Иванъ Михайловичъ невольно опускаетъ глаза. Арина Петровна и дѣйствительно заѣдаетъ своего блуднаго сына, и дѣлаетъ она это вовсе не посредствомъ какихъ-либо упрековъ, брани, поношеній и истязаній. Даже при встрѣчѣ она хоть бы слово вымолвила въ упрекъ ему,—только смѣрила его съ ногъ до головы ледянымъ взглядомъ. Затѣмъ, его помѣстили въ особой комнатѣ того флигеля, въ которомъ помѣщалась и контора. Туда принесли ему бѣлье изъ домашняго холста и старый папенькинъ халатъ, въ который онъ и облачился немедленно.

Арина Петровна не принимала его; къ отцу его тоже не допускали. Дня черезъ три бурмистръ Финогей Ипатычъ объявилъ ему отъ маменьки „положеніе“, заключавшееся въ томъ, что онъ будетъ получать столъ и одежу и, сверхъ того, по фунту фалера въ мѣсяцъ. Вотъ и все. Чего же, казалось бы? Двери родительскаго дома растворились передъ блуднымъ сыномъ, онъ былъ пріюченъ на всемъ готовомъ; но это-то и была, именно, могила. Потянулся рядъ вялыхъ, безобразныхъ дней, одинъ за другимъ утопающихъ въ сѣрой зіяющей безднѣ времени. Жизнь его была жизнью абсолютной праздности, тѣмъ и отличаясь только отъ одиночнаго заключенія, что онъ ежедневно видѣлся съ одними и тѣми же двумя-тремя лицами въ земской конторѣ, да имѣлъ невозможную возможность удалиться изъ Головлева, если бы пожелалъ. Далѣе слѣдуетъ въ повѣсти мастерская, поразительная сцена семейнаго суда, заключающаяся въ томъ, что Арина Петровна пригласила двухъ своихъ младшихъ сыновей на совѣтъ, чтобы рѣшить, какъ поступить со старшимъ ихъ братомъ. У Арины Петровны пробудилось-было что-то въ родѣ человѣческаго чувства: она была готова бросить своему блудному сыну еще „кусокъ“, въ видѣ небольшой усадьбы, которая слѣдовала ему по отцовскому наслѣдству. Но Порфирій Владимировичъ такъ окружилъ ее своими льстивыми рѣчами, что она не только не сдѣлала этого, но согласилась даже предложить Степану Владимировичу подписать полное отреченіе отъ всякаго наслѣдства. Простоватый и добродушный Степанъ Владимировичъ подписалъ безъ малѣйшихъ колебаній всѣ предложенныя ему бумаги по отреченію и остался доживать свой вѣкъ на маменькиномъ „положеніи“. Это житье на маменькиномъ положеніи впроголодь, въ полномъ забвеніи и пренебреженіи, медленное отупѣніе въ праздномъ одиночествѣ и окончательное спитіе и составляютъ далѣе въ повѣсти картину, поражающую своимъ трагизмомъ. Ужасенъ видъ этого живого существа, заживо погребеннаго на ничтожествѣ чисто-животнаго прозябанія, отвергнутаго, забытаго, однообразно влачащаго дни за днями, безъ малѣйшей радости въ настоящемъ, безъ малѣйшаго ожиданія чего бы то ни было въ будущемъ. Представьте вы себѣ его въ глухую осень, въ непроходимой грязи вокругъ усадьбы

прислушивающагося къ шуму вѣтра и плеску дождя въ окна и будничному переругиванію дворовыхъ на дворѣ.

„Вечера онъ проводилъ въ конторѣ, потому что Арина Петровна попрежнему не отпускала для него свѣчей. Нѣсколько разъ просилъ онъ черезъ бурмистра, чтобы прислали ему сапоги и полушубокъ, но получалъ отвѣтъ, что сапоговъ для него не припасено, а вотъ наступятъ заморозки, то будутъ ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намѣревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылаго въ такой мѣрѣ, чтобы онъ только не умеръ съ голоду. Сначала онъ ругалъ мать, но потомъ словно забылъ о ней; сначала онъ что-то припоминалъ, потомъ пересталъ и припоминать. Даже свѣтъ свѣчей, зажженныхъ въ конторѣ, и тотъ опостылѣлъ ему, и онъ затворился въ своей комнатѣ, чтобъ остаться одинъ-на-одинъ съ темнотою. Впереди у него былъ только одинъ рессурсъ, котораго онъ боялся, но который съ неудержимостью тянулъ его къ себѣ. Этотъ рессурсъ—напиться и позабыться. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться въ волну забвенія до того, чтобы и выкарабкаться изъ нея было нельзя. Все увлекалось въ эту сторону: и буйныя привычки, и насильственная бездѣятельность настоящаго, и больной организмъ съ удушливымъ кашлемъ, съ несносною, ничѣмъ невызываемою одышкою, съ постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконецъ, онъ не выдержалъ...“

Далѣе слѣдуетъ страшная картина ночного пьянства и окончательнаго отупѣнія Степана Владимировича, поразительная глубокимъ психическимъ анализомъ. Къ сожалѣнію, я не имѣю возможности выписать это лучшее мѣсто въ повѣсти г. Щедрина. Ограничусь только тѣмъ, что, когда, въ чаду своихъ хмельныхъ грезъ, однажды Степанъ Владимировичъ вздумалъ бѣжать изъ усадьбы, Арина Петровна вспомнила о своемъ сынѣ и рѣшилась заглянуть въ его комнатку. Вотъ въ какомъ видѣ она нашла ее:

„Комната была грязна, черна, заслякощена, такъ-что даже ей, не знавшей и не признававшей никакихъ требованій комфорта, сдѣлалось неловко. Потолокъ былъ закопченъ; обои на стѣнахъ треснули и во многихъ мѣстахъ висѣли клочьями; подоконники чернѣли подъ густымъ слоемъ табачной золы; подушки валялись на полу, покрытомъ липкой грязью; на кровати лежала скомканная простыня, вся сѣрая отъ насѣвшихъ на нее нечистотъ. Въ одномъ окнѣ зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, а самое окно оставлено пріотворенным; этимъ путемъ, очевидно, и исчезъ постылый“.

Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворѣ стоялъ уже ноябрь въ началѣ, но осень въ этотъ годъ была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дороги и поля—все стояло черное, размокшее, невылазное. Какъ онъ прошелъ? Куда? И тутъ же ей вспомнилось, что на немъ ничего не было, кромѣ халата да туфель, изъ которыхъ одна найдена

подъ окномъ, и что всю прошлую ночь, какъ на грѣхъ, непереставаючи шелъ дождь... И снова что-то человѣческое зашевелилось въ груди Арины Петровны. Она велѣла убрать его комнату, послала погоню за нимъ. Когда же его разыскали и воротили, она допустила его къ своему чайному столу.

— И чѣмъ тебѣ худо у матери стало?—говорила она ему:—одѣтъ ты и сытъ—слава-Богу! И тепленько тебѣ, и хорошохонько... чего бы, кажется, искать? Скучно тебѣ, такъ не прогнѣвайся, другъ мой,—на то и деревня! Весельевъ да баловъ у насъ нѣтъ—и всѣ сидимъ по угламъ да скучаемъ! Вотъ и я рада была бы поплясать да пѣсни попѣть, анъ посмотришь на улицу,—и въ церковь-то Божію въ такую мокроть ѣхать охоты нѣтъ!— Арина Петровна остановилась, въ ожиданіи, что балбесъ хоть что-нибудь промычитъ, но балбесъ словно окаменѣлъ.—А ежели ты чѣмъ недоволенъ былъ,—кушанья, можетъ-быть, недостало или изъ бѣлья тамъ—развѣ не могъ ты матери откровенно объяснить? Маменька, молъ, душенька, прикажите печеночки или тамъ вотрушечки изготовить,—неужто мать въ кускѣ-то отказала бы тебѣ? Или вотъ хоть бы и винца,—ну, захотѣлось тебѣ винца, ну, и Христосъ съ тобой! Рюмка, двѣ рюмки,—неужто матери жалко? А то натко: у раба попросить нестыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были всѣ льстивыя слова. Степанъ Владимировичъ не только не расчувствовался (Арина Петровна надѣялась, что онъ ручку у нея поцѣлуетъ) и не обнаружилъ раскаянія, но даже какъ бы ничего не слыхалъ. Онъ пересталъ, наконецъ, совсѣмъ думать и безусловно замолчалъ. Въ декабрѣ того же года онъ, наконецъ, покончилъ свое несчастное существованіе... Не правда ли, читатель, что тебѣ очень должны быть знакомы изъ твоихъ дѣтскихъ воспоминаній подобнаго рода черты нравовъ еще такъ недавно отжившаго прошлаго? Не правда ли, что черты эти составляютъ, безспорно, истинныя и безпримѣсныя характерныя явленія нашей русской жизни, и, прочтя повѣсть г. Щедрина, читатель въ правѣ воскликнуть: „Здѣсь Русь живетъ, здѣсь Русью пахнетъ!“ Какъ же послѣ этого всего говорить, что, будто, повѣсть г. Щедрина не имѣетъ живого общественнаго значенія.

Заурядный писатель (Скабичевскій).

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина.

„Отечественныя Записки“, мартъ 1875 г. [1]).

*) Г. Щедринъ какъ-то сосредоточилъ свою сатиру на ташкентцахъ, самодурахъ и благонамѣренныхъ рѣчахъ. Нельзя сказать, чтобъ отъ этого его сатира особенно выиграла въ глубинѣ. Но—„овому талантъ, овому—два“, а у г. Щедрина талантъ къ сатирѣ, такъ-сказать, скоропреходящей. Нарождается недолговѣчный типъ самодуровъ—г. Щедринъ бьетъ самодуровъ; нарождаются ташкентцы—г. Щедринъ бьетъ ташкентцевъ; народятся еще какія-нибудь „чудища облы, озорны“—г. Щедринъ и ихъ побьетъ. Но всѣ эти типы недолговѣчны; это типы минуты. Пройдетъ данный моментъ и сатира г. Щедрина теряетъ свою соль, становится достояніемъ археологіи. Въ чемъ же состоятъ отличительныя качества сатиры, ставящей себя въ такое положеніе? По моему мнѣнію, эти качества заключаются въ томъ, что сатира г. Щедрина недостаточно проникаетъ въ сущность бичуе-

---

[1]) „Новости“, 1875 г., № 87.

*) Собственно, съ 1883 г. только „Новости“ становятся большою газетой, до этого времени это былъ дешевый газетный листокъ небольшого формата. Съ того же 1883 г. газета получила ту окраску, которая вызвала административныя репрессіи, въ видѣ предостереженій и десятикратнаго воспрещенія розничной продажи. Идейная программа газеты выражается въ сочувствіи реформамъ Александра II, предоставленіи равныхъ правъ всѣмъ народностямъ, населяющимъ Россію; во внѣшней политикѣ, благодаря цѣлому ряду статей профес. Модестова, газета примыкаетъ къ партіи союза съ Франціей. Въ области литературной критики направленіе органа опредѣлялось, главнымъ образомъ, статьями г. Скабичевскаго, писавшаго здѣсь свои литературные фельетоны съ половины 80-хъ годовъ до 1895 г. За время существованія газеты въ ней участвовали многіе крупные журналисты, литераторы и ученые.

Въ предлагаемой статьѣ авторъ, не отказывая Щедрину въ блестящемъ дарованіи, находитъ, что онъ касался только лишь внѣшности предмета, а не того родника, изъ котораго онъ получаетъ свое начало.

Прим. Н. Денисюка.

маго ею зла; нерѣдко, вмѣсто того чтобы казнить корень самаго зла, онъ ухватываетъ только плоды его и громитъ ихъ, не замѣчая того, что до тѣхъ поръ, пока корни цѣлы, плоды будутъ все болѣе и болѣе размножаться, несмотря ни на какіе перуны. Если, напримѣръ, народъ пьетъ, то недостаточно накинуться на него, обозвать его поголовно пьяницей и начать искоренять кабаки. Нужно еще узнать, отчего онъ пьетъ, устранить тѣ причины, которыя доводятъ его до пьянства, а затѣмъ только считать свою задачу покончeнною. Если у насъ народились ташкентцы, то слѣдуетъ обратить вниманіе на то, чему мы обязаны нарожденіемъ этого милаго типа, какія причины (не ближайшія, конечно) этого общаго, лихорадочнаго стремленія къ „рублю, выглядывающему изъ кармана ближняго“? Вотъ тѣ причины, которыя ставятъ талантъ г. Щедрина въ невыгодное для него положеніе сатирика минуты. Вотъ почему и настоящая сатира его сводится къ простому разсказу о томъ, что „былъ-де на обрывистомъ берегу Вопли генеральскій домъ, и въ томъ домѣ жилъ генералъ, а передъ тѣмъ генераломъ всѣ мужики шапки ломали; а потомъ генеральскій домъ перешелъ къ маклаку, и стали уже передъ тѣмъ маклакомъ мужики шапки ломать“. Но, какъ разсказъ собственно, *Благонамѣренныя рѣчи* [1]) на этотъ разъ вполнѣ удались автору.

„Въ барской усадьбѣ живетъ старый генералъ Павелъ Петровичъ Утробинъ; въ новомъ домикѣ, напротивъ, хозяйствуетъ Антошка-кабатчикъ, Антошка-прасолъ, Антошка-закладчикъ,– словомъ, Антошка, homo novus, выброшенный волнами современной русской цивилизаціи на поверхность житейскаго моря“.

Изъ этого уже ясно обоюдное положеніе двухъ личностей, ясно то слово, которое рисуетъ ихъ взаимныя отношенія: это слово—*антагонизмъ*.

До освобожденія крестьянъ генералъ жилъ себѣ, припѣваючи, никакого горя не зналъ, даже усадьбу думалъ перестроить. Но вотъ, повѣяло новымъ духомъ, появились новые толки, сперва смутные, а потомъ все болѣе и болѣе ясные. Генералъ сначала сильно встревоженъ, даже огорченъ предстоящими событіями, но потомъ онъ съ ними мало-по-малу примиряется, даже участвуетъ въ комитетахъ, о чемъ-то

[1]) „Отецъ и сынъ“.

горячо споритъ, что-то сильно кричитъ. Но это ничуть не помогаетъ его финансовымъ обстоятельствамъ, и генералъ волею и неволею обращается къ прославившемуся уже въ то время Антошкѣ. Антошка, къ тому моменту, уже успѣлъ пробиться изъ незамѣтныхъ людишекъ въ солидные, и величался уже не „Антошка-стрѣла“ (прозвище, данное по причинѣ стремительности его), а Антономъ Валерьяновичемъ Стрѣловымъ.

Генералъ призываетъ Антона-дѣльца и поручаетъ ему распоряжаться своими имѣніями. Надо замѣтить, что у генерала были имѣнія, были лѣса, но про все это самъ генералъ весьма смутно зналъ; онъ зналъ, что есть у него какіе-то „Пѣтухи“, какое-то „Разуваево“—дальше этого свѣдѣнія его о своихъ имѣніяхъ не шли!

Антошка на первыхъ же порахъ устраиваетъ дѣло такъ, что генералъ начинаетъ получать доходы со своихъ имѣній. Генералъ изумленъ: онъ до сихъ поръ только тратился на нихъ и вдругъ узнаетъ, что не только-что затратъ не предстоитъ, но что отъ нихъ же можно получать доходы. И генералъ слѣпо довѣряется Антошкѣ-дѣльцу.

У генерала есть сынъ Петенька. Этотъ Петенька въ Петербургѣ, гдѣ онъ совершаетъ свое образованіе у Берга, Дюссо, Бореля и въ другихъ подобныхъ образовательныхъ заведеніяхъ. Понятно, что этотъ Петенька только и знаетъ, что тянетъ деньги у папеньки. Антонъ продолжаетъ хозяйничать, и вотъ, въ одинъ прекрасный день, онъ является къ генералу съ покорнѣйшею просьбою: онъ проситъ уступить ему мѣсто, гдѣ и до сихъ поръ стоялъ постоялый дворъ мужика Калины Силантьева. Мѣсто это, мысокъ, лежитъ на противоположномъ берегу Вопли, какъ-разъ противъ генеральской усадьбы. Генералъ прогоняетъ Антошку, но тутъ же чувствуетъ, какую власть этотъ, повидимому, ничтожный Антошка имѣетъ въ его домѣ.

„Цѣлую недѣлю потомъ Стрѣловъ ходилъ, точно въ воду опущенный... Въ то же время дѣвица Евпраксія (доставленная генералу тѣмъ же Антошкою) сдѣлалась сурова и неприступна. Прочая прислуга, вся подобранная Стрѣловымъ, приняла какой-то особенный тонъ, не то жалостный, не то пренебрежительный. Словомъ сказать, въ домѣ воцарился страшный порядокъ, въ которомъ генералъ очутился

въ роли школьника, съ которымъ, за фискальство или другую подлость, положено не говорить".

Генералъ, наконецъ, соглашается уступить мысокъ Стрѣлову. Стрѣловъ, пользуясь безпечностью генерала, включаетъ въ условіе и 4 десятины луга по Воплѣ. Затѣмъ, онъ уходитъ отъ генерала, и съ этой минуты всѣ его мысли направлены къ тому, чтобы оттянуть у генерала и усадьбу.

Въ этомъ помогаетъ ему Петенька, который пріѣхалъ навѣстить отца. Съ первыхъ уже словъ онъ накидывается на генерала съ кучею обвиненій въ плохихъ распоряженіяхъ, въ безцѣльной растратѣ денегъ и т. д. и т. д. Затѣмъ, онъ отправляется къ Стрѣлову. Цѣль пріѣзда Петеньки понятна: ему нужны деньги. Для этого онъ, наконецъ, уговариваетъ старика; тотъ даетъ Стрѣлову заемныя обязательства на 20000 р., срокомъ на 6 мѣсяцевъ. Миссія Петеньки окончена, и онъ собирается въ Петербургъ.

„Наконецъ, наступила и минута разлуки. Экипажъ стоялъ у крыльца; по старинному обычаю, отецъ и сынъ на минуту присѣли въ залѣ. Старый генералъ всталъ первый. Онъ былъ блѣденъ; пошатываясь, подошелъ къ сыну и слабѣющими руками обнялъ его.

— Другъ мой,—сказалъ онъ прерывающимся голосомъ,— служи! А это вотъ...

Съ этими словами онъ сунулъ въ карманъ Петеньки свое послѣднее выкупное свидѣтельство, съ довѣренностью на продажу его и на употребленіе вырученныхъ денегъ по усмотрѣнію.

Петенька поцѣловалъ у папаши ручку, попробовалъ смигнуть съ глазъ слезу, но не смигнулъ, выбѣжалъ изъ комнаты и поспѣшно сѣлъ въ экипажъ".

Черезъ шесть мѣсяцевъ имѣніе генерало было описано, а самъ онъ въ это время лежалъ разбитый параличомъ. Грустный исходъ грустнаго времени!

М. В.

„Благонамѣренныя рѣчи“, Н. Щедрина [1]).

I.

„Отечественныя Записки“ и за мартъ мѣсяцъ вышли съ необходимой своей принадлежностью,—статьей г. Щедрина: *Благонамѣренныя рѣчи* [2]). Эти рѣчи, по справедливости, могутъ быть названы и многоточивыми и неистощимыми. Дѣйствительно, нельзя не подивиться плодовитости г. Щедрина, каждый мѣсяцъ отпускающаго для „Отеч. Зап.“ своихъ рѣчей по два и по три печатныхъ листа. Откуда только онъ беретъ матеріалъ. И особенно приходится подивиться этой плодовитости, когда вспомнишь, что г. Щедринъ—сатирикъ. Конечно, наша общественная жизнь страдаетъ многими ненормальностями и недостатками и представляетъ достаточно явленій уродливыхъ и безобразныхъ, открывая, такимъ образомъ, богатый матеріалъ для обличенія,—но обличеніе обличенію рознь, и между грошевымъ обличителемъ какой-нибудь дрянной газетишки и истымъ сатирикомъ, каковъ г. Щедринъ или какимъ онъ хочетъ быть,—дистанція, поистинѣ, огромнаго размѣра. Сатирику свойственно выбирать только явленія болѣе или менѣе серіозныя, выводить наружу тѣ недостатки жизни, которые если не стали общими, то готовы сдѣлаться такими. Вотъ почему, сколько нетрудна роль, вообще, обличителя, столько трудна роль сатирика, и вотъ почему плодовитости г. Щедрина нельзя не дивиться. Но и ему, несмотря на несомнѣнный его талантъ, приходится, однако, зачастую испытывать невыгоду своего положенія, и, на ряду съ очерками отчетливыми, полными иронiи и юмора, нерѣдко мы встрѣчаемъ варіаціи на старыя темы, или же совершенно излишнее многословіе, или же какую-нибудь

---

[1]) „Сынъ Отечества“, 1875 г., №№ 106 и 302. (См. выпускъ I-й, стран. 65.)

[2]) „Отецъ и сынъ“.

остроту, которая даже и неостроумна и неосмысленна. Собственно, объ очеркѣ, который помѣщенъ въ разсматриваемой книжкѣ, надо сказать, что онъ не изъ лучшихъ и, именно, носитъ на себѣ слѣды спѣшной работы. Въ немъ, рядомъ съ генераломъ, человѣкомъ стараго покроя, застигнутымъ новыми реформами,—типомъ, уже не одинъ разъ затронутымъ въ нашей литературѣ и даже тѣмъ же самымъ г. Щедринымъ, выведенъ нѣкто Антошка,—„Антошка, кабатчикъ, Антошка-прасолъ, Антошка-закладчикъ, Антошка-novus homo, выброшенный волнами современной русской цивилизаціи на поверхность житейскаго моря". Описывая безъ юмора, какъ и въ какомъ положеніи застала генерала Утробина крестьянская реформа, авторъ, между тѣмъ, такъ рисуетъ Антошку:

„Антошка былъ дѣятеленъ необыкновенно. Каждое утро онъ начиналъ изнурительную работу—сколачиванье грошей, бѣгая высуня языкъ отъ базарной площади къ заставѣ и обратно, махалъ руками, торопился, проталкивался впередъ, божился, даже терпѣлъ побои и каждый вечеръ ложился спать все съ тѣмъ же грузомъ, съ какимъ всталъ утромъ. Всталъ—грошъ и легъ—грошъ. Посмотритъ, бывало, Антошка на этотъ заколдованный грошъ, помнетъ его, щелкнетъ языкомъ и полѣзетъ спать на полати, съ тѣмъ, чтобы завтра, чѣмъ-свѣтъ, опять пустить тотъ грошъ въ оборотъ и чтобы не зѣвать, а то, чего Боже-упаси, и послѣдній грошъ прахомъ пойдетъ. И, что всего замѣчательнѣе, несмотря на эту вѣчно преслѣдующую бѣдность, никто не обращалъ на нее вниманія, никто не сострадалъ къ ней, а, напротивъ, всякій былъ до того убѣжденъ въ „дарованіяхъ" Антошки, что звалъ его „стальной душой" и охотно подшучивалъ, что онъ родного отца промѣнять готовъ".

Такъ шло до тѣхъ поръ, пока на русскую землю не повѣяло новымъ духомъ. Антошка былъ однимъ изъ первыхъ, воспользовавшихся ближайшими результатами этого вѣянія. Онъ затѣмъ смекнулъ, что упраздненіе крѣпостного права должно въ значительной степени понизить старинныя перегородки и создать новое положеніе, въ которомъ свѣжему и алчному человѣку слѣдуетъ только не зѣвать, чтобы обрѣсти сокровище. Арена промышленной дѣятельности расширилась: не однимъ мѣстнымъ толстосумамъ понадобились подручные люди, свободно продающіе за грошъ свою душу, но и другимъ, высокаго званія, шляющимся людямъ, вдругъ вспомнившимъ изреченіе: „Земля наша велика и обильна", и на этомъ шаткомъ основаніи вознамѣрившимся воздвигнуть храмъ будущей славы и благополучія". И вотъ, на эту-то тему и написанъ весь разсказъ; въ немъ есть сцены недурныя, но, въ цѣломъ, видна поспѣшность, невыдержанность.

II.

Г. Щедринъ въ своихъ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ* продолжаетъ дорисовывать то, чего коснулся въ предыдущемъ очеркѣ [1]). Рѣчь идетъ объ отношеніяхъ матери къ сыну. У барыньки Промитовой выросли два сына, и вотъ, она отправила ихъ въ Петербургъ, въ казенныя учебныя заведенія, заранѣе опредѣливъ, что Ѳеогностушка долженъ быть въ кавалеріи, а Коронатушка—юристомъ. Но тутъ-то и выходитъ не такъ. Коронатушка, побывъ нѣкоторое время въ томъ заведеніи, откуда ему предстояло выйти юристомъ, заявилъ вдругъ желаніе поступить въ медико-хирургическую академію. Какъ относится къ этому мать?—Вотъ въ чемъ суть разсказа. Съ одной стороны, авторъ старается обрисовать то направленіе современной молодежи, въ какомъ оно какъ-то упорно и скоро рѣшается на все, съ другой—рисуетъ и особаго покроя мать.

„Меня, говоритъ авторъ, всегда пугала та стремительность, съ которою нынѣшніе молодые люди принимаютъ самыя радикальныя рѣшенія и приводятъ ихъ въ исполненіе.

„Придетъ молодой человѣкъ (родственники у меня между ними есть), скажетъ: „Прощайте, я завтра за границу удираю... Совсѣмъ!“ Думаешь онъ шутку шутитъ, анъ, смотришь, завтра и дѣйствительно слѣдъ его простылъ. Или скажетъ: „Прощайте, я на-дняхъ туда нырну, откуда одна дорога: въ то мѣсто, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ!“ Думаешь, что онъ пошутилъ—не тутъ-то было; сказалъ: нырну, и нырнулъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ слышу, вынырнулъ, и въ томъ именно мѣстѣ, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ. Словомъ, исполнилъ въ точности, стремительно, быстро, безъ колебаній. Я сначала полагалъ, что это у нихъ *такъ* дѣлается: ни съ того ни съ сего, взялъ да удралъ или нырнулъ, но потомъ убѣдился, что въ нихъ это мало-по-малу накапливается. Мы, старцы сороковыхъ годовъ, видимъ, какъ они молчатъ (при насъ они, дѣйствительно, молчатъ, словно имъ и говорить съ нами не о чемъ), и посмѣиваемся: вотъ, молъ, шалопаи, чай, женскій вопросъ съ точки Фонарнаго переулка разрѣшаютъ! А они совсѣмъ не о томъ: у нихъ просто въ это время накапливается. Накопится, назрѣетъ и вдругъ—бацъ—удеру, нырну, исчезну. И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ.

„И все-таки, повторяю, какъ ни обыденна въ настоящее время эта внезапность рѣшеній, она все-таки меня пугаетъ. И странно и жутко. Онъ, молодой-то человѣкъ, давно уже порѣшилъ, что ему *тамъ* лучше, благороднѣе, а намъ, старцамъ, все думается: ахъ, да, вѣдь, онъ *тамъ* погибнетъ! И въ насъ вдругъ при этомъ просыпается вся сумма того теплаго, почти страстнаго соболѣзнованія къ гибнущему, которымъ, вообще, отличается сердобольная и не позабывшая принциповъ гуманности половина

[1]) „Отечеств. Зап.“, № 11, 1873 г. *(Непочтительный Коронатъ.)*

поколѣнія сороковыхъ годовъ. Сколько разъ я на свою долю принимался и уговаривать и отклонять, и все напрасно".

Авторъ представляетъ далѣе и образецъ такого напраснаго убѣжденія, именно, въ разговорѣ своемъ съ Коронатомъ, котораго онъ думалъ, было, отвратить отъ принятаго имъ намѣренія.

— Ты бы, однако, обдумалъ свое рѣшеніе,—обратился я къ Коронату послѣ минутнаго молчанія.

— Отчего же вы полагаете, что я не обдумалъ его?

— Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не въ медики, а по юридической части.

— А ежели бы она меня по танцовальной части предназначила?

— Позволь, душа моя, какъ ни остроумно твое сближеніе, но ты хорошо знаешь, что юридическая часть и танцовальная—двѣ вещи разныя. Твоя мать, желая видѣть въ тебѣ юриста, совсѣмъ не имѣла въ виду давать пищу твоему остроумію. Ты отлично понимаешь это.

— Но я еще лучше понимаю, что если бъ она пожелала видѣть во мнѣ танцмейстера, то это было бы много полезнѣе. Я отплясывалъ бы, но, по крайней мѣрѣ, вреда бы никому не дѣлалъ, и пр.

И затѣмъ авторъ передаетъ разговоры, по поводу этой рѣшимости Короната, въ домѣ и въ кругу его матери; передаетъ, какъ сухо отнеслась мать къ просьбѣ сына оказывать ему помощь за то время, какое ему нужно пробыть въ академіи.

„Былъ восьмой часъ,—заканчиваетъ авторъ,—когда я выѣхалъ отъ Промитовыхъ, и въ воздухѣ надвигались сумерки. Скоро мы въѣхали въ лѣсъ, и съ каждымъ шагомъ мгла становилась все гуще и гуще. Казалось, что тѣни выползаютъ изъ глубины лѣсной чащи, бѣгутъ за экипажемъ и хватаются за него. Я началъ припоминать происшествія дня, и мнѣ вдругъ сдѣлалось страшно. Цѣлое море глупостей, предразсудковъ, ничѣмъ не обусловленнаго упрямства развернулось передъ глазами—море разъяренное, бунтующее, алчущее человѣческихъ жертвъ. „Такъ ужъ", „нѣтъ ужъ"—невольно припоминалось мнѣ, и сзади этихъ безсмысленныхъ обрывковъ появился упорствующій образъ непочтительнаго Короната, на которомъ по какой-то удивительной логикѣ непочтительность должна отозваться голодомъ, холодомъ и всяческими лишеніями. Но какъ ни простодушна Машенька, а у нея нечаянно вырвалось мѣткое слово: „Невѣрно, нынче,—сказала она,—даже очень, мой другъ, невѣрно! Куда ступить, въ которую сторону итти,—никто нынче этого не знаетъ".

Таково окончаніе разсказа г. Щедрина, въ которомъ можно сказать, если не всѣмъ, то многимъ сестрамъ досталось по серьгамъ.

„Сонъ въ лѣтнюю ночь“, Щедрина [1]).

„*Сонъ въ лѣтнюю ночь*“ представляетъ осмѣяніе той необузданной страсти къ юбилеямъ, которая обуяла наше общество въ послѣдніе годы, и въ особенности московское общество. Подобно тому, какъ въ Москвѣ, въ нынѣшнемъ году, праздновали юбилей даже какому-то ветхому денми трубачу, такъ и г. Щедринъ заставляетъ чиновниковъ „департамента Препонъ“ праздновать юбилей въ честь 50-лѣтней службы нѣкоего Севастьянова, департаментскаго помощника экзекутора и главноуправляющаго клозетами.

„Севастьяновъ, по словамъ г. Щедрина, былъ старикъ угрюмый и застѣнчивый, на лицѣ котораго было, такъ-сказать, неизгладимыми чертами изображено, что онъ выросъ въ уединеніи клозета. Въ справедливости этой мысли, въ особенности, удостовѣряло то, что онъ весь, т.-е. всѣ незакрытыя части его тѣла, поросли волосами, такъ-что издали онъ казался какъ бы подёрнутымъ плѣсенью сырого мѣста. Волосы выступали у него на выпуклостяхъ щекъ, на пальцахъ, закрывали почти лобъ, выл ѣзали изъ носа и изъ ушей, а борода его, даже въ тѣ дни, когда онъ ее брилъ, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пепельнаго цвѣта, глаза больные, слезящіеся, какъ у человѣка, давно отвыкшаго отъ дневного свѣта“.

И вотъ, въ честь подобнаго-то монстра, чиновники департамента Препонъ вздумали праздновать юбилей. Юбилей удался на славу, по заранѣе установленному церемоніалу, со спичами, качаніями и криками „ура“. Только подъ-конецъ его немного подгадилъ самъ юбиляръ: „Вдругъ, въ ту самую минуту, когда всѣ чувствовали себя какъ нельзя лучше, юбиляръ совершенно неожиданно началъ говорить какія-то странныя рѣчи.—Господа! обратился онъ къ намъ:—очень я вамъ благодаренъ. Утѣшили вы старика. И обрѣлъ, и все такое...—Урррааа! подхватили мы.—Только вотъ что сдается мнѣ: если бы вы заглянули въ ревизскія сказки любой деревни, то навѣрное сказали бы себѣ: сколько есть на свѣтѣ почтенныхъ людей которые всѣ юбилейные сроки пережили и которыхъ никто никогда и не подумалъ чествовать. Никогда, господа, никогда! На этомъ мѣстѣ юбиляръ остановился и заплакалъ.—И стало-быть, всѣ ваши юбилеи, продолжалъ онъ сквозь всхлипыванья:—всѣ ваши юбилеи—одна собачья комедія... Да именно такъ! всѣ эти юбилеи... коли вы, напримѣръ, не цѣните истинныхъ заслугъ... всѣ эти, значитъ, юбилеи... не стоятъ выѣденнаго яйца! И, зна-

[1]) „Биржевыя Вѣдомости“, 1875 г., № 237. (См. стран. 130.)

читъ, надо плюнуть на нихъ да растереть! И онъ плюнулъ направо и растеръ лѣвою ногой".

Подъ впечатлѣніемъ подобнаго неожиданнаго окончанія юбилея Севастьянова разсказчику въ ту же ночь приснился сонъ, что, будто, въ селѣ Безкормицынѣ, по иниціативѣ сельскаго учителя Крамольникова и священника Возсіяющаго, мужики праздновали юбилей старика Моисеича, которому 15 іюля исполнилось ровно пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ носитъ рабочее тягло. Надо замѣтить, что эта вторая часть разсказа г. Щедрина значительно слабѣе первой. Описаніе мужицкаго юбилея естественно вышло нѣсколько натянутымъ и скучнымъ; къ тому же, г. Щедринъ подъ конецъ разсказа ударился въ несвойственный его таланту лиризмъ и заставилъ Крамольникова разразиться длиннѣйшею рѣчью, представляющею рядъ общихъ мѣстъ о тяжести трудовъ и страданій, переносимыхъ простымъ чернымъ людомъ. Но, при всѣхъ этихъ недостаткахъ разсказа г. Щедрина, при всей натянутости его въ цѣломъ,—онъ все-таки хорошъ въ частностяхъ, и мѣстами юморъ г. Щедрина развертывается въ немъ во всемъ своемъ блескѣ. Если теперь мы станемъ разсматривать разсказъ г. Щедрина съ точки зрѣнія вѣрности дѣйствительности образовъ, изображенныхъ въ разсказѣ, то, конечно, смѣшно и искать въ немъ буквальной и фотографической вѣрности. Талантъ г. Щедрина заключается вовсе не въ фотографическомъ изображеніи жизни, какъ она есть. Это—сатирикъ-карикатуристъ; но карикатурность образовъ г. Щедрина заключается вовсе не въ искаженіи или преувеличеніи чертъ дѣйствительности, а въ умѣньѣ обратить вниманіе читателя на наиболѣе смѣшную сторону предмета, уловить самый, такъ-сказать, духъ и колоритъ этого смѣшного, и очень часто при этомъ г. Щедринъ умѣетъ улавливать смѣшное даже въ такихъ явленіяхъ, которыя примелькались вамъ въ обыденной жизни, и въ которыхъ вы, невооруженные сатирическимъ взглядомъ г. Щедрина, не только не видите чего-либо смѣшного, а, напротивъ, готовы усматривать что-либо серіозное, плачевно-драматическое. Такъ, напримѣръ, я не могъ безъ смѣха читать рядъ телеграммъ, посылаемыхъ различными начальниками на пиршество юбилея Севастьянова, слѣдующаго содержанія: телеграмма изъ Конотопа выражалась: „Поднимаю бокалъ за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вотъ ужъ

два дня, какъ нашъ прекрасный Конотопъ горитъ. Начальникъ конотопскихъ Препонъ Свирѣповъ". Телеграмма изъ Лаишева: „Съ бокаломъ въ рукѣ шлю привѣтъ почтеннѣйшему Максиму Петровичу. Вчера сгорѣла половина Лаишева. Исправляющій должность начальника лаишевскихъ Препонъ, помощникъ его, Гвоздило". Телеграмма изъ Обояни: „Одинъ на одинъ, съ бокаломъ въ рукахъ, возглашаю ура и многая лѣта высокочтимому юбиляру. Сегодня съ утра свирѣпствуетъ здѣсь пожаръ; до сихъ поръ сгорѣло около ста домовъ. Извѣстный вамъ Скулобоевъ". Тутъ нѣтъ и тѣни какого-либо преувеличенія. Телеграммы и корреспонденціи въ каждомъ нумерѣ газетъ и поднесь только и наполнены, что извѣстіями о громадныхъ пожарахъ, свирѣпствующихъ по городамъ и весямъ матушки-Россіи. Вы читаете всѣ эти извѣстія и соболѣзнуете, несете посильную лепту въ жертву погорѣльцамъ; газеты посвящаютъ цѣлыя передовыя статьи въ скорбномъ духѣ этому печальному факту. Но г. Щедринъ даже и въ этомъ плачевномъ фактѣ сумѣлъ подмѣтить свою долю комизма, и вы хохочете, читая телеграммы изъ разныхъ горящихъ городовъ. Очень часто г. Щедринъ прибѣгаетъ къ образамъ несомнѣнно-фантастическимъ, но и въ этихъ образахъ, подъ фантастическою оболочкою, вы видите духъ жизни и дѣйствительности, и фантастичность образа не искажаетъ этого духа, а напротивъ того, иногда заставляетъ васъ еще сильнѣе чувствовать его, выпуклѣе выставляетъ его передъ вами, чѣмъ если бы, вмѣсто фантастическаго образа, былъ употребленъ дѣйствительный. Такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ г. Щедринъ заставляетъ Севастьянова, разговорившагося о томъ, что прежнее начальство было не въ примѣръ обходительнѣе и проще нынѣшняго, подтвердить свое мнѣніе слѣдующаго рода фактами:

— Про нынѣшнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще это дѣйствительно, что въ старину начальники были обходительнѣе.—Очень любопытно. Напримѣръ генералъ-майоръ Безпортошный-Волкъ? Ха-ха! критически замѣтилъ вице-директоръ.—Ваше превосходительство! по человѣчеству-съ! нимало не робѣя возразилъ почтенный юбиляръ: —конечно, они словами не дорожили,—какое слово первое попадется на языкъ, то и выкинутъ,—да, вѣдь, тогда это въ модѣ было: и на парадахъ и на смотрахъ, вездѣ эти слова допускались-съ". Зато, когда бывало, опять въ свой видъ войдутъ, то даже очень обходительны были. Скажу, напримѣръ, любили они, этотъ самый генералъ Безпортошный-Волкъ спину чесать, а объ стѣну-то неловко, неравно мундиръ замараютъ. Вотъ и кликнутъ, бывало: „Севастьяновъ! встань, братецъ!" Ну встанешь, это,

они прислонятся къ плечу, свое дѣло потихоньку и справятъ,—гдѣ, смѣю спросить, такого обхожденія нынче сыщешь? А что я истинную правду говорю, такъ вотъ Описимъ Иванычъ (экзекуторъ) живой человѣкъ: можетъ сейчасъ засвидѣтельствовать".

Конечно, это шаржъ, но г. Щедринъ и не проситъ васъ принимать подобный образъ за дѣйствительный фактъ жизни. Но, оставаясь шаржемъ, образъ этотъ тѣмъ не менѣе какъ нельзя болѣе ясно и дагерротипно выставляетъ передъ вами то понятіе, какое Севастьяновъ и подобные ему имѣютъ относительно такъ-называемой ими обходительности начальства, и, при всей своей фантастичности, образъ этотъ,—согласитесь сами,—не лишенъ букета дѣйствительности. Что же касается общей картины юбилея Севастьянова, то въ ней не только не видно и тѣни какихъ-либо преувеличеній, но навѣрное можно сказать, что дѣйствительность празднованія подобнаго рода юбилеевъ далеко превосходитъ своими безобразіями скромную и довольно все-таки добродушную сатиру Щедрина при всемъ ея кажущемся пессимизмѣ.

Заурядный читатель (Скабичевскій).

Помпадуры Щедрина *).

Цензурное усмотрѣніе и чиновное творчество по части разныхъ препонъ, поврежденій, разгромовъ, и другихъ всякаго рода и вида опустошеній и обузданій буйствъ духа, юридически осуществляющихся въ формѣ циркуляровъ, словесныхъ приказаній, дружественныхъ писемъ и т. д., поставило непреодолимыя преграды для нашей научной мысли и художественной литературы. Изо-дня-въ-день, въ многоразличныхъ департаментахъ, съ 10 до 4 часовъ утра, ткутъ тонкую паутину отношеній, предписаній и другого вида наказовъ, направленныхъ противъ всего живого или стремящагося къ жизни на территоріи, раскинувшейся „отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды“. Жизнь всего міра и жизнь нашей страны является канцелярскимъ достояніемъ и тайной, до обывателей не касающеюся. Чиновничья опека надъ всяческими проявленіями буйствъ духа среди обывателей китайской стѣной отгородила „престолъ-отечество“ отъ остального цивилизованнаго міра съ такимъ расчетомъ, чтобы никакой „ни вранъ ни волкъ“ западно-европейскаго вольтерьянства не могъ ни пробѣжать, ни пролетѣть въ заколдованное царство сна и могильнаго покоя.

Вы имѣете только одно право, дарованное вамъ въ этой странѣ это—право родиться, а съ этого момента каждый вашъ шагъ, каждое ваше слово, каждый вашъ рубль, каждая ваша мысль, каждое ваше желаніе поступаютъ подъ надзоръ администраціи, и отъ ея доброй воли зависитъ разрѣшить или прекратить. Всѣ хорошо знаютъ пословицу: „У семи нянекъ дитя безъ глазъ“. Не знаю, сколько нянекъ у русскаго общества, ибо перечисленіе оныхъ представляетъ многоразличныя затрудненія. Но что оно безъ глазъ, это извѣстно хорошо всѣмъ, такъ какъ органъ гласности—лите-

*) Литературный сборникъ „Разсвѣтъ“. Спб., 1875 г.

ратура—имѣетъ возможность, благодаря цензурѣ, такъ же хорошо видѣть, какъ и выколотый глазъ, а печать—несомнѣнно, глаза общества. Среди этого литературнаго мрака, гдѣ могутъ жить только тѣ, для которыхъ свѣтъ не представляетъ необходимаго условія существованія, теплѣетъ путеводный огонекъ, указывающій русскому обществу путь и освѣщающій дѣйствительное положеніе вещей,—это сатира Щедрина.

Какъ умудряется этотъ геніальный писатель на глазахъ у представителей цензурнаго вѣдомства говорить обществу такія вещи, о которыхъ не всякій рѣшится прошептать самъ себѣ на-ухо, боясь близости полицейскаго чина, это—его секретъ или, вѣрнѣе, секретъ его таланта. Какимъ образомъ онъ можетъ выводить публично на сцену, въ такомъ разоблаченномъ видѣ, представителей той самой власти, которая однимъ почеркомъ пера могла бы литературную дѣятельность Щедрина превратить въ небытіе—сугубый секретъ. Впрочемъ, секретъ, до извѣстной степени поддающійся объясненію. Когда древняя красавица явилась во всемъ блескѣ своего обнаженнаго тѣла передъ суровыми судьями и раздалась фраза: „Если можете, осудите", они забыли все, кромѣ этого неподражаемаго явленія природы, этого дивнаго тѣла. Съ цензорами Щедрина происходитъ нѣчто подобное. Когда онъ сдергиваетъ покровы со своихъ помпадуровъ и чиновниковъ различныхъ ранговъ и они являются во всей неподражаемой красотѣ своего безобразія, рука съ красными чернилами, зачарованная, опускается, очи бдительнаго чтеца невольно и неотразимо приковываются къ этому зрѣлищу, и онъ, вопреки вороху циркуляровъ, противорѣчащихъ другъ другу и дамокловымъ мечомъ висящихъ надъ бѣдной русской печатью, снисходительно отпускаетъ очеркъ Щедрина съ міромъ, лишь, для очистки совѣсти и формальнаго оправданія, слегка искалѣчивъ его и обезвредивъ съ цензорской точки зрѣнія.

Эта эстетическая точка зрѣнія на начальническую бдительность, конечно, объясняетъ положеніе дѣла только лишь отчасти. Во-первыхъ, не всегда цензоръ можетъ быть расположенъ къ эстетическимъ наслажденіямъ, а также, далеко не всегда невольный, его восторгъ парализуетъ циркулярное предписаніе, а мысль о формулярѣ, и пререканіяхъ съ центральнымъ вѣдомствомъ можетъ лишь изрѣдка, въ исклю-

чительныхъ случаяхъ, тускнѣть и уступать мѣсто гражданскимъ и эстетическимъ чувствамъ. Слѣдовательно, у Щедрина есть еще, очевидно, въ запасѣ какое-нибудь „рыбье слово“. Есть. Это его удивительная способность говорить намеками, полуфразами, прозрачными шутками, прозрачными иносказаніями, параллелями, сближеніями, подмигиваніями, паузами, кажущимся добродушнымъ тономъ, равнодушнымъ отношеніемъ къ предмету и т. д.,—словомъ, талантъ нашего автора располагаетъ цѣлымъ арсеналомъ удивительныхъ и остроумныхъ способовъ провести благополучно свою мысль, черезъ рифы и капканы, въ открытое море безпрепятственнаго пользованія читающей публики. Читатель Щедрина прошелъ особую „щедринскую“ школу и такъ ловко научился читать своего автора между строкъ, такъ прекрасно постигаетъ непечатную и ненапечатанную рѣчь, что всѣ новоизобрѣтенныя препоны оказываются почти безсильными. Когда читаешь Щедрина, то кажется, что онъ издѣвается надъ хитросплетеніями вѣдомства, завѣдующаго очисткой поля русской литературы отъ плевелъ и ядовитыхъ злаковъ и со свойственною ему ловкостью лавируетъ между статьями цензурнаго устава, ныряя въ опасные моменты, показываясь, по минованіи опасности, и именно тамъ гдѣ его никто не ждалъ, изобрѣтая такія слова, которыя, объяснивъ все, что автору надо въ данномъ случаѣ, нельзя подвести ни подъ какой криминалъ.

Передо мною прошелъ цѣлый рядъ нумеровъ „Отечеств. Зап.“, съ новыми очерками Щедрина, гдѣ изображались разнаго вида помпадуры. Уже по этому одному ясно, что очерки эти допущены начальствомъ къ распространенію среди общества, такъ тщательно оберегаемаго отъ тлетворнаго вліянія научныхъ знаній и общественныхъ идей, распространяемыхъ печатнымъ станкомъ.

Подойдите поближе къ этому вершителю судебъ русскаго общества, вглядитесь пристальнѣе въ его физіономію. Теперь вы узнаете его? Конечно, узнаете. Это одинъ изъ тѣхъ, отъ которыхъ зависитъ ваше существованіе. Коснется *онъ* васъ—и... „гдѣ ты человѣкъ“; пройдетъ невзначай мимо, не зацѣпивъ, не повредивъ и не разоривъ,—и вы можете до поры до времени свободно дышать, пока *онъ* снова не станетъ свершать путь по своей административной орбитѣ, съ воплями: „Го-го-го... га-га-га... Убрать!.. Прекратить!.. Иско-

ренить!.." Это *онъ* превращаетъ вашу жизнь въ какую-то лихорадку, перемежающуюся надеждою на послабленія, зависящія отъ его начальнической воли, личнаго усмотрѣнія или каприза. Эта начальническая воля, это усмотрѣніе, этотъ вотчинный взглядъ на пространства, населеніе, и вся „иже на землѣ, въ водахъ и подъ землею", объясняютъ всѣ главнѣйшія явленія нашей общественной жизни. Что такое для помпадура губернія? Вотчина. Сначала онъ въ чухломскомъ имѣніи распоряжался, теперь распоряжается въ губерніи. Какая же тутъ разница? Конечно, никакой. Тамъ онъ дѣлалъ, что хотѣлъ, и здѣсь онъ дѣлаетъ, что хочетъ. Иначе, для чего же онъ „поставленъ"? Надо полагать, не для того же, чтобы согласовать свои дѣйствія съ какими-то бытовыми, экономическими и юридическими возможностями. Онъ—пастухъ, а все остальное—стадо. Это же ясно какъ день. Если онъ начнетъ приводить въ „законную" связь свои дѣйствія съ какими-то тамъ посторонними для него соображеніями, то что же тогда будетъ... *Всякій* начнетъ сначала *просить*, а затѣмъ *требовать*, понимаете, *требовать*! Если вы удовлетворили разъ требованіе, потребуютъ и во второй,—такова уже природа обывателя. Привычка требовать войдетъ въ обиходъ, станетъ обычнымъ способомъ, при которомъ уже обыватель не ждетъ, пока его нужды найдетъ начальство заслуживающими удовлетворенія, а станетъ заявлять о своихъ нуждахъ. Ахъ, какой это опасный путь! Разъ обыватель увидитъ что неблагополучіе можно превращать въ благополучіе, это тотчасъ же породитъ безконечное количество нуждъ, а разысканіе оныхъ нуждъ вызоветъ вкусъ къ *коллективнымъ* заявленіямъ, къ скопу!..

Если можно *просить*, то отсюда, слѣдовательно, implicite, въ этомъ разрѣшеніи заключается уже и право *обсуждать* свои просьбы. А это, знаете, какъ называется? *Петиція!!*.. Если у васъ еще не встали волосы дыбомъ, то теперь они встанутъ. Право петицій или даже одна только ихъ возможность, по упущенію начальства, означаетъ то, что обыватель сталъ заниматься „внутренней политикой". А разъ онъ станетъ разсуждать объ этомъ предметѣ, гдѣ тогда, спрашиваю я васъ, очутятся авторитеты? Какой-нибудь неумытый работникъ, пензанъ или сорвавшійся съ цѣпи интеллигентъ изъ писакъ или адвокатовъ, начнетъ порицать дѣйствія авторитетовъ, соваться въ дѣло, до него не относящееся... Для

нихъ конечно ce potage est délicieux *), но я сомнѣваюсь, чтобы это грубое, нелѣпое блюдо принесло пользу бюрократическому порядку. Это недопустимо!.. Это нарушаетъ и вѣковые устои государства и, просто, тотъ обычный, элементарный порядокъ, который совершенно необходимъ для успѣшнаго собиранія податей и повинностей. Me comprenez-vous? **) Всякій народъ долженъ дѣлиться на двѣ неравныя половины: на начальствующихъ безусловно и подчиняющихся безусловно. Иначе, никакой помпадуръ не можетъ отвѣчать за благоденствіе ввѣреннаго ему края. А такъ какъ каждый край имѣетъ свои особенности и свои потребности, то отсюда ясно, что и законы для каждаго случая и каждой территоріи можетъ издавать только онъ, помпадуръ, ибо только ему одному въ точности извѣстно, гдѣ зимуютъ раки данной губерніи. Словомъ, нужна *децентрализація*, т.-е. полная свобода дѣйствій помпадура, не стѣсненная ничѣмъ, кромѣ его хотѣнія. Поставьте, между его волей и жизнью ввѣреннаго ему края, законъ, и помпадуръ безсиленъ привести все къ одному знаменателю, ибо *всякій* начнетъ совать ему подъ-носъ этотъ законъ, т.-е. опять-таки *всѣ* станутъ вмѣшиваться въ дѣло, до нихъ не относящееся.

Понимаете ли, какія открываются перспективы? Ну, допустимъ, что помпадуръ начнетъ „ходить по точному смыслу закона“. Вы знаете, чѣмъ это пахнетъ? Началомъ правового порядка въ странѣ!.. Не болѣе и не менѣе!.. Ежели помпадуры пріучатъ обывателя къ точному смыслу и незыблемости закона, то онъ, обыватель, думаете, не перейдетъ къ мысли о томъ, что было бы недурно, ежели бы оное правило распространено было и на лѣвый берегъ Невы? Перейдетъ. За это можно ручаться. Отсюда ясно, что онъ, помпадуръ, является только лишь однимъ изъ звеньевъ тяжелой цѣпи, опутавшей русскую дѣйствительность. Это—частичное проявленіе той силы, которая держитъ и направляетъ все вокругъ васъ; это—маленькій рычажокъ, одинъ изъ тысячъ рычажковъ, похожихъ, какъ двѣ капли, другъ на друга, которыми управляется бюрократическая машина Россіи. Всѣ они говорятъ о цѣлости государства, спокойствіи и мирномъ житіи и всѣ дѣйствуютъ такъ, какъ если бы они находились въ завоеванной странѣ.

*) Эта похлебка очень вкусна.

**) Понимаете ли вы меня?

Когда я мысленно представляю себѣ помпадура, то мнѣ кажется, что съ правой стороны у него лежатъ усмотрѣнія и циркуляры, а съ лѣвой—законы. Вотъ почему всякое требованіе законности передвигаетъ вопросъ *влѣво*. А что произойдетъ, милостивые государи, если мы начнемъ передвигаться влѣво? То-то же... Сегодня вершокъ влѣво, завтра вершокъ влѣво, а послѣзавтра: „Принимая въ расчетъ сложность государственной жизни и безусловную необходимость для успѣшнаго и всесторонняго удовлетворенія требованій и нуждъ страны такого законодательнаго аппарата, который способенъ былъ бы гарантировать обществу свободу печати, собраній, сходокъ, личности, устанавливалъ бы общественный контроль надъ бюджетомъ страны и исполнительною властью..." Вы понимаете, чѣмъ это пахнетъ? Стало-быть, гдѣ же тогда очутятся помпадуры? И вы хотите, чтобы они собственными руками... Наивные... Правда, помпадуры не изобилуютъ качествами Ньютоновъ, но, вѣдь, разрѣшеніе этой задачи такъ несложно, такъ просто и наглядно, такъ суется само въ глаза, что помпадуры сразу постигаютъ, въ чемъ тутъ секретъ, и голоса ихъ еще пуще прежняго несутся по дремучему лѣсу русскихъ обязанностей и Сахарѣ русскихъ правъ. „Го-го-го... га-га-га..." Снуютъ квартальные, рыщутъ ищейки, и съ утра и до ночи идетъ расправа и децентрализація.

Словомъ, децентрализованные чиновники водружаютъ на Руси патріархальный строй, гдѣ они, „замѣсто" отцовъ и благодѣтелей, пасутъ необозримыя, неприведенныя въ ясность стада обывателей, карающъ и милуютъ, сообразно настроенію духа въ данный моментъ и состоянію начальническаго желудка и кишечника.

Тамъ, гдѣ существуетъ *такая* децентрализація, смѣшно говорить о правахъ, обязанностяхъ, законѣ, законности, справедливости, отвѣтственности, свободѣ и, наконецъ, о разумномъ существованіи.

Французская декларація правъ человѣка и гражданина гласитъ: „Законъ долженъ охранять личную и общественную свободу противъ угнетенія власть имущихъ". Скажите-ка объ этомъ помпадуру, и тогда посмотримъ, гдѣ вы вынырнете! Это ему-то, помпадуру, вы хотите поставить препоны, которыя онъ одинъ имѣетъ право разставлять на всѣхъ перекресткахъ ввѣренной ему губерніи? Ну нѣтъ, это ужъ вы

„танцуйте назадъ"... Чтобы между помпадуромъ и „ввѣреннымъ" ему обывателемъ сталъ какой бы то ни было томъ, какая бы то ни было статья или примѣчаніе закона, онъ этого не допуститъ. Это ужъ comme vous voudrez [1]). Онъ не допуститъ отвѣтственности чиновниковъ. Предъ кѣмъ можетъ быть отвѣтственно начальство? спрашиваю я васъ. Развѣ онъ, помпадуръ, можетъ отвѣчать за губернію, если *каждый* будетъ имѣть право вмѣшиваться, обслѣдовать, привлекать, критиковать?.. Развѣ можетъ тогда правильно работать административная машина? Онъ, только *онъ одинъ* знаетъ, гдѣ и въ какихъ размѣрахъ административная машина требуетъ смазки; онъ только одинъ и подвѣдомственные ему чины могутъ распоряжаться наличнымъ количествомъ мордъ, зубовъ, кармановъ и загривковъ.

При этихъ условіяхъ, конечно, никакіе законы не принесутъ правопорядка, ибо ничто не можетъ заставить помпадуровъ исполнять эти законы.

Угрюмо и безмолвно будутъ стоять извѣстные томы въ шкапахъ „учрежденій", свидѣтельствуя лишь о томъ, что извѣстный ученый французскій юристъ Лабулэ былъ глубоко правъ, когда писалъ, что „законъ теряетъ всякую силу тамъ, гдѣ правительство и его агенты имѣютъ возможность безнаказанно нарушать его".

Какими бы благими намѣреніями ни было бы одушевлено наше правительство, каково бы ни было законодательство нашей страны, наконецъ, какими бы личными добродѣтелями ни были одержимы наши помпадуры, страна будетъ страдать отъ произвола власти. Наши законы, вѣроятно, не хуже англійскихъ и французскихъ, а, между тѣмъ, длинные зубы Джонъ-Буля и его крѣпкій затылокъ значительно лучше ограждены отъ начальническихъ наскоковъ, чѣмъ это замѣчается у насъ. И это только лишь потому, что тамъ существуетъ гражданская и уголовная отвѣтственность всѣхъ чиновниковъ, и не только существуетъ она на бумагѣ, но и на дѣлѣ.

До тѣхъ поръ, пока не будетъ этого и у насъ, мы всегда будемъ слушать „га-га-га... го-го-го..." нашихъ помпадуровъ всѣхъ степеней и ранговъ. Тамъ, гдѣ государство суще-

---

[1]) Какъ вамъ будетъ угодно.

ствуетъ и управляется страхомъ и для страха, наводимаго нарочито поставленными на сей предметъ помпадурами, тамъ не очень привольно и весело живется объектамъ такой системы, періодически усмиряемымъ и существующимъ для своевременнаго и неукоснительнаго сбора податей, прямыхъ и косвенныхъ налоговъ и тому подобныхъ почтенныхъ и обязательныхъ функцій.

ВСЕСОЮЗНЫЙ
Коммунистический Институт
ЖУРНАЛИСТИКИ
им. Правды

БИБЛИОТЕКА

Біографія В. А. Жуковскаго. Составлена А. П. Фонъ-Дитмаръ и одобрена сыномъ поэта. М. 1902 г., ц. 10 к. М. Н. Пр. отъ 18 января 1903 г. за № 3916, допущена въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Лермонтовъ, М. Ю. Полное собраніе сочиненій, подъ редакціей П. В. Смирновскаго и съ составленнымъ имъ же біографическимъ очеркомъ Лермонтова, съ его портретомъ и 40 оригинальными иллюстраціями А. А. Чичкина, изданіе 2-е, 1903 г., ц. 1 р., въ коленк. перепл. 1 р. 60 к.

Пушкинъ, А. С. Полное собраніе сочиненій въ одномъ томѣ, подъ ред. П. Смирновскаго, съ портретомъ Пушкина, его біографіей, [illegible], видомъ памятника и съ рисунками М. Михайлова и П. [illegible]. Изд. 4-е, 1778 стр. убористой печати. М. 1904 г., ц. 1 р. 50 к., въ переплетѣ съ золотомъ 2 р.

Басни И. А. Крылова. Съ приложеніемъ портрета автора, его біографіи, написанной П. А. Плетневымъ, примѣчаній, составленныхъ по В. Ѳ. Кеневичу, и пяти статей о басняхъ Крылова П. Смирновскаго, 332 страницы, 1897 года. Цѣна 1 р. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія рекомендованы въ качествѣ пособія при изученіи басенъ Крылова въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, и для ученическихъ библіотекъ этихъ заведеній, а также для ученическихъ библіотекъ низшихъ [illegible] и для безплатныхъ народныхъ библіотекъ и читаленъ. Оглавленіе: Біографія Крылова (написанная П. А. Плетневымъ). Очеркъ дѣятельности Крылова до 1809 г. (П. Смирновскаго). Басни Крылова. Примѣчанія къ баснямъ (по В. Ѳ. Кеневичу). Объясненіе нѣкоторыхъ словъ, встрѣчающихся въ басняхъ Крылова (П. С.). Басни и образы, заимствованные изъ классической древности (П. С.). Степень оригинальности басенъ Крылова (П. С.). Нравственное и общечеловѣческое значеніе басенъ Крылова (П. С.). Народность басенъ Крылова (П. С.). Художественность басенъ Крылова (П. С.). Алфавитный списокъ басенъ Крылова съ указаніемъ страницъ.

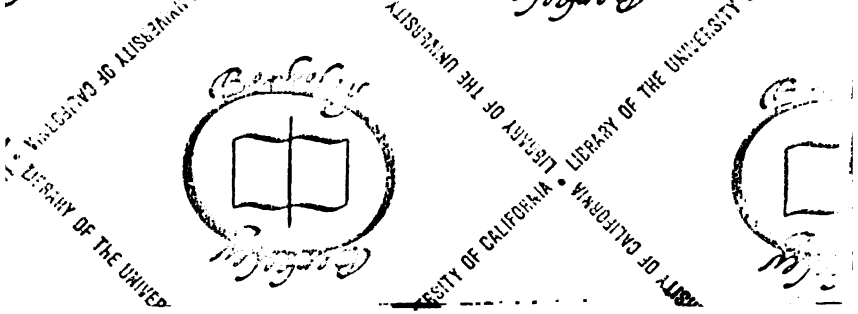
Кольцовъ, А. В. Стихотворенія, съ біогр. очеркомъ и [illegible] П. Смирновскаго. Съ портретомъ Кольцова. М., 1897 г., ц. 30 к. М. Н. Пр. допущено въ ученическія библіотеки всѣхъ средн. учебн. зав. и город. учил., въ ученич. библ. низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.

Письма А. В. Кольцова, съ предисловіемъ П. Смирновскаго. М., 1901 г., ц. 30 к. М. Н. П. 12 января 1902 г., за № [illegible], допущены въ ученическія библіотеки низшихъ училищъ и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

Гоголь, Н. В. Полное собраніе сочиненій въ одномъ томѣ большого формата. Съ 246-ю рисунками [illegible] Н. Михайлова и [illegible] 29 [illegible] [illegible] П. Смирновскаго, ц. 1 р. 75 к., въ переплетѣ [illegible] 2 р. 25 к.

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Критическая литература о произведе[illegible] Е
Салтыкова-Щедрина, вып. III-й и IV-й.



RETURN TO ➡ **CIRCULATION DEPARTMENT**
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 **HOME USE**	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.

Books may be Renewed by calling 642-3405

DUE AS STAMPED BELOW

AUTO DISC CIRC APR 07 '93

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C042178748
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA